



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России
ООО "ИПО писателей"

Международный фонд
славянской письменности
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,
А. В. ВОРОНЦОВ,
В. Н. ГАНИЧЕВ,
Г. Я. ГОРЬОВСКИЙ,
Т. В. ДОРЕНИНА,
С. Н. ЕСИН,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
М. П. ЛОБАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
В. Д. ПОПОВ,
В. Г. РАСПУТИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
С. А. СЫРНЕВА,
А. Ю. УВОГИЙ,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ

Проза

Захар ПРИЛЕПИН
Обитель. Роман 7

Андрей СКРИЩОВ
Счастье. Рассказ 105

Платон БЕСЕДИН
День Победы. Рассказ 112

Поэзия

Владислав АРТЁМОВ
Я с рождения грезил
звездопадом... 3

Диана КАН
Медной горы хозяйка 101

Борис БУРМИСТРОВ
Есть у нас одно пространство 109

Владимир ОВЧИНЦЕВ
Вальс из прошлой тишины 116

Парнас смеётся

Валерий ГАНИЧЕВ
Гоголь бессмертен 121

Память

"Книга почти свободна от
сочинительства..."
Письма В. П. Астафьева
к Н. И. Суворовой 142

Владимир СКИФ
Глеб Пакулов
и Виктор Астафьев 149

Виктор ЛИННИК
Неоконченный диалог
с Виктором Астафьевым 156

Очерк и публицистика

Георгий ЦАГОЛОВ
Обманутая экономика 175

Редакция

Приемная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
зам. главного редактора —
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47

С. С. Куняев —
зав. отделом критики,
отдел поэзии —
(495) 625-02-81

Отдел публицистики —
(495) 625-30-47

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71,
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —
зав. техническим центром —
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Владимир БОНДАРЕНКО
Дикое поле 185

Ирина ГЛЕБОВА
Харьковская весна.
Противостояние 190

Яков АЛЕКСЕЙЧИК
Атака на рейхстаг
у Рябого моста 199

Александр ВОДОЛАГИН
Гений непреклонной воли 221

Слово читателя

“Без “Нашего современника”
я русской литературы
не мыслю” 227

Критика

Вячеслав ЛЮТЫЙ
Мать-и-мачеха 247

Евгений КОСТИН
Шолохов и русская
цивилизация сегодня 280

Мир Леонова

Виктор ХРУЛЁВ
Роман “Вор” в духовной
биографии Леонида Леонова 258

Владимир ДЕСЯТНИКОВ
О “Пирамиде” Л. М. Леонова 276

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов

Операторы: Е. Я. Закирова, Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Подписано в печать 30.04.14. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 272. Тираж 8900 экз.

Адрес редакции: Москва, 127994, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес электронной почты: n-sovrem@yandex.ru

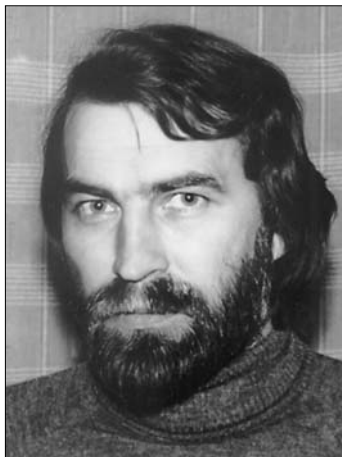
(Рукописи по электронной почте не принимаются)

Адрес сайта в интернете: www.nash-sovremennik.ru

Отпечатано в ОАО “Красная Звезда”, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62 www.redstarph.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

ВЛАДИСЛАВ АРТЁМОВ



Я С РОЖДЕНЬЯ ГРЕЗИЛ ЗВЕЗДОПАДОМ...

РАЗБОЙНИК

Когда-нибудь и мы с тобой умрём,
Дадим покой своим усталым нервам.
Подельник мой был лёгок на подъём —
В любую дверь пройти старался первым.

Он и сейчас уходит налегке,
Без ничего! Оставил всё, что нажил.
Доволен, гад, а должен быть в тоске.
Каким вином он горечь разбодяжил?

Жил — не тужил и помер в нищете,
Душа его ушла, куда хотела,
Лишь, захрипев, повисло на кресте
Пустое, остывающее тело.

АРТЁМОВ Владислав Владимирович родился 17 мая 1954 года в селе Лысуха Березинского района Минской области. Окончил Литературный институт имени Горького в 1981 году. С 2012 года по настоящее время — главный редактор журнала “Москва”. Автор двух поэтических книг: “Светлый всадник” (“Современник”, 1989) и “Странник” (“Глобус”, 1997). В 1998 году в журнале “Наш современник” напечатан роман “Обнажённая натура”, а в 2002-м — повесть “Художник Верещагин”. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

Да он же сеял злые семена,
Блудил, и пил, и караваны грабил...
Его с поличным взял сам сатана,
Но почему-то жёсткий хват ослабил.

И разошлись пружины у замков,
Упали цепи зависти и злости.
Ушёл он, отряхнувшись от оков,
Плевать ему, что перебиты кости.

Ещё трепещут жилы на костях,
Ещё болит, а он уже смеётся,
Он плоть забыл, как старый плащ в гостях,
И вряд ли он за ним сюда вернётся.

Мы думали, что рай — сплошной елей,
Фигуры в белом, благостные песни...
А там, как видно, много веселей,
Трагичнее, страшней и интересней.

МУЗА

“Светить всегда...”

В. Маяковский

Ночь глуха, звезда стоит в зените,
В окруженье псов сторожевых.
На земле поэтов не ищите,
Не найдёте их среди живых.

Я узнал об участи поэта,
Эта страсть коснулась и меня,
Драма в том, что не добудешь света,
Если нет внутри тебя огня.

Я с рожденья грезил звездопадом,
На подъём тяжёлый, как металл,
И огнём на эту землю падал,
Вспышкой света с неба облетал.

Кто сочтёт утраты и потери —
Я швырял метафоры свои,
И они сгорали в атмосфере,
Рассекая плотные слои.

Я узнал, как страшно быть поэтом,
Обернулся — позади зола,
И за мной стелился чёрный пепел,
Выгорая в небе добела.

Скинул с плеч я смертную обузу,
Я живой! Душа во мне — жива!
Что ж ты плачешь, муза моя, муза?
Что ж ты ходишь в чёрном, как вдова...

НЕВЕСТА

Это было когда-то,
А как будто вчера,
Полюбила солдата
Практикантка-сестра.

Он метался и бредил,
И в бреду повторял:
“Мы с тобою уедем...”
А куда — не сказал.

Как-то так, между делом,
Объяснился он с ней:
“Ты мне нравишься в белом.
Будь невестой моей...”

И без слов, с полужеста,
Понимала она:
Что такое невеста?..
Да почти что... жена!

Мир наполнился эхом,
Как пустынный вокзал,
Он однажды уехал.
А куда — не сказал...

И пошла по палате,
Ни жива, ни мертва,
В ярко-белом халате
Практикантка-сестра.

И кричала в дежурке:
“Он не умер, он спит...”
И пила из мензурки
Неразбавленный спирт.

Невпопад и не к месту
Вспоминала слова:
“Что такое невеста?
Да почти что... вдова!”

ДВЕ БАБЫ

Как ни считай, а жизнь всего одна,
Что у бродяги, что у полководца...
Я молча наблюдаю из окна,
Как ссорятся две бабы у колодца.

А я опять с похмелья, на мели,
Небритые почёсываю щёки, —
Не обо мне ль, голубушки мои,
Заспорили, уткнувши руки в боки.

Мне любопытно слушать и смотреть,
Не знаю, кто упрямей, кто капризней,
Но я уверен в том, что баба-смерть
Вовек не переспорит бабы-жизни.

Я с бабой-жизнью жил бы лет до ста,
Ведь так удобно мять её и тискать,
Она — ряба, смешлива и толста...
А баба-смерть — манерна, как артистка!

Зато и неприступна, как звезда,
Ни бигудей, ни старого халата,
Она стройна, бесплодна и худа...
А баба-жизнь почти всегда — брюхата.

Необъяснимы тайны бытия,
Все как один, — не верите, проверьте, —
Примерные и верные мужья,
В конце концов, уходят к бабе-смерти.

И пусть достоинств больше у жены,
Пусть баба-смерть — совсем не королева,
Но, что поделать, призрак новизны,
Как водится, влечёт нас всех налево.

Соблазн силён, и как тут ни держись,
Слепая страсть подхватит и завертит.
И схватится за сердце баба-жизнь,
Застукав нас в объятьях бабы-смерти.

Судьбы не перешьёшь, как ни крои,
И для приличья постояв при гробе,
Уйдут к другим две бабы, две змеи,
Уж извини, они изменят — обе!

ТЕНЬ ОБЛАКА

То тревожно мне, люди добрые,
А то весело в свой черёд,
Невесомо, как тень от облака,
Жизнь моя по земле идёт.

Позову, не услышу отклика,
Обернусь в осеннюю даль, —
Невесомо, как тень от облака,
Отлетит от души печаль.

И споткнётся дорога долгая,
Опустеют кругом леса.
И легко, словно тень от облака,
Отлетит душа в небеса.

*Дорогой Владислав Владимирович!
Поздравляем с юбилеем! Крепкого здоровья Вам и творческого
вдохновения на благо Отчизны! Крепости и устойчивости журналу
“Москва” — нашему ближайшему соратнику и побратиму.
Ждём новых произведений.*

Редакция “Нашего современника”

ЗАХАР ПРИЛЕПИН



ОБИТЕЛЬ

РОМАН

Говорили, что в молодости прадед был шумливый и злой. В наших краях есть хорошее слово, определяющее такой характер: взгальный.

До самой старости у него имелась странность: если мимо нашего дома шла отбившаяся от стада корова с колокольцем на шее, прадед иной раз мог забыть любое дело и резво отправиться на улицу, схватив второпях что попало — свой кривой посох из рябиновой палки, сапог, старый чугунок. С порога, ужасно ругаясь, бросал он вслед корове любую вещь, оказавшуюся в его кривых пальцах. Мог и пробежаться за напуганной скотиной, обещая кары земные и ей, и её хозяевам.

“Бешеный чёрт!” — говорила про него бабушка. Она произносила это как “бешаный чорт!”. Непривычное для слуха “а” в первом слове и гулкое “о” во втором завораживали.

“А” было похоже на бесноватый, почти треугольный, будто бы вздёрнутый вверх прадедов глаз, которым он в раздражении тарачился, — причём второй глаз был сощурен. Что до “чорта” — то когда прадед кашлял и чихал, он, казалось, произносил это слово: “Ааа... чорт! Ааа... чорт! Чорт! Чорт!” Можно было предположить, что прадед видит чёрта перед собой и кричит на него, прогоняя. Или с кашлем выплёвывает каждый раз по одному чёрту, забравшемуся внутрь.

ПРИЛЕПИН Захар — прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий “Национальный бестселлер”, “СуперНацБест” и “Ясная Поляна”... Известность ему принесли романы “Патологии” (о войне в Чечне) и “Санька” (о молодых “нацболах”), “пацанские” рассказы — “Грех” и “Ботинки, полные горячей водкой”. В новом романе “Обитель” писатель обращается к другому времени и другому опыту.

По слогам повторяя за бабушкой: “бе-ша-ный чорт!” — я вслушивался в свой шёпот, и в знакомых словах вдруг образовывались сквозняки из прошлого, где прадед был совсем другой: юный, дурной и бешеный.

Бабушка вспоминала: когда она, выйдя замуж за деда, пришла в дом, прадед страшно колотил “мамано” — её свекровь, мою прабабку. Причём свекровь была статна, сильна, сурова, выше прадеда на голову и шире в плечах, но боялась и слушалась его беспрекословно.

Чтоб ударить жену, прадеду приходилось вставать на лавку. Оттуда он требовал, чтоб она подошла, хватал её за волосы и бил с размаху маленьким жёстким кулаком в ухо.

Звали его Захар Петрович.

“Чей это парень?” — “А Захара Петрова”.

Прадед был бородат. Борода его была словно бы чеченская, чуть курчавая, не вся ещё седая, хотя редкие волосы на голове были белым-белы, невесомы и пушисты. Если из старой подушки к голове прадеда налинал птичий пух, его было сразу и не различить.

Пух снимал кто-нибудь из нас, безбоязненных детей — ни бабушка, ни дед, ни мой отец головы прадеда не касались никогда. И если даже по добромуту шутили о нём, то лишь в его отсутствие.

Ростом он был невысок, в четырнадцать я уже перерос его, хотя, конечно же, к тому времени Захар Петров сеутулился, сильно хромал и понемногу вращал в землю — ему было то ли восемьдесят восемь, то ли восемьдесят девять; в паспорте был записан один год, а родился он в другом, то ли раньше даты в документе, то ли позже — со временем и сам запомнил.

Бабушка рассказывала, что прадед стал добрее, когда ему перевалило за шестьдесят, но только к детям. Души не чаял во внуках, кормил их, тешил, мыл — по деревенским меркам всё это было диковато. Спали они все по очереди с ним на печке, под его огромным кудрявым пахучим тулупом.

Мы наезжали в родовой дом погостить — и лет, кажется, в шесть мне тоже несколько раз выпадало это счастье: ядрёный, шерстяной, дремучий тулуп... Я помню его дух и поныне.

Сам тулуп был, как древнее предание — искренне верилось: его носили и не могли износить семь поколений, весь наш род грелся и согревался в этой шерсти. Им же укрывали только что, в зиму рождённых телятей и поросёток, переносимых в избу, чтоб не перемерзли в сарае. В его огромных рукавах вполне могло годами жить тихое домашнее мышинное семейство, и, если долго копошиться в тулупных залежах и закоулках, можно было найти махорку, которую прадед прадеда не докуривал веком назад, ленту из венчального наряда бабушки моей бабушки, сахариный обкусочек, потерянный моим отцом, который он в своё голодное послевоенное детство разыскивал три дня и не нашёл.

А я нашёл и съел вперемешку с махоркой.

Когда прадед умер, тулуп выбросили — чего бы я тут ни плёл, а был он старьё старьём и пах ужасно.

Девяностолетие Захара Петрова мы праздновали на всякий случай три года подряд.

Прадед сидел, на первый неумный взгляд, преисполненный значения, а на самом деле весёлый и чуть лукавый: как я вас обманул — дожил до девяности и заставил всех собраться.

Вышивал он, как и все наши, наравне с молодыми до самой старости, и когда за полночь — а праздник начинался в полдень! — чувствовал, что хватит, медленно поднимался из-за стола и, отмахнувшись от бросавшейся помогать бабки, ни на кого не глядя, шёл к своей лежанке.

Пока прадед выходил, все оставшиеся за столом молчали и не шевелились.

“Как генералиссимус идёт...” — сказал, помню, мой крёстный отец и родной дядька, убитый на следующий год в дурацкой драке.

То, что прадед три года сидел в лагере на Соловках, я узнал ещё ребёнком. Для меня это было почти то же самое, как если бы он ходил за зипунами в Персию при Алексее Тишайшем или добирался с бритым Святославом до Тмутаракани.

Об этом особенно не распространялись, но, с другой стороны, прадед нет-нет да и вспоминал то про Эйхманиса, то про взводного Крапина, то про поэта Афанасьева.

Долгое время я думал, что Мстислав Бурцев и Кучерава — однополчане прадеда, и только потом догадался, что это всё лагерники.

Когда мне в руки попали соловецкие фотографии, удивительным образом я сразу узнал и Эйхманиса, и Бурцева, и Афанасьева.

Они воспринимались мной почти как близкая, хоть и нехорошая родня.

Думая об этом сейчас, я понимаю, как короток путь до истории — она рядом. Я прикасался к прадеду, прадед воочию видел святых и бесов.

Эйхманиса он всегда называл “Фёдор Иванович”, было слышно, что к нему прадед относится с чувством трудного уважения. Я иногда пытаюсь представить, как убили этого красивого и неглупого человека — основателя концлагерей в Советской России.

Лично мне прадед ничего про соловецкую жизнь не рассказывал, хотя за общим столом иной раз, обращаясь исключительно к взрослым мужчинам, преимущественно к моему отцу, прадед что-то такое вскользь говорил, каждый раз словно заканчивая какую-то историю, о которой шла речь чуть раньше — к примеру, год назад, или десять лет, или сорок.

Помню, мать, немного бахвалясь перед стариками, проверяла, как там дела с французским у моей старшей сестры, а прадед вдруг напомнил отцу, — который, похоже, слышал эту историю, — как случайно получил наряд по ягоды, а в лесу неожиданно встретил Фёдора Ивановича, и тот заговорил по-французски с одним из заключённых.

Прадед быстро, в двух-трёх фразах, хриплым и обширным своим голосом набрасывая какую-то картинку из прошлого — и она получалась очень внятной и зримой. Причём вид прадеда, его морщины, его борода, пух на его голове, его смехок, напоминавший звук, когда железной ложкой шкрябают по сковороде, — всё это имело не меньшее, а большее значение, чем сама его речь.

Ещё были истории про баланы в октябрьской ледяной воде, про огромные и смешные соловецкие веники, про перебитых чаек и собаку по кличке Блэк.

Своего чёрного беспородного щенка я тоже называл Блэк.

Щенок, играясь, задушил одного летнего цыплага, потом — другого, и перья раскидал на крыльце, следом — третьего... В общем, однажды прадед схватил щенка, вприпрыжку гонявшего по двору последнего курёнка, за хвост и с размаху ударил об угол каменного нашего дома. После первого удара щенок ужасно взвизгнул, а после второго смолк.

Руки прадеда до девяноста лет обладали если не силой, то цепкостью. Лубяная соловецкая закалка тащила его здоровье через весь век. Лица прадеда я не помню, разве что бороду, и в ней — рот наискосок, жующий что-то, зато руки, едва закрою глаза, сразу вижу: с кривыми иссиня-чёрными пальцами, в курчавом грязном волосе. Прадеда и посадили за то, что он зверски избил уполномоченного. Потом его ещё раз чудом не посадили, когда он собственноручно перебил домашнюю скотину, которую собирались обобществлять.

Когда я смотрю, особенно в нетрезвом виде, на свои руки, то с некоторым страхом обнаруживаю, как с каждым годом из них прорастают скрученные, с семью латунными ногтями пальцы прадеда.

Штаны прадед называл шкерами, бритву — мойкой, карты — святцами, про меня, когда я ленился и полёживал с книжкой, сказал как-то: “...О, лежит ненаряженный...” — но без злобы, в шутку, даже как бы одобряя.

Так, как он, больше никто не разговаривал ни в семье, ни во всей деревне.

Какие-то истории прадеда дед передавал по-своему, отец мой — в новом пересказе, крёстный — на третий лад. Бабушка же всегда говорила про лагерную жизнь прадеда с жалостливой и бабьей точки зрения, иногда будто бы вступающей в противоречие с мужским взглядом.

Однако ж общая картина понемногу начала складываться.

Про Галю и Артёма рассказал отец, когда мне было лет пятнадцать, — тогда как раз наступила эпоха разоблачений и покаянного юродства. Отец к слову и вкратце набросал этот сюжет, необычайно меня поразивший уже тогда.

Бабушка тоже знала эту историю.

Я всё никак не могу представить, как и когда прадед поведал всё это отцу — он вообще был немногословен; но вот рассказал всё-таки.

Позднее, сводя в одну картину все рассказы и сверяя это с тем, как было на самом деле, согласно обнаруженным в архивах отчётам, докладным запискам и рапортам, я заметил, что у прадеда ряд событий слился воедино и какие-то вещи случились подряд, в то время как они были растянуты на год, а то и на три.

С другой стороны, что есть истина, как не то, что помнится.

Истина — это то, что помнится.

Прадед умер, когда я был на Кавказе, — свободный, весёлый, камуфлированный.

Следом понемногу ушла в землю почти вся наша огромная семья, только внуки и правнуки остались — одни, без взрослых.

Приходится делать вид, что взрослые теперь мы, хотя я никаких разительных отличий между собой четырнадцатилетним и нынешним так и не обнаружил.

Разве что у меня вырос сын, и ему теперь четырнадцать лет.

Так случилось, что пока все мои старики умирали, я всё время находилсь где-то далеко и ни разу не попал на похороны.

Иногда я думаю, что мои родные живы, иначе куда они все подевались?

Несколько раз мне снилось, как я возвращаюсь в свою деревню и пытаюсь разыскать тулуп прадеда, лажу, сдирая руки, по каким-то кустам, тревожно и бессмысленно брожу вдоль берега реки, у холодной и грязной воды, потом оказываюсь в сарае: старые грабли, старые косы, ржавое железо — всё это случайно валится на меня, мне больно; дальше почему-то я забираюсь на сеновал, копаюсь там, задыхаясь от пыли, и кашляю: “Чорт! Чорт! Чорт!”

Ничего не нахожу.

КНИГА ПЕРВАЯ

— Il fait froid aujourd'hui.

— Froid et humide.

— Quel sale temps, une véritable fièvre.

— Une véritable peste...¹

— Монахи тут, помните, как говорили: “В труде спасаемся!” — сказал Василий Петрович, на мгновение переведя довольные, часто мигающие глаза с Фёдора Ивановича Эйхманиса на Артёма. Артём зачем-то кивнул, хотя не понял, о чём шла речь.

— C'est dans l'effort que se trouve notre salut?² — переспросил Эйхманис.

— C'est bien cela!³ — с удовольствием ответил Василий Петрович и так сильно потрянул головой, что высыпал на землю несколько ягод из корзины, которую держал в руках.

— Ну, значит, и мы правы, — сказал Эйхманис, улыбаясь и поочерёдно глядя на Василия Петровича, на Артёма и на свою спутницу, не отвечающую, впрочем, на его взгляд. — Не знаю, что там со спасением, а в труде монахи знали толк.

¹ — Сегодня холодно.

— Холодно и сыро.

— Это не погода, а лихорадка.

— Не погода, а чума. (фр.)

² — В труде спасаемся? (фр.)

³ — Именно так! (фр.)

Артём и Василий Петрович в отсыревшей и грязной одежде, с чёрными коленями, стояли на мокрой траве, иногда перетаптываясь, размазывая по щекам лесную паутину и комаров пропахшими землёй руками. Эйхманис и женщина были верхом: он — на гнедом норовистом жеребце, она — на пегом, немолодом, будто глуховатом.

Снова затеялся дождь, мутный и колкий для июля. Задул ветер, неожиданно холодный даже для этих мест.

Эйхманис кивнул Артёму и Василию Петровичу. Женщина молча потянула поводья влево, чем-то будто бы раздражённая.

— Посадка-то у неё не хуже, чем у Эйхманиса, — заметил Артём, глядя всадникам вслед.

— Да, да... — отвечал Василий Петрович так, что было понятно: слова собеседника не достигают его слуха. Он поставил корзину на землю и молча собирал высыпавшиеся ягоды.

— С голода вас шатает, — то ли в шутку, то ли всерьёз сказал Артём, глядя сверху на кепку Василия Петровича. — Шестичасовой отзвонил уже. Нас ждёт прекрасное хлебало. Картошка сегодня или гречка, как думаете?

Из леса к дороге подтянулись ещё несколько человек бригады ягодников.

Не дожидаясь, пока сойдёт на нет настырная морось, Василий Петрович и Артём зашагали в сторону монастыря. Артём чуть прихрамывал — пока ходил за ягодами, подвернул ногу.

Он тоже устал, не меньше Василия Петровича. К тому же Артём снова очевидно не выполнил нормы.

— Я на эту работу больше не пойду, — тяготясь молчанием, негромко сказал Артём Василию Петровичу. — К чёрту бы эти ягоды. Наелся за неделю, а радости — никакой.

— Да, да... — ещё раз повторил Василий Петрович, но, наконец, справился с собою и неожиданно ответил:

— Зато без конвоя! Весь день не видеть ни этих, с чёрными околышами, ни лягавой роты, ни “леопардов”, Артём.

— А пайка у меня будет уполовиненная и обед без второго, — парировал Артём. — Треска варёная, тоска зелёная.

— Ну, давайте я вам отсыплю, — предложил Василий Петрович.

— Тогда у нас обоих будет недостача по норме, — мягко посмеялся Артём. — Едва ли это принесёт мне радость.

— Вы же знаете, каких трудов стоило мне получить сегодняшний наряд... И всё равно ведь не пни корчевать, Артём, — Василий Петрович понемногу оживился. — А вы, кстати, заметили, чего ещё в лесу нет?

Артём что-то такое точно заметил, но никак не мог понять, что именно.

— Там не орут эти треклятые чайки! — Василий Петрович даже оставил себя, и подумав, съел одну ягоду из своей корзины.

В монастыре и в порту от чаек не было проходу, к тому же за убийство чайки полагался карцер — начальник лагеря Эйхманис отчего-то ценил эту крикливую и наглую соловецкую породу, что, впрочем, было необъяснимо.

— В чернике есть соли железа, хром и медь, — поделился знанием, съев ещё одну ягоду, Василий Петрович.

— То-то я чувствую себя, как медный всадник, — мрачно сказал Артём. — И всадник хром.

— Ещё черника улучшает зрение, — сказал Василий Петрович. — Вот, видите звезду на храме?

Артём всмотрелся.

— И?

— Скольконечная эта звезда? — спросил Василий Петрович крайне серьёзно.

Артём секунду всматривался, потом всё понял, и Василий Петрович понял, что тот догадался, — оба тихо засмеялись.

— Хорошо, что вы только многозначительно кивали, а не разговаривали с Эйхманисом — у вас весь рот в чернике, — сквозь смех процедил Василий Петрович, и стало ещё смешней.

Пока рассматривали звезду и смеялись по этому поводу, бригада обошла их — и каждый посчитал необходимым заглянуть в корзины стоявших на дороге.

Василий Петрович и Артём остались в некотором отдалении одни. Смех быстро сошёл на нет, и Василий Петрович вдруг разом осуровел.

— Знаете, это постыдная, это отвратительная черта, — заговорил он трудно и с неприязнью. — Мало ведь того, что он просто решил побеседовать со мной, — он обратился ко мне по-французски! И я сразу готов всё простить ему. И даже полюбить его! Я сейчас приду и проглочу это вонючее варево, а потом полезу на нары кормить вшей. А он поест мяса, а потом ему принесут ягоды, которые мы вот здесь собрали. И он будет чернику запивать молоком! Я же должен, простите великодушно, наплевать ему в эти ягоды, а вместо этого несу их с благодарностью за то, что этот человек умеет говорить по-французски и снисходит до меня! Но мой отец тоже умел по-французски! И по-немецки, и по-английски! А как я дерзил ему! Как унижал отца! Чего же здесь я не надерзил, старая я коряга? Как я себя ненавижу, Артём! Чёрт меня раздери!

— Всё-всё, Василий Петрович, хватит, — уже иначе засмеялся Артём; за последний месяц он успел полюбить эти монологи...

— Нет, не всё, Артём, — сказал Василий Петрович строго. — Я тут стал вот что понимать: аристократия — это никакая не голубая кровь, нет. Это просто люди хорошо ели из поколения в поколение, им собирали дворовые девки ягоды, им стелили постель и мыли их в бане, а потом расчёсывали волосы гребнем. И они отмылись и расчесались до такой степени, что стали аристократией. Теперь мы вывозились в грязи, зато эти — верхом, они откормлены, они умыты — и они... хорошо, пусть не они, но их дети — тоже станут аристократией.

— Нет, — ответил Артём и пошёл, с лёгким остервенением растирая дождевые капли по лицу.

— Думаете, нет? — спросил Василий Петрович, нагоняя его. В его голосе звучала явная надежда на правоту Артёма. — Я тогда, пожалуй, ещё ягодку съем. ...И вы тоже съешьте, Артём, я угощаю. Держите, вот даже две.

— Да ну её, — отмахнулся Артём. — Сала нет у вас?

* * *

Чем ближе монастырь — тем громче чайки.

Обитель была угловата — непомерными углами, неопытна — ужасным разором.

Тело её выгорело, остались сквозняки, мшистые валуны стен.

Она высилась так тяжело и огромно, будто была построена не слабыми людьми, а разом, всем своим каменным туловом упала с небес и уловила оказавшихся здесь в западню.

Артём не любил смотреть на монастырь: хотелось скорее пройти ворота и оказаться внутри.

— Второй год здесь бедую, а каждый раз рука тянется перекреститься, когда вхожу в кремль, — поделился Василий Петрович шёпотом.

— Так крестились бы, — в полный голос ответил Артём.

— На звезду? — спросил Василий Петрович.

— На храм, — отрезал Артём. — Что вам за разница — звезда, не звезда, храм-то стоит.

— Вдруг пальцы-то отломают, лучше не буду дураков сердить, — сказал Василий Петрович, подумав, и даже руки спрятал поглубже в рукава пиджака. Под пиджаком он носил поношенную фланелевую рубашку.

— ...А во храме орава без пяти минут святых на трёхъярусных нарах... — завершил свою мысль Артём. — Или чуть больше, если считать под нарами.

Двор Василий Петрович всегда пересекал быстро, опустив глаза, словно стараясь не привлекать понапрасну ничьего внимания.

Во дворе росли старые берёзы и старые липы, выше всех стоял тополь. Но Артёму особенно нравилась рябина — ягоды её нещадно обрывали или на заварку в кипяток, или просто, чтоб сжевать кисленького, а она оказывалась несносно горькой... Только на макушке ещё виднелось несколько гроздей. Отчего-то всё это напоминало Артёму материнскую причёску.

Двенадцатая рабочая рота Соловецкого лагеря занимала трапезную едностолшную палату бывшей соборной церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы.

Шагнули в деревянный тамбур, поприветствовав дневальных — чеченца, чью статью и фамилию Артём никак не мог запомнить, да и не очень хотел, и Афанасьева — антисоветская, как он сам похвастался, агитация — ленинградского поэта, который весело поинтересовался: “Как в лесу ягода, Тёма?” Ответ был: “Ягода в Москве, замначальника ГэПэУ. А в лесу — мы”.

Афанасьев тихо хохотнул, чеченец же, как показалось Артёму, ничего не понял, хотя разве догадаешься по их виду? Афанасьев сидел, насколько возможно развалившись на табуретке, чеченец же то шагал туда-сюда, то присаживался на корточки.

Ходики на стене показывали без четверти семь.

Артём терпеливо дожидался Василия Петровича, который, набрав воды из бака при входе, цедил, отдуваясь, в то время как Артём опустошил бы кружку в два глотка... собственно, в итоге выхлебал целых три кружки, а четвёртую выпил себе на голову.

— Нам таскать эту воду! — сказал чеченец недовольно, извлекая из рта каждое русское слово с некоторым трудом. Артём достал из кармана несколько смятых ягод и сказал: “На”; чеченец взял, не поняв, что дают, а догадавшись, брезгливо катнул их по столу; Афанасьев поочередно поймал все и покидал в рот.

При входе в трапезную сразу ударил запах, от которого за день в лесу отвыкли: немойтой человеческой мерзости, грязного, изношенного мяса. Никакой скот так не пахнет, как человек и живущие на нём насекомые; но Артём точно знал, что уже через семь минут привыкнет и забудется, и сольётся с этим запахом, с этим гамом и матом, с этой жизнью.

Нары были устроены из круглых, всегда сырых жердей и неструганных досок.

Артём спал на втором ярусе. Василий Петрович — ровно под ним: он уже успел обучить Артёма, что летом лучше спать внизу — там прохладней, а зимой — наверху, “...потому что тёплый воздух поднимается куда?..” На третьем ярусе обитал Афанасьев. Мало того, что ему было жарче всех, туда ещё непрестанно подкапывало с потолка — гнилые осадки давали испарения от пота и дыханья.

— А вы будто и неверующий, Артём? — не унимался внизу Василий Петрович, пытаясь продолжить начатый на улице разговор и одновременно разбираясь со своей ветшающей обувкой. — Дитя века, да? Начитались всякой дряни в детстве, наверное? *Дыр бул щыл* в штанах, *чары навьи* на уме, *Бог умер своей смертью*, что-то такое, да?

Артём не отвечал, уже прислушиваясь, не тащат ли ужин, хотя раньше времени пожрать давали редко.

На сбор ягод он брал с собой хлеб — с хлебом черника шла лучше, но докучливый голод, в конечном счёте, не утоляла.

Василий Петрович поставил на пол ботинки с тем тихим бережением, что свойственно неизбалованным женщинам, убирающим на ночь свои украшения. Потом долго перетряхивал вещи и, наконец, горестно заключил:

— Артём, у меня опять украли ложку, вы только подумайте.

Артём тут же проверил свою — на месте ли: да, на месте, и миска тоже. Раздавил клопа, пока копошился в вещах. У него уже воровали миску. Он тогда взял у Василия Петровича 22 копейки местных соловецких денег взаймы и купил миску в лавке, после чего выцарапал “А” на дне, чтоб, если украдут, опознать свою вещь. При этом отлично понимая, что смысла в отметке почти нет: уйдёт миска в другую роту — разве ж дадут посмотреть, где она да кто её скоблит.

Ещё клопа раздавил.

— Только подумайте, Артём, — ещё раз повторил Василий Петрович, не дождавшись ответа и снова перерывая свою кровать.

Артём промычал что-то неопределённое.

— Что? — переспросил Василий Петрович.

— Подумал, — ответил Артём и добавил, дабы утешить товарища:

— В ларьке купите. А сейчас моей поужинаем.

Вообще Артёму можно было и не принохиваться — ужин неизменно предварялся пением Моисея Соломоныча: тот обладал замечательным чутьём на пищу и всякий раз начинал подвывать за несколько минут до того, как дежурные вносили чан с кашей или супом.

Пел он одинаково воодушевлённо всё подряд — романсы, оперетки, еврейские и украинские песни, пытался даже на французском, которого не знал, что можно было понять по отчаянным гримасам Василия Петровича.

— Да здравствует свобода, советская власть, рабоче-крестьянская воля! — негромко, но внятно исполнял Моисей Соломонович безо всякой, казалось, иронии. Череп он имел длинный, волос чёрный, густой, глаза навывкате, удивлённые, рот большой, с заметным языком. Распевая, он помогал себе руками, словно лоя проплывающие мимо в воздухе слова песен и строа из них башенку.

Афанасьев с чеченцем, семена ногами, внесли на палках цинковый бак, затем ещё один.

На ужин строились повзводно, занимало это всегда не меньше часа. Взводом Артёма и Василия Петровича командовал такой же заключённый, как они, бывший милиционер Крапин — человек молчаливый, суровый, с приросшими мочками ушей. Кожа лица у него всегда была покрасневшая, будто обваренная, а лоб выдающийся, крутой, какой-то особенно крепкий на вид, сразу напоминающий давно виданные страницы то ли из учебного пособия по зоологии, то ли из медицинского справочника.

В их взводе, помимо Моисея Соломоновича и Афанасьева, имелись разнообразные уголовники и рецидивисты, терский казак Лажечников, три чеченца, один престарелый поляк, один молодой китаец, детина из Малороссии, успевший в гражданскую повоевать за десяток атаманов и — в перерывах — за красных, колчаковский офицер, генеральский денщик по прозвищу Самовар, дожина чернозёмных мужиков и фельетонист из Ленинграда Граков, отчего-то избегавший общения со своим земляком Афанасьевым.

Ещё под нарами, в царящей там несусветной помойке — ворохах тряпья и мусора — два дня как завёлся беспризорник, сбежавший то ли из карцера, то ли из восьмой роты, где в основном и обитали такие, как он. Артём один раз прикормил его капустой, но больше не стал, однако беспризорник всё равно спал поближе к ним.

“Как он догадывается, Артём, что мы его не выдадим? — риторически, с легчайшей самоиронией поинтересовался Василий Петрович. — Неужели у нас такой никчёмный вид? Я как-то слышал, что взрослый мужчина, не способный на подлость или, в крайнем случае, убийство, выглядит скучно. А?”

Артём смолчал, чтоб не отвечать и не сбивать себе мужскую цену.

Он прибыл в лагерь два с половиной месяца назад, получил из четырёх возможных первую рабочую категорию, обещавшую ему достойный труд на любых участках, невзирая на погоду. До июня пробыл в карантинной, тринадцатой, роте, отработав месяц на разгрузках в порту. Грузчиком Артём пробовал себя ещё в Москве, лет с четырнадцати, и к этой науке был приноровлён, что немедленно оценили десятники и нарядчики. Кабы ещё кормили получше и давали спать побольше, было б совсем ничего.

Из карантинной Артёма перевели в двенадцатую.

И эта рота была не из лёгких, режим немногим мягче, чем в карантинной. В 12-й тоже трудились на общих работах, часто вкалывали без часов, пока не выполнят норму. Лично обращаться к начальству права не имели — исключительно через комвзвода. Что до Василия Петровича с его французским, так Эйхманис в лесу с ним первым заговорил.

Весь июнь двенадцатую гоняли частью на баланы, частью — на уборку мусора в самом монастыре, частью — корчевать пни, а ещё — на сенокос, на кирпичный завод, на обслуживание железной дороги. Городские не всегда умели косить, другие не годились на разгрузку, кто-то попадал в лазарет, кто-то — в карцер, и партии без конца заменяли и смешивали.

Баланов — работы самой тяжёлой, муторной и мокрой — Артём пока избежал, а с пнями намучился: никогда и подумать не мог, насколько крепко, глубоко и разнообразно деревья держатся за землю.

— Если не рубить корни по одному, а разом огромной силою вырвать пень, то он в своих бесконечных хвостах вынесет кус земли размером с купол Успенской! — в своей образной манере то ли ругался, то ли восхищался Афанасьев.

Норма на человека была 25 пней в день.

Дельных заключённых, спецов и мастеров переводили в другие роты, где режим был попроще, но Артём всё никак не мог решить, где он, недоучившийся студент, может пригодиться и что, собственно, умеет. К тому же решить — это ещё полдела; надо, чтоб тебя увидели и позвали.

После пней тело ныло, как надорванное; наутро казалось, что сил больше для работы нет. Артём заметно похудел, начал видеть еду во сне, постоянно искать запах съестного и остро его чувствовать, но молодость ещё тянула его, не сдавалась.

Вроде бы помог Василий Петрович, выдав себя за бывалого лесного собирателя, — впрочем, так оно и было, — заполучил наряд по ягоды и протащил за собой Артёма, но обед в лес каждый день привозили остывший и не по норме: видно, такие же зэки-развозчики вдосталь отхлёбывали по дороге, а в последний раз ягодников вообще забыли покормить, сославшись на то, что приезжали, но разбредшихся по лесу собирателей не нашли. На развозчиков кто-то нажаловался, им влили по трое суток карцера, но сытней от этого не стало.

На ужин нынче была гречка, Артём с детства ел быстро, здесь же, присев на лежанку Василия Петровича, вообще не заметил, как исчезла каша; вытер ложку об испод пиджака, передал её старшему товарищу, сидевшему с миской на коленях и тактично смотревшему в сторону.

— Спаси Бог, — тихо и твёрдо сказал Василий Петрович, зачёрпывая разваренную, безвкусную, на сопливой воде изготовленную кашку.

— Угу, — ответил Артём.

Допив кипяток из консервной банки, заменявшей кружку, вспрыгнул, рискуя обрушить нары, к себе, снял рубаху, разложил её вместе с портянками под собой как покрывало, чтоб подсушились, влез руками в шинель, накрутил на голову шарф и почти сразу забылся, только успев услышать, как Василий Петрович негромко говорит беспризорнику, имевшему обыкновение во время кормёжки неслишком дёргать обедающих за брюки:

— Я не буду вас кормить, ясно? Это ведь вы у меня ложку украли?

Ввиду того, что беспризорник лежал под нарами, а Василий Петрович сидел на них, со стороны могло показаться, что он говорит с духами, грозя им голодом и глядя перед собой строгими глазами.

Артём ещё успел улыбнуться своей мысли, и улыбка сползла с губ, когда он уже спал, — оставался час до вечерней поверки, зачем время терять. В трапезной кто-то дрался, кто-то ругался, кто-то плакал; Артёму было всё равно.

За час ему успело присниться варёное яйцо — обычное варёное яйцо. Оно светилось изнутри желтком, будто наполненным солнцем, источало тепло, ласку. Артём благоговейно коснулся его пальцами — и пальцам стало горячо. Он бережно надломил яйцо, оно распалось на две половинки белка, в одной из которых, безбожно голый, призывный, словно бы пульсирующий, лежал желток. Не пробуя его, можно было сказать, что он неизъяснимо, до головокращения сладок и мягок. Откуда-то во сне взылась крупная соль, и Артём посолил яйцо, отчётливо видя, как падает каждая крупинка и как желток становится посеребрённым — мягкое золото в серебре. Некоторое время Артём рассматривал разломанное яйцо, не в силах решить, с чего на-

чать — с белка или желтка. Молитвенно наклонился к яйцу, чтобы бережным движением слизнуть соль.

Очнулся на секунду, поняв, что лижет свою солёную руку.

* * *

Из двенадцатой выходить ночью было нельзя — парашу до утра оставляли прямо в роте. Артём приучил себя вставать между тремя и четырьмя — шёл с ещё зажмуренными глазами, по памяти, с сонной остервенелостью съёсывая с себя клопов, пути не видя... зато ни с кем не делил своего занятия.

Обратно возвращался, уже чуть различая людей и нары.

Беспризорник так и спал прямо на полу, видна была его грязная нога. “Как не подох ещё...” — подумал Артём мимолётно. Моисей Соломонович храпел певуче и разнообразно. Василий Петрович во сне, не первый раз заметил Артём, выглядел совсем иначе — пугающе и даже неприятно, словно сквозь бодрствующего человека выступал иной, незнакомый.

Укладываясь на ещё не остывшую шинель, Артём полупьяными глазами осмотрел трапезную с полуктора сотнями спящими заключённых.

“Дико! — подумал он, зажмуриваясь, испуганно и удивлённо. — Лежит человек, ничего не делает, и так... большую часть... жизни...”

В другом конце вспыхнула спичка — кто-то, не стерпев, захотел передавить хоть одно клопшное семейство при свете. Клопы даже ночью непрерывно ползли по стойкам нар, по стенам, падали откуда-то сверху...

Артём открыл на малый всполох спички глаза, увидел, как кто-то из второго звзда полез в чужой мешок. Встретился взглядом с вором, зажмурился, отвернулся, забыл навсегда.

И тут же разбудил его утренний, пятичасовой колокол, а спустя несколько мгновений — заоравший Афанасьев:

— Рота, подъём!

Сегодня Артём ненавидел Афанасьева; вчера кричал другой дневальный, гортанным голосом, — и ненависть была к нему.

Через минуту плохо различимый в противной полутьме Моисей Соломонович уже пел:

— Где вы теперь, кто вам целует пальцы? Куда ушёл ваш китайчонк Ли?

Артём склонился на китайца, ночевавшего совсем рядом, но тот, похоже, не слышал слов песни: сидел на своём втором ярусе, гладил шею и лицо, словно под руками вновь обретал себя, своё тело и сознание.

— Ты, б..., оперетка, заткнись! — крикнул кто-то из ещё не поднявшихся с нар блатных.

Моисей Соломонович споткнулся на середине слова.

— Я же вроде бы негромко, — сказал он в никуда, разводя руками.

Молчал Моисей Соломонович, впрочем, недолго, вскоре снова еле слышно заурчал что-то — вносили пищу.

Можно было встать в очередь и ждать минут сорок, пока дойдёт до тебя, но Артём развивал в себе терпение, чтоб не тратить время впустую.

Пересев под лампочку, успел подшиться и полистать местный, в лагере выпускаемый самими же эсками журнал “Соловецкие острова”. Его Василий Петрович брал в библиотеке, видимо, для поддержания едкой неприязни к лагерной администрации на должном уровне. Артём в журнале читал чаще всего поэтическую страничку, — надо сказать, весьма слабую, разве только Борис Ширяев, не без старания слагавший с чужих голосов, обращал на себя внимание. Освободился он или ещё нет?.. Журнальные стихи, какими б они ни были, Артём заучивал наизусть и повторял их про себя иногда, сам не очень понимая, зачем.

Только разобравшись со всеми этими делами, Артём встал в очередь: как раз оставалось несколько человек.

— Артём, вы не передумали? — поинтересовался Василий Петрович, возвращая ему вымытую ложку.

— Нет, не пойду, — ответил Артём с улыбкой, сразу поняв, что речь идёт о наряде. — Не хлопочите за меня, не сто́ит.

— Поставят вас на баланы, голубчик, и взвоете. Не вы первый. Одумайтесь, — строго сказал Василий Петрович. — Я пять дней подряд делал полторы нормы на ягодах — сегодня меня поставили старшим. Скоро на северо-восточном берегу пойдёт смородина и малина, имейте в виду. У них тут к тому же растёт замечательная ягода шикша — она же сика, очень полезная, судя по названию.

— Нет, — повторил Артём. — У меня с моей... шикшой всё в порядке.

— В лесу можно увидеть настоящего полевого шмеля, как у нас, в Тульской губернии, — совсем уж беспомощно прибавил Василий Петрович. — А крапиву в человеческий рост, помните, с вами встретили? А птицы? Там птицы поют!

— Там одна птица так стрекочет — словно затвор передёргивают, неприятно, — сказал Артём. — И комарья в лесу втрое больше. Не хочу.

— Вам ещё зиму предстоит пережить, — сказал Василий Петрович. — Вы ещё не знаете, что такое соловецкая зима!

— А вы и зимой собрались ягоды собирать? — засмеялся Артём, тут же укорив себя за некоторую дерзость, но Василий Петрович и вида не подал.

Моисей Соломонович, даром, что пел, а всё слышал. Нежданно оказался возле нар Василия Петровича и, прервав песню, спросил:

— Освобождается место в бригаде? Артём не хочет? И правильно — он юн, зол, крепок! Василий Петрович, я мог бы, пусть на время, заменить Артёма. Не смотрите на меня так неприязненно, вы даже не знаете, как я точно вижу ягоду в траве, у меня дар!

Василий Петрович только рукой махнул и пошёл по каким-то своим делам.

— Так мы договорились? — звал его Моисей Соломонович, ласково глядя вслед. — Я вас отблагодарю, у меня на днях ожидается посылка от мамочки.

Мамочкой Моисей Соломонович называл и жену, и свою мать, и нескольких разной степени родства тёток, и даже, кажется, кого-то ещё.

— А вас, Артём, ждёт замечательная водолечебница на Соловецком курорте, — сказал Моисей Соломонович, подмигнув большим, как яйцо, глазом. — Заезд на три года даёт гарантию крепкого здоровья на весь век. У вас ведь три?

Артём прыгнул со своих нар и как-то так спросил: “А у вас?” — что Моисей Соломонович сразу пропал.

— Остолоп, — сказал Артёму вдруг образовавшийся возле нар Крапин. — Сдохнешь.

Он имел такое обыкновение: нагрубить и потом ещё стоять с минуту, ждаль, что ответят. Артём молчал, закусив губу и глядя мимо комвзода, повторяя про себя два слова: “Проклятый кретин”. Артём боялся, что его ударят, и ещё больше боялся, что все увидят, как его ударили.

Моисей Соломонович вроде бы разбирался с вещами и перетряхивал свои кофты, но по спине было видно: он слушает изо всех сил, чем всё закончится.

Скомандовали построение на утреннюю поверку.

Строились в коридоре. На выходе сильно замешкались, с кем-то начали пререкаться, набычась лбами, чеченцы, всегда державшиеся вместе, Крапин, у которого в руке был дрын — палка для битья, — подогнал блатных, которых не любил особенно и злобно, а они ему отвечали затаённой ненавистью; досталось дрынком среди иных будто бы случайно Артёму, но Артём был уверен, что Крапин видел, кого бил, и ударил его нарочно.

— Больно? — пока строились, участливо спросил Василий Петрович, видя, как скривился Артём.

— Мама моя так шутила, когда мы с братом собирались к вечеру и просили ужинать: “А мальчишкам-дуракам толстой палкой по бокам!” — вдруг вспомнил Артём, невесело хмыляясь. — Знала бы...

Пока томился в строю, Крапин не шёл у него из головы. Глядя перед собой, он всё равно, до рези в глазу, различал слева, метрах в десяти, пока-тый красный лоб и приросшую мочку уха.

Артём никак не хотел стать причиной насулленного внимания и малопо-нятного раздражения комвзвода: жаловаться тут некому, управы не най-дётся, зато на тебя самого... управу найдут скоро.

С первого дня в лагере он знал одно: главное, чтоб тебя не отличали, не помнили и не видели все те, кому и не нужно видеть тебя, а сейчас по-лучалось ровно наоборот. Артём не боялся боли, и его б не очень унизило, когда б ему попало как равному среди всех остальных; тошно, когда тебя за-чем-то отметили.

“Дались этому крестину мои наряды, — с грустью и одновременно со зло-бой думал Артём. — Я никакой работы не боюсь! Может, я в ударники хо-чу, чтоб мне срок уполовинили! Черники мне столько не собрать с этой, мать её, шикшой”.

Пока он размышлял обо всём этом, не заметил, как дошла до него пе-рекличка заключённых, и очнулся, только когда его толкнули локтем.

— Какое число? — в ужасе спросил Артём стоявшего рядом. То был ки-таец, и он, коверкая язык, повторил свой номер в строю. Артём вспомнил, что именно эта цифра только что звучала, и назвал следующую.

Поймал боковым зрением ещё один взбешённый взгляд Крапина.

“Что ж такое!” — выругался он на себя, желая, как в детстве, запла-кать, когда случалась такая же нелепая и назойливая череда неудач.

— Смир-р-р-но! Равнение на середину! — проорал ротный.

Ротным у них был грузин — то ли по прозвищу, то ли по фамилии Ку-черава — невысокий, с глазами навывкате, с блестящими залысинами тип, напоминавший Артёму изображение беса. Как и все ротные в лагере, он был одет в темно-синий костюм с петлицами серого цвета и фуражку, которую носить не любил и часто снимал, тут же отирая грязным платком пот с го-ловы.

— Здравствуй, двенадцатая рота! — гаркнул Кучерава, выпучивая бе-шеные глаза.

Артём, как учили, сосчитал до трёх и во всю глотку гаркнул:

— Здра! — хоть криком хотелось ему выделиться, но разве кто заметит твою ретивость в общем хоре?

Ротный доложил дежурному по лагерю о численном составе и отсутст-вии происшествий.

Чекист принял доклад и сразу ушёл.

— Отщепенцы, мазурики, филоны и негодяи! — с заметным акцентом обратился к строю ротный, который выглядел так, словно пил всю ночь и по-спал час перед подъёмом: глаза его были красны, чем сходство с бесом толь-ко усиливалось. — Выношу повторное предупреждение: за игру в карты и за изготовление карт...

Дальше ротный, не стыдясь монастырских стен, дурно, к тому же путая падежи — не “...твою мать”, а отчего-то “...твоей матери”, — выругался. Потом долго молчал, вспоминая, и, кажется, время от времени задрёмывая.

— И второе! — вспомнил он, качнувшись. — В сентябре возобновит ра-боту школа для заключённых лагеря. Школа имеет два отделения. Первое — по ликвидации полной безграмотности, второе — для малограмотных. Вто-рое, в свою очередь, разделяется ещё на три части: для слабых, для средних, для относительно сильных. Кроме общей и математической грамоты будут учить... этим... естествознанию с географией... и ещё обществоведению.

Строй тихо посмеивался; кто-то поинтересовался, будут ли изучать на ге-ографии, как короче всего добраться из Соловков в Лондон, и научат ли, кстати, неграмотных английскому языку.

— Да, научат, — вдруг ответил ротный, услышав нечутким ухом разго-воры в строю. — Будут специальные кружки по английскому, французско-му и немецкому, а также литературный и натуралистический кружки, — с последними словами он едва справился, но смысл Артём уловил.

Рядом с Артёмом стоял колчаковский офицер Бурцев, всегда подтяну-

тый, прилизанный, очень точный в делах и движениях — его небезуспешно выбрита щека брезгливо подрагивала, пока выступал Кучерава. Характерно, что помимо Бурцева во взводе был рязанский мужик и бывший красноармеец Авдей Сивцев, ксати, малограмотный.

Ротный, пока боролся со словами, сам несколько распросонился.

— Половина из вас читать и писать не умеет.

“А другая половина говорит на трёх языках”, — мрачно подумал Артём, косясь на Бурцева.

— Вас всех лучше бы свести под размах! Но советская власть решила вас обучить, чтобы из вас вышел толк. Неграмотные учатся в обязательном порядке, остальные — по желанию. Желаящие могут записываться уже сейчас, — ротный неровным движением вытер рот и махнул рукой, что в это нелёгкое для него утро обозначало команду “Вольно!”.

— Запишемся в школу — от работы освобождать будут? — выкрикнул кто-то, когда строй уже смешался и загудел.

— Школа начинается после работы, — ответил ротный негромко, но все услышали.

Кто-то презрительно хохотнул.

— А вам вместо работы школы подавай, шакалы? — вдруг заорал ротный, и всем сразу расхотелось смеяться.

С нарядами разбирались тут же — за столиками сидели нарядчики, распределяли, кого куда.

Пока Артём ждал своей очереди, Крапин прошёл к одному из столов — у Артёма от одного вида взводного зазудело в спине, как раз там, куда досталось дрынном.

Зуд не обманул — на обратном пути Крапин бросил Артёму:

— Привыкай к новому месту жительства. Скоро насовсем туда.

Василий Петрович, стоящий впереди, обернулся и вопросительно посмотрел на Артёма; тот пожал плечами. Меж лопатками у него скатилась капля пота. Левое колено крупно и гадко дрожало.

Нарядчик спросил фамилию Артёма и, подмигнув в тусклом свете “летучей мыши”, сказал:

— На кладбище тебе.

Авдей Сивцев всё искал очередь, которая записывается в школу. Никакой очереди не было.

* * *

Работа оказалось не самой трудной, зря пугался.

А они даже обнялись с Василием Петровичем на прощанье — тот, как и собирався, опять отправился по ягоды, захватив на этот раз Моисея Соломоновича.

— Артём... — начал торжественно Василий Петрович, держа его за плечи.

— Ладно, ладно, — отмахнулся тот, чтоб не раскиснуть совсем. — Хотел бы наказать Крапин — отправил бы на глиномялку... Узнаем сейчас, что за кладбище. Может, меня в певчие определили.

В Соловецком монастыре оставался один действующий храм — святого Онуфрия, что стоял на погосте. С тех пор как лагерь возглавил Эйхманис, там вновь разрешили проводить службы и любой зэка, имевший “сведение” — постоянный пропуск на выход за пределы монастыря, — мог их посещать.

— Певчие в Онуфриевской — да! В церквях Советской России таких не сыскать, — сказал Василий Петрович, разулыбавшись. — Моисей Соломонович и туда просился, Артём. Но там целая очередь уже выстроилась из оперных артистов. Такие баритоны и басы, ох...

Артёма направили, конечно, не в певчие, а на снос старого кладбища в другой стороне острова.

С ним в бригаде были Авдей Сивцев, чеченец Хасаев, казак Лажечников, представлявшийся всегда по имени-отчеству: “Тимофей Степаньч”, — что,

к слову сказать, вполне шло к его курчавой бороде и мохнатым бровям: “У такой бороды с бровями отчество быть обязано”, — говорил Василий Петрович по этому поводу Артёму в своей тёплой, совсем не саркастической манере.

— Пошто кресты-то ломать? — спросил Сивцев конвойного, когда дошли.

Вообще говорить с конвойными запрещалось, но запрет сплошь и рядом нарушался.

— Скотный двор тут будет, — сказал конвойный хмуро; по виду было не понять, шутит или открывает правду.

— И так монастырь переделали в скотный двор, по кладбищам пошли теперь, — сказал мужик негромко.

Конвойный смолчал и, присев на лавочку возле крайней могилки, вытащил папироску из портсигара.

“Наверняка у какого-нибудь местного бедолаги забрал”, — мельком подумал Артём.

Винтовки при охраннике не было — конвой часто ходил без оружия; а на многих работах охраны не было вообще. Конвойных набирали из бывших, угодивших в лагерь чекистов, — в основном, надо сказать, безусловной сволочи.

Говорили, что, если сложатся удобные обстоятельства, — и, естественно, при наличии оружия, — конвойный может убить заключённого, например, за грубость или если приглянулась какая-то вещь, вроде этого портсигара, а потом наврать что-нибудь про то, что “чуть не убёг, товарищ командир”.

Но Артём сам таких случаев не видел, в разговоры особенно не верил, к тому же дорогих вещей у него при себе не было, а бежать он не собирался. Некуда бежать: вся жизнь впереди, её не обгонишь.

Появился десятник, по дороге отвлекшийся на ягоды; в руке он держал один топор, а второй — под мышкой. Ещё издали заорал, плюясь недождёванной ягодой:

— Что стоим? На всю работу — один день! Чтоб к вечеру не было тут ни кладбища, ни крестов... ни надгробий! Всё стаскиваем в одну кучу! Пока не сделаем работу — отбоя не будет! Хоть до утра тут ковыряйтесь! Спать будете в могилах, а не уйдёте!

— Скелеты тоже вынать наружу? — спросил Сивцев.

— Я из тебя скелет выну наружу! — ещё громче заорал десятник.

— Ну-ка, за работу, трёханая ты лошадь! — нежданно гаркнул на Сивцева конвойный, векочив с лавки.

Тот шарахнулся, как от горячей головни, ухватился за подвернувшийся старый крест на могиле и повалился вместе с ним.

С этого и пошла работа.

“Кладбище так кладбище, — успокаивал себя Артём. — Дерево рубишь — оно хотя бы живое, а тут все умерли”.

Поначалу Артём считывал имена похороненных монахов, но через час память уже не справлялась. Зацепилась только одна дата — его рождения, но сто лет назад, в тот же день и тоже в мае. Дата смерти была — 1843-й, декабрь.

“Мало... — с усмешкой, то ли о покойном, то ли о себе, подумал Артём; и ещё подумал: — Что там у нас будет в 1943-м?”

Было солнечно; на солнце всегда вилось куда меньше гнуса.

Сначала Артём, потом чеченец, а следом Лажечников разделили по поясу. Один Сивцев так и остался в своей рубахе: как у большинства крестьян, шея его была выгоревшей, морщинистой, а видневшееся в ворота рубахи тело — белым.

Все понемногу вошли в раж: кресты выламывали с остервенением, если не поддавались — рубили, Сивцев ловко обходился со вверенным ему топором; ограды раскачивали и, если те не рушились, крушили и топтали. Надгробия сначала сносили в одно место и складывали бережно, будто они ещё могли пригодиться, и покойные потом бы их заново разобрали по могилам, разыскав свои имена.

— Извиняйте, потревожим, — приговаривал казак Лажечников, читая имена, — ...Елисей Савватьевич... Тихон Миронович... и вы извиняйте,

Пантелемон Иваныч... — но потом запыхался, залился потом, заткнулся. Через час всякий памятник уже раскурочивали без почтения и пощады, поднимали с криком, тащили, хрипло матерясь, и бросали, как упадёт.

Будто бы восторг святотатства отражался порой в лицах.

“Есть в том грех, нет? — снова рассеянно думал Артём, тяжело дыша и поминутно отирая лоб. — Когда бы я так лежал в земле — стало б мне обидно... что креста надо мной нет... а надгробный камень с моим именем... свален вперемешку... с остальными... далеко от могилы?”

Отвлёк от раздумий Сивцев — улучил минутку и, проходя мимо конвойного, сказал негромко:

— А про лошадей так нельзя, милок. На лошади весь крестьянский мир едет. Ты сам-то всю жизнь в городе, наверно? Родаки из фабричных?

— Чего? — не понял конвойный; Сивцев ушёл со своим обломанным деревянным крестом к общей куче, где их было под сотню, а то и больше.

— Ни мёртвым, ни живым... покоя большаки... не дают, — шептал мужик, которого молчание, похоже, томило больше всех.

Работу сделали неожиданно скоро — всех мёртвых победили на раз.

Кресты смотрелись жутковато: будто случилась большая драка меж косятых инвалидов.

Запалил костёр с одной стороны десятник, не отказавший себе в удовольствии, а с другой — чеченец, который потом всё яростней и яростней суетился возле огня, поправляя торопливо занявшееся дерево и закидывая то, что осыпалось к ногам, в самый жар.

Огонь был высок, сух, прям.

— Они уж в раю все, — сказал Сивцев про кресты, успокаивая даже не Артёма, а скорее себя. — Мёртвым кресты не нужны, кресты нужны живым, а для живых тут родни нету. Мы безродные теперь.

Когда догорело, десятник скучно осмотрел место бывшего кладбища. Делать было нечего на этой некрасиво разрытой, будто обмелевшей и обомлевшей земле. Разве что надгробные камни унести ещё дальше, побросать в воду или закопать, но такого приказа не поступало.

Артём вдруг болезненно почувствовал, что все мертвецы отныне и навек в земле — голые. Были прикрытые, а теперь — как дети без одеял в стылом доме.

“И что? — спросил себя. — Что с этим делать?”

Тряхнул головой и — забылся, забыл.

В кремль пошли засветло.

Чеченец внешне был привычно хмур, но внутренне чем-то будто бы возбуждён. Уже на подходе, когда сложенные из валунов монастырские стены начали доносить свой особый тяжёлый запах, вдруг твёрдо произнёс:

— Нам сказали б ломать своё кладбище — никто бы не тронул. Умер бы, а не тронул. А вы сломали.

— Врёшь, сука, — сразу скривил взбесившееся лицо побагровевший Лажечников.

— Сука это говорит, — ответил чеченец почти по слогам.

У Лажечникова так натянулась толстая, какая-то костяная жила на шее, что показалось: оборви её — и голова завалится набок. Он сделал шаг в сторону чеченца, заранее растопырив руки и раскрыв пальцы так, словно бы собирался чеченца пощекотать под бока, но конвойный крикнул: “Ну-ка!” — и толкнул Лажечникова в спину.

— В роте доскажем, — посулился чеченцу Лажечников.

Но минуту спустя не стерпел:

— Мы из терских. Когда вас, воров, давили — вы кладбища за собой не утаскивали, оставляли нам своих покойников, чтоб мы потоптали.

— Да, да, — согласился чеченец, и это его “да, да” прозвучало как вскрик какой-то крупной щетинистой птицы. — Вы так можете: сначала чужое кладбище потоптать, потом своё.

Лажечникова снова всего передёрнуло, он резко оглянулся, в напрасной надежде, что конвойный куда-то пропал, но нет, тот шёл, и лицо его было равнодушно.

— Ты, что ль, не слышишь, как тут христиан поносят? — спросил Лажечников в сердцах.

— Это ты у кого спросил про христиан? — коротко посмеялся чеченец, скосившись на конвойного. — Нету больше вашего Бога у вас! Какой это Бог, раз в него такая вера!

— Чеченцы тоже христианами были раньше, давно... — вдруг сказал Артём, очарованный в детстве повестями Бестужева-Марлинского и с разлёта перечитавший тогда всё, что нашёл о Кавказе.

Хасаев посмотрел на Артёма так, как смотрят на неожиданно влезшего в беседу старших ребёнка, и, смолчав, только подвигал челюстью.

Артём мысленно обругал себя: зачем влез, дурак.

“Ой, дурак, — повторял он, пока шли по монастырскому двору. — Ой, дурак, дурак, дурак, весь день дурак...”

Так часто повторял, что даже забыл, по какому поводу себя ругает.

В роте всем им выдали по пирожку с капустой за ударный труд.

— И не знаешь, что с им делать: прожевать или подавиться, — сказал Сивцев, хмурясь на пирожок, как если бы тот был живой; но всё-таки съел и собрал потом с колена крошки.

До ужина оставался ещё час, и Артём успел поспать, заметив, что в роте Лажечников и Хасаев как разошлись, так и не попытались договорить.

Лажечников перебирал своё изношенное тряпье на нарах так внимательно и придиричиво, как, наверное, смотрел у себя на Тереке конскую упряжь или рыболовные снасти, а чеченец негромко перешёптывался со своими; издали казалось, что они разговаривают даже не словами, а знаками, жестами, быстрыми оскалами рта.

* * *

Артёма растолкал Василий Петрович; тут же раздалось и пение Моисея Соломоновича про лесок да соловья — верно, наваял сбор ягод.

— Как я вам завидую, Артём, — такой крепкий сон, — говорил Василий Петрович, и голос у него был уютный, будто выплыл откуда-то из детства. — Даже непонятно, за что могли посадить молодого человека, спящего таким сном праведника в аду. Ужин, Артём, вставайте.

Артём открыл глаза и близко увидел улыбающееся лицо Василия Петровича и ещё ближе — его руку, которой он держался за край нар Артёма.

Поняв, что товарищ окончательно проснулся, Василий Петрович мигнул Артёму и присел к себе.

— Праведники, насколько я успел заметить, спят плохо, — нарочито медленно спускаясь с нар и одновременно потягивая мышцы, ответил Артём.

С аппетитом ужина поганой пшёнкой, Артём размышлял о Василии Петровиче, одновременно слушая его, привычно говорливого.

Сначала Василий Петрович расспросил, что за наряд был на кладбище, покачал головой: “Совсем сбесились, совсем...” Потом рассказал, что нашёл ягодные места и что Моисей Соломонович обманул — зрение на чернику у него отсутствовало напрочь; скорей всего, он вообще был подслеповат. “Ему надо бы по кооперативной части пойти...” — добавил Василий Петрович.

Артём вдруг понял, что казалось ему странным в Василии Петровиче. Да, умное, в чём-то даже сохранившее породу лицо, прищур, посадка головы, всегда чем-то озадаченный, разборчивый взгляд, но вместе с тем он имел сухие, цепкие руки, густо покрытые белым волосом, притом что сам Василий Петрович был едва седой.

Артём неосознанно запомнил эти руки, ещё когда собирали ягоды: пальцы Василия Петровича обладали той странной уверенностью движений, что в некоторых случаях свойственна слепым, когда они наверняка знают, что вокруг.

“Руки словно бы другого человека”, — думал Артём, хлебной корочкой с копейку величиной протирая миску. Хлеб выдавался сразу на неделю, у Артёма ещё было фунта два — он научился его беречь, чтоб хватало хотя бы до вечера субботы.

— Вы знаете, Артём, а когда я только сюда попал, условия были чуть иные, — рассказывал Василий Петрович. — До Эйхманиса здесь заправлял другой начальник лагеря, по фамилии Ногтев, — редкая, даже среди чекистов, рентилия. Каждый этап он встречал сам и лично при входе в монастырь убивал одного человека из револьвера: баме! — и смеялся. Чаще всего священника или каэра выбирал. Чтоб все знали с первых шагов, что *власть тут не советская, а соловецкая* — это была частая его присказка. Эйхманис так не говорит, заметьте, и уж тем более не стреляет по новым этапам. Но что касается пайка — тогда ещё случались удивительные штуки. Когда северный фронт Белой армии бежал, они оставили тут большие запасы: сахар в кубиках, американское сало, какие-то невиданные консервы. Не скажу, что нас этим перекармливали, но иногда на слот кое-что перепало. В тот год тут ещё жили политические — эсдэки, эсеры и прочие анархисты, разошедшиеся с большевиками в деталях, но согласные по сути, — так вот их кормили вообще, как комиссарских детей. И они, кроме всего прочего, вовсе не работали. Зимой катались на коньках, летом качались в шезлонгах и спорили, спорили, спорили... Теперь, верно, рассказывают про своё страшное соловецкое прошлое, а они и Соловков-то не видели, Артём.

В котомке за спиной Василий Петрович принёс грибов, которые, видимо, собрался сушить, а в собственноручно и крепко сшитом мешочке на груди приберёт немного ягод. Присев, некоторое время раскачивал мешочком так, чтоб было заметно из-под нар. Вскоре появились две грязные руки, сложенные ковшиком, — туда и чмокнула смятая ягодная кашица. Ногти на руках были выдающиеся.

— А я ведь ни разу не видел его лица, — вдруг сказал Артём, кивнув на руки беспризорника, которые тут же исчезли.

— А пойдёмте на воздух, погуляем по монастырю, — предложил Василий Петрович, помолчав. — Сегодня у них театр — во дворе не таклюдно, как обычно. К тому же у меня есть одно неприятнейшее дельце.

Артём с удовольствием согласился.

Возле мраморной часовенки для водосвятия стояли две старинные пушки на лафетах. Артёму почему-то они часто снились, и это был пугающий, болезненный сон. Более того, Артём был отчего-то уверен, что впервые видел этот сон с пушками ещё до Соловков.

Они дошли до сквера между Святительским и Благовещенским корпусами. Артём был не совсем сыт и не очень выспался, но всё-таки поспал, всё-таки поел горячего, и оттого, по-юношески позёвывая, чувствовал себя почти довольным. Василий Петрович, всегда размышляющий о чём-то неслучайном и нужном, торопился чуть впереди; был он в своей неизменной даже летом кепке английского образца — похоже, стеснялся лысеющей головы.

Стоял пресветлый вечер, воздух был пышен, небо насыщено и старательно раскрашено, но за этими тихими красками будто бы чувствовался купол, некая невидимая твердь.

“В такое небо можно, как в колокол, бить”, — сказал как-то Афанасьев.

С запада клоками подгоняло мрачную тучу, но она была ещё далека.

“Как за бороду в ад, тащат эту тучу”, — подумал Артём, намеренно подражая Афанасьеву, и про себя улыбнулся, что недурно получилось: может, стихи начать писать? Он — да, любил стихи, только никогда и никому об этом не говорил: а зачем?

В сквере стояли или прогуливались несколько православных священников, почти все были в старых латаных и перелатанных рясах, но без наперсных крестов; один — в красноармейском шлеме со споротой звездой: на подобные вещи давно никто не обращал внимания, каждый носил, что было. Василий Петрович кивком обратил внимание Артёма на то, что отдельно на лавочке сидят ксёндзы, сосредоточенные и чуть надменные.

— Как я заметил, вы замечательно скоро вписались в соловецкую жизнь, Артём, — говорил Василий Петрович. — Вас даже клопы как-то не особо заедают, — посмеялся он, но тут же продолжил серьёзно:

— Лишних вопросов не задаёте. Разговариваете мало и по делу. Не грубы и не глупы. Здесь многие в первые же три месяца опускаются: либо ста-

новятся фитилями, либо идут в стукачи, либо попадают в услужение к блатным, и я даже не знаю, что хуже. Вы же, я наблюдаю, ничего особенного не предпринимаемая, миновали все эти угрозы, будто бы их и не было. Труд вам пока даётся — вы к нему приспособлены, что редкость для человека с умом и соображением. Ничего не принимаете близко к сердцу — и это тоже завидное качество. Вы очень живучи, как я погляжу. Вы задуманы на долгую жизнь. Не будете совершать ошибок — всё у вас сложится.

Артём внимательно посмотрел на Василия Петровича; ему было приятно всё это слышать, но в меру, в меру приятно. Тем более что Артём знал в себе дурацкие, злые, сложно объяснимые замашки, а Василий Петрович — ещё нет.

— Здесь много драк, склок, — продолжал тот, — вы же, как я заметил, со всеми вполне приветливы, а к вам все в должной мере равнодушны.

— Не все, — сказал Артём.

— Ну да, ну да, Крапин. Но, может, это случайность?

Артём пожал плечами, думая про то, как всё странно, если не сказать — диковато: извлечённый из своей жизни, как из утробы, он попал на остров; если тут не край света, то край страны точно; его охраняет конвой; если он поведёт себя как-то не так, его могут убить; и вместе с тем он гуляет в сквере и разговаривает в той тональности, как если бы ему предстояло сейчас вернуться домой, к матери.

— На моей памяти он никому особенно не навредил, — продолжал Василий Петрович про Крапина. — Вот если с ротным у вас пойдёт всё не так — тогда беда, беда! Кучерава — ящер. Впрочем, вас обязательно переведут куда-нибудь в роту полегче, в канцелярию... Будет у вас своя келья — в гости меня тогда позовёте, чаю попить.

— Василий Петрович, — поинтересовался Артём, — а что же вы до сих пор не сделали ничего, чтоб перебраться подальше от общих работ? Это ж, как вы говорите, главный закон для любого сидельца, собирающегося пережить Соловки, — а сами? Вы ж наверняка много чего умеете, кроме ягод.

Василий Петрович быстро посмотрел на Артёма и, убрав руки за спину, ответил:

— Да я здесь как-то прижился уже. Зачем мне другая рота? Моя рота — это лес. Вот вам маленькая наука: всегда старайтесь выбрать работу, куда берут меньше людей. Она проще. Тем более что у меня вторая категория — деревья валить не пошлют. Так что куда мне торопиться, досижу своё так. Я в детстве бывал капризен — здесь отличное место, чтоб смириться.

Звучало не совсем убедительно, но Артём, иронично глянув раз и ещё раз на Василия Петровича, ничего не сказал, благо что тот быстро перевёл разговор на другую тему:

— Обратите внимание, например, на этих собеседников. Знаете, кто это? Замечательные люди! На улицах Москвы и Петрограда вы таких запросто не встретите. Только на Соловках! Слева, значит, Сергей Львович Брусиллов — племянник генерала Брусилова, того самого, что едва не выиграл Вторую Отечественную войну, а потом отказался драться против большевиков. Сергей Львович, если меня не ввели в заблуждение, капитан Балтийского флота — то есть был им. Но и здесь тоже имеет некоторое отношение к местной флотилии, соловецкой. Беседует он с господином Виоляром... Виоляр — ещё более редкая птица: он мексиканский консул в Египте.

— Заблудился по дороге из Америки в Африку и попал на Соловки?

— Примерно так! Причём заблудился, завернув в Тифлис, — улыбнулся Василий Петрович. — У него жена — русская, а точнее, грузинка. Если совсем точно — грузинская княжна, восхитительная красавица, только немного тонковата, на мой вкус...

— Откуда вы знаете? — с неожиданным любопытством поинтересовался Артём.

— Слушайте, Артём! — Василий Петрович мягко поднял свою седую руку, будто бы останавливая собеседника в его поспешности. — Не так давно господин Виоляр решил заехать на родину своей жены, погостить, отведать грузинской кухни и прочее. Вместо этого он был арестован тифлисским ГПУ

и препровождён сюда. Надо бы у нашего ротного поинтересоваться, в чём там дело, но я стараюсь лишний раз с нашим Кучеровой не сталкиваться.

— А жена? — так и не дождавшись объяснений, спросил Артём.

— А жена тоже здесь, — уже шёпотом продолжил Василий Петрович, потому что они приближались к спокойно и с безусловным достоинством внимающему собеседнику Брусилу и активно жестикулирующему Виоляру; беседа шла по-английски. — Но она, естественно, в женбараке.

На минуту, пока проходили мимо этой пары, они замолчали.

— А вот тот, кого я ищу, — обрадовался Василий Петрович. — Владычка обещал нам сметанки с лучком.

Артём успел подумать, какое хорошее слово — “владычка”, — но упоминание сметанки с лучком действовало ещё сильнее, и в одно мгновение он почувствовал, что рот его полон слюной, даже самому смешно стало, как это не по-человечески, будто он собака какая-то.

— Отец Иоанн! — сказал Василий Петрович.

Им навстречу, улыбаясь, шёл высокий человек в рясе, с окладистой расчёсанной рыжеватой бородою, с длинными, чуть вьющимися и не очень чистыми волосами. Он был явно не молод, но, пожалуй, ещё красив: тонкая, немного изогнутая линия носа, маленькие уши, чуть впалые щёки, не очень заметные брови, добрый прищур светлых глаз.

Василий Петрович поклонился, отец Иоанн быстрым движением перекрестил его темя и подал худощавую веснушчатую руку для поцелуя.

В этом движении, заметил Артём, который в церковь не ходил по стихийному неверию, напрочь отсутствовал даже намёк на унижение человеческого достоинства, но имелось что-то ровно противоположное, возвышавшее как раз Василия Петровича.

Артём с тёплым удивлением поймал себя на мысли, что тоже хотел бы поцеловать эту руку, и помешала ему даже не гордость, а страх сделать это как-то неправильно. Он остался стоять чуть поодаль, но отец Иоанн поприветствовал и его, ласково кивнув, и в этом жесте не было никакого посыла, который оскорбил бы Артёма; то есть священник не говорил ему: ничего, что ты не подошёл под благословение, я понимаю, как это трудно, да и опасно в наши нелёгкие дни. Нет, священник поприветствовал его так, словно бы ничего вообще не случилось, и он, безусловно, рад встретит Артёма, который наверняка хороший и добрый молодой человек.

— Как вы, отец Иоанн? — спросил Василий Петрович.

— Милостию Божией здоров, — ответил тот очень серьёзно и продолжил, говоря будто бы и не о своём теле, а о чём-то отдельном от него, за чем он забавным образом приставлен наблюдать. — Все члены работают без отказа и без муки. На колене вспухла какая-то зараза, но, Бог даст, сойдёт сама. А то, что на сердце иногда холодок, — так зиму в сердце пережить проще, чем зиму соловейку. Сердце, если ищет, найдёт себе приют в любви распятого за нас, а когда ноги босые и стынет поясница — тут далеко не убежишь...

Отец Иоанн засмеялся, Василий Петрович подхватил смех, и Артём тоже улыбнулся — не столько словам, сколько очарованию, исходящему от каждого слова владычки.

— Но надо помнить, милые, — говоря это, чуть прихрамывающий владычка Иоанн посмотрел на Артёма, пошедшего справа, и тут же на мгновение обратил взор к идущему слева Василию Петровичу, — адовы силы и советская власть — не всегда одно и то же. Мы боремся не против людей, а против зла нематериального и духов его. В жизни при власти Советов не может быть зла, если не требуется отказа от веры. Ты обязан защищать святую Русь — оттого, что Русь никуда не делась: вот она лежит под нами и греется нашей слабой заботой. Лишь бы не забыть нам самое слово: русский, а всё иное — земная суета. Вы можете пойти в колхоз или в коммуны — что ж в том дурного? Главное — не порочьте Христа имени. Есть начальник лагеря, есть начальник страны, а есть начальник жизни — и у каждого своя работа и своя нелёгкая задача. Начальник лагеря может и не знать про начальника жизни, хоть у него сто чекистов и полк охраны в помощниках, информационный отдел, глиномялка и секирка за пазухой,

зато начальник жизни помнит про всех, и про нас с вами тоже. Не ропщите, терпите до конца — безропотным перенесением скорбей мы идём в объятия начальнику жизни, его ласка будет несравненно чище и светлее всех земных благ, таких скороспелых, таких нелепых.

Артём внимал каждому сказанному отцом Иоанном слову: его успокаивала не какая-то вдруг открывшаяся веская правда, а сама словесная вязь.

Единственное, что отвлекло его, — так это прошедший мимо негр: губастый, замечательно чёрный, высокий; он улыбнулся Артёму, показав отличные зубы, причем одного переднего не было.

— Дела и заботы снедают нас, — говорил отец Иоанн, сладко, как от солнца, щурясь. — Тому из заключённых, кто здесь прибился к канцелярскому столу, как к плоту в море, — проще. Тому, кто кривляется на театральных подмостках, — им тоже легче, их кормят за любимое дело. А кому выпали общие работы — куда как тягостней. Наше длинноволосое племя, — тут отец Иоанн потрянул своей чуть развевающейся гривой и тихонько засмеялся, — принято в заведующие и сторожа, оттого что не имеет привычки к воровству. Не всем так пособляет, спору нет! К тому же многие из попавших сюда страдальцев ещё и не берегут своих братьев по несчастью, но, напротив, наносят лишние бремена на таких же слабых и униженных, как они. И мыкается, не затухая, искра Христова то в стукаче, то в фитиле, то в заключённом в карцер. Но какие бы ни были заботы у нас, помните, что ещё до своего рождения он возвещал нам через пророка Исаяю: “На кого взрзю? Только на кроткаго и молчаливаго!” Ступайте по жизни твёрдо, но испытывайте непрестанные кротость и благоговение пред Тем, Кто неизбежно подаст всем служившим Ему Свою благодатную помощь!

Артём отвернулся в сторону, пока Василий Петрович угощал владычку Иоанна ягодами, а тот, в свою очередь, передал ему свой свёрток.

Обратно шли едва ли не навеселе, вели спотыкливый разговор и сами спотыкались, полные смешливой, почти мальчишеской радости. Даже привязчивые, проносящиеся над головой крикливые чайки не портили настроения.

Встретили женщину — ещё *вполне ничего*: лет сорока, в шали, в сносных ботинках, в мужских штанах и мужском пиджаке, который она держала запахнутым на груди. Артём разглядывал её, пока не разминулись.

Над главными воротами крепили огромный плакат с надписью: “Мы новый путь земле укажем. Владыкой мира будет труд!”.

— А ведь это наше общение ему наваяло... — сказал Василий Петрович, имея в виду Эйхманиса. — Про монахов, которые спасались в труде! А?

— Думаете? — ответил Артём. — Едва ли...

Навстречу им попался Моисей Соломонович, который поначалу шёл молча, но за несколько шагов до Артёма и Василия Петровича вдруг запел — без слов, словно слова ещё не нашлись, а музыка уже возникла.

Они улыбнулись друг другу и разошлись — не подвевая же.

— Клянусь вам, — прошептал Артём Василию Петровичу, — он чувствует пищу! В присутствии съестного он начинает петь!

— С чего вы взяли? — спросил Василий Петрович, но пакет перехватил покрепче.

Дорожки внутри монастыря были посыпаны песком, повсюду стояли клумбы с розами, присматривать за которыми были определены несколько заключённых. Артём иногда на разные лады представлял себе примерно такой разговор: “На Словецкой каторге был? Чем занимался? — Редкие сорта роз высаживал! — О, проклятое большевистское иго!”

На одной из центральных клумб был выложен слон из белых камней.

СЛОН означал: “Словецкие лагеря особого назначения”.

* * *

Чтоб не возбуждать блатных в роте своим пиршеством, ни с кем не делиться и не потворствовать певческому вдохновению Моисея Соломоновича, Василий Петрович предложил чудесный план ужина: в келье одного своего знакомого из белогвардейцев.

— Бурцев присоединится, у них тоже имеется для нас угощение — устроим пир, — Василий Петрович был взбудоражен и возбуждён, как перед свиданием. — Нет ли сегодня какого-нибудь праздника, Артём? Желательно не большевистского? — спросил он, наклонившись к Артёму, и, отстранившись, обаятельнейшим образом подмигнул ему.

В понимании Артёма Василий Петрович представлял собой почти идеальный тип русского интеллигента, который неизвестно, выживет ли ещё в Советской России: незлобивый, либеральный... с мягким юмором... Единственным ругательным словом у него было непонятное “шморгонцы”... Слегка наивный и чуть склонный к сентиментальности, но притом обладающий врождённым чувством собственного достоинства.

Их ничем особенно не объяснимое товарищество случилось при, ну, не самых обычных обстоятельствах.

Ещё будучи в тринадцатой роте, Артём получил первую посылку от матери.

Он уже не однажды был свидетелем, как блатные отбирают у заключённых принесённые в роту продукты или вещи и, сумрачно раздумывая, как быть, по пути в роту откусывал и глотал огромными кусками присланную из дома конскую колбасу.

Тут и объявился впервые перед Артёмом Василий Петрович: двенадцатая и тринадцатая роты соседствовали, располагаясь в разных помещениях одного и того же храма.

— Вижу ваше сомнение, молодой человек, — представившись, сказал он, то ли смущаясь своей роли, то ли играя это смущение. — Вы ведь из карантинной? Часть вашего этапа блатные раздели ещё по дороге, в трюмах парохода “Глеб Боккий”. Остальных раздевают и обедают уже в роте. Я тоже через всё это прошёл в своё время. У меня есть к вам простое предложение. Доказать честность своих намерений мне сложно, а то и невозможно: целовать крест в наши дни — не самый убедительный поступок, и честное большевистское я вам дать не могу, поскольку не большевик. Но я знаю, как вам уберечь эту посылку. Выслушаете?

Артём подумал и кивнул, прижав к себе чуть покрепче мешок, в который пересыпали материнские гостинцы.

— Если вы передадите посылку в мои руки, я, в свою очередь, спрячу её у своего доброго знакомого — владыки Петра, заведующего каптёркой первого отделения. И он сохранит ваши продукты в целости. Обратившись ко мне, вы сможете забирать оттуда нужное вам частями, каждый вечер, после ужина и до вечерней поверки.

Артём некоторое время разглядывал своего нового знакомца и неожиданно решил ему довериться.

— Что я вам буду за это должен? — только спросил Артём.

— Уж сочтётся как-нибудь, — ответил Василий Петрович смиренно.

Не откладывая, на другой же день Артём после ужина нашёл Василия Петровича. Награды тот не требовал, но Артём, естественно, угостил его воблой. Тем более что в посылку, похоже, никто не проникал: если колбасу Артём догрыз в первый же день, то сухую воблу пересчитал, а мешочки с сахаром и с сухофруктами перевязал своим узлом и точно заметил бы, что теперь завязано иначе.

В тот раз они и разговорились подробно.

Артём, конечно, мог предположить, что Василий Петрович поддерживает с ним отношения в ожидании следующей посылки, но человеческое чувство старательно убеждало его, что дело обстоит иначе: здесь, думал он, имеет место простая человеческая приязнь, потому что отчего ж к Артёму и не относиться хорошо: он и сам к себе неплохо относился...

“Тем более, что всем тут надо жить, — так завершил свои рефлексии по этому поводу Артём. — Разве интеллигент — это тот, кто первым должен подохнуть?”

Потом Артёма перевели из карантинной в двенадцатую, в тот же день по досрочному освобождению ушёл бытовик, спавший выше ярусом над Василием Петровичем, и Артём занял его место.

Очередную посылку он снова припрятал через Василия Петровича, поделившись с ним и в этот раз.

Когда бродили за ягодами, Василий Петрович в минуту роздыха вкратце рассказал Артёму историю о том, как угодил на Соловки.

В 1924 году по старым ещё знакомствам Василий Петрович несколько раз попадал на вечеринки во французское посольство: недавнее полуголодное прошлое военного коммунизма приучило всех наедаться впрок, а французы хоть чуток, а кормили.

“Накрывают красиво, а съесть нечего”, — сетовал Василий Петрович.

Раз ходил, два, а в третий на обратном пути его попросили сесть в машину и увезли в ОГПУ. Определили как французского шпиона, хотя следствие было из рук вон глупое и доказать ничего не могли совершенно.

— Позорище! — горячился Василий Петрович, однако результат был всеким: статья 58-я, часть 6 — шпионаж.

— А у вас что? — спросил тогда Василий Петрович, потирая руки так, словно Артём собирался угостить его, к примеру, варёной картошечкой.

— У чужой бабы простоквашу выпил — заработал кнута и Сибирь, — отмахнулся Артём.

— Артём, мне всё равно, но вы должны знать, что здесь так не принято, — с несколько деланой строгостью, в манере хорошего учителя сказал Василий Петрович. — Если вас спросят, к примеру, блатные, за что угодили на Соловки, — придётся ответить. Потом, разве вы не рассказывали о своей статье на следствии, когда сидели в камере? В камере сложно смолчать — могут подумать, что вы посаженный.

— Глупость, — сказал Артём. — Как раз посаженный научен красиво врать.

— Неужели вы бытовик? — всё не унимался Василий Петрович. — А вид у вас, как у законченного каэра! Не верю, что вы способны украсть!

Артём, усмехаясь, покивал, но так ничего и не ответил. Шёл неоглядой, жил неоглядой, задорный, ветреный. Надолила судьба — живу теперь в непопаде. Главное — никогда не вспоминать про отца, а то стыд съест и душа надорвётся.

— ...Да и общаетесь с каэрами по большей части, — продолжал Василий Петрович, поглядывая на Артёма.

— Я общаюсь с нормальными людьми, — ответил тот, потому что от него ждали хоть какого-нибудь ответа.

— А как нормальный человек относится к большевикам? — неожиданно спросил Василий Петрович.

— У меня младший брат — пионер и очень бережёт свой красный галстук. А мне нет до большевиков никакого дела. Случились и случились. Пусть будут, — выкладывая слово за словом продуманно, то есть в несвоейственной ему манере, ответил Артём.

* * *

Пока Василий Петрович нарезал лучок, Артём осматривал келью.

Он был откровенно удивлён.

Высокие белёные потолки. Дощатые, не так давно крашенные в коричневый цвет полы. Вымытое окно почти в человеческий рост. Всего две лежанки. Одна не застелена — на ней доски. Зато на другой — покрывало с тигром, видна белоснежная простыня, подушка взбита и, кажется, ароматна. Над кроватью — полочка с книгами: несколько английских романов, Расин, некто Леонов с заложенным неподалёку от начала сочинением “Вор”, Достоевский, Мережковский, Блок, которого Артём немедленно схватил и раскрыл с таким чувством, словно там было письмо лично ему.

Прочёл несколько строк — закрыл глаза, проверил, помнит ли, как там дальше, — помнил; бережно поставил томик на место.

Стол был покрыт скатертью, на столе — электрическая лампочка с расписанным акварелью абажуром, в углу — иконка с лампадкой, на гвоздике серебряный крест — Артём коснулся его и чуть качнул.

В нише окна размещались фотография женщины и фарфоровая собачка — белая в чёрных пятнах, с закрученным хвостиком, надломленным на самом кончике.

“А так и в лагере можно жить... — подумал Артём. — Потом ещё будешь вспоминать об этом...”

— Да, Артём, да, так можно жить даже в лагере, — подтвердил Василий Петрович.

Артём никогда бы не поверил, что мог произнести последнюю фразу вслух, — он был молодым человеком, несколько не склонным к склерозу, — однако на мгновение всё же смешался.

— Ну, да, — сказал он, справившись с собою. — Догадаться несложно. А что Бурцев? Где он?

Василий Петрович, не отвечая, по-хозяйски взял плошку из самодельного шкафа, вылил туда сметанку.

Изучив убранство кельи, Артём уселся на крепкую табуретку меж столом и окошком, стараясь не смотреть, как Василий Петрович ножом ссыпал лучок в плошку и начал всё это большой ложкой размешивать, изредка посыпая солью, — о, как хотелось эту ложку облизать!

Артём взял фарфоровую собачку, повертел её в руках и аккуратно провёл пальцем по линии надлома на хвостике, глотая непрестанно набегавшую слюну.

— Ах, Артём, как я любил кормить свою собаку, — Василий Петрович выпрямился и, лирически шмыгнув носом, вытер глаз кулаком. — Я ведь не охотник совсем, я больше... для виду. Ружьишко на плечо — и в лесок. Увижу какую птицу, векину ствол — она испугается, взлетит, а я ругаюсь: “Ах, чёрт! Чёрт поberi, Фет”, — я собаку назвал Фетом, в шутку или из любви к Фету, уж и не знаю, чего тут было больше... У Мезерницкого вроде бы имелся Фет? — Василий Петрович быстро глянул в сторону книжной полки и тут же забыл, зачем смотрел.

Он говорил, как обычно, прыгая с пятого на десятое, но Артём всё понимал — чего там было не понять.

— Ругаюсь на собаку так, — рассказывал Василий Петрович, — как будто всерьёз собирался выстрелить. И Фет мой, по морде видно, тоже вроде как огорчён, спереживает мне. В другой раз я, учёный, ствол уже ме-е-едленно поднимаю. Фет тоже притаится и — весь в ожидании! А я смотрю на эту птицу, и, знаете, никаких сил нет спустить курок. Честно говоря, я и ружьё-то, как правило, не заряжал. Но когда поднимаешь ствол вверх и прицеливаешься — всё равно кажется, что оно заряжено. И так жутко на душе, такой трепет...

Артём поставил собачку на место и взял портрет женщины, не столько разглядывая её сомнительную прелесть — (“...Мать, что ли?” — подумал он мельком), — сколько пытаюсь стеклом уловить последние лучи солнца и пустить “зайчика” по стене.

— И длится это, быть может, минуту, но скорей — меньше, потому что минуту на весу ружьё тяжело удерживать. И Фет, конечно, не вытерпит и ка-а-ак залает. То ли на меня, то ли на птицу — уж не знаю, на кого. Птица опять взлетает... А я смеюсь, и так хорошо на душе. Словно я эту птицу отпустил на волю.

“Пошлятина какая-то...” — подумал Артём без раздражения, время от времени поднимая глаза и с улыбкой кивая Василию Петровичу.

— И вот мы возвращаемся домой, — между тем, рассказывал тот, — голодные, по своей тропинке, чтоб деревенские не видели, что я опять без добычи, хотя они и так знали всегда... И Надя нам уже приготовила ужин: и мне что-нибудь сочинила, и Фету из вчерашних обедков... — здесь Василий Петрович вдруг поперхнулся и несколько секунд молчал. — А я ему тоже в его плошку отолью вчерашних щец, хлебушка покрошу и даже, к примеру, жареной печёнки не пожалею, а сверху ещё яичко разобью — он, знаете, любил сырые яйца почему-то... И вот вынесу ему эту плошку, он сидит, ждёт... Поставлю перед ним — сидит, смотрит... Он будто бы стеснялся при мне есть. Или какое-то другое чувство испытывал, быть может. Я отойду по-

далее, говорю: “Ешь, милый, ешь!” И он, словно нехотя, словно бы в первый раз начинает обходить эту плошку с разных сторон и обнюхивать её.

Артём снова проглотил слюну: если бы вздумал открыть рот — так и плеснуло бы на скатерть.

“Странно, что это никогда не приходило мне в голову, — быстро даже не подумал, а скорее представил себе Артём. — Наверняка это очень вкусно: борщ, сверху насыпать жареной печёнки, наломать хлеба и умять его ложкой, так, чтобы борщ пропитал этот хлеб... И сверху разбить два или лучше три куриных яйца, чтоб они так неловко разлились по хлебу, кое-где смешавшись с борщом, но сам желток всё равно оставался на поверхности... И с минуту принюхиваться к этому, а потом вдруг броситься есть, глотать кусками эту печёнку с капустой, хлеб с яйцом...”

— Артём, вы слушаете? — окликнул его Василий Петрович.

— К чёрту бы вас, — с трудом ответил Артём. — Давайте есть скорей. Где наши хозяева? Как вы сказали — Мезерницкий?

* * *

Первым пришёл Бурцев. Он кивнул Артёму, как доброму знакомому, хотя, странная вещь, за полтора месяца они не перекинулись и несколькими словами — всё как-то не приходилось.

Но эта обустроенная келья разом сблизжала тех, кто попадал сюда: они чувствовали себя как бы избранными и приобщёнными — к чистой пище, к выметенному и свежевывытому полу, к сияющей подушке, к чистой скатерти и фарфоровой собачке.

Бурцев, — это Артём знал по рассказам Василия Петровича, — после гражданской работал в варьете, потом где-то на административной должности. Обстоятельства своего ареста он не особенно раскрывал.

По большей части он помалкивал; если выпадало время — почитывал что-то незатейливое из монастырской библиотеки, но Артём успел заметить и удивиться, что, если в присутствии Бурцева заходила речь о чём-то любопытном или кто-то рисковал обратиться непосредственно к нему, он несколько раз поддерживал разговоры на самые разные темы: от хореографического искусства Дункан и отличий Арктики от Антарктики до писем Константина Леонтьева к Соловьёву и очевидных преимуществ Брюсова перед Бальмонтом — эту тему, естественно, Афанасьев затеял. В последний раз Бурцев подивил Василия Петровича неожиданными знаниями о ягодах и охоте, сообщив, что там, где растёт морошка, стоит охотиться на белую куропатку, а где брусника — искать глухаря; хотя неподалёку от брусники можно встретить и медведя. Василий Петрович так искренне смеялся вполне серьёзному замечанию про медведя, что Бурцев имел все шансы попасть в ягодную бригаду, но он сам не захотел.

Находившийся рядом Сивцев, заслышав разговор, вдруг вспомнил, как на фронте видал медведя, приученного артиллерийской ротой подавать снаряды, но его по ягоды Василий Петрович не взял; да и Бурцев тему о медведе не продолжил.

Втайне прислушиваясь к неспешной речи Бурцева, Артём уяснил для себя, что морошка созревает наоборот: из красной в янтарно-жёлтую, и мужские цветки у неё дают больше ягод, чем женские, а брусника может пережить иной дуб, потому что живёт триста лет.

Про Брюсова и Бальмонта Артёму было бы ещё любопытнее, чем про ягоды: Бальмонт был единственным поэтом, приятным его матери; однако к Бурцеву он до сих пор так и не решился подойти. Всё это казалось нелепым — поест трески и после, прогуливаясь вдоль нар, вдруг поинтересоваться: вот вы здесь накануне вели речь о символистах...

Притом что, в сущности, Бурцев казался неплохим человеком; и при некоторой своей внешней отчуждённости и хмурости на днях даже подпел Моисею Соломоновичу одну еврейскую песню, так что сам Моисей Соломонович замолчал от удивления.

— Мезерницкий уже идёт, велел накрывать на стол, — сказал Бурцев. — Где тут у него...

Бурцев открыл деревянный крашенный ящик возле окна — Артём сразу ощутил запах съестного.

— У нас сегодня шпик с белым хлебом, — сказал Бурцев просто.

— Вы ведь неплохо знаете друг друга? — спрашивал тем временем Василий Петрович то ли Бурцева, имея в виду Артёма, то ли наоборот: в итоге они оба ещё раз со спокойной симпатией встретились глазами, и в этом кратком взгляде содержалась и молодая тёплая ирония по отношению к суетливому старшему товарищу, и сама собой разумеющаяся договорённость о том, что объяснять Василию Петровичу причины их не очень близкого знакомства незачем, тем более что они никому не известны: так получилось.

— Это Артём, — не уловивший их перегляда, продолжал Василий Петрович. — Добрый, щедрый и сильный молодой человек, ко всему прочему, отличный грузчик, тайный ценитель поэзии и просто умница; вы сойдётесь!

Артём, всё время представления смотревший в стол, скептически пожевал пустым ртом, но на Василия Петровича всё это мало действовало.

— Наши Соловки — странное место! — говорил он. — Это самая странная тюрьма в мире! Более того: мы вот думаем, что мир огромен и удивителен, полон тайн и очарования, ужаса и прелести, но у нас есть некоторые резоны предположить, что вот сегодня, в эти дни, Соловки являются самым необычным местом, известным человечеству. Ничего не поддаётся объяснению! Вы, Артём, знаете, что зимой на лесоповале здесь однажды оставили за невыполнение урока тридцать человек в лесу — и все они замёрзли? Что трёх беспризорников, убивших и сожравших одну соловецкую чайку, с ведома Эйхманиса поставили “на комарика”, привязав голыми к деревьям? Беспризорников, конечно, вскоре отвязали, они выжили, но у них на всю жизнь остались чёрные пятна от укусов. О, наш начальник лагеря очень любит флору и фауну. Знаете, что здесь организована биостанция, которая изучает глубины Белого моря? Что по решению Эйхманиса лагерники успешно разводят ньюфаундлендскую ондатру, песцов, шиншилловых кроликов, чёрно-бурых лисиц, красных лисиц и лисиц серебристых, канадских? Что здесь есть своя метеорологическая станция? В лагере, Артём! На которой тоже работают заключённые!

Артём пожал плечами — он был не слишком удивлён, ему было почти всё равно: комарики, лисицы, метеостанция... Вот сметанка с лучком!

— Хорошо, а вы знаете, — сказал Василий Петрович, — что в бывшей Петроградской гостинице, которая за Управлением, на первом этаже живут соловецкие монахи из числа вольнонаёмных, а на втором — чекисты. И — дружат! Ходят друг другу в гости!

— Так белые люди приплывали в новую землю и поначалу ходили в гости к аборигенам, а потом, если те не изъявляли желания креститься и делиться золотом, жгли их селения и травили собаками... которых, надо сказать, индейцы никогда не видели — представьте ужас этих дикарей! — сказал Бурцев, вовсе без злобы и с явным удовольствием нарезая шпик тончайшими лепестками; на последних словах он поднял голову и улыбнулся кому-то, тихо вошедшему в келью и ставшему за спиной Артёма.

Это и был Мезерницкий. Он быстро кивнул Артёму, давая понять: сидите, сидите, — и тут же, похотавывая, подхватил разговор:

— Разница только в том, что те не хотели начинать креститься, а наши монахи — не хотят прекращать.

— Господин Мезерницкий, разве это повод для шуток?! — всплеснул руками Василий Петрович.

— Товарищ Мезерницкий, — поправил тот. — Музыкант духового оркестра Мезерницкий, имею честь! — и, без перехода, повёл речь дальше:

— Хорошо, вот вам другой пример! Василий Петрович наверняка завёл тему о парадоксах Соловков... Не кажется ли вам забавным, что в стране победившего большевизма в первом же организованном государством концлагере половину административных должностей занимают главные враги коммунистов — белогвардейские офицеры? А епископы и архиепископы, сплошь

и рядом подозреваемые в антисоветской деятельности, сторожат большевистское и лагерное имущество! И даже я, поручик Мезерницкий, играю для них на трубе — просто по той причине, что сами они этому не обучены, но готовы исключительно за это умение освободить меня от общих работ. Знаете, что я вам скажу? Я скажу, что борьба против советской власти бессмысленна. Они сами не могут ничего! Постепенно, шаг за шагом, мы заменим их везде и всюду — от театральных подмостков до Кремля.

Бурцев со значением посмотрел на дверь, а Мезерницкий только махнул рукой:

— Ерунда! Не далее как вчера я это говорил Эйхманису лично.

— Говорил или не говорил — дело твоё, суть в том, что всё это легкомысленно, — ответил Бурцев без раздражения и даже с улыбкой. — Ты тут уже три года, друг мой, и оторвался от реальности. Тебе видней, что там с духовыми, а с хозяйством они понемногу учатся справляться...

— Не знаю, не знаю, — прервал Мезерницкий, которому куда больше нравилось говорить самому. — Обратите внимание, милые гости: на общих работах из числа офицеров работает только Бурцев, и то в силу его, простите, мон шер, нелепого упрямства, а остальные... — тут Мезерницкий начал загибать пальцы, вспоминая, — инспектор части снабжения, лагстароста, инженер-телефонист, агроном, два начальника производства и два начальника мастерских!.. Не всё, не всё!.. На железной дороге — наши! На электростанции — наши! В типографии — наши! На радиоузле — наши! Топографией занимаются наши! И даже в пушхозе — наши!

— И непонятно, как мы при таких талантах проиграли большевикам войну, — негромко, ни к кому не обращаясь, заметил Бурцев.

— Притом что, — вновь не обращая ни на кого внимания, говорил Мезерницкий, — учтите, с двадцатого года я абсолютно аполитичен. Командование Белой армии своей глупостью и подлостью примирило меня с большевиками раз и навсегда. Но зачем же отрицать реальность! Соловки — это отражение России, где всё, как под увеличительным стеклом: натурально, неприятно, наглядно!

Бурцев вместо ответа, как бы в задумчивости, покусал губы. Он закончил нарезать хлеб и осмотрел стол так, словно это была карта успешно начинающихся батальных действий.

Артём быстро, изучающе оглядывал Бурцева и Мезерницкого.

Бурцев был невысок, кривоног, с чуть вьющимися тёмно-русыми волосами, черноглаз, тонкогуб... Пальцы имел тонкие и запястья тоже, что казалось странным для человека, задействованного на общих работах, хоть и не очень давно: насколько Артём помнил, Бурцев появился на Соловках на месяц раньше него, с первым весенним этапом.

Мезерницкий, напротив, был высок, сутуловат, волосы имел прямые и чуть сальные, часто шмыгал носом, как человек, пристрастившийся к кокаину, в чём на Соловках его подозревать было невозможно. Он разнообразно жестикулировал; Артём отметил его давно не стриженные ногти.

Когда Мезерницкий ногтем с чёрной каёмкой придерживал белый, разнежившийся в тепле лепесток шпика, это было особенно заметно.

* * *

Спор быстро закончился: сметана с луком, белый хлеб и шпик примирили всех.

Самое сложное было есть медленно — Артём обратил внимание, что не ему одному.

Потом Василий Петрович и Бурцев затеялись в шашки: первый — заметно возбуждаясь партией, второй — почти равнодушный к расстановке сил на клетках. Мезерницкий недурно играл на мандолине, Артём тихо блаженствовал, полулёжа на голой лежанке, иногда думая: "...Какие хорошие люди, как я хочу быть им полезен..." — иногда будто задрёмывая и просыпаясь от того, что на лицо садилась одна и та же настырная муха.

С пиджака на доску выпал клоп: Артём поспешил его убить.

...Распрощавшись с Мезерницким, во дворе столкнулись с идущим из театра возбуждённым и раскрасневшимся народом. Кто-то, как водится, ещё обещал представление, кто-то уже думал о завтрашней работе и спешил отоспаться, но вообще ощущение было, как всегда, диковатое: заключённые идут вперемешку с начальством лагеря и вольнонаёмными, женщины накрашены, иные одеты по моде, кое-кто из мужчин тоже не в рванье.

Завидев театральную публику, Василий Петрович тут же, едва попрощавшись, ушёл в роту, Бурцев, быстро покурив, тоже кивнул Артёму — будто бы и не было их молчаливого взаимопонимания в келье.

Зато появился Афанасьев, выспавшийся после своего дневальства и с виду очень довольный.

Он был рыжий, встрёпанный, чуть губастый, ему вообще шло хорошее настроение.

— Из театра? — заинтересованно спросил Артём; всё-таки, кажется, ему удалось минут пятнадцать поспать под мандолину, и он вновь испытывал, конечно, не бодрость, но некоторое оживление.

Афанасьев мотнул головой.

— Что давали? — спросил Артём.

— Да ну, — весело отмахнулся Афанасьев, — Луначарского. Хотя всё это, Артём, впечатляет даже с Луначарским. Какая там каэрочка играет, а? Плакать хочется.

Афанасьев что-то ещё говорил про спектакль, сумбурное, словно хотел объяснить замысел режиссёра, а в уме всё равно представлял исключительно каэрочку.

Они прогуливались взад-назад по быстро пустеющему вечернему дворику, Артём кивал, кивал, кивал и не заметил даже, как Афанасьев перекинулся на другую тему, самую главную для него.

— Тёма, ты только подумай, каких стихов я напишу, вернувшись! Я в стихи загоню слова, которых там не было никогда! Фитиль! Шкеры! Шмары! Поэма “Мастырка”, представь? У нас ведь ни один поэт толком не сидел!

— Декабристы сидели, — вспомнил Артём.

— Да какие там поэты! — снова отмахнулся Афанасьев.

— Маяковский вроде сидел, — ещё вспомнил Артём.

— Да какой там, — снова не согласился Афанасьев. — Не то всё, не то! Соловки — это, Тёма, особый случай! Это как “Одиссея” — когда он в гостях у Полифема...

— Ну, да, Полифем, шкеры, шмары — это будет... салат! — усмехнулся Артём, вспомнив про сметану с лучком.

— Да что ты понимаешь! — вроде бы даже чуть озлился Афанасьев. — Будущее поэзии — за корявыми словами, случайными. Ломоносов писал про три штиля — высокий, средний и низкий, — так надо ещё ниже зачерпнуть, из навоза, из выгребной ямы, и замешать со штилем высоким — толк будет, поверь!

— По мне, таким образом только басню можно сочинить: “Полифем и фитиль”, — нарочно подзуживал Афанасьева Артём.

— Какой у вас разговор любопытный, о мифологии, — сказал кто-то рядом негромко.

Оба разом обернулись и увидели Эйхманиса. Застыли, как пробитые двумя гвоздями насквозь.

— Добрый вечер! — сказал Эйхманис спокойно.

— Здра! — выкрикнул Афанасьев, как всегда кричали на поверке; что до Артёма, он лихорадочно, путаясь в мыслях, как в загоревшейся одежде, пытался вспомнить: успели они за последнюю минуту произнести какую-нибудь контрреволюционную глупость или нет.

— Здра, гражданин начальник! — выкрикнул и Артём. Так было положено отзываться на приветствие начальника лагеря.

На замечание Эйхманиса по поводу мифологии никто не рискнул ответить.

Эйхманис кивнул головой, в смысле: “Вольно”. По всей видимости, он направлялся к воротам — как всегда, без охраны, только всё с тою же своей спутницей, которая сейчас, как и в прошлую встречу, в лесу, смотрела мимо.

Вблизи оказалось, что Эйхманис выше среднего роста — и выше Артёма с Афанасьевым, — что он строен, сухощав и от него пахнет одеколоном. Он был в хорошей гражданской одежде: коричневый пиджак, брюки, высокие остроносые ботинки.

У ворот, заметил Артём, ждал красноармеец, держа двух лошадей в поводу.

Жил Эйхманис в четырёх верстах от монастыря, неподалёку от Савватиевского скита, в Макариевской пустыни. Говорили, что он выстроил себе там огромный приполярный дом, что характерно — в нарочитом отдалении от своих подчинённых-чекистов. На поверках Эйхманис появлялся редко, а занимался, рассказывали, куда чаще охотой, биосадом, питомником лиственниц и хвойных, которые в этом году начали высаживать по всему острову...

Артём осторожно, исподлобья разглядывал его лицо. Правильные, крупные, но чем-то редкого типа и даже несколько изысканные черты лица, зачёсанные назад волосы, белые, достаточно крупные зубы, улыбающиеся, но одновременно будто и недвижимые глаза... Пожалуй, он был красив, напоминал какого-то известного поэта десятых годов и мог бы располагать к себе. Только в линии скул — слишком скользкой, делающей лицо более худым, чем оно было на самом деле, — было что-то неприятное и болезненное.

На спутницу Эйхманиса Артём так и не рискнул взглянуть, хоть и хотелось.

— Вы так и трудитесь в двенадцатой роте, Афанасьев? — спросил Эйхманис, улыбаясь.

— Да! — тряхнул рыжей головой Афанасьев и добавил для верности:

— Именно!

Эйхманис снова, теперь уже прощаясь, кивнул, и пара пошла к воротам.

— Чёрт! — тихо засмеялся Афанасьев, когда услышали постукивание копыт. — А я заладил: Полифем, Полифем... Ничего мы такого не успели сказать? Нет ведь?

Артём тоже, с непонятным чувством, улыбался.

Не дождавшись ответа, Афанасьев сказал:

— Говорят, он знает всех заключённых по именам!

— Да быть не может, — ответил Артём, поразмыслив. — Сколько тут тысяч? Пятнадцать рот!.. Нет, невозможно.

— Ну, хорошо, хорошо, — быстро согласился Афанасьев, но тут же отчасти раздумал:

— Половину — наверняка! Начальников производства, командиров рот, взводных, десятников, актёров, музыкантов, священников знает... Все это говорят! Меня вот тоже откуда-то помнит.

— Итожим: он знает нужный ему народ, — предположил Артём с несколько напускной серьёзностью.

— Думаешь? — обрадовался Афанасьев, не услышав иронии, хотя до этого момента различал любые интонации. — Может, меня вытащат из двенадцатой роты, наконец. Куда угодно! Жаль только, я руками делать ничего не умею. Что же, чёрт меня дернул, я писал стихи! Нет, был бы топографом! Или столяром... Или умел бы играть на барабане. Или, в конце концов, готовить что-нибудь вкусное. Ты знаешь, что тут в лазарете работает бывший повар Льва Троцкого? Что тут есть и свой придворный живописец — по фамилии Браз? Он бывший профессор Императорской академии художеств!

— Так попросись придворным поэтом к Эйхманису, — предложил Артём. — Будешь ему оды сочинять на каждое утро. “Ода на посещение Эйхманисом питомника шиншилловых кроликов”!

— Издеваться только тебе, — отмахнулся Афанасьев.

— Зачем же он тогда спрашивал, в какой ты роте? Тут два объяснения могут быть: либо зовёт тебя в придворные поэты, либо хочет на Секирку переехать. Тебе как больше нравится?

Секиркой звали штрафной изолятор на Секировой горе, располагавшийся в бывшей церкви, верстах в восьми от кремля. Рассказывали про тот изолятор невеселое: там убивали людей.

Афанасьев выглядел очень обнадёженным и молчал, наверное, только оттого, что боялся спугнуть непонятную пока удачу.

— А кто это с ним? — спросил Артём негромко, не поясняя и не кивая головой в сторону уехавших: и так всё было ясно.

— Это Галя, б... Эйхманиса, вольнонаёмная, работает в ИСО — Информационно-следовательском отделе, — ответил Афанасьев тихой скороговоркой безо всяких эмоций. — Тебя ещё не вызывала?

У Артёма от произнесённого Афанасьевым слова стало трепетно и тоскливо на душе: он даже чуть-чуть задохнулся. Женщины у него не было уже четыре месяца.

* * *

Если б поднимали не в пять, а хотя бы в шесть, — жизнь была бы куда проще. Но проверки неизменно оказывались длинными, с нарядами тоже случалась путаница, поэтому на работу всё равно попадали поздно, иной раз к девяти; а если идти далеко, вёрст за несколько, то ещё позже.

Первым делом Артём вспомнил, как вчера его хвалил Василий Петрович; ну, да, арестантская жизнь его вошла в колено: самое важное — не считать дни, а он перестал их считать на третьи сутки, приняв всё, как есть. Оставалось малое — дотерпеть, дожить; впрочем, он пока не видел никаких причин, чтобы умереть, — жили и здесь. Жили слабые, вздорные, глупые, вообще не приспособленные к жизни — даже они.

Потом Артём вспомнил про Крапина, и крепкий настрой немного расшатался.

Всё утро старался он не попадаться ему на глаза — получилось.

Василий Петрович купил себе ложку: тут же похвалился.

Афанасьев ходил задумчивый: его сняли с должности дневального, хотя вроде только что назначили. Это была хорошая должность, тёплая, особенно зимой. За место дневального держались всеми когтями.

Вместо Афанасьева дневальник стал чеченец Хасаев; третий их соплеменник, самый молодой, тоже постоянно крутился в роте. Казак Лажечников теперь мимо дневальных стремился пройти поскорей, глядя в пол, а воду из бака возле поста перестал пить вовсе.

На проверке ротный Кучерава ругался так бестолково, нудно и мерзостно, что Артём почувствовал лёгкую тошноту.

Наряд ему выпал на баланы; Артём не удивился — к этому всё и шло.

“Баланы так баланы, посмотрим, что такое там...” — подбодрил себя Артём, довольный уже тем, что Крапин не обмерил его ещё раз дрыном. Вместо него взводный выбивал дух из какого-то блатного, не спешившего выйти на работу, поскольку был в кальсонах: других штанов не имелось.

— Лес ворочать? — смуро спросил Артёма Афанасьев. — И я тоже.

Помимо них тот же наряд выпал Моисею Соломоновичу, Лажечникову, Сивцеву, китайцу, битому Крапиным блатному, ещё двоим той же масти и какому-то малоприметному низкорослому мужичку, про которого Артём помнил только, что он непрестанно бормочет, вроде как уговаривая самого себя.

Стояли во дворе, ждали десятника. С утра вечно не поймёшь, где лучше быть: в роте все орут и матерятся, а на улице эти неумные, оголодавшие за ночь чайки. У Артёма однажды, едва он заехал на Соловки, так же вот с утра чайка выхватила припасённый на потом хлеб. Заметившие это блатные посмеялись — было обидно. Артём почти всерьёз поклялся себе перед отбытием на материк оторвать крыло у одной чайки, чтоб сразу не сдохла и чтоб поняла, тварь, как это бывает, когда больно.

Вообще чаек стоило опасаться — они по-настоящему могли напасть и клонуть, скажем, в глаз так, чтоб глаза не стало. Хлеб Артём ещё в роте

спрятал, причём не в штаны, а в бельё — там тоже был удобный кармашек. Угощать он этим хлебом никого не собирался, а собой не брезговал.

— Почему не дневалишь больше? — всё-таки спросил он Афанасьева, — Только вроде заступил. Не самая трудная должность. Стихи можно было бы сочинять — время есть.

Артём посмотрел на Афанасьева и понял, что тому не очень хочется шутить на эту тему.

— Это в ИСО решается, — ответил Афанасьев нехотя. — С Галей не сошёлся характерами.

Стоявший рядом Василий Петрович как-то странно взглянул на Афанасьева и отвернулся.

— А за чеченцев Кучерава попросил, — добавил Афанасьев спустя минуту. — Они ж там все соседи по горам.

Артём кивнул и, так как Афанасьев был не в духе, прошёл к Василию Петровичу, который опять получил бесконвойный наряд по ягоды и ожидал своей бригады.

— Только не выражайте мне соболезнования, Василий Петрович, — за несколько шагов, улыбувшись во все щёки, попросил Артём.

— Улыбайтесь, улыбайтесь, — сказал Василий Петрович печально и, лёгким движением прихватив Артёма за локоть, немного развернул его в сторону; Артём, молодо ухмыляясь, подчинился.

— Вы, я смотрю, дружны с Афанасьевым, — внятно и негромко произнёс Василий Петрович. — Я вам хочу сказать, что на должность дневальных назначают строго стукачей, так что...

— Его ж как раз сняли с должности, — ответил Артём чуть громче, чем следовало бы, и Василий Петрович тут же своими очень уверенными и неестественно крепкими пальцами за локоток повернул Артёма ещё дальше, в сторону колонны священников, отправлявшихся строем на свою сторожевую работу.

Священники шли кто поспешливо, кто, напротив, старался степенно, но строй спутывал всех. Над ними кружились, иногда резко снижаясь, чайки... И эти бороды, и эти рясы, и эти чайки, иногда окропляющие белым помётом одежды священников, — всё вдруг будто остановилось в глазах Артёма, и он понял, что запомнит увиденное на целую жизнь, хотя ничего его не поразило, не оскорбило, не тронуло. Просто почувствовал, что запомнит.

— Шестая рота — не что-нибудь, — сказал кто-то громко и насмешливо. — Шестая рота — ангельская! Раз, два — и на небесах. За что страдают? Ни словом, ни делом, ни помышлением... Безвинно, во имя Твое, Господи.

— Смотрите, — говорил Василий Петрович очень спокойно. — Это Евгений Зернов, епископ Приамурский и Благовещенский. Это Прокопий, архиепископ Херсонский... Иувеналий, архиепископ Курский... Пахомий, архиепископ Черниговский... Григорий, епископ Печерский... Амвросий, епископ Подольский и Брацлавский... Киприан, епископ Семипалатинский... Софроний, епископ Якутский, сменил одни холода на другую непогоду... Вот и наш владычка, батюшка Иоанн...

Василий Петрович в приветствии чуть склонил голову, прихрамывающий и оттого торопящийся больше других владычка Иоанн весело помахал рукой, и что-то то ли очень детское, то ли старозаветно взрослое было в этом жесте. Будто бы ребёнок говорил: “Я не отчаиваюсь”, — а древний человек вторил: “И вы не отчаивайтесь”, — и всё в одном взмахе.

— Вы откуда его так хорошо знаете? — спросил Артём.

— Отчего хорошо? — ответил Василий Петрович. — Просто нас доставляли сюда вместе, в одном трюме. Все были злы и подавлены, а он улыбался, шутил. Его даже блатные не трогали. Возле него как-то остро чувствуется, что все мы — дети. И это, Артём, такое тёплое, такое нужное порой чувство. Вы, наверное, ещё не понимаете...

Артём осмотрелся по сторонам и поинтересовался:

— А вот там, в сквере, он про советскую власть говорил... Как вы думаете, правда?

Василий Петрович пожал плечами и быстрым движением убрал руки за спину.

— Всё правда. Правда, к примеру, то, что вы можете оказаться стукачом — он вас первый раз в жизни видел.

Артём невесело посмеялся, отметив для себя, что таким строгим Василия Петровича ещё не видел, и перевёл тему:

— Тут мне сказали, что Эйхманис помнит едва ли не весь лагерь по именам...

— Очень может быть, — ответил Василий Петрович задумчиво.

— А вы... всех этих священников... когда запомнили, зачем?

— Эйхманису их сторожить, а мне с ними жить, — бесстрастно сказал Василий Петрович, глядя прямо перед собой. — Я эти лица запомню и, если вернусь, расставлю дома, как иконки.

Артём ничего не ответил, но подумал по-мальчишески: а чем они святее, чем я? Я тоже жру суп с вяленой воблой или с безглазыми головами солёной рыбы и вместо мяса — палую конину; зато они сторожат, а я пойду сейчас брёвна таскать.

Василий Петрович тряхнул головой и, чтоб чуть снизить патетику, заговорил совсем другим тоном, куда доверительней, разом становясь тем человеком, который так нравился Артёму:

— Я тут подумал... Отсюда, из Соловков, святость ушла ещё в пору Алексея Михайловича... Наверняка, вы, Артём, знаете эту историю, когда в 1666 году монастырь восстал против Никоновой реформы? А спустя десять лет осады его взяли, и бунтовавших монахов, и трудников — всех закидали камнями, чтоб сабли не грязнить и порох не переводить. Как произошло это — так и не случилось на Соловках больше ни монашеских подвигов, ни святых. Двести с лишним лет монастырь качался на волнах — немалый срок. Как будто готовился к чему-то. И вот, не поверите, Артём, мне кажется, пришли времена нового подвижничества. Русская церковь именно отсюда начнёт новое возрождение... Вы, наверное, ребёнком ещё были, не помните, что за тяжкий воздух был до прихода большевиков.

“Как у нас в бараке?” — хотел спросить Артём, но не стал, конечно.

— Интеллигент возненавидел попа, — перечислял Василий Петрович. — Русский мужик возненавидел попа. Русский поэт — и тот возненавидел попа! Мне стыдно признаться: но и я, Артём, попа возненавидел... И не поймёшь сразу, за что! За то, что русский поп беспробудно пил? Так чего ж ему было делать? Ненавидят ведь не из-за чужой дурноты, а из-за своей пустоты куда чаще... Вы на Второй Отечественной не были, а я был и свидетельствую: когда солдатам предлагали исповедоваться перед боем — девять из десяти отказывались. Я увидел это сам и тогда уже — сам себе удивляясь! — понял: войну проиграем, а революции не избежать: народ остался без веры. Только этим и могло всё закончиться!.. Закончиться — и тут же начаться. Здесь.

— В тринадцатой роте, — вдруг вспомнил и не смолчал Артём, — параша стояла в алтаре. Помните? В моей партии был один священник — так он ни разу туда не сходил. Ночью поднимался и шёл на улицу, в общий сортир. Пока ходил, его место на нарах занимали. Утром встаём — он сидя спит где-нибудь в уголке, чуть не замёрзший.

— И что вы думаете? — спросил Василий Петрович.

Артёму явственно захотелось позлить своего товарища — это было твёрдое и малообъяснимое чувство.

— Я думаю: дурак, — ответил Артём.

У Василия Петровича дрогнула челюсть — будто бы Артём у него на глазах толкнул больного; он отвернулся.

Его уже ждала собравшаяся партия с корзинами; появился и десятник Артёма, сразу заорал, как будто ему кипятком плеснули на живот.

— Да иду, — сказал Артём скорей себе, чем десятнику, иначе можно было и в зубы получить.

Десятник был такой же лагерник, сидевший то ли за три, то ли за пять убийств, родом московский. Фамилия его была Сорокин. Он будто бы исто-

чал потаённую человеческую мерзость, кажется, она выходила из него вместе с потом: какая бы ни была вонь в бараке, Артём, едва приближался к Сорокину, чувствовал его дух. Под мышками у Сорокина всегда были тёмные, уже солью затвердевшие круги, влажные руки его мелко дрожали, щетина на лице тоже была влажная и вид имела такой, словно это не волосы, а грязь, вроде той, что остаётся на полу сеновала — колкая, пыльно-травяная осечь.

Сорокин, как говорили, был любитель придумчиво забавляться над лагерниками, хотя, стоит сказать, каэров он не бил. Их по негласному завету лагерной администрации вообще не было принято трогать, так что желающие позверовать отыгрывались на бытовиках.

Шли на работу лесом, нагнали партию Василия Петровича, тот, оглянувшись, встретился глазами с Артёмом и тут же отвернулся, болезненно, как от резкого коллика, сморщившись.

Артём хотел было про себя пожалеть, что отказался идти по ягоды, но мысли эти прогнал. Про то, что зачем-то надерзил Василию Петровичу, он не думал. Характер у него был не зловредный, но эту черту — вдруг ткнуть в открытое место — он за собой знал. И никак об том не печалился.

“Быть может, я не люблю, когда открывают то, что болит...” — подумал Артём, чуть улыбаясь.

“...Про веру рассказывает, — подумал ещё, — а сам Моисея Соломоновича убрал из своей бригады... Нет бы пожалеть...” Сорокин всю дорогу орал и матерился непонятно на кого и по какому поводу, как будто с утра поймал бациллу от Кучеравы. Даже конвойные на него косились.

Артём вдруг представил, как берёт большой сук, побольше, чем дрын Сорокина, и резко, с оттягом бьёт десятника по затылку. Это было бы счастье!..

И сразу б такая тишина настала...

Пошли бы ягоды собирать, песню бы спели, костёр развели...

А то даже Моисей Соломонович не поёт.

Артём переглянулся с Афанасьевым; тот, показалось, мечтал о том же самом.

Лесом вышли к каналу, который, как сказал Лажечников, соединяет Данилово озеро с Перт-озером. По каналу сплавляли с лесозаготовок брёвна, именуемые баланами. Артём разглядывал их с берега тем взглядом, каким, наверное, смотрел бы на некую обильную речную хищную сволочь, которую предстояло вытащить за жабры на берег.

— Есть два золотых дня — вчера и завтра, — приговаривал мелкий, метра в полтора мужичок, стоявший возле Артёма. — Вчера уже прошло, Господь позаботился о том. Завтра я вверяю Ему, Он позаботится и о нём. И остаётся один день — сегодня. Когда я молитвенно свершаю свой труд.

— Этот? — спросил Артём, кивнув на плавающие баланы.

Мужичок посмотрел на Артёма, на баланы и ничего не ответил.

— Баланы нужно доставить на лесопильный завод, — огласил задачу для всех собравшихся десятник. — Общий урок на день: сто баланов... О чём смотрим?

— Э, а багры там, верёвки? — спросил блатной, которому с утра уже досталось от Крапина.

— Верёвка тебе будет, когда тебя повесят! — заорал десятник.

— Ну, багры тогда, — не унимался блатной и, конечно, своего дождался: Сорокин набежал на него, уже издали потрясая дрынком; блатной защищался и даже отмахивался исхудавшими грязными руками, а потому получил и по рукам, и по бокам, и по башке. Только вскрикивал: “Начальник! Начальник! Чо творишь-то?”

На щеке блатного свисла клоком кожа, рука тоже сильно кровянила. “Раздевайся, в воду пулей! Дрын тебе в глотку, чтоб голова не шаталась!” — орал десятник. Блатной скинул свои драные порты — под портами он был голый, — десятник сам потянул битого за рубаху к воде, и рубаха так и разорвалась надвое.

Чтоб с ними не проделали то же самое, остальные поспешно начали раздеваться сами.

— Куда, б...! — заорал десятник, отстав, наконец, от блатного, кото-

рый поскорей забежал в воду по пояс и стоял там, оттирая кровь. — Разделись, б..., как в кордебалете! Самые молодые — в воду, остальные принимают баланы на берегу! Тупые м...алаи, мать вашу за передок!

“Про кордебалет знает, смотри ж ты”, — думал Артём, снимая штаны.

— Сука, холодная, — сказал один из блатных, заходя в воду.

“Да ничего, в самый раз, — подумал Артём. — Ночью дожди идут, чуть подостыла... Зато когда в воде — комаров меньше...”

— Натё, кровососы, даже кусать не надо, так слизывайте, — вытянул битый блатной кровоточащую руку комарью и силно засмеялся; по его виду казалось, что он не очень переживает о зуботычинах десятника.

Никто не хотел оставаться на берегу рядом с десятником: один за другим полезли Сивцев, Афанасьев, Моисей Соломонович. Мелкий мужичок прошёлся туда и сюда вдоль берега, всё повторяя: “Была бы спина — найдётся и вина!” — а потом тоже шагнул в воду.

Моисей Соломонович был ростом выше всех на голову; он шёл и шёл по воде, и ему всё было мелко; а маленький мужичок, едва ступил, сразу как-то потерялся до подбородка и только вздыхал теперь: “Боже ты мой! Спаси, Господи!” Сделал ещё шагок — и едва не пропал вовсе.

— Куда ты полез, клоп! — заорал десятник на него. — Ну-ка, на берег! Ты что там, клоп, верхом на баланах будешь плавать? И ты, длинный, сюда, — указал он на Моисея Соломоновича. — У тебя руки как раз, чтоб принимать брёвна, вместо багра будешь.

У Сивцева было ещё крепкое тело, на спине виднелся весьма красноречивый шрам, кажется, от пашки. У Лажечникова такой же шрам шёл по груди — от плеча и почти до соска.

Тела блатных были в наколках.

“Во, собрались какие все...” — подумал Артём неопределённо, косясь на своё чистое тело, даже без волос на груди.

Афанасьев, впрочем, тоже оказался без особых примет, только в мелких родинках.

Артём добрёл, бережливо ступая по дну, до первого балана — как раз оказалось по грудь — и двумя руками потянул дерево на себя, отдуваясь от комаров.

Тихо матерясь, явился к нему на помощь битый блатной.

— Ксива, — представился он.

На лице у Ксивы было несколько прыщей и ещё два — на шее. Нижняя губа отвисала — невольно хотелось взять её двумя пальцами и натянуть Ксиве на нос.

Блатной протянул руку и, одновременно с тем, как Артём пожал её, сказал глумливо:

— Держи пять, ГПУ даст десять.

Артём глубоко вдохнул носом и ничего не ответил.

— Ладно, не ссы в штаны, ссы в воду, — не унимался блатной и всё поглядывал на Артёма.

— Ты будешь тут свои поговорки говорить, или, может, давай поработаем? — сказал Артём, потому что уже надо было что-то сказать.

— Баба тебе будет давать, а ты в ней хер полоскать, — сказал блатной и снова засмеялся, издевательски глядя на Артёма. — Так что давай без давай. Десятника хватает.

— Слушай, — наклонился к нему Артём, стараясь говорить в меру миролюбиво. — У тебя есть напарники, — тут Артём кивнул на других блатных, с едким интересом прислушивающихся к их разговору, — ты с ними будь, а я буду со своим дружкой. Годится?

Афанасьев стоял тут же, несколько нарочито рассеянный и как бы не вникающий в чужой разговор.

Ксива толкнул балан так, чтоб он угодил бочиной в грудь Артёму, и только после этого сделал шаг назад. Напоследок ещё, ударив ладонью вскользь по воде, слегка обрызгал Артёма.

Тот не ответил: плескаться в ответ показалось глупым, и ударить сразу за это в лоб — тоже вроде не большого ума поступок. Стёр рукой брызги с лица, и всё.

“А в воде попроще... — раздумывал Артём, отвлекая себя от противных мыслей о блатном, этот самом, как его, Ксиве, — работа получше, чем на берегу. Потому что одно дело — по воде толкать баланы к берегу, а другое дело — тащить их на себе посуху”.

Но Артём не угадал, конечно.

Баланы нужно было дотолкать до берега, потом хватать их — сырые, скользкие и ужасно тяжёлые — за один конец, в то время как другой подхватывали Моисей Соломонович с малорослым мужичком, и выползать на сушу.

Если четыре мужика могли справиться с баланом, значит, он был самого малого размера.

В ход пока шло молодое дерево, неширокое в объёме и длиной не больше пяти метров, а чаще и поменьше. Но в воде виднелись такие великаны, которые и целым взводом не стыдно было бы нести.

Берег к тому же был каменистый, ступать по нему, еле удерживая балан, оказалось мукой.

Сивцеву в пару достался китаец. Китайца Сивцев почему-то называл “зайчатина”. “Давай, зайчатина, мырай глубже... — повторял он не без удовольствия. — Непапошный какой...”

Мелкий мужичок с Моисеем Соломоновичем сработаться никак не могли. Первый балан, который дотолкали Артём с Афанасьевым, они ещё кое-как, чертыхаясь и семеня, помогли оттащить подальше от воды, а следующий балан мужичок выронил, Ксива заорал на него, и тот сразу как-то подетки заплакал.

— Я работал в конторе! — всхлипывал он. — С бумагами! А меня который месяц принуждают надрывать внутренности! Сил во мне не стало уже! “Юродивый”, — подумал Артём раздражённо.

— Начальник, да на хер он не нужен! — прокричал Ксива и тут же, торопливо загребая руками, ушёл вглубь, когда десятник направился к нему. На спине у Ксивы тоже были прыщи, они шли рядком, как белоголовые насекомые, по лопатке, через позвоночник и вниз к заднице.

Натрудив руки, наломав ноги, выволокли с горем пополам десяток баланов на берег.

“...А десятник сказал, что урок — сто!” — ошалело, но ещё способный в мыслях позабавить себя, подумал Артём.

С берега баланы нужно было тащить на лесопильный завод.

Пока поднимали, присаживаясь и надрывая спину, первый балан на плечи, Артём успел возненавидеть его, как живое существо, — неистово и пронзительно.

“Какой же ты, сука, тяжёлый, скользкий, хоть бы тебе всю морду изрубили топором, гадина...”

Впопыхах первый заход Артём сделал без рубахи. Ещё на полпути разорвал голое плечо о дерево.

Дорога оказалось неблизкой, по кочкам и кустам. Артём неустанно обмахивался от комарья. Афанасьев, даром, что поэт, оказался выносливым как верблюд: “Хорош танцевать, Тёма!” — просил он, тяжело дыша в нос.

Нос балана несли Сивцев с китайцем, Артём неотрывно смотрел китайцу в чёрный затылок.

На лесопильном визжала пила. Не видя пути, Артём по звуку понимал, что они близко, ещё ближе, ещё... Вот, кажется, пришли. На “три-четыре” — командовал Афанасьев — сбросили балан, и такая благодарность во всём теле вспыхнула на мгновение. Вот только комарьё...

Неприветливый, сгорбленный работой мужик вышел из помещения, посмотрел на прибывших и, не поздоровавшись, исчез в дверном проёме.

Обратно Артём бежал почти бегом — к своей рубахе.

— Куда погнал? По работе соскучился? — крикнул вслед Афанасьев.

Мокрое бельё противно свисало. Артём чувствовал свою закоченевшую, сжавшуюся и ощетинившуюся мошонку. Вдруг вспомнил, что забыл хлеб

в кармашке, сунул руку — так и есть, пальцы влезли в сырой и гадкий мякиш. Оскользнулся на кочке, упал, непроизвольно выбросив вперёд руку — как раз ту, что сжимала хлеб.

Осталось немного на пальцах: Артём лежал на траве, животом чувствуя холодную илистую воду... облизывал руки в хлебной каше.

— О, затаился, — раздался позади голос Афанасьева. — Олень выжидаешь в засаде? Или на лягушек охотишься?

Артём поднялся, почувствовал, что вот-вот заплачет. Вертел головой, чтоб Афанасьев не увидел.

Это был последний хлеб, впереди ещё два дня оставалось на пшёнке и треске.

...Справился с собой, сжал зубы, вытер глаза, заставил себя обернуться и улыбнулся Афанасьеву. Получилось — оскалился.

Сивцев обратно не торопился и передвигался почему-то на корточках. Ягоды собирает, догадался Артём.

Ему ягод не хотелось. Дотащили два балана — оставалось девяносто восемь.

На следующей ходке стало жарче, хотя день был стылый. Обратил внимание на Сивцева — тот был будто бы в сукровице: сначала Артём подумал, что мужик разбил висок вдребезги. Оказалось — ягоды: намазал рожу от комаров, деревенский хитрец.

Возвращаясь, Артём тоже попытался найти какой-нибудь хоть бы шикши. С первого раза не получилось — десятник Сорокин заскучал на берегу и пошёл встречать приподнявшихся работников: снова разорался, как обворованный.

Во второй раз Артём угодил на ягодную россыпь — чёрт знает, что за ягода! — но весь умазался. Втирал с таким остервенением, словно узнал, что смерть подошла к самому сердцу, а тут попалась живая ягода, может уберечь.

...Хоть на глаза и лоб перестали садиться.

Мелкого мужичка, которого никто не знал, как зовут, материли теперь все подряд, кроме Моисея Соломоновича. Мужичок поминутно останавливался передохнуть, едва вставал и тут же норовил споткнуться и завалить балан, охал и вскрикивал.

Когда солнце зашло за полдень, мужичок отказался работать.

Подошёл, хромая на все ноги, к десятнику и сказал:

— Убей, я не могу.

— И убью, — ответил десятник и начал убивать: сшиб с ног, потоптал мужичку лицо, несколько раз вогнал сапог в бок, крича при этом:

— Будешь работать, филон?

Работающие остановились — всё, отдых. Кто-то даже закурил. Один китаец отвернулся, присел и глаза закрыл, как исчез.

— Я не могу! Не убей! — слабым голосом вскрикивал мужичок. — Не могу! Не убей меня!

Артём тупо смотрел на это. “То — “убей!”, то — “не убей!”, — мельком заметил про себя.

Если бы мужичка и убили сейчас же, он бы, наверное, ничего не почувствовал.

“...Какое всё-таки странное выражение: “Не убей меня!”, — снова заметил Артём. — Никогда такого не слышал...”

Когда кто-то крикнул: “Хорош, слушай!” — Артём какую-то долю мгновения даже не понимал, что это крикнул он сам. По щеке Артёма пошла трещина — ягодный сок присох, а рот раскрылся и щека будто пополам надорвалась.

Десятник, нисколько не задумываясь, развернулся и уже в развороте забросил дрын в Артёма, как в чистое поле.

Артём едва успел пригнуться, а то бы ровно в лоб угодило.

— Принеси, шакал, — скомандовал ему десятник.

В глаза десятнику Артём не смотрел, на других лагерников тоже. Скосился на двоих конвойных — они наблюдали за всем происходящим с единствен-

ным и очень простым чувством: им хотелось, чтоб кто-нибудь дал им причину озлиться. Один даже привстал и всё перетаптывался — так не терпелось.

Артём сходил за дрыном — тот лежал неподалёку на камнях. Не поднимая глаз, отдал его десятнику.

За всю эту тошную минуту к нему не пришло ни одной мысли, он только повторял: “А мальчишкам-дуракам толстой палкой по бокам”.

Выхватив дрын, десятник замахнулся на Артёма, но тот с не свойственной ему поспешностью и незнакомой какой-то, гадкой суетливостью увернулся и, ссутулившись, побежал к воде — работа, работа заждалась.

Даже рубаху не снял — так и влез в неё сразу по самую глотку.

Остальные полезли за Артёмом.

— Мне не по силам, гражданин десятник, — по слогам умолял мужичок на берегу десятника, — не по силам. Сердце в горле торчит! Умру ведь!

Когда Артём с Афанасьевым подгоняли очередной балан к берегу, выяснилось, что десятник взамен работы придумал мужичку другое занятие.

Встав на пенёк, мужичок начал выкрикивать:

— Я филон! Я филон! Я паразит советской власти!

Ксива заржал, другие блатные тоже захихикали.

— Я филон! Я филон! Я паразит советской власти! — повторял мужичок, как заведённый.

— Две тысячи раз, я считаю, — сказал десятник Сорокин, довольный собой.

Конвойные, парни ражие, тоже заливались.

Скопив на берегу десять баланов, снова отправились к лесопильному заводу. Левая рука была вся ободрана о кусты: когда танцевали по дороге на кочках, цеплялись за что попало. Теперь поменялись сторонами с Афанасьевым, и Артём цеплялся правой.

За спиной всё раздавалось:

— Я филон! Я филон! Я паразит советской власти!

На обратной дороге Артём как следует выжал рубаху, но, странное дело, волглая ткань оказалась ещё холодней, чем совсем мокрая.

Ягодный сок с лица смыло, новых ягод не попадалось. С размаху бил комаров — на ладони россыпью оставались алые отметины, значит, сидели сразу дюжиной.

Взамен усаживались новые, бессчётные.

Мужичка хватило ненадолго, уже через полчаса он еле сипел. Десятник время от времени подбадривал его дрыном.

Принесли обед; мужичок, косясь на еду, выкрикнул из последних сил про филона и паразита и шагнул было за пайкой, но десятник не понял, к чему это он.

— Ты куда, певчий клоп? Куда собрался? — заорал десятник. — Ты думаешь, ты заработал на пожар? Какой обед филону? Тысяча штрафных!

Артём даже не смотрел, что происходит, только слышал, что бьют по живому и беззащитному с тем ужасным звуком, к которому он так и не привык к своим двадцати семи.

* * *

“Что же это такое? — беспомощно и обрывочно думал Артём, подбедая обед. — Почему так всё совпало? До сих пор как-то уворачивался!.. Что теперь делать с этим Ксивой? За ним блатных свора... Не Василий же Петрович будет со мной... Да ещё я зачем-то его обидел!.. А с десятником? Какой стыд! Как я бежал от него — стыд! Почему же я не убил его?..”

Артёма никто и не бил никогда, кроме отца. Но отец — когда это было!.. Он даже имя его забыл.

К тому же оставалось штук семьдесят баланов — как и не начинали.

Афанасьев, у которого откуда-то находились силы говорить, рассказывал про чеченцев. Артём вяло слушал, иногда забываясь. Тем более что мужичок сипел ещё:

— Я филон, я филон, я паразит... советской... власти!.. Я филон... Паразит...

— Не филонь, филон, — куражился десятник Сорокин. — Сначала два раза про филона, потом — паразит. А то нескладно звучит. И громче, громче! Ну!

Артём отыскал себе веточку на земле поровней да повкусней — обкусил концы, приладил в зубы. Сидел, расчёсывая ногтями колени, разгоняя кровь.

“Нельзя слабеть! Нельзя поддыхать раньше времени!” — повторял он себе, разгрызая ветку.

Потом выплюнул её, укусил себя несколько раз за руку, пробуя чувствительность.

— ...Характер не поймёшь какой у этих ребят, — всё рассказывал Афанасьев, пытаясь говорить так, чтоб его было слышно за криками мужичка. — Который младший чечен — пошёл за пайкой в каптёрку, принёс три. Как он там их уговорил, что сказал, я не знаю... Вроде отзывчивые, но сразу и беспощадные... и наивные как дети, и хитрые... Чудной народец!

За полчаса, пока обедали, Артём немного отдышался, хотя снаружи, наоборот, напозлал озноб: мурашки по коже разбегались, как ледяные вши.

Как бы хорошо, чтоб сейчас нагрело и образовалось вокруг огромное солнце, раскалённое и золотое, как самовар, зажмурившись, мечтал Артём. К нему сначала можно было бы протянуть руки, почти в упор, едва не прикасаясь ладонями. Потом развернуться и на минутку прислониться спиной, чтоб от рубахи с шипом пошёл пар; главное — успеть оторваться, пока рубаха не прилипнет к самовару, а то дыра будет... Но если медленно отстраняться от самовара, а не рывком, то с мелким потрескиванием ткань отойдёт, и как тогда хорошо будет спине, как сладостно... Потом развернуться и ноги, пятки протянуть — пятки были ледяные настолько, что их можно было бы прямо в огонь...

— Гражданин десятник, можно костёр развести? — спросил Ксива.

— Лето на дворе, какой костёр, работать пора, шакалы, — ответил десятник и сразу заорал:

— Работать, шакальё! Только начали, а уже сдохли!

К баламам, выгашенным на берег, Артём поспешил с некоторой надеждой согреться.

Конвойные кидали шишками в филона и паразита, тот не пытался уклониться, а только делал иногда мягкие, черпающие движения руками, всякий раз будто пытаясь поймать шишку и никогда не ловя. Иногда стучало по лбу — метили, видимо, в рот и никак не могли попасть.

— Гражданин десятник! — не унимался Ксива. — У нас Оперетка без пары остался, он к тому же длинный, тока мешает... не пришей к манде рукав, а не работник. Пусть поёт тогда — он петь любит. Вон поставьте Моисея на соседний пенёк.

Десятник послал было Ксиву на самые даля, но другие блатные просьбу Ксивы поддержали — из воды было не так опасно препираться. Наконец, один конвойный одобрительно подмигнул десятнику, хотя конвойному как раз было всё равно: он-то, в отличие от десятника, за урок не отвечал.

— Иди сюды, Соломон, — сказал десятник и тут же отвлекся:

— А ты что притих? Давай-давай, филон и паразит! Ори во всю глотку, йодом в рот мазанный!

Моисей Соломонович действительно поставили на пенёк. Он беспомощно оглянулся, словно не видел вокруг еды, а без неё начать петь не умел, тем более что мелкий мужичок явно мешал... Но, вздохнув пару раз, Моисей Соломонович вдруг вступил в песню.

Сначала — бесконечную про то, как родная мать меня провожала; следом, приметив оживление конвойных, — “Яблочко”, при этом непрестанно нашлапывал себя по комариным щекам. “Жги, барабань!” — подначивал на это Ксива. Потом запел что-то цыганское, а поклонив с “цыганочкой”, затянул вдруг незнакомую Артёму про сокола: “Расстугился млад ясен сокол, сидючи сокол во поиманье. Во золотой во клеточке, на серебристой на шесточке...”

— Про Секирку песня, — тихо засмеялся Афанасьев.

На Секирке, рассказывали, были такие жерди, как для курей, только потолще; на них штрафников заставляли сидеть целыми сутками. Через несколько часов тело ныло и гудело, умоляя прекратить эту муку, но прекращать было нельзя — за любое движение били втрое хуже, а потом всё равно возвращали на жердь.

Потешный мужичок всё это время сипел свою речёвку, к его простуженному кудахтанью уже попривыкли, и если он замолкал, пока к нему не направлялся десятник, помахивая дрыном, становилось как-то странно и необычно. Но когда десятнику оставалось до пенёчка несколько шагов, раздавалось шипящее “Я филон!” — и всё вставало на свои места: вода, балан, филон, поёт Моисей Соломонович, звон в ушах, чёрные круги перед глазами. Вода тоже расходилась кругами, и круги в глазах то путались с водной рябью, то сливались с ней...

Подташнивало, ныла голова, по плечу стекала тёплая кровь.

Моисею Соломоновичу мужичок не мешал.

“Жалобу творит млад ясен сокол, — пел Моисей Соломонович, — на злётные свои крылышки, на правильные мелки пёрышки: “Ой вы, крылья мои, крылышки, правильные мелки пёрышки!””

— Контру разводит, а эти олухи не слышат, — всё смеялся, хоть и подзамученно теперь, Афанасьев, толкая балан к берегу.

Соски у Афанасьева, заметил Артём, стали почти чёрными.

“Уносили вы меня, крылышки, и от ветра, и от вихоря, — выводил Моисей Соломонович, — от сильного дождя осеннего, от осеннего, от последнего... Не унесли вы меня, крылышки, от заезжего добра молодца, от государева охотничка!”

“Что творит...” — подумал Артём... Но и думал он уже еле-еле, будто бы заставляя всякую мысль сдвинуться с места.

Пришла пора снова тащить баланы на лесопильный завод. Там их укладывали штабелями — тоже надрывная забота.

Давя комаров, Артём заметил, что на щеке уже образовалась кровавая корка. Подумал мельком: “Вот бы столько крови набралось, чтоб уже не прокусывали”.

К вечеру десятник и конвойные подостыли и развели, наконец, костёр. Иногда давали и работягам погреться минуту-другую.

Конвойные, услышал Артём, начали донимать десятника, что пора домой. Тот матерился, что урок не сделан по вине ленивой и медленной скотины — лагерников.

Некоторое время Артём до горячего жжения в застывшей груди надеялся, что всё прекратится сейчас же... Но десятник как-то договорился с конвоем.

Последние из положенных на сегодня баланов вытаскивали на берег уже в болотистом сиянии белой соловейской ночи.

Никто не разговаривал, как будто забыли все известные слова.

Моисей Соломонович сам попросился у десятника помочь доделать работу, и его отпустили — наслушались. Зато мужичок, стоя на пенёчке, так и вскрикивал про филона.

— Во гриб, — вдруг прошептал Афанасьев. — Ты не думаешь, что он нарочно?

Артём не думал.

...Пропахшая мерзостью и человеческим копошением трапезная, куда дошли они уже в одиннадцатом часу ночи, показалась родной, долгожданной и милой.

Там была шинелька.

Артём, не глядя в миску, поужинал холодной кашей, выпил полкружки тёплой воды, положил сырое бельё под себя, влез в шинельку и пропал. Быть может, даже умер.

Когда чеченцы скомандовали: “Рота, подъём!” — Артём исхитрился увидеть длинный и содержательный сон. Что он поднялся, умылся, извлёк из-под себя портянки и штаны с рубахой — подошли, хорошо, — при этом что-то такое бубнил Василий Петрович, прыгая с первое на пятое, а потом вдруг вытащил валенки из своего мешка и дал Артёму: носи, мол, ведь баланы не шутка. Артём тут же в них влез и странным образом ощутил себя целиком внутри валенка — очень терпко и тепло пахло там, немного кисловато, но так даже лучше. Понежившись, он выбрался из валенка, отправился на утреннюю поверку. Всё это время и в трапезной, и на поверке орал мужичок-с-ноготок про филона и паразита, но это не мешало перекличке. “Двести пятидесятый, полный строй до десяти!” — выкрикнул Артём и здесь понял, что забыл позвать! Как же так, какой ужас! И когда ж все успели? Где он был? Неужели на параше? Но ведь очередь стоит не меньше часа, что он целый час делал на параше? Получив наряд на ягоды, — ну, слава Богу, слава Богу, слава Богу! — Артём поспешил обратно в трапезную, точно узнав откуда-то, что Василий Петрович взял и сберёт ему пшёнку, с большим куском масла, не виданного уже четвёртый месяц, и поставил её под шинельку, чтоб не остыла, масло там отекало и таяло... Так мать оставляла Артёму кашу, когда он был ребёнком, завернув её в старый плед. Стремясь избежать встречи с Ксивой, Крапиным и десятником Сорокиным, Артём почти добежал к своим нарам. Вслед ему крикнули что-то чеченцы, тоже обидное... Всё летело ко всем чертям последние дни, только каша могла спасти! “И там ещё пирожок!” — крикнул Василий Петрович, Артём влез на нары, забрался обратно в шинель, поджал ноги, чтоб не торчали наружу, зажмурился, чтоб даже глаза сохраняли тепло... Только вот каша... Что с кашей?!..

— Рота, подъём! — ещё раз настырно проорал чеченец; не прошло и мгновенья с тех пор, как он выкрикнул “Подъём!” в первый раз.

— Рота, подъём! — проорал он и в третий раз.

— Что ты, б..., кукаречишь, как петух, по три раза? — крикнули на чеченца. Артём уже проснулся, узнав голос Ксивы, хотя одной рукой всё-таки слепо трогал нары под собой и рядом: не лёг ли он на кашу, не опрокинул ли её?..

— Кто сказал “петух”? — громко спросил чеченец. “Петух” он производил через длинное “и”.

Как же хочется спать! Артём, не раздумывая, дал бы сейчас мизинец отрубить себе за сон. Особенно мизинец на ноге. На ноге он вообще не нужен. По мизинцу за час сна.

Появилась рука Афанасьева с пирожком — Артём отчего-то испуганно посмотрел, на месте ли мизинец Афанасьева? Да, на месте. А потом образовалась ухмыляющаяся рожа петроградского поэта:

— Ты спал вчера, когда принесли... За ударный труд. Представь, чего мне стоило его не сожрать! Я его нюхал всю ночь. Оставь на день, я ещё понюхаю?..

Артём под дурацкий смех Афанасьева выхватил пирожок и тут же целиком засунул в рот! Его взяло сомнение: вдруг и это приснилось? Пирожок был настоящий, с капустой, Артём жевал и чувствовал, как крошится его лицо: это всё вчерашние комары, замешанные с кровавой ягодой... или наоборот...

— Видела б тебя родная мать, — сказал Афанасьев — он-то вчера как-то исхитрился умыться.

Надо было прыгивать скорей — в любую минуту мог появиться Крапин, а то и Кучерава: они ежеутренне обходили ряды, нещадно подгоняя спящих лагерников; бывало, и рёбра ломали.

В эту ночь Артём впервые не поднялся на парашу — пришлось идти вместе со всеми; и ничего, снёс, стерпел. Высокий ушат с положенной поперёк доской; напротив, лицом к лицу, стоит очередь и подбадривает иногда друг друга. Ксива, чтоб на него не смотрели, начал, будто в шутку, себя доить за уд, пугая всех: “Щас! Ай, щас! Уже подходит! Разойдись!”

Парашу, заметил Артём, выносили два фитиля, нанятых чеченцами за махорку. Продевали палку в ушки ушата и тащили в центральную уборную. На той же палке, что и парашу, чеченцы внесли чан с кашей.

Хоть этой палкой и не мешали в чане, всё равно было неприятно. Но не так, чтоб расхотелось жрать.

С кормёжкой Артём характер не выдержал — влез в очередь один из первых, позабыв даже, что где-то здесь есть Ксива, так, к слову, и не откликнувшийся на вопрос чеченца... “Вот ссыкливая падлота”, — подумал Артём. В очереди было хорошо, тесно, весело, тем более что штаны и рубаха высохли, вот только валенок никаких не оказалось.

Поев, почувствовал себя немного уверенней.

За кипятком тоже надо было подсутиться — кипяток имел обыкновение заканчиваться.

“Если Ксива сунется — ударю”, — решил он про себя.

Василий Петрович подошёл, посмотрел на Артёмово лицо, покачал головой.

— Слышали? — спросил. — Бурцев сегодня стал отделенным.

Артём молча порадовался, что Василий Петрович простил его: утро-то неплохо начинается, может, и дальше так пойдёт.

— Хорошо... Хотя мы с ним... не сошлись до такой степени, чтоб мне... испытывать надежды... — отвечал Артём, попивая кипяток.

В сон всё-таки клонило очень сильно, и синяк на ноге саднил, и ладони, ободранные о кусты, ужасно ныли — Артём прижимал их к банке с кипятком и от удвоенной боли чувствовал даже некоторое удовольствие.

— Всё приличный человек, — сказал Василий Петрович почему-то с сожалением. От него, кстати, ощутимо пахло чесночком.

Артём тоже хотел чеснока, но не хотел, чтоб его жалели, и остро осознал, что на ягоды к Василию Петровичу всё равно не попросится: характер.

Пришёл Афанасьев, чокнулись банками с кипятком, Артём сказал, улыбаясь и чувствуя объеденные комарами щёки:

— А ты ничего. Я, ещё когда мы пни корчевали, заметил.

— Артём, голуба, я, бывало, на воле по три дня не ел, — ответил Афанасьев. — Достанется где кусок хлеба — и снова на три дня. А тут у меня на обед суп с кашей, вечером снова каша. Захотел — посутился и сделал салат из селедочки с луком. Совсем задурил — пошёл и купил себе конфет в ларьке. Разве в этом счастье?

— Конфет? — удивился Артём, не поддерживая разговор про счастье. — Откуда у тебя деньги? Скопил, что ли?

— Почему? В карты выиграл. Будешь мармеладку?

У Афанасьева действительно была мармеладка, и он угостил ею Артёма. От сладкого даже в мозг ударило: такой душистый, томительный вкус.

“Я с детства занимался собой, вертелся на турнике, даже боксу учился, работал грузчиком, а это — поэт! И такая живучая сущность, — дивился Артём, глядя на Афанасьева. — И характер такой простой!.. Всё-таки и у меня есть какие-то углы, и я этими углами цепляю то Ксиву, то Крапина... А у Афанасьева вообще никаких углов нет, он втекает в жизнь — и течёт по жизни... Хотя нет, его же убрали с дневальных?..”

— ...Слышишь меня? — смеясь, спросил Афанасьев, рассказывавший что-то.

Артём отрицательно покрутил головой, снова улыбаясь, и вдруг спел:

— “Не по плису, не по бархату хожу, а хожу-хожу по острому ножу...” Откуда я знаю эту песню? Никогда её не слышал.

— Как не слышал, — добродушно удивился Афанасьев, — вчера Моисей исполнял.

* * *

“Человек — живучая скотина”, — думал Артём по дороге на баланы. Сердце его разогнало кровь, глаза проснулись, сон сошёл, душа ожила.

“Это сейчас ты так говоришь! А если такой наряд тебе будет выпадать до ноября? — спросил Артём себя. — Представь, каково в ноябре, да в канале, да по глотку...”

Отмахнулся, не стал представлять; обернулся на монастырь.

“Надо мхом порастить и стоять на любом ветру каменно...”

Вчерашняя партия была в полном составе, даже потешного мужичка опять прихватили, может, из подлости. Звали его Филиппом — Афанасьев узнал. Убил Филиппок свою матушку и по той причине оказался в Соловецкой обители.

— Работать не будешь — вечером выдавлю глаз и заставлю съесть, — посулился ему негромко Ксива.

— Потяну ляжку, пока не выроют ямку, — кротко и еле слышно ответил Филипп.

После того, что Афанасьев рассказал про Филиппа, Артём непроизвольно сторонился мужичка. От слов его, будто бы помазанных лампадным маслом, воротило.

Как дошли до места, Моисей Соломонович сделал три крута вокруг своего пенька — не позовут ли его попеть и сегодня. Но никто знака не подавал.

“Ах, как жаль, — говорил весь вид Моисея Соломоновича. — Как жаль, ах...”

После вчерашнего концерта Артём поглядывал на Моисея Соломоновича с интересом: судя по всему, это был человек увлекательный.

Не дожидаясь понукания десятника, Артём полез в воду. Рубаху он накрутил на голову, плечи намазал прибрежной грязью.

— Гражданин десятник, чё сегодня — опять сто? — поинтересовался Ксива. — Не великоват ли урок? — и тут же резво, как конь о двух ногах, забежал в воду.

Десятник Сорокин не поленился и запустил в Ксиву дрынком.

— Давай мой шутильник обратно, шакал, — скомандовал десятник; дрыны называли ещё и шутильниками.

— Утоп он, гражданин десятник, — отвечал Ксива, тщательно изображая поиски.

— Я тебе дам “утоп”! Он деревянный, как ты! Ищи!

Артём поймал себя на странном чувстве: ему б хотелось, чтоб десятник додал Ксиву, заставил принести шутильник и наказал бы пару раз этой самой палкой.

Но хитрый Ксива так и не отдал дрын, сколько Сорокин ни орал.

Наоравшись, десятник ушёл перекурить с конвойными. А потом и вовсе все трое отправились куда-то: наверное, за ягодами. На прощанье Сорокин крикнул, что сегодняшней урок уже сто пятьдесят баланов — полтинник накинули за дрын.

— А тут, даже если по двести, — ещё на неделю трудов, — прикинул Лажечников, из-под руки осмотрев канал.

— Ксива, б..., тебя утопить мало, — заругался Афанасьев, без особого, впрочем, задора.

Артём снова удивился: Афанасьев мог позволить себе говорить с блатным таким тоном. Мало того, Ксива ему вполне приветливо ответил:

— Да пошёл ты, Афанас. Иди в зубах ему дрын отнеси. Вон как твой дружок вчера.

Артём, хоть и стоял в воде, а почувствовал, что его внутренности будто облили чем-то горячим, липким, стыдным. Деваться было некуда.

— Ты, блатной! — выкрикнул Артём, и крепость собственного голоса его самого возбудила и поддержала. — Пасть свою зашей!

Отталкиваясь от баланов, Артём пошёл, стараясь делать это как можно быстрее, по направлению к Ксиве.

— Вы чё, хорош, — искренне засмеялся Афанасьев.

— Э, фраер, иди ко мне, — позвал Ксива Артёма, которому и так оставалось два шага. Артём изловчился и вдруг пробил правой прямой замечательно длинный удар Ксиве в лоб, да так точно, что голова его сначала, рискуя сломать шейные позвонки, резко шатнулась назад, а потом он всем телом завалился вперёд — благо что на балан, а то бы под воду ушёл.

Двое других блатных рванулись было на помощь, но тут влез Афанасьев: — Их разборка! Их разговор! Двое говорят — остальные стоят!

Ксиву приподняли с балана, он вращал глазами и даже разговаривать не мог какое-то время, только взмывкивал.

Лагерники молча работали. Лажечников хмурился. Сивцев часто шмыгал носом. Китаец привычно находился где-то глубоко внутри себя. Моисей Соломонович занимал всегда такое место, чтоб оказаться равно далёким от любой опасности. Филипп, крихтя и бормоча, бегал вдоль воды, как будто оттуда должна была вот-вот выпрыгнуть ему прямо в руки большая рыба.

У Артёма всё одновременно дрожало и ликовало внутри.

Сплюнув, он вернулся к Афанасьеву ворочать баланы. Афанасьев был весело-удивлённым, но и несколько озадаченным.

Артём покусывал губы и старался не слишком коситься на Ксиву, но всё равно чуть болезненно прислушивался: не начнёт ли тот снова хамить.

Время от времени Артёму приходилось драться. Он не был к этому склонен, однако драться умел неплохо: надо было только переломить в себе врождённое нежелание ударить человека по незащищённому и ранимому лицу, а дальше всё получалось само собою.

Блатные, выведя Ксиву на берег, покрутились возле, предлагая помощь... Кажется, он на них шикнул, и они снова зашли в воду.

— Неплохо, неплохо, — сказал Афанасьев, всё ещё улыбаясь.

Приятное тщеславие понуждало Артёма выказать свою невозмутимость. Для этого лучше всего подходило молчание.

— Стихов бы, что ли, почитал, — предложил он спустя несколько минут.

Афанасьев задумался, будто решая, говорить всерьёз или нет, а потом ответил очень серьёзно:

— Своих я ещё тут не написал, а прежние не считаются. И чужих не хочу. Буду здесь без стихов жить, как без женщины. Потом слаще окажется попробовать.

И тут же перевёл тему:

— Тёма, что ты хватаешься за самые тяжёлые брёвна, я не пойму. Сил до хрена, я увидел. Ну, так побереги их. Выбирай хлысты тонкие, худые баланы. Это девок надо выбирать помягче, а тут-то... зачем...

Десятник вернулся неприметно, наверное, ещё издалека заметил филоныщего Ксиву и путь от перелеска проделал едва ли не скоком. В руке у него был новый дрын.

Определённо, у Ксивы сегодня был тяжёлый день: пока он добежал до воды, ему досталось раз десять по хребту.

Работал он после этого, как в полуобмороке, а ближе к обеду его вдруг прямо в воде вырвало. Сплюнявая нить свисала с отвисшей губы, пока не вытер, озираясь дурными глазами.

Вся эта хлебная слизь и непереваренная каша раскачивались некоторое время на поверхности.

В какой-то момент Артём осознал, что не осталось и толики гордости за свою короткую и очевидную победу, и не потому, что Ксива еле передвигался, весь сонный и скисший, а потому, что день нынешний оказался ещё трудней, чем вчерашний.

И баланы за ночь стали будто тяжелее, и ветер — ещё более назойливым, и комарё даже на ветру не пропадало.

— Раз вы такой стаей летаете туда-сюда, дотащили б до лесопилки, — ругался на комаров Афанасьев.

Вообще Афанасьев всё больше нравился Артёму; он бы подумал об этом серьёзнее, когда б не разноцветные звёзды, пляшущие в глазах.

Откуда-то издалека раздавался рёв десятника Сорокина — тот снова называл потешного Филиппка за отсутствие сил и воли к работе.

Филипп сам предложил поорать про филона, хотя, признаться, голос его сел совсем.

— Слыхали? — обратился десятник к конвойным. — Он опять хочет орать про филона, а не работать!

Конвойные смеялись; Филиппа ещё раз, сбив на землю, поучили дрынном, он вскрикивал и безуспешно пытался уползти.

Сегодня Артёму и в голову не пришло бы за него вступаться. Вчерашний свой поступок он не понимал вообще и объяснить бы при всём желании не сумел.

Подступало тихое помутнение.

Артём медленно повторял, часто смаргивая: вот плавают звёзды перед глазами, вот плавают, вот плавают, а если их выловить, а если их выловить и сварить...

И представлялся ему суп: позолоченный, ароматный, источающий нежнейший дух.

Понемногу начало накапывать прямо в суп, а потом как надорвалось — грянул оглушительный ливень, пузырящийся, шумный, толкотливый.

Било по мозгам так, что звенело и бурлыкало в голове.

Артём чувствовал озноб, сделавший руки негнущимися, движения — тупыми, пальцы — деревянными.

В воде оказалось лучше, чем на суше, — и все, кроме Филиппа, залезли в канал, стояли там меж пузырей, в угаре и грохоте дождя.

Десятник и конвойные сразу убежали поближе к деревьям и пережидали там, покуривая.

Филипп, приговаривая что-то, ходил туда-сюда по берегу, словно искал посреди дождя место, где не каплет.

Дождь шёл минут десять и разогнал комарьё.

Но не успела рассеяться последождевая морось, как по одному, неистово пища, начали возвращаться комары.

“Нет бы ливень прошёл огненный, раскалённый”, — мечтал Артём.

Дорога до лесопилки и назад больше не согревала. Зато пятки едва чувствовали боль, и Артём наступал на камни, ветки, шишки с некоторым даже озлоблением.

Филипп работал теперь в паре с невысоким, хоть и втрое шире его Лажечниковым.

Уже вечерело, когда непрестанно что-то шепчущий Филиппок вдруг притих и несколько минут вёл себя настороженно и странно.

Артём с Афанасьевым подавали, кряхтя и клекоча, очередной особенно тяжкий балан из воды, и Филипп вдруг на глазах у Артёма исхитрился и — явно с задумкой! — сбросил руки. Лажечников пытался удержать балан, но куда там! Балан мощно тюкнул концом точно по ноге Филиппа.

— Эй! Ты что? — вырвалось у Артёма.

— Ай! — заорал Филипп. — Ай! — он ещё хотел прокричать заготовленное “Выронил!”, но боль, видимо, оказалась такой настоящей, что его хватало только на “Выр! Выр! Выр!..”

Афанасьев и Артём тоже сбросили свой конец и стояли, не шевелясь.

Только Лажечников, ничего не понявший, приговаривал, безуспешно пытаясь рассмотреть ушиб:

— Не то поломал?

Появившийся десятник, вообще не раздумывая, взял Филиппа за волосы и поволол — не куда-то и с определённой целью, а просто от бешенства, — и волочил кругами, пока кудрявый клок так и не остался зажатым в кулаке.

— Сука шакаля! — орал Сорокин. — Кого ты хотел обмануть? Я таких сук имею право удавить лично! Всем саморубам и самоломам положена смерть! Ты сдохнешь сейчас!

Артём, безвольный и глухой, прошёл к еле живому костерку, который только что разожгли конвойные.

Он был совершенно уверен, что Филиппа сейчас не станет.

Моисей Соломонович громко вздыхал. Артёму почему-то показалось, что тот молится.

Назабавившись и оставив Филиппа на земле, десятник Сорокин тоже направился к костру, бросил в огонь клок волос, которые так и держал в руке, и скомандовал: “Ну-ка все на хер в воду!”

— Не убей меня! — снова вскрикивал Филипп срывающимся, будто не находящим себе пути в надорванной глотке голосом.

Что-то придумавший Сорокин позвал блатных — и вскоре они откуда-то прикатили здоровый, пуда на полтора пень.

Подсушив пень на костре, Сорокин, произнося вслух то, что писал, вывел карандашом: “Предъявитель сего Филон Паразитович Самоломов направляется на перевязку ноги. После перевязки прошу вернуть на баланы для окончания урока”.

Конвойные хохотали, причём у Артёма было твёрдое чувство, что всё это уже когда-то было и теперь, только громче и назойливее, повторялось.

— Подымайся, шакал! — крикнул, завершив труды свои, Сорокин. — Думаешь, ты не сможешь работать на одной ноге? Сможешь! Сможешь вообще без ног, йодом в рот мазанный!

— Я не нарочно! — с подсвистом сипел Филипп.

— Либо я тебя забью дрыном по голове и брошу в канал, либо ты встал и пошёл с письмом в монастырь! — со всей возможной серьёзностью предложил Сорокин, яростно сжимая крепкую палку.

Артём увидел перед собой человека, готового к убийству и даже желающего его.

И Филипп встал.

Пень он сначала, шага три, нёс впереди живота — и уронил... взвалил на горб и с минуту шёл, далеко ступая здоровой ногой и очень мелко — ушибленной, натурально плача при этом... вскоре сам упал... дальше покати пень перед собой.

Артём вслед ему не смотрел, слыша лишь его стенания и жалобы. Иногда Филипп вскрикивал так, словно его прокальвало насквозь раскалённой спицей, — наверное, когда неудачно ступал на покалеченную ногу.

Они закончили урок ещё позже, чем вчера: с конвойными десятник снова договорился. Зарабатывал себе условно-досрочное, скот.

— Я решил купить плеть, — сказал Артёму Афанасьев, когда они, дотавив последний балан, бессильно возвращались от лесопилки на помаргивающий костерок. — И знаю как.

Полуночный дождь гнал их до самого монастыря. Шли по щиколотку в грязи.

Видя мутные монастырские фонари, Артём чувствовал, что это не дождь бьёт его в затылок и плечи, а он тащит за собой дождь, как огромную, полную ледяной и трепещущей рыбы сеть.

* * *

Ночью в роте удавился заключённый из их взвода.

Всех подняли в начале пятого, едва дневальный обнаружил мертвяка.

Артём просыпался так, будто ему — как кости, с хрустом — сломали сон, и открытый перелом шёл через трещащий от боли череп.

...Ротное начальство суетилось: может, убийство. Но лагерники точно понимали, что нет, поскольку это был фитиль, доходяга, никому не интересный. Он сидел четвёртый год, висело на нём пять, недавно отсидел в камере десять суток, и это его доконало.

Разбуженный Кучерава пару раз рубанул дневального дрыном за то, что недоглядел. Чеченец тарачил бешеные глаза, но у Кучеравы они были ещё бешеней.

Мертвяк висел в дальнем углу, исхитрившись удавиться с краю нар, прицепив удавку к жердям третьего яруса. Петлю смастерил из рубахи, порвав её на длинные лоскуты.

Никто ничего не слышал. Лагерник на первом ярусе так и спал головой к ледяным ногам давленника, пока не получил дрыном от Кучеравы.

Мертвяка ужасно материли за переломанный сон.

Дневальным велели снять труп; битый послушно полез и перерезал удавку, но принимали внизу всё равно те же фитили, что выносили парашу. Двое других чеченцев командовали и покрикивали.

Труп вынесли и положили на улице у входа.

Прибежала собака одного из лагерников по кличке Блэк, понюхала труп и села рядом. Во дворе ещё жил олень по прозвищу Мишка, но он сегодня держался в отдалении, хотя по утрам, едва появлялись лагерники, сразу спешил к ним: бывало, кто хлебом угощал, а кто и сахарком — далеко не все сидельцы бедовали. Потом тех, кто ему давал сахару, Мишка легко находил в любой толкотне.

Встал Артём в состоянии почти алкогольного опьянения, не помня и десятой части из того, что случилось вчера, и очень медленно осознавая происходящее сегодня.

Он без толку побродил по трапезной, готовый заснуть прямо на ходу, а скорее, всё ещё спящий.

Вышел на улицу, по дороге заметил, что Ксиву опять рвёт, и ничего не подумал по этому поводу.

Над трупом как-то особенно стервозно орали чайки, будто увидели вознёсшуюся душу, она им не понравилась, и они хотели её заклевать, как чужую, прокажённую, лишнюю в этом небе.

Когда одна из чаек стала снижаться, чтоб, кажется, усесться прямо на труп, вдруг с необычайной злобой залаял Блэк. Чайка рванула вверх, но обиду затаила. Спустя минуту уже несколько чаек кружило над Блэком, норовя пролететь над самой его башкой, а он сидел невозмутимо, как будто сам умел в любое мгновение взлететь и порвать в воздухе кого угодно; только иногда поводил носом.

Плюнув кислой слюной себе под ноги, Артём вернулся в трапезную и влез обратно на своё место. Ему было муторно, забко, предвотно.

Одежда Артёма не высохла. Видимо, тело его не смогло за ночь дать нужного количества тепла. Наоборот, шинелька подмокла и непонятно отчего внутренняя ткань стала какой-то склизкой.

Подошёл Бурцев.

— Команды ложиться не было, — сказал он.

Артём открыл глаза, посмотрел на него, хотел было просительно улыбнуться, но не хватило сил, подумал дремотно: “Белогвардейская сволочь...” — и закрыл глаза: может, пропадёт.

И заснул.

Подъём всё равно был через четверть часа, но эти четверть часа в покое значили непомерно много. Ещё бы часов семь-десять, и совсем было бы хорошо.

* * *

Первая мысль: неужели Бурцев пропал? Обиделся, интересно, или нет?

Вторая мысль: а был труп или нет, или приснился? Может, и Бурцев тогда приснился?

Труп лежал на месте. Блэк всё сторожил мёртвого. Чайки ходили неподалёку, косясь на недвижный человеческий глаз и дразнящийся язык.

— Ты помнишь, что я вчера сказал? — спросил Афанасьев у Артёма после завтрака.

“Купить плеть, силетовать” означало “побег”.

Артём ничего не ответил и даже не кивнул.

Они сидели на его нарах с кипятком в руках. Было только семь утра. Артём бесстыдно сколупывал вчерашнюю грязь со щиколоток. Афанасьеву было всё равно.

Минуту назад, перед тем как залезть наверх, он положил в протянутую руку живущего под нарами беспризорника мармеладку. Теперь два товарища со второго яруса смотрели, как рука вновь появилась. Некоторое время открытая грязная ладонь будто бы искала что-то — таким движеньем обычно пытаются определить, идёт дождь или нет. Больше мармеладок не выпало; рука исчезла.

Некоторое время молчали, тихо закивая от недосыпа.

— Отсюда не убегают, — сказал Артём, встряхиваясь.

— Убегают, — ответил Афанасьев, жёстко, по-мальчишески надавив на “г” в середине слова.

Ещё посидели.

Ни о каком побеге Артём даже думать не хотел.

— Ты вроде был иначе настроен к здешней жизни, — сказал он, еле справляясь языком с тяжёлыми словами.

— Дурак, Тёма? — прошипел Афанасьев. — То, что я могу выжить и здесь, не означает, что я буду тут жить... К тому же если остаться в двенадцатой, тут могут и уморить. Зимой уморят запросто.

— Ещё кипятка хочу, — сказал Артём, сползая с нар так, будто его всю ночь жевали и выплюнули, не дожевав.

Когда ставил консервную банку на свои нары, заметил, что рука от напряжения дрожит. Как же он теперь будет поднимать баланы, если пустую железяку едва держит.

Ещё надо было идти в сушилку, отнести вещи — у него были запасные штаны, имелся и пиджак. Он переоделся в сухое и, невзирая на лето, влез в шинель.

— С тобой схожу, — сказал Афанасьев.

Сушилка была в восточной части кремля; обслуживала она в основном администрацию, но иногда работники, тоже из числа заключённых, могли смилостивиться и взять шмотьё у простых лагерников.

Прошли мимо удавленника, за своим разговором и не посмотрев на него. Мёртвый язык, замеченный боковым зрением, еле тронул в Артёме человеческое, почти неосознано.

Если б Артём задумался об этом, он решил бы так: это же не человек лежит; потом: что человек — это вот он, идущий по земле, видящий, слышащий и разговаривающий, а лежит нечто другое, к чему никакого сочувствия и быть не может.

Афанасьев всё пугал Артёма предстоящей зимой:

— ...За невыполнение нормы раздели и оставили на морозе... Он и задубел. Это не “Я филон!” орать. И лежал за отхожим местом ледяной труп до самой весны, пока не начал оттаивать...

Артём вдруг вспомнил слова Василия Петровича, что в дневальные назначают только стукачей. Он же про Афанасьева говорил!

— К чему ты мне это рассказываешь? — перебил Афанасьева Артём.

Им навстречу из сушилки вышел хмурый чекист, и Афанасьев не ответил.

В сушилке уже стояло человек семь отсыревших бедолаг, причём некоторые из них были по пояс голые: сменной одежды они не имели.

— Куда ты тянешь своё тряпьё, иди под жопой его суши! — надрывался приёмщик, наглая рожа.

Всё сразу стало ясно.

— Человек человеку — балан, — сказал Афанасьев на улице.

* * *

В роте Бурцев бил китайца.

Китаец лежал на своих нарах и не хотел или не мог встать на работу.

Бурцев его тащил за шиворот.

Китаец не стоял на ногах, тогда Бурцев его бросил, но тут же склонился и начал неистово трясти за грудки, выкрикивая каким-то незнакомым Артёму, болезненно резким голосом:

— Встать! Встать! Встать!

Это “встать!” звучало, как будто раз за разом остервенело захлопывали крышку пианино.

“Вот ведь как... — вяло размышлял Артём. — Подумать-то: всего лишь отделённый. И такое. А мог бы и со мной такое проделать?”

Появился откуда-то Василий Петрович, весь, как курица, взъерошенный то ли от ужаса, то ли от удивления.

— Мстислав! — всё повторял он. — Мстислав!

“Кто у нас Мстислав?” — никак не мог понять Артём: отчего-то он никогда не слышал, чтоб кто-то называл Бурцева по имени.

Бурцев выпрямился и, не глядя на Василия Петровича, пошёл к выходу: скомандовали построение на поверку.

По дороге Бурцев вытирал ладони, словно только что мыл руки.

Василий Петрович помог подняться китайцу.

— Тём, а вот тебе не кажется странным, — привычно возбуждённый, бубнил Афанасьев, пока рота пыталась построиться. — Китай-то чёрт знает где. Там где-то ходят китайцы, живут своей муравьиной жизнью, и там есть родня этого нашего... как его зовут?.. Родня говорит по-китайски, ест рис, смотрит на китайское солнышко — а их сын, внук, муж валяется на каких-то Соловках, и его бьёт отделённый Бурцев?

Артём понимал, о чём говорит Афанасьев, но все эти отвлечённости не могли взволновать его. Вот Бурцев его удивил, да. Он ходил взад-вперёд, наблюдая, как строится отделение. Вид у Бурцева был сосредоточенный.

Василий Петрович привёл китайца, Бурцев не подал вида, словно случилось то, что должно было случиться.

Проходя мимо Артёма, Бурцев остановился, сощурился и сказал:

— О, тебя не узнать. Возмужал.

Артём попытался улыбнуться, но отчётливо понял вдруг, что его оплывшее, лихорадочное, болезненное лицо за два дня едва не съедено комарами и что Бурцев издевается.

“Грёбанный хлыщ, — подумал Артём. — Ему тоже теперь надо бить в лоб? Прекратится это когда-нибудь или нет...”

“Это он мне отомстил за то, что я не встал с кровати утром”, — мгновенно спустя догадался Артём.

Ни на какую радость после этого надеяться не приходилось, но судьба сыграла в своём жанре: Артёма с Афанасьевым сняли с баланов. Направили, правда, непонятно куда.

“Кого благодарить-то? — думал Артём. — Удачу? Где она — моя удача?.. Или Василия Петровича?”

Но Василий Петрович был, кажется, ни при чём.

Артём старался не смотреть на крутой, обваренный лоб Крапина, чтоб ничего не нарпортить.

Может, Афанасьев подсуетился?

Но Афанасьев вида не подавал, только посмеялся, лукаво глядя на Артёма:

— Главное, не центральный сортир чистить — остальное всё сгодится.

По пути в роту, когда движение застопорилось, кто-то больно толкнул Артёма в спину; он быстро оглянулся. Позади были блатные.

Поодаль стоял Ксива, смотрел мутно, словно что-то потушили в его голове. Под глазами у него были натурально чёрные круги.

— Амба тебе, чучело, — сказали Артёму.

— Что стряслось, братие? — тут же обернулся, качнув засаленным рыжим чубом, Афанасьев, шедший рядом.

— Не лезь, Афанас, — ответили ему.

Артём развернулся и сделал шаг вперёд. Его ещё раз, похоже, костяшками пальцев, сурово и резко ткнули под лопатку. Больше не оглядывался, наоборот, пытался скорей протолкнуться, но впереди, как назло, топтались медленные, будто под водой, лагерники.

Сзади хохотнули, произнося что-то обидное и гадкое.

Артём изо всех сил постарался не услышать — и не услышал.

Его потряхивало, он держал руки в карманах, сжав кулаки.

На улице по-прежнему орали чайки. Было необъяснимо, зачем природа сделала так, чтоб небольшая птица умела издавать столь отвратительный звук.

— Ты не дёргайся, — сказал Афанасьев очень спокойно. — Мы разберёмся.

Артёма будто кольнули тёплой иглой под сердце — всякое доброе слово

лечит, от него кровь согревается. Но виду не подал, конечно, да и верить никаких оснований не было. Ну, да, Афанасьев, кажется, с риском для себя поигрывал с блатными в карты, но с чего б ему разбираться и как?

— Я по юности сам воровал, Тёма, — сказал Афанасьев, будто слыша мысли своего приятеля. — Я знаю всех питерских. Попытаемся найти нужные слова. С ними базарить — это как стихи писать: уловишь рифму — и в дамки. А пока двигайся ловчей, у нас наряд по веникам.

— Каким веникам? Откуда знаешь? — встрепенулся Артём.

— Я ж и договорился, Тёма, — сказал Афанасьев. — Крапину тоже нужны деньги. Банные веники будем вязать. Заказ поступил от архангельских городских бань. Пока листопад не начался.

— А что ты там про сортиры тогда молот? — спросил Артём.

— А тебя пугал, — засмеялся Афанасьев, рыжий чуб тоже затрясся в такт смеху. — Но тут тебя вон сколько народу хочет напугать, целая очередь, поэтому...

— Я не боюсь, — сказал Артём, хотя, кажется, это было неправдой.

— Нет, голуба, — вдруг сменил тон Афанасьев, — ты их бойся: когда их больше одного, страшней их нет... Но добазариться иногда можно. А главное, Тёма, — венички у нас нынче! И без конвоя!

Афанасьев подпрыгнул и попытался ударить кружившую по-над головами чайку, та рванула ввысь, заорав что-то несусветное, истеричное.

— Проститутка! — выругался ей вслед Афанасьев и, уже обращаясь к Артёму, риторически спросил:

— Ты слышал, как она меня назвала?

Их обогнала подвода с трупом удушенника. На языке у него сидела жирная муха, не пугаясь тряски.

Артём вдруг вспомнил, что с утра не видел потешного Филиппка.

Утро оказалось слишком длинным, пора ему было переваливаться в день.

* * *

— Кто со мной разговаривал? — спросил Артём, совсем уже успокоившийся.

“Выкружу”, — сказал себе.

— Бандит Шафербеков. Порезал жену, сложил кусками в корзину и отправил по вымышленному адресу в Шемаху.

— А Ксива — он кто?

— Карманник. Но тоже вроде какую-то бабушку напугал до смерти.

— А прозвище у него откуда такое?

— Губу его видел? Она ж как ксива — всем её сразу предъявляет...

Артём покачал головой:

— И ты общаешься с этой мразью?

Афанасьев саркастично скривился:

— А здесь есть другие?

Артём пожал плечами: было очевидно, что есть.

— Ты думаешь, на любом бывшем чекисте из девятой роты меньше крови? — поинтересовался Афанасьев. — Там у каждого по дюжине таких корзин в личном деле.

— Я не про них.

— А про каких? Посмотри на Бурцева — что с ним стало за день! Отделенным назначили! А Мстислав наш из дворян наверняка. Плётку скоро себе заведёт, бьюсь об заклад. Чекисты, думаешь, суки, а каэры все невинные, как они сами про себя здесь рассказывают? Ага!

— На каэрах другая кровь, — сказал Артём тихо.

— Какая другая? Такая же. Сначала мокрая, а потом сворачивается.

— Ты понимаешь, о чём я, — упрямо повторил Артём.

— И твоего Василия Петровича я не люблю, — весело, но не без стервозной нотки продолжал Афанасьев. — Неровный тип. Знаешь, как мы с ним познакомились? Иду с посылкой от мамки, он ловит меня за рукав

в коридоре — это ещё когда я в карантинной роте был: хочешь, говорит, посылочку сберегу?

Артём помолчал и спросил:

— А что такого?

— А чего мне с ним посылочкой делиться?

— Тогда придётся делиться с блатными.

— Вот именно. И первый твой вопрос был: “Почему ты дружишь с этой мразью?”

Артём выдохнул и сказал миролюбиво:

— Да ну тебя.

Афанасьев хохотнул, очень довольный собой.

— Ты циник, Афанасьев, — сказал Артём уже совсем по-доброму, не без некоторого, признаться, уважения. — Ты мог стать замечательным советским поэтом. Никаким не попутчиком, а самым правозверным.

— Мог бы, — согласился очень серьёзно Афанасьев. — Но не стану. Мне и карт хватает, чтоб жульничать. А этим я не торгую.

— А ты совсем не веришь большевикам? — спросил Артём минуту спустя.

— Я? — встрепенулся Афанасьев и даже схватил свой чуб в кулак, слегка подёргивая. — В чём-то верю, отчего ж. Только большевики мне не верят совсем!

И снова захохотал.

Они нарубили-наломали дубовых и берёзовых ветвей и вязали выданной бечевой веники, ими же обмахиваясь от комарья.

Сегодня выпал день солнечный, высушивающий давешнюю сырость, и место они выбрали такое, чтоб подпекало, — так что было очень хорошо, даже чудесно. Нисколько не хотелось думать, кто там сегодня студится и надывается с баланами.

— А вы где играете? — спросил Артём, имея в виду карты. — За это ж могут на Секирку сослать.

— На Секирку... — сказал Афанасьев насмешливо. — И что теперь? Играем, где можем, — это сильней страха, игра — она вместо этой б...ской жизни соловецкой, затмевает её... Мест, чтоб громать, пока много: в оконных нишах играем... есть пара обжитых, ещё не пропалённых чердаков, за дровами место есть... В роте тоже играют иногда, разве не видел? Но ловят, суки, давят.

Афанасьев мечтательно смотрел куда-то далеко, будто мысленно раскидывал карты.

— Ты хорошо играешь? — спросил Артём.

— Играю? — засмеялся Афанасьев. — Нет, тут другое. Это не игра — это, Тёма, шулерство. Играть там — без смысла, важен только обман. Я в детстве хотел фокусы показывать в цирке, с ума сходил просто. Фокусам так и не научился толком, а вот с картами могу кое-что... А сама игра — это уже дело пятое. Главное, если хочешь выиграть, чтоб была своя колода. Или, на крайний случай, третьего человека. Всё дело в колоде: как ты её растасуешь — так и поиграешь, Тёма.

Артём помолчал.

— А карты откуда?

— Святыцы сделать — тоже своя забава, — с видимым удовольствием рассказывал Афанасьев. “...Во поэт”, — подумал Артём весело.

— Идут блатные в библиотеку, продолжая плановый процесс перековки, берут роман потолще... Режут страницы из книг, бумагу склеивают хлебным клеем — это когда хлеб обваривается кипятком и отжимается; отжатая жидкость — клейкая. А потом через трафаретку рисуют мылом, разведённым на чернилах, карты, они же “святцы”, они же “колотушки”, — с учительской интонацией закончил Афанасьев и, подняв веник, спросил:

— Жаль, на венике нельзя улететь, как Баба Яга, да, Тёма? Сейчас бы уселись с тобой — и адю, товарищи!

— Баба Яга ж — на метле, — отвечал Артём.

— А метла что? Веник! — не соглашался Афанасьев.

Веников они сделали уже полторы сотни, и надо было ещё пятьдесят.

— Давай-ка мы сделаем метлу, может, полетит? — сам себя развлекал Афанасьев.

Сходил до обильно наломанных ветвей, выбрал самые длинные, связал из них уродливый, в половину человеческого роста веник.

— А? — смеялся Афанасьев, пытаясь на него присесть и так разбежаться.

— У нас верёвки кончились, — подсмеиваясь, сказал Артём. — Вязать веники нечем. Урок не сделаем, хлеба дадут триста грамм, а у меня и так кончился.

— А я знаю, чем, — тут же сообразил Афанасьев. — Я тут брошенную колочку видел.

— Думаешь, надо? — спросил Артём, умиляясь на нового рыжего товарища.

— А чё, не надо? — отвечал Афанасьев. — Сказали: надо веники — вот будут им крепкие революционные веники.

Он сходил за колочей проволокой и вернулся с длинным хвостом, натужно волоча его за собой. Наломав колочки и заливаясь от смеха, изготовил “веничек соловецкий”, связав пышные берёзовые ветви колочкой.

Артём тоже заготовил свой такой же.

— “...Окровавленный веник зари!..” — продекламировал Афанасьев, размахивая новым изделием.

— Знаешь такой стих?

*И всыпает им в толстые задницы
Окровавленный веник зари!*

Серёга как в воду глядел!

— Нет, не знаю такой стих, — признался Артём, не очень-то поверив Афанасьеву: наверняка сам сочинил.

Подвязав ветви колочкой, а одну длинную, когтистую проволочную жилу ловко спрятав посреди душистых ветвей, Афанасьев изготовил “веничек секирский”.

— Ай, как продерёт! — кричал Афанасьев. — До печёнок! — он попробовал на себе и пришёл в ещё больший восторг.

Артём не отставал.

Закопав готовые соловецкие и секирские веники поглубже среди остальных, обычных, Афанасьев с Артёмом продолжили своё занятие.

“Веничек чекистский” шёл уже с двумя жилами колочки.

Веник с тремя рогатыми жилами наломанной колочей проволоки называли “Памяти безвременно ушедшего товарища Дзержинского”.

— Представь! — заливался Афанасьев, мотая рыжей головой и ловя себя за чуб кулаком; смех его тоже был какой-то рыжий, веснушчатый, рассыпчатый. — Тёма, ты только представь! Пришла чекистская морда в баню! Ну-ка, говорит, банщик, наподавай мне! Наподавал банщик так, что всё в дыму, ничего не разглядеть! Ну-ка, кричит из клубов пара чекист, пропарька меня в два веничка! И как пошёл банщик его охаживать, как пошёл!.. Чекист вопит! Банщик старается! Чекист вопит! Вроде пытается перевернуться! Банщик ещё пуще! Ещё злее! Ещё чаще! Ещё поддал! Ещё пропарил!.. Чекист уж смолк давно! Банщик постарался-постарался и тоже понемногу успокоился... И вот дым рассеялся, стоит банщик и видит: вокруг кровяща... ключья мяса!.. вместо чекиста — кровавая капуста!.. где глаз, где щека!.. где спина, где жопа!.. как в мясной лавке!.. и в руках у банщика вместо веника — два шампура с нанизанными лохмотьями мяса!.. и тут входит другой чекист... Ты представь, Тёма, эту картину! Входит! Другой! Чекист! И на всё это смотрит огромными детскими глазами! Картина “Банщик и чекист”, б...! “Не ждали”! Передвигники рыдали б!..

Артём так хохотал, что закружилась голова: кулак засовывал в рот и кусал себя, чтоб не ошалеть от смеха.

Веник “Суровая чекистская жопа” готовили долго, совместно. Он был огромен и толст — ухватить его можно было только двумя руками, да и под-

нять непросто. Проволочных жил там было с десяток. По большому счёту, таким воистину можно было изуродовать, главное — размахнуться как следует.

Две хилые берёзовые веточки, сплетённые с одной жилой колючки, называли “Терновый венчик каэровский”.

Так было весело, что едва не проглядели десятника.

Пока тот донёс к ним свою сизую харю, успели немного прикопать свои творения.

— Всё готово, начальник! — отрапортовал Афанасьев, сдерживая смех с таким невыносимым усилием, что, казалось, сейчас его разорвёт всего целиком.

— Тут вроде больше, — сказал десятник, помолчав.

— Гораздо больше! Ударными темпами в порядке боевого задания! — отчитался Афанасьев необычайно звонко.

Артём смотрел в сторону, по лицу его текли самые счастливые за последние месяцы слёзы.

— Возьмите себе попариться! — предложил Афанасьев так громко, словно десятник стоял на другом берегу реки.

— Чего ты орёшь? — спросил десятник.

Афанасьев потушил глаза и больно закусил себе губу. Веснушки на его лице стали такие яркие, словно их поджарили.

Десятник немного повозился и выбрал три веника, обнюхивая каждый с таким видом, словно пред ним были его портянки: забота о себе и нежность к себе были тут ровно замешаны с чуть приметной брезгливостью.

* * *

На Соловки прибыл новый этап, зэки не без удовольствия разглядывали, как идут от причала новички. Чужой страх грел, радовал.

Тринадцатую, карантинную, забили до отказа. Оттуда посидевших месяц-другой лагерников раскидали по другим ротам. В двенадцатую сразу угодило человек сорок.

Когда Афанасьев с Артёмом появились в роте, любопытные, как вороны, блатные крутились вокруг двух самых заметных новоприбывших — это были индусы Курез-шах и Кабир-шах.

Собственно, кроме своих имён, они мало что могли произнести. Первый вообще не знал русского языка, второй вроде бы понимал, но предпочитал улыбаться.

— Прямо ни одного слова по-русски не знаешь? — спрашивал Ксива, по обыкновению наряженный в пиджак на голое тело.

“Очухался...” — подумал Артём с неприязнью.

После нудных, с тупыми шутками домоганий не перестающий улыбаться Кабир-шах признался блатным, что они сели за шпионаж.

— Неплохо, да? — посмеялся Афанасьев, забираясь к себе. — Шпион, а русского языка не знает. Как же он шпионил-то? Считал, сколько собак в Москве и сколько лошадей? Чтоб понять, долго ли москвичи протянут в случае ещё одной революции?

Артём покачал головой на афанасьевские шутки.

Индусов забрал у блатных Крапин, определив их неподалёку от Артёма. Совсем рядом указали место ещё одному — совсем молодому пареньку в студенческой фуражке.

— Тут будешь жить, — сказал ему Крапин.

Свесив ноги, Артём с улыбкой смотрел на молодого.

— Это взводный? — спросил паренёк шёпотом, едва Крапин отвернулся.

Артём кивнул.

Парень протянул руку и представился: Митя Щелкачов. Крапин уходил уже, но вдруг обернулся и вперился в Артёма.

“Что ещё?” — подумал Артём, сжав челюсти.

Крапин сделал три твёрдых шага, подойдя почти в упор — чуть пахнуло селедочным духом. Артём чертыхнулся, не зная, как лучше поступить: остаться на нарах или спрыгнуть вниз.

— Сиди, — сказал Крапин негромко и, ещё выждав, проговорил, медленно и сипловато:

— Ты не дурной вроде тип, что ты тут строишь из себя? Ты ж не жулик, не вор, не фармазон. Хочешь быстро превратиться в фитиля? Вся зима будет на это.

Артём кивнул, ещё мало что соображая.

Крапин ушёл, Артём остался сидеть, иногда шмыгая носом, — раздумывал.

Никак не мог поверить, что Крапин вовсе, судя по всему, не желает ему зла. Иначе зачем он всё это сказал?

— Дорогой мой, — шёпотом позвал поднявшийся со своих нар Василий Петрович. — Между прочим, у меня есть настоящий чай. Если вы не будете по этому поводу кричать на всю роту, то мы вполне можем насладиться вдвоём.

Афанасьев так зашевелился наверху, что стало понятно: слышит. Но пить с Василием Петровичем он всё равно не стал бы, подумал Артём.

— Вижу, как горят ваши глаза, — сказал Василий Петрович, когда они уселись с чаем на его нары, вдыхая аромат с таким усердием, словно желали вобрать его весь. — Вижу глаза и слышал Крапина. Я как-то заранее догадывался, что всё именно так и обернётся. Вам везёт, Артём. Хорошая звезда над вашей купелью светила.

— Сколькимекопечная? — спросил Артём, и они опять немного посмеялись, прихлёбывая чай.

— Я немного разузнал о судьбе Крапина, — начал Василий Петрович негромко. — Когда он работал в милиции, однажды с таким усердием допросил некоего бандита, что тот скончался. Кажется, сейчас это называется “превысил полномочия”. В мои времена могли засесть, но я не припомню ни одной истории, чтоб полиция кого-то убила при допросе. Впрочем, и блатных — таких, как сегодня, — тогда тоже не было.

Василий Петрович вдохнул чайного аромата и продолжал, некоторые слова начиная шёпотом, а договаривая просто губами, без звука:

— Так вот, про нашего взводного. За бандита, убитого Крапиным, отомстили ему ужасно: зарезали его десятилетнего сына. Тогда Крапин превысил полномочия ещё раз и, захватывая некий притон, без всякой надобности застрелил там несколько человек, включая женщину и одного советского административного работника, пришедшего поразвлечься.

Артём внимательно слушал, не зная, какие выводы ему делать.

— Это удивительно, — вдруг, в своей манере, отвлёкся Василий Петрович. — В гражданскую убивали тысячами! На многих висит по трупу, по три, по десять! Тут один конвойный кричал, что расстрелял сто белогвардейцев в одном только двадцатом году! И вдруг кончилась война! И убивать теперь вообще никого нельзя! А люди привыкли! Крапин, думаю, искренне не понимает, как его, бывшего красноармейца, посадили за убийство нескольких блатных, случайной женщины и пусть даже административного работника, но ведь ставшего на подлый путь!

— Василий Петрович, — заговорил Артём с лёгкой усмешкой, чтоб его слова не выглядели как просьба о совете, — я только одного не пойму: как мне всю эту историю примерить к себе?

— Ну, Артём, — с деланой строгостью отозвался Василий Петрович. — Вам бы только стихи учить наизусть — да-да, я заметил за вами этот грешок, не смущайтесь, слишком заметно губами шевелите, и всё время одну и ту же фразу... Стихи учите, а в душах человеческих тоже можно кое-что прочесть. Вот читаю вам: наш взводный Крапин ненавидит блатных. Вы заметили: на Соловках крайне редко бьют казров, что до нашего Крапина — он вообще их не трогает. А вот с блатными, напротив, он находится в постоянном противостоянии... И я не уверен, что он всегда будет выходить победителем. Для нынешней власти, как ни странно, подонки и воры — близ-

кие с точки зрения социальной. А Крапин не может взять в толк: с чего это мерзость общества может быть близкой? В отличие от большевистских идеалистов, Крапин уверен, что перевоспитать их нельзя. И спасать тоже не нужно. А вот вас, Артём, быть может, стоит спасти. Так, по крайней мере, думает Крапин. Когда он вас ударил палкой — он вас, знаете, как молодого бычка, направлял на верный путь. Ну, не словами ж ему было объяснять вам — это ниже его положения. Но ввиду того, что дрыном вас не вразумить, Крапин совершил необычайной силы поступок: он с вами-таки заговорил. Цените, Артём.

Артём так заслушался, что у него едва пальцы не прикипели к нагретейшей банке.

— А знаете, что ещё у меня есть? — засуетился Василий Петрович. — Баранки, не поверите. Верней, баранка. Суховата немного, но если вот так, — Василий Петрович с некоторым усилием разломил баранку на две относительно равные части и, оценив на глаз, передал Артёму большую.

“Всё-таки зря про него Афанасьев так, — думал разомлевший и благодарный Артём. — Ничего наш поэт не понимает. Прекрасный и родной человек Василий Петрович...”

— Вот смотрю на баранки и с горечью в сердце вспоминаю всё то, что когда-то от сытости и глупости не доел, — поделился Василий Петрович. — Помню, был пост, и я, с улицы явившись на обед, поковырял и не стал есть жареную гречневую кашу с луком! Лук мне показался несимпатичным! Каша — чуть прижаренной! И ещё была мороженая клюква с сахаром на столе — десерт. А я как раз баранок объелся перед этим на рынке. Отец так и погнал из-за стола — пост так пост!.. Ох, Артём, какое горе. Какую ужасную глупость я совершил. Так раскаиваюсь, так раскаиваюсь...

Василий Петрович макнул баранку к себе в чай и так сидел, застыв. Артём всё косился, не начнёт ли она разваливаться в кипятке — невкусно тогда будет.

— А ещё, помню, по рынку гулял мальчиком. И баба с капустой угостила меня кочерыжкой — из душистой кади выловила, как волшебную рыбку! — грызи, говорит, щербатый, молочные доломаешь — новые вырастут. А я так боялся расставаться со своими зубами, что не стал. Поблагодарил, отошёл подальше и сбросил кочерыжку в снег. Я бы сейчас в тот снег лицом, как пёс, зарылся, и нашёл бы её по запаху. Она же была — как счастье! — на зубах хруст! Ох-ох, Артём...

— А сколько я на Пасху яиц не съел! — горевал Василий Петрович. — Наберёшь, бывало, полные карманы крашенных яиц — биться с мальчишками. Набьёшь десяток — все карманы в красной скорлупе. И потом скормишь яйца птицам... А птицы такие были сытые на Пасху — не то, что мы сейчас. А сами пасхи! Ведь мама готовила и шоколадную! И фисташковую! Съешь той кусок, этой кусок — и сыт уже. Матушка потом угощала во дворе всех, а я даже не жалел — такой был перекормленный. Потом выйдешь утром — и стоит на буфете тарелка с засохшей пасхой, и думаешь: “Ах, не хочу, сколько можно...” Поймал бы этого пацана, который не хотел есть, сейчас за ухо и всё ухо ему скрутил!

Василий Петрович, невесело смеясь, даже сделал такое движение, каким ловят за ухо.

— Или вот, помню, лещ с грибами... Он был сказочный!.. Он был, как белый рыцарь, Артём!

— Всё, всё, всё! — запротестовал Артём, с некоторым остервенением кусая баранку. — Прекратите! Немедленно!

Из-под нар вылезла грязная рука; ладонь раскрылась.

Василий Петрович с видимым сожалением откусил баранку, оставив совсем немного, и хотел было положить в подставленную ладонь, но вдруг раздумал.

— Слушайте, — позвал он. — Ну-ка, вылезайте сюда. Хоть познакомимся. Что я вас кормлю, не глядячи.

Артём поскорее доел свою баранку — мало ли что там выползет, может, там всё струпами поросло.

Но нет, беспризорник был ещё человеческого вида, только невозможно грязен, очень худ и, самое главное, почти гол. В качестве верхней одежды он использовал кешер — то есть мешок с дырами для рук и головы, а на ногах у него ничего не было — только верёвкой приделанная большая консервная банка в области паха. Видимо, она заменяла ему бельё.

— Да... — сказал Василий Петрович. — Какие у вас... э-э... доспехи. Вот, садитесь на табуреточку в этот уголок, тут вас никто не увидит.

На вид беспризорнику было не больше двенадцати. Волосы его были грязны настолько, что цвет их, казалось, уже не различить. С ушами тоже творилось нечто невозможное, Артём постарался туда не заглядывать: кажется, они были полны грязью всклень.

— Чай будете? — предложил Василий Петрович. — О, только не в эту вашу банку, юноша. У меня есть запасная. Артём, не обеспечите ли ещё кипяточку?

С запасной банкой Василия Петровича Артём отправился к печке; там сутился чеченский дневальный — тот самый, с которым на днях ходили кладбище ломать.

— Чеченцы никогда не были христианами, — сказал тот пренебрежительно, посмотрев на Артёма.

— Как хочешь, — ответил Артём. — Можно водички согреть?

Василий Петрович нашёл ещё баранку и горсть сухофруктов. Беспризорник всё это сразу же закидал в кипяток и стал пить, вроде и не боясь обжечься.

— Вы хоть скажите нам что-нибудь, — предложил Василий Петрович.

— Чего? — бесстрастно спросил беспризорник.

— Мать есть у вас? — спросил Василий Петрович.

Беспризорник кивнул.

— А отец?

Беспризорник подумал и снова кивнул.

— А имя ваше?

— Серый.

— А откуда родом?

— С Архангельска.

— Чем ваша мать занимается?

— Откуда я знаю, я ж тут.

— Хорошо, чем занималась?

— Мать? Поломойка в бане.

— А отец?

— Отец есть.

— Чем он занимался?

— Напивался каждый день. Выгонял нас с матерью на холод, грелись в конюшнях.

Серый долго молчал, потом, видимо, устав от такого долгого разговора, решил сократить путь.

— Однажды отец пил с мужиком, поругались, и он убил его. Денег нашёл за пазухой. Сказал матери: “Ну, что поделаешь! Давай привыкать к этому делу!”

Василий Петрович даже поставил свою банку на нары, обескураженный. Тихо спросил, почему-то перейдя на “ты”:

— И ты привык?

— Один раз очень долго убивали мужика, никак не могли убить. Очень кричал, и всё замазали кровью. И я ушёл. Дайте ещё баранку, я видел, у вас есть.

Василий Петрович вздохнул и достал баранку.

— А ты что делал? Воровал?

— У богатых воровать можно, — уверенно ответил Серый.

— А у бедных?

Серый подумал и не ответил. У него, похоже, была отличная манера: не отвечать на неприятные вопросы.

— А со скольких лет ворует? — не унимался Василий Петрович.

— А сколько себя помню — всегда ворую. Пишите — с трёх лет.

— Мы не пишем, — тихо сказал Василий Петрович.

— А что тогда? Какой интерес?

Митя Щелкачов тоже прислушивался к разговору, сдвинувшись на нарах, чтоб искоса посмотреть на обросшую башку Серого.

Тем временем Артём копался в своих ощущениях: “Мне жалко его? Или не жалко? Кажется, что почти не жалко. Я, что ли, совсем оглох?”

Серый был вовсе не глуп — речь давала это понять, и Артём удивлялся: как же так?

И, только задумавшись о речи, он вдруг понял про себя какую-то странную и очень важную вещь: у него действительно почти не было жалости; её заменяло то, что называют порой чувством прекрасного, а сам Артём определил бы как чувство такта по отношению к жизни.

Он отбирал щенков у дворовой пацанвы, издевавшейся над ними, или вступался за слабых гимназистов не из жалости, а потому что это нарушало его представление о том, как должно быть. Артём вспомнил Афанасьева и его словами завершил свою мысль: “...Это не рифмовалось!”

На Соловках Артём неожиданно стал понимать, что выживают, наверное, только врождённые чувства, которые выросли внутри, вместе с костями, с жилами, с мясом, а представления рассыпаются первыми.

Беседу с пацаном прервал злобный гам в том углу, где кучно обитали блатные. Серый сразу исчез, как и не было, и недопитую посуду с чаем унёс.

Артём прислушался и через минуту понял, в чём дело.

Блатные сплошь и рядом прятали свои вещи либо рвали штаны, рубахи и даже обувь — лишь бы не ходить на работу: голых гонять запрещалось.

Озлившийся Крапин стал раздевать пришедших с дневной рабочей смены догола, чтоб одеть уходивших на ночные наряды.

— У меня всё сырое! С утра будет ещё сырей! Я в сыром пойду? — орал кто-то.

— А будут знать, как рвать! Симулянты гнилые! — орал Крапин, убеждая то одного, то другого дрыном. Ему вроде бы помогал Бурцев, но, как показалось Артёму, с блатными тот был сдержанней, чем с китайцем.

Когда с валявшегося на нарах Шафербекова Крапин самолично сорвал штаны, всем прочим стало понятно, что деваться некуда. Ксива расстался со своим пиджаком — рубаху у него ещё десятник Сорокин порвал. К ногам Крапина полетели ботинки, рубахи, сапоги.

— Посчитаемся, — сказал Шафербеков, накрывая ноги пальто, явно отобранным у какого-то несчастного.

Никак не предупреждая о своих намерениях и словно бы зная наперёд, что Шафербеков не смолчит, Крапин с разворота ударил его дрыном по лицу и ещё несколько раз потом добавил по рукам, когда гакнувший от боли Шафербеков закрыл голову.

— Посчитайся, — сказал Крапин, тяжело дыша. — Зубы свои посчитай пока.

Он сгрёб одежную кучу ногой и скомандовал ночной партии:

— Наряжайтесь, тёплое.

На всех явно не хватало, и Крапин, ходя меж рядами, велел раздеться Лажечникову, Сивцеву и многострадальному китайцу. На Артёма с Афанасьевым и Василием Петровичем даже не взглянул. Моисей Соломонович очень убедительно спал, как будто это могло его спасти, но вот поди ж ты — спасло.

На том бы и закончиться дню. К несчастью, времени хватило ещё на одно событие.

* * *

После нудной вечерней поверки ночная партия ушла, и всё вроде бы стихло.

Шафербекову принесли кувшин с водой и тряпку. Он долго умывал лицо, оттирал присохшую кровь с бровей и прикладывал ладони, полные розо-

веющей влагой, к губам. Блатные с напряжённым вниманием смотрели на Шафербекова, словно тот мог таким образом намыть золото.

Артём признался себе, что чувствует натуральное, огромное, очень честное и очень радостное злорадство.

Быть может, оно и сгубило его.

Шафербеков, долго трогавший шатающиеся зубы, поймал взгляд Артёма. Тот сразу отвернулся, откинулся на свои нары, притих, приготовился спать, даже задремал — день был длинный, длинный, длинный, хвост его терялся, добраться к началу было почти невозможно: беспризорный Серый с чёрным, полным золы ухом пил кипяток, два индуса улыбались и мягко раскачивались, веники были душисты и шуршали, Афанасьев хохотал, трясся рыжей головой, как будто соломой в волосах... Солома и солнце, а ещё раньше — давленник дразнился языком, и муха...

Афанасьева тем временем позвали к блатным, Артём не хотел об этом думать, он уже спал честно и крепко... но его всё равно толкнули.

Открыл глаза. Пожевал сухим ртом. Горела одна лампочка, и шёл свет через открытую дверь из тамбура дневальных.

Многие лагерники спали, но кто-то бродил меж нарами, кто-то лениво ругался, а Митя Шелкачев играл с одним из индусов в шахматы.

— Что? — сказал Артём, всё пытаясь найти слюну во рту.

— Тёма, в общем, договор такой, — быстро, словно желая поскорее завершить скучное дело, заговорил Афанасьев. — Делишь половину следующей посылки с Ксивой. Он пострадал.

— Какой посылки? — уселся на нарах Артём. — Моей? Да пошёл он.

— Тихо, — сказал Афанасьев, понизив голос. — Посылка ведь не пришла ещё. Погоди. Мало ли что случится, пока придёт. Не торопись.

Артём оклабился — ему ужасно хотелось выругаться. Афанасьеву тоже очевидным образом было не по себе.

— Ты не должен был его бить, Тёма, — пытался объяснить Афанасьев, взяв тот странный и лживый тон, который иногда выбирают, говоря с детьми, взрослые, заранее осознающие собственную шаткую и стыдную правоту. — Понимаешь, в их среде бить просто так нельзя. Нужна веская причина! Блатные, ты заметь, Тёма, могут кричать друг на друга ужасными словами: кажется, вот-вот порвут. Но это как бы игра на выдержку. Ударить можно только за настоящую, кровную обиду. А ты приложил его вообще за пустяк. Он же шутил! А теперь он блюёт с любой еды! Я не смог так пояснить твой поступок, чтоб они поняли твою правоту.

— Да на хер мне их понимание вообще, — взбесился Артём, которого переполняла не столько жадность до конской колбасы — хотя и она тоже! — сколько неожиданная, болезненная, жуткая какая-то обида за мать: она там ходит по рынку, собирает ему, сыночку, в подарок съестного на последние рубли, а он будет поганого Ксиву этим кормить!..

— Артём, их много, они могут и убить, ты же знаешь, — шептал Афанасьев, придерживая Артёма за колено, но тут, привлечённый разговором, появился сам Ксива, голый по пояс и очень довольный.

Афанасьев развернулся и встал у него на пути, так чтоб Ксива не мог пройти к нарам Артёма.

— Свой не свой, а на дороге не стой, — сказал Ксива Афанасьеву.

— Я стою на своём месте, Ксива, — очень достойно ответил Афанасьев. — Ты тут дорогу не прокладывай.

— Ты ему передал? — спросил Ксива Афанасьева, покачиваясь из стороны в сторону и насмешливо поглядывая на Артёма. — Пусть все посылки со мной половинит в течение года. У меня на глазах.

— Одну, Ксива, — повторил Афанасьев упрямо, но уже не столь жёстко, как только что отвечал.

— Какую, б..., одну, Афанас! — взвился Ксива, чувствуя, как его сила прирастает, а чужая тает. — Все! Все, Афанас! И мой тебе совет: не лезь много в чужие дела! Ты не вор. Ты фраер, хоть и при своих святцах.

Афанасьев не сдвинулся с места. Ксива ещё покачался из стороны в сторону, отвисшая губа тоже покачивалась; не дождавшись ответа, ушёл.

Артём молчал, глядя куда-то в сторону, наискосок, не видя, куда смотрит, и не понимая, что его там привлекло.

Накопец понял: это была нога Моисея Соломоновича.

Моисей Соломонович лежал, накрывшись покрывалом с головой, но его нога подрагивала так, как у спящего не дрожит.

* * *

Афанасьев с утра где-то бродил — увиделись только на поверке, он кивнул Артёму, тот кивнул в ответ, сразу же не без лёгкой брезгливости вспомнив вчерашнее “Афанас”.

“Афанас, Афанас...” — повторил несколько раз про себя, словно подыскивая рифму.

Морда у Шафербекова была ужасной. Во время поверки он чихнул — и выплюнул зуб. Стоял потом, тихо рыча и прижав ладонь к губам.

Кто-то из фитилей услужливо разыскал зубик и вернул Шафербекову, за что тут же получил удар в лицо.

Артём старался не смотреть в сторону Шафербекова, держась поближе к взводному Крапину и вообще к начальству.

“...Жизнь, как ходики... мотает туда-сюда... — невесело думал Артём, шагая с поверки и глядя в затылок Крапина, одновременно делая усилие, чтоб не обернуться: наверняка Ксива торчал где-нибудь неподалёку со своей поганой, болезненной, беззубой ухмылкой. — ...Мотает меня, а я держусь за ходики обеими руками... скоро слечу кувырком...”

Когда после поверки возвратились в роту, из-под нар за ноги вытаскивали беспризорника.

Встали с Василием Петровичем, как вкопанные, завидев это.

Артёму показалось странным, что пацан никак не сопротивляется и не вопит, он уже изготавился пошутить на этот счёт, даже чуть повернулся к Василию Петровичу, и тут же по лицу старшего товарища понял, что смех не к месту.

Беспризорник был удушен: детский рот криво распахнут, тонкая шея будто надломлена, глаза растарашены... вонь ещё... банка эта слетела с чресел, открыв совсем ещё маленькие и ужасно грязные половые органы.

“Второй за сутки, — быстро подумал Артём. — А если меня так завтра поволокнут? Чёрт, нет, не может быть. Отчего меня?”

Он присел на кровать к Василию Петровичу, растерянный и уставший.

Дневальные чеченцы унесли пацана — за руки, за ноги, — и было видно, что он лёгок, словно пустой внутри.

“Билось сердце и — не бьётся, — думал Артём удивлённо. — Всего-то”.

Некоторое время Василий Петрович искал что-то в мешке, кажется, вовсе не нужное ему... Потом вдруг оставил своё занятие и спросил:

— Артём, а как вы думаете, чем сейчас занимается Иисус Христос? Какие-то у него должны быть дела, нет?

Сглотнув, Артём внимательно посмотрел на Василия Петровича и подумал: “А действительно?.. Чем?”

— Он ведь ночью вернул мне ложку, — добавил Василий Петрович, и Артём сначала подумал, что это всё про Христа идёт речь. — Тоже человек. Вернул сворованную ложку... Или просто ягод ещё хотел.

Артём сидел молча и чуть раскачивался.

— Зато теперь у меня две ложки, Артём, — спокойно завершил свою речь Василий Петрович, хотя по интонации его было понятно, что думает он вовсе не о ложках, а чём-то другом.

Раздался крик Кучеравы: он отчитывал Крапина.

— У тебя беспризорник жил под нарами! Может, у тебя там штаб контры можно организовать? Дисциплина побоку! Служба побоку! Чем ты занят вообще, Крапин? Докладная сегодня пойдёт на тебя! Забирайся пока под нары, изучай обстановку! Потом доложишь, кто там ещё есть!

Кучерава издевался, голос его был полон сарказма.

Крапин молчал.

Василий Петрович толкнул Артёма: мол, надо уходить на улицу, пока сами не попали под раздачу.

Соловецкое небо стало тяжелее и ближе, чайки взмывали вверх как бы с усилием.

Олень Мишка часто подрагивал боками, словно замерзая.

Блэк принюхивался.

Отовсюду веяло тоской и опасностью.

“Надо бы переводиться из этой роты, — думал Артём. — Но куда?”

— Как-то всё неладно, надсадно... И одно за другим, одно за другим... — сказал Василий Петрович, озираясь.

В ожидании своих нарядов они отошли чуть в сторону от толпы, где привычно много матерились и переругивались.

Василий Петрович повздыхал, Артём покивал о своём, стараясь не смотреть на лагерников своей роты: где-то в толпе были его враги.

— Я слышал вчера, как приходил Ксива... — бережно начал Василий Петрович.

— Надо искать другое место обитания, — тут же продолжил Артём, не успев даже удивиться, откуда Василий Петрович догадался о его мыслях. — Какие тут ещё роты есть? Давайте пересчитаем вместе, может, что-то придумается.

Василия Петровича уговаривать не пришлось.

— В тринадцатой вы уже были, — сказал он. — Двенадцатая надоела, из неё вам надо уходить, согласен. Одиннадцатая — рота отрицательного элемента, она же карцер, туда никому не посоветую. Десятая — канцелярские. С вашей очевидной грамотностью там самое место. В девятую вы не попадёте — это так называемая лягавая рота, в ней одни бывшие чекисты из числа рядовых, то есть к управленческой работе в лагере не пригодных, поэтому трудятся они в охране и в надзоре.

Артём кивал: в сущности, он всё это знал, и Василий Петрович знал, что он знает, но разбор помогал успокоиться, расставить всё по порядку и ещё давал, может быть, ложную, но всё-таки надежду: вдруг при перечислении обнаружится незаметная лазейка, о которой случайным образом забыли.

— Восьмая — место для отпетый шпаны, леопарды там живут, вы знаете. Седьмая — артистическая, тоже не худшее место в Соловецкой обители. Вы, случаем, в гимназическом театральном кружке не занимались? А то вам подошли бы несколько классических ролей, — неясно было, шутит Василий Петрович или нет. — Шестая — сторожевая. Там тоже хорошо, но в шестую по приказу Эйхманиса принимают только лиц из бывшего духовенства. А вы ведь и не попович, Артём?

— И даже не Никитич, — отмахнулся тот.

— В пятой — пожарники, — продолжил Василий Петрович, — там вообще прекрасно, но если в артисты ещё можно попасть благодаря таланту, а в канцелярию — за умение, к примеру, правильно считать и красиво писать, то для пожарной службы нужен лишь блат. Или, как тут говорят, кант — везение. Горим мы не так часто, работой они не замучены, всё больше в шашки играют. Блата у нас нет, поэтому дальше побредёши. Четвёртая рота — музыканты соловецких оркестров. Вы не утаили от меня никакой музыкальный талант? Может, вы, Артём, играете на трубе? Нет? И напрасно. Третья рота — чекисты самой высокой марки и служащие ИСО. Так что третью мы вообще не рассматриваем. Вторая — специалисты на ответственных должностях, которые могут себя проявить, скажем, по научной части, — здесь Василий Петрович снова внимательно посмотрел на Артёма, но тот не ответил на его взгляд, тогда он досказал:

— Первая — заключённые из верхов лагерной администрации: старостат, заведующие предприятий и помощники завов. До первой роты надо дорасти... А может, и не надо.

— Всё? — спросил Артём.

— Отчего же, — сказал Василий Петрович. — Есть ещё четырнадцатая — там запретники: заключённые, работающие только в стенах кремля,

чтоб не убежали. Повара, лакеи, конюхи у чекистов. В сущности, их хотели наказать, лишив возможности прогуливаться по соловецкому острову, а сделали им только лучше. Сами сравните: одно дело — на баланах, а другое дело — хвост расчёсывать у комиссарской лошади. Пятнадцатая рота — мастеровые: плотники, столяры, бондари... И есть ещё рота, которая вообще не работает, — и попасть туда легко безо всякого блата, она называется?..

— Кладбище, знаю, — ответил Артём без улыбки. — Соловецкое кладбище.

Лазейка не находилась. По большому счёту, подходила только десятая, канцелярская рота, но Артём никого оттуда не знал, да и с чего б его позвали в столь привилегированное место... Не один он умел в лагере читать книги и считать дроби. Тут и поумней его встречались на каждом шагу.

— Жаль, что я не белогвардеец, их тут сразу берут куда надо, — раздумчиво сказал Артём.

— А кто вы? — в очередной раз поинтересовался Василий Петрович.

— Да никто, — отмахнулся Артём. — Москвич, повеса, читатель книжек — не за что зацепиться.

Василий Петрович вздохнул в том смысле, что да, Артём, зацепиться не за что: дружим-дружим, а про свою жизнь вы так и не рассказали ничего.

По глазам Василия Петровича Артём понял, что на подходе какие-то дурные новости, оглянулся и увидел Ксиву — тот приближался вразвалочку. Возбуждённый, в своём возвращённом с утра пиджаке на голое тело. Чёрные круги под глазами ещё не сошли. На голове — откуда-то взятая инженерная фуражка. Резко поднял руку — Артём чуть трепыхнулся, но Ксива, ещё больше ослабившись, поправил козырёк и спросил:

— Понял всё? У меня на почте свой человек, так что, если начнёшь крутить...

— Он понял всё, — вдруг сказал Василий Петрович.

Ксива осёкся, смерил Василия Петровича взглядом и, вернувшись к Артёму, всё-таки закончил фразу:

— ...начнёшь крутить — тебя самого пустят на конскую колбасу. Конь!

Вслед за Ксивой, метрах в пяти за ним, подошли и встали ещё трое бластных. Они разговаривали о чём-то постороннем, очень уверенные в себе.

“Он каждый час теперь ко мне будет подходить?” — подумал Артём, глядя Ксиве в глаза и ничего не отвечая.

Артём вдруг вспомнил, как однажды в детстве видел человека, перебежавшего реку по льдинам в начале ледохода. Занятие это было пугающее и дерзкое — обвалиться в ледяную воду казалось совсем простым делом. Куда спешил тот человек, Артём не знал или забыл с годами, но точно запомнил свои детские мысли: что он сам, как бы ни восхищались другие пацаны на берегу отвагой и безрассудством бегуна, никогда бы такое повторить не хотел.

И тут он вдруг ощутил себя в той же самой роли, только подневольно, словно его вытолкнули и сказали: “Беги!” — и выбора не оставалось. Только куда бежать: другого-то берега не видно.

Он сейчас стоял на льдине и мог бы сделать прыжок; но не сделал.

Ксива ушёл.

— Да-с, неприятно, — спокойно сказал Василий Петрович через минуту.

“Сглазил меня, — с неожиданной злобой подумал Артём про Василия Петровича, хотя сроду не был суеверен. — Только говорил, как у меня всё складно идёт... Сглазил, старый пёс!”

— Вы куда сегодня? — спросил Василий Петрович.

Артём помолчал, думая, как бы уйти от ответа, но промолчать было бы совсем нехорошо.

— Я в кремле вроде... — сказал он тихо. — Не знаю, что за работа.

— А я по ягоды опять, — сказал Василий Петрович, — Вон мои стоят уже. Пойду.

Уже уходя, оглянулся и добавил:

— Артём, не отчаивайтесь. Бог есть. Он присмотрит за нами, верьте.

До самого обеда работы у Артёма не было никакой.

С ним были Митя Щелкачов и Авдей Сивцев.

Они долго ждали десятника во дворе. Шумела рябина, листва её переливалась и бликовала на солнце, особенно если смотреть через полуприкрытые глаза. Бродил олень Мишка, поднимая голову на шум листвы.

Артём присел на лавочке, нахохлился, прикрыл глаза и пытался если не забыться, то хотя бы согреться на солнышке. Ксива не шёл из головы. К тому же Сивцеву не сиделось на лавочке — он суетился, порываясь пойти и разыскать десятника, только не знал куда.

Видя, что напарник сидит с закрытыми глазами, Сивцев как бы и не обращался к нему напрямую, однако разговор всё равно вёл с учётом того, что Артём слышит его.

— Так вот просидим, ожидаючи, а всё одно виноватыми выйдем... — негромко говорил Сивцев, но сам при этом никуда не шёл, только томил и так угнетённого Артёма.

“Бестолочь, — желчно думал Артём. — Бестолочь крестьянская...”

Не сдержался и спросил, не открывая глаз:

— Поработать, что ли, хочешь?

Сивцев начал ровно с того же места, на котором остановился:

— Дак вот просидим, ожидаючи, а всё одно виноватыми выйдем!

— Ну, иди вон займись чем-нибудь, — почему-то сипло сказал Артём. — Дорожки подмети...

— Не то велели? — быстро и с надеждой спросил Сивцев. Артём сильнее зажмурился, как от боли.

“Бестолочь”, — подумал ещё раз, но уже без злобы почему-то.

Издаваться над Сивцевым не было никакого настроения. Артём вообще не имел подобных склонностей, и настроение было не подходящее для пересмешивания, но самое важное: он и так чувствовал превосходство над этим мужиком... И над Ксивой тоже бы чувствовал, когда б Ксива был один.

“А как славно было бы, — по-детски размышлялся Артём, — когда бы всякий человек был один и отвечал бы только за себя. Так и войны бы никогда не случилось, потому что большая драка возможна, только когда собираются огромные и озлобленные толпы... И здесь бы, на Соловках, кто бы тронул меня? А я бы тем более никого бы не трогал. И был бы мир во всём и всегда...”

Артём всё думал и думал об этом, стараясь, чтоб мысль его двигалась по простой и прямой линии, потому что сам он прекрасно понимал, что, начини обо всём этом размышлять чуть глубже и серьёзнее, и сразу выяснится, что в голове у него полная блажь, наивная и никчёмная.

Митя Щелкачов прогуливался туда-сюда, разглядывая монастырские постройки, грязные, как спины беспризорников, стены, битые, как яйца, купола. Отходил не очень далеко — так, чтоб видеть напарников, всякий раз возвращался, чтоб подтвердить своё присутствие, но Артём всё равно раздражался и на него тоже.

— Сядьте, Митя, — сказал он тихо, когда Щелкачов пришёл в очередной раз, какой-то весь улыбочивый и вдохновлённый, смотреть неприятно. — Сядьте и не вертитеесь! Увидит администрация, засадит в карцер за праздношатание, будете знать, — Артём поймал себя на мысли, что подражает Василию Петровичу, обращаясь на “вы” к человеку много младше самого себя.

— Но мы же не виноваты, — сказал Щелкачов, продолжая улыбаться.

— Виноваты, — повторил Артём, закрыв глаза.

Сивцев, до сих пор стоявший, тоже сел, и Артём вдруг понял, что эти двое его слушаются.

Щелкачов — ладно, он моложе, хотя не намного, лет, может, на пять — разве это срок? Тем более что Щелкачов, судя по всему, был по-настоящему образован, в отличие от Артёма: это как-то сразу чувствовалось по всем его манерам и речи.

А Сивцев был старше лет на пятнадцать, Артём ему почти в сыновья годился, к тому же он, кажется, и сидел подольше, и мужицкой сноровки у него было побольше, и житейского ума погуще... Но и он туда же.

— Я вообще много ошибок совершаю, — вдруг по-мальчишески, как-то совсем беззащитно признался Щелкачов. — Меня уже избили в карантинной роте. Ужасно боюсь, когда бьют. Хорошо, перевели оттуда к вам. Но если б кто-нибудь объяснил, как себя вести. Чего делать не надо.

— Вот ходить не надо, — сказал Артём снова, не открывая глаз.

По молчанию Сивцева и Щелкачова он понял, что его слушают и ждут, что он ещё скажет. Сивцев — с лёгкой крестьянской опаской и стараясь доверять в меру, а Щелкачов — раскрывшись почти настежь.

Тихим и каким-то стыдным знанием понимая, что в нынешнем своём состоянии он не имеет никакого права поучать кого бы то ни было, Артём одновременно будто бы приподнялся над собой.

Поначалу хотел злорадно постращать Щелкачова, но не стал: смешно это и глупо, когда самого пугают и почти запугали...

— Не показывай, что отдыхаешь, — сказал Артём. — Даже если ходишь без дела — делай вид, что при деле. Работай не медленно, но и не быстро. Как дышишь — так и делай, не сбивай дыхания, нигуда не опоздаешь здесь. Не показывай душу. Не показывай характер. Не пытайся быть сильным — лучше будь незаметным. Не груби. Таись. Терпи. Не жалуйся, — Артём говорил с закрытыми глазами, словно бы диктовал или, точнее, — слушал кого-то и повторял за ним.

— Весь хлеб сразу не съдай с утра, я видел, ты съел за завтраком. Оставь на потом: днём поешь, сил будет больше. Оголодаешь — захочется своровать. Начнёшь воровать — перестанешь себя уважать, хотя, может, это не беда. Хуже, если поймают. Поймают — могут убить. Чаек ловить и жрать нельзя, знаешь об этом? Хотя хочется. Сегодня, когда шли на утреннее построение, Крапин погонял дрыном роту. Тебе чуть не попало, я видел. Хорошо, если попадут по спине — спина заживёт; хуже, когда по голове. Как только похолодает — носи шапку и что-нибудь мягкое подкладывай под шапку. Ударят по голове — раны не будет. Летом шапку не носи: обязательно снимешь и повесишь куда-нибудь на сук, и её своруют. Или забудешь. Но вообще скорее своруют, чем забудешь. Ты папиросы носишь в портсигаре — портсигар убери, а то отнимут. Странно, что не отняли в карантинной.

— Я не показывал, — быстро сказал Митя.

— Лучше вообще кури махорку, — продолжил Артём, не отвлекаясь, — и носи её не в кисете — кисет тоже отнимут, — а в карманах.

Учить оказалось необычайно приятно. Артём и сам не мог догадаться, когда и как он всё это понял, но вот понял же и чувствовал, что говорит вещи нужные.

Разыгрывая из себя старожила, Артём не просто наполнялся значением — он будто прибавлял в силе, и сам понемногу, в который раз уже, начинал верить в то, что он цепок, хваток и со всем справится.

Замолчав на миг, Артём услышал, что изменилось наполнение тишины — тишина стала как-то гуще и напряжённее.

Открыл один глаз — так и есть, докривлялся.

Тихо подошёл Крапин и слушал Артёма.

Артём открыл второй глаз и медленно встал.

— Отойдём на словечко, — сказал Крапин непривычным голосом: уставший, спокойный — никакой не взводный, а просто человек.

— Ты Сивцева не учи. Тебе его учить — вред ему принести. Он и так правильно живёт. А вот студента правильно учишь, ему надо, — сказал Крапин, едва они отошли на несколько шагов, и тут же, безо всякого перехода, заговорил о другом:

— Кучерава меня уберёт, а кто придёт мне на замену, не знаю. Я устроил, чтоб у тебя целый месяц были наряды в кремле... И вот у Щелкачова тоже. Всё, чем мог. Другого блага у меня нет. Дальше сам разберёшься, — Крапин говорил быстро, отрывочно, словно ему было в новинку так себя вести. — А блатных я отправил на баланы. И Шафербекова, и Ксиву,

и всю эту падлоту. Авось утонут там. Но если не утонут — ты кружись, как умеешь. В тюрьме тоже есть чему поучиться. Тебе надо сточить свои углы. Шар катится — по жизни надо катиться. Всё.

Крапин ушёл, Артём потоптался на месте, желая успокоиться, но не смог и вернулся к Сивцеву и Щелкачову с улыбкой на лице, довольный и словно бы отогретый изнутри.

Ничего вроде не случилось особенного: и так было ясно с недавнего времени, что Крапин к нему относится неплохо, но тут он прямо об этом заговорил.

“И вообще, он плохую новость принёс: его переведут”, — пытался убедить себя Артём не радоваться так сильно и всё равно не мог.

— Рублём, что ли, одарил? — спросил Сивцев улыбающегося Артёма. Не переставая улыбаться, Артём подумал, что напрасно он так поверил в послушность Сивцева — сивцевское крестьянское, лукавое, себе на уме было сильнее чего бы то ни было.

— Сказал, что закон в газете напечатан: всем крестьянского сословия накинуть по году, потому что они работать умеют и любят, а горожан распустить, так как от них никакого толку. Ты какого сословия, Авдей? — спросил Артём, веселя себя.

Минутку Сивцев смотрел внимательно и натужно, а потом недовольно отмахнулся:

— Дурацкая шутка, ни к чему.

— А я поверил! — засмеялся Щелкачов. — Поверил и обрадовался! Вот стыд-то!

* * *

Десятник Сорокин появился перед самым обедом и действительно начал орать:

— Чего сидим? Чего спать не легли прямо тута?

Сивцев встал, Щелкачов вскочил, зато Артём так и сидел, глядя на десятника снизу вверх и чуть шурясь.

— Ноги отнялись? — спросил Сорокин, слетая со своего поганого хрипа почти на фальцет.

— А не ори, а то я доложу Кучераве, что оставил нас без работы, — ответил Артём, вставая.

Сорокин осёкся.

— У нас ведь обед сейчас? — спросил риторически Артём, попутно чувствуя, как гадостно пахнет Сорокин, и немедленно, лёгкой походочкой, отправился в расположение роты.

Через полминуты Артёма нагнали тени Сивцева и Щелкачова.

— Чтоб после обеда тут были, йодом в рот мазанные! — крикнул Сорокин вслед.

— Будет исполнено! — ответил Артём не оборачиваясь и эдак сделал ручкой... краем глаза при этом заметив, что Щелкачов смотрит на него с натуральным восхищением.

“Обыграл десятника сиюминутно, но наверняка он отыграется десятикратно, — с улыбкой отчитался себе Артём и сделал привычный уже в последние дни вывод: — Ой, дурак. Дура-а-ак”.

— Я вчера слышал, как к вам подходил этот блатной, а вы не напугались, — сказал Щелкачов.

Артём ничего не ответил.

Раз Ксива на баланах, то его, как минимум, не будет на обеде.

“Не то Митя имел бы все шансы немедленно во мне разочароваться”, — подумал Артём с невесёлой иронией.

— А я бы им сразу отдал посылку, — сказал Щелкачов, смеясь даже чуть более радостно, чем следовало. — Всё бы отдал сразу!

Когда вышли после обеда, Сорокина опять не было; тут даже Артём начал волноваться, хотя виду не подавал. Однако на лавочке больше не стал сидеть — встал посередь монастырского двора, нарочито расслабленный.

Прошёл куда-то поп в красноармейском шлеме. Хлыщ в лакированных башмаках и с тростью — явно из артистической роты. “Или из журнала”, — прикинул Артём. Под конвоем куда-то провели трёх леопардов — худых, грязных, морды в коросте, смотреть гадко, всё вдохновение исправили.

Сивцев заприметил какого-то своего знакомого, пошёл у него спрашивать, не видел ли он десятника Сорокина... Щелкачов опять засмотрелся на архитектуру... Артём увидел оленёнка — захотел погреться о ласковое и пахучее тепло.

Так получилось, что он направился к оленке одновременно с женщиной, не замечая её. Это была Галина из ИСО, она несла сахар в руке. Когда Артём её, шедшую с другой стороны, справа, увидел, было уже неловко делать вид, что он идёт в другую сторону. Они подошли к оленке почти разом, и это обстоятельство вынудило Артёма сказать: “Здравствуйте!”

Вообще, он не имел никакого права с ней здороваться, как и все заключённые двенадцатой роты не могли обращаться к начальству напрямую; но, может, она не знала, откуда он. Вдруг он пожарник из пятой роты...

Галина была в гимнастёрке и в юбке. Отлично начищенные сапожки на каблучках.

Под гимнастёркой была очень заметна крупная грудь.

— Вы со мной здороваетесь или с оленем? — спросила Галина строго и быстро посмотрела на Артёма.

— Мы с вами виделись, — сказал Артём, расчёсывая оленя Мишку в одном месте, словно у того там зудело.

— Да? — переспросила Галина просто. — Я на вас не обратила внимания.

“Сука какая”, — подумал Артём с неизъяснимой нежностью.

Она скормила оленю сахар и ушла, даже не кивнув Артёму.

Он не мог отвести от неё глаз. Кажется, Галина это осознала — походка её дразнилась.

Олень сделал шаг вперед, видимо, недовольный тем, что Артём так и чешет его в одном месте.

— А сахарку я бы тоже съел, — негромко сказал Артём, чтоб как-то сбить тяжёлое и душное возбуждение.

Представил, как ест сахар с тёплой руки, видя линии на ладони, запястье и слыша чистый и еле ощутимый запах женского пота. Если потом лизнуть ладонь в том месте, где лежал сахар, она будет сладкой.

От сахара отвлек Сорокин; на этот раз он не орал, но всё приглядывался к Артёму.

— Весь день ненаряженные просидели, — нудил он. — Не ломит в костях-то?

— Отчего? У нас была работа, — не сдержался Артём: на него напал задорный стих. — Гражданин Эйхманис проходил сегодня, велел монастырских чаек сосчитать.

Сорокин на секунду поперхнулся, но потом понял, что его дурят.

— Шутишь всё? Я тебя запомню теперь, — сказал он.

Что-то ему, впрочем, мешало раздавить Артёма немедленно.

Работа им досталась не самая тяжёлая, но грязная: разгрести свалку мусора у больницы.

Больничка — трёхэтажное здание неподалёку от ворот кремля.

Возле больнички стояло несколько жёлтых монашеских диванов; сами больные, видимо, по указаниям врачей вынесли и грелись на солнце, подставляя цинготные ноги. Почему-то чайкам всё это особенно не нравилось.

“После такой работы она тебя точно не стала бы сахаром кормить”, — легкомысленно размышлял Артём, стараясь не вглядываться в гнойные бинты и пропахшее полудохлой человечинной тряпьё.

Грязь они грузили в тачку, которую поочередно отвозили за ворота то Митя, то Сивцев, то Артём: с тачкой было веселее всего — прогулка всё-таки, ветерок.

Разворачивая очередную тачку с мусором, Артём вдруг заметил женские лица в окнах третьего этажа — и засмотрелся.

Слугнули чайки: они носились за каждой тачкой, чуть взбудораженные запахом встревоженной мерзости, — им, верно, казалось, что от них могут увести что-то съестное.

Пришлось уходить. Отдал на прощание молодым женщинам честь двумя пальцами. Те засмеялись.

— А как бы ты доложил обо мне Кучераве? — спросил вдруг Сорокин у Артёма, когда тот, не очень торопясь, возвращался с пустой тачкой. Наверное, всё это время обдумывал Артёмову угрозу настучать ротному. — Вам же, чертям, запрещено обращаться к начальству напрямую?

“Наверное, какими-то своими гнусными делами занимался до обеда, — догадался Артём. — И трясётся теперь”.

— А я письменно, — сказал Артём, стараясь, впрочем, говорить так, чтоб было понятно: он не всерьёз.

— Сгною, — сказал ему Сорокин вслед, но не очень уверенно.

“Надо же, — думал Артём. — Больничные отходы вожу, а вонь от Сорокина всё равно сильнее. Неужели его кто-нибудь может любить? Мать? Жена? Дети? Бог, наконец?”

* * *

Вечер близился, и возвращались мысли о Ксиве. Артём поймал себя на том, что подробно представляет, как Ксива оскользнулся и ушёл на дно... Начал выныривать — и головой о балан с острым сучком, прямо так на сук черепушку и нанизал...

Или привычно надерзил десятнику, а тот не рассчитал удара и так ударил Ксиву по затылку, что у того отбило память и рассудок. Ходит теперь Ксива, слони до пупка, никого не узнаёт...

...Или блатные подбили Ксиву *сделать плеть*, такое тоже случалось. Но конвой быстро раскусил их намерения и при попытке к бегству... Артём явственно видел Ксиву, которому пуля попала, к примеру, в позвоночник, и он лежит, хлопает глазами, не может пошевелиться.

“Ах, какое счастье!” — думал Артём.

Потом отмахнулся сам от себя: какая всё-таки дурь! Дурь какая!

Попробовал рассуждать всерьёз: “Ну, не убивают же меня. Пока придёт посылка — придумаю что-нибудь. А может, и отдать часть? И что ты злишься на Василия Петровича и Афанасьева? Им что, умереть за тебя? Они как-то выпутываются. И ты учишь. Крапин же сказал: учишь. Вот и учишь”.

В роте он столкнулся с Афанасьевым: тот улыбнулся Артёму, и Артём так искренне обрадовался, что едва не обнял поэта, даже руку протянул, но ограничился тем, что похлопал Афанасьева по плечу.

— На самом деле блатные заплатили Кучераве, чтобы убрал Крапина, — рассказывал через минуту Афанасьев последние новости Артёму. — А что Кучерава? У него баба в административной части, такая, мля, страшная, как моя душа с бодуна. Ему нужны деньги на неё: её ж надо как-то украшать. Он за деньги что угодно сделает. А блатных Крапин замучил — ты сам видел. Они сначала хотели Крапина на пику посадить, но потом решили, что проще с Кучеравой договориться.

Афанасьев взял себя за чуб, улыбаясь.

— Так кто взводный теперь? — спросил Артём.

— Как кто? — удивился Афанасьев. — Бурцев исполняет обязанности. Крапин временно отстранён. Но уже не вернётся, конечно. Переведут куда-нибудь.

— За беспризорника? — удивлялся Артём.

— Да ладно, — смеялся Афанасьев. — Думаю, можно было бы под нарами хоть десять дохлых леопардов найти, и ничего бы не случилось... Хотя нет, конечно: убийство прямо в роте — тоже не шутка. В общем, думаю, Кучерава правильно всё описал в своих донесениях начальству. Главное, ты ж понимаешь, описать как надо.

— А Эйхманис что? — спрашивал Артём.

— А ты вообще часто Эйхманиса видишь? — смеялся Афанасьев. — Он своими питомниками занимается, охотой, в театр ходит... Он во всей этой мутотени разбираться не станет, какое ему дело до одного из взводных!

— А почему Бурцев?

— Кучерава — хитрый, — пояснял Афанасьев. — Хотя и убрал Крапина из-за блатных, один на один с блатными оставаться не хочет: если они возьмут в роту верх, ему самому трудно будет. Вот и организует себе поддержку в лице Бурцева.

Артём задавал вопрос за вопросом, сам думая при этом: “Вот собачья жизнь! Я интересовался всегда куда более важными вещами: что за книжка вышла у Горького или какая красивая девушка спешит по Никитской, не нагнать ли? А ещё надо найти последний сборник Бальмонта... Там мать что-то творожное запекает, пойду посмотрю! Или вот: говорят, появился некто Пильняк — и всё не читан... а тут Крапин! Тут какой-то, чёрт его, Бурцев! Какое это имеет значение?”

А ведь понятно, отчего нынче Сорокин такой смиренный, — сам себя оборвал Артём. — Взводного сняли, надо поскромней себя вести, пока шум не утихнет... А его носило где-то полдня...”

Афанасьев куда-то убрёл, зато появился Василий Петрович с ягодами и с той же темой:

— А вы заметили, как наш генеральский денщик с самого утра крутится вокруг Бурцева? — еле слышно засмеялся он.

Бывший генеральский денщик повадками был похож на генерала: хоть и без аристократической стати, зато помпезный, надутый, за что его прозвали Самоваром.

— Самовар-то? — в тон Василию Петровичу засмеялся Артём. — А и правда!

— И наш Мстислав не против, — хоть и смеясь, но с некоторой горечью говорил Василий Петрович, угощая Артёма брусникой. — Не довелось на воле побыть генералом, так хоть на Соловках погенеральствует власть. Кушайте бруснику. Говорят, она здесь до ноября идёт, — и посмотрел на Артёма со значением: мол, зря вы всё-таки сбежали от такого благословенного наряда.

Увидев, как возвращается их сосед, Василий Петрович негромко спросил:

— Вы с Афанасьевым всё? Неудача ещё по следу идёт за вами — не обольщайтесь раньше времени.

Артём несколько даже панибратски похлопал Василия Петровича по колену: “Хор-ро-шо! Всё хорошо!”

Василий Петрович невесело покивал головой: “Ну-ну. Ну-ну-ну”.

Брусника кислила.

“Сахарку бы”, — ещё раз подумал Артём, жмурясь. Плоть его звенела и требовала жизни.

* * *

Артём и не видел, когда вернулся Ксива, — на вечерней поверке ушедшего на баланы наряда ещё не было.

Однако утром, сколько Артём ни мечтал, Ксива образовался-таки живой, хоть и наглядно замудоханный работой, к тому же приболевший: говорил он в нос и так трудно шмыгал соплями, словно они весили по полкило.

— Целый день ждал: посылки всё нет, а здоровье моё всё хуже, — процедил Ксива, поймав Артёма, шедшего с чистой миской к своим нарам, за рубаху. — Шинель отдай, — сказал Ксива.

— А вот хер тебе, — ответил Артём. Так как он держал миску в правой руке, этой самой миской и смазал Ксиву по лбу — получилось звонко и весело.

Ксива был не один — на Артёма бросились ещё несколько блатных, он, словно играя, рванул вбок, в другой, зачем-то наискосок прыгнул к своим нарам, как будто у него там лежал под шинелью заряженный револьвер.

Но не было никакого револьвера, и бежать было бессмысленно.

Понимая это, Артём всё равно улыбался и, бросая левой рукой под ноги одному из блатных табуретку, одновременно успел заметить Митю Щелкачова, поднявшегося на нарах, и готовившегося прыгнуть со своего места Афанасева, — но всё-таки не прыгающего, — и Василия Петровича, пока ещё не понимающего, что предпринять, и Моисея Соломоновича, открывшего рот так, словно он хотел запеть, и даже Самовара, с необычайной строгостью в лице на всякий случай бросившегося остеречь от разора нары Бурцева.

Самого Бурцева Артём не видел, но именно он поймал Артёма за шиворот. Хорошо ещё, что Артём его сразу опознал, а то досталось бы и Бурцеву миской по бледной щеке.

— В чём дело? — крикнул Бурцев. — Что за танцы? Быстро на место!

— Построение возле нар! — закричал дневальный Хасаев. — Построение возле нар!

В роту быстро входили Кучерава, несколько чинов из ИСО, красноармейцы надзорной роты. Начинаясь шмон.

Лазили под нарами, перерывали вещевые мешки, выворачивали наизнанку одежду.

— Начальник, подкладку-то зачем рвать?! — вскрикивали в соседнем взводе.

Кому-то дали в зубы. Кто-то под шумок норовил порыться в своих вещах, перепрятать запретное, его ловили за ногу, тянули вниз с нар, учили сапогом по бокам.

Тяжело дыша, лихорадочно соображая, Артём быстро посматривал то в сторону блатных, то почему-то на Бурцева, с очень серьёзным видом следовавшего за Кучеравой и время от времени забирающегося в тряпки тех людей, с которыми уже несколько месяцев спал рядом.

Сорокин тоже был здесь и суетился, как и остальные, хотя это вообще была не его забота.

“Зарежут меня сегодня или не нарежут?” — спросил себя Артём и не без удовлетворения заметил, что отчего-то не боится.

“Ещё бы тебе бояться, — ответил сам себе. — Тебя ж не режут. Стоишь под охраной красноармейцев... Я посмотрю на тебя, когда действительно резать начнут... Хоть бы шмон продолжался подольше, до самого вечера. А с утра — новый шмон...”

Понемногу очередь дошла и до Артёма, он даже не смотрел, что там у него ищут: вещи его были все наперечёт, добра пока не нажил.

— Чей мешок? — спросил красноармеец откуда-то сверху; Артём в это время разглядывал ботинки Бурцева. Для смазки обуви комсостав мог пользоваться бочкой рыбьего жира, стоящей возле ИСО. Бурцеву, как исполняющему обязанности, бочка была не положена, но он явно ею уже попользовался.

— Кешер чей? — громко повторил Кучерава.

Бурцев толкнул Артёма в грудь:

— Заснул?

Оглянувшись, Артём увидел, что красноармеец протягивает сверху колоду карт.

Василий Петрович сделал шаг вбок.

Артём почему-то решил, что карты подают ему, и, не подумав, зачем он это делает, взял их, хотя колоду уже собирался принять в свои волосатые пальцы Кучерава.

Несколько секунд Артём держал святцы в руках, машинально сообразив, что серп и молот, изображённый на верхней карте, означает туза, а не безтищания нарисованный красноармеец, лежащий под тузом, был валетом.

Бурцев выхватил у Артёма колоду и передал Кучераве, несколько карт рассыпалось.

— Подбери, — сказал Бурцев.

— В карцер пойдёшь, — пригрозил Кучерава.

— Это не мои, — Артём стоял, улыбаясь.

— Ага, мои, — согласился Кучерава. — Только я их в твоём кешере храню.

Десятник Сорокин, дневальный чеченец и стоявшие поблизости красноармейцы засмеялись.

— Подбери, — повторил Бурцев.

— Пошёл бы ты в м...у кобылью, поручик, — раздельно сказал Артём, взбешённый и растерянный одновременно.

Первым Артёма ударил Сорокин — у того всё было готово к тому, чтоб похватиться. Удар был так себе — с замахом, но глупый.

Подсуетился чеченец Хасаев, схватил сзади Артёма под руки, пытаясь удержать: бейте, кому надо? Артём с размаху боднул затылком назад — попал дневальному куда-то в щёку...

Потом всё закрутилось вдвое быстрее: Артёма больно, точно и обидно ударил Бурцев в лицо — чеченец в это мгновение подслабил хватку, и Артём ответил Бурцеву таким же точным и обидным снизу, с подвывертом, чтоб наверняка...

...дальше уже били все подряд, даже Кучерава, кажется, постарался...

Артём, вдруг поняв, что могут и покалечить, постарался упасть, свертеться, вкрутиться в грязные полы, хотя бы голову убрать под нары, но его вытягивали за ноги... Несколько раз открывал глаза, видел сапоги, ботинки, чьи-то руки, снова зажмуривался, терпел, не кричал, старался уберечься... пока не угодило под дых — сбило дыхание, пустило мелко покрошенные звёзды во весь безвоздушный и чёрный небосвод, а следом тяжёлым носком попало ровно в висок.

“Вот как. Вот как. Вот как...” — повторял Артём быстро, камнем уходя на дно.

* * *

Артём, как и все остальные больные и покалеченные, лежал на монастырском диване с высокой спинкой. Лежать было не очень удобно, но мягко: на каждом диване имелся матрац, набитый соломой.

Очнулся он ещё по дороге.

“Неужели хоронить несут? — подумал, встрепенувшись. — Убили и тащат хоронить?”

Вся морда была в кровавой каше, в грудь словно кол забили, рот съехал куда-то набок и слипся, в виске каждую секунду тикало и ужасно отдавало в глаз. Глаза тоже не открывались. В виске пульсировало так, что казалось: голова расколота, и мозг вываливается понемногу, как горячая каша из опрокинутой миски.

Артём поворочал языком во рту, нашёл зубы, даже сумел удивиться: зубы есть, поди ж ты, могло бы вообще не быть... зато губы словно зашили. Понемногу смочил их слюной — разошлись, и ещё сильнее почувствовал, какая огромная борода на лице — кровавая, шершавая борода.

По крику чаек догадался — он на улице. По голосам: его несут дневальные чеченцы.

Подташнивало и хотелось пить.

— Это кто? Опять битый? — раздался голос. Голос принадлежал жителю Азии или Кавказа.

— Нет, доктор Али, он упал, — ответил дневальный так огорчённо, словно говорил про ребёнка.

— С дерева? — спросил Али. По усталости, с которой была произнесена эта шутка, Артём понял, что врач повторял её в сотый раз.

— Нет, — ответил дневальный очень серьёзно. — С земли, — и цокнул языком.

Артёма уложили в приёмном покое, долго разглядывали и трогали везде; это его даже начало успокаивать — хоть кто-то заботится о нём.

Обнаружили рваную рану на виске, множественные ушибы, доктор Али высказал подозрение, что имеются трещина в ребре и сотрясение мозга.

Дали стакан спирта, Артём, кривясь, выпил, и ему сразу же зашили висок, отмыв только одну часть башки, и то вокруг раны. Али работал быст-

ро — Артём терпел, терпел, только хотел разорваться, а ему уже командуют: подьём и проваливай.

Встал — и стошнило; хорошо, увидел раковину, туда наплевал пшёнки с капустой; всё это погано воняло спиртом.

Василий Петрович принёс вещи Артёма. Когда Артём брёл по коридору в общую палату, Василий Петрович окликнул его и поднял мешок вверх, показывая жестом, что сдаст вещи врачам.

— Святцы вернули? — разлепив губы, нашёл в себе силы пошутить Артём, но Василий Петрович не услышал.

Повторять вопрос Артём не стал: от собственного голоса он снова едва не потерял сознание.

В первый день больше ничего не лечили, только заставили помыться в большой ванной на первом этаже, полной едва тёплой водой. Артём там чуть не утонул, мыло не смыл толком, вылез поскорее наружу; лицо — и то забыл отмыть; дальше не помнил ничего...

...Делавшая обход больных пожилая медсестра в белом халате и косынке дала ему градусник и лёд — приложить к виску.

Вернулась за градусником через полчаса, Артём успел поспать за это время. Лёд под виском растаял, а сон был вязкий, тугой, душный, укачивающий.

— Что у меня там? — спросил Артём, глядя на градусник.

— Температура, — ответила медсестра.

— Высокая? — спросил Артём. У него всё время спалились то глаза, то рот. В виске густая, похожая на пиявку, толкалась кровь.

— Да.

Он снова заснул.

Потом лежал и трогал рукою высокую деревянную спинку дивана — формой она напоминала волну. Артём сразу вспомнил, что похожий диван был в его детстве, стоял в гостевой комнате. Любимое место для игр — по самой кромке диванной спинки Артём водил караваны: маленькую игрушечную лошадь и трёх разномастных солдат. Вся эта компания шла будто бы по горе и иногда теряла кого-то: то лупоглазого гренадёра, то стрелка с отломанным копьём, то римского легионера. Почему-то всегда выживала лошадь.

Мысли, которые пришли Артёму в голову под вечер, были неожиданны.

“Разве для этого мы делали революцию? — счищая ногтями со своей груди присохшее мыло, думал он, хотя ни в какой революции никогда не участвовал. — Для этого? Чтоб каэр Бурцев бил меня по лицу? Эта недобитая белогвардейская гнида? Эти чеченцы — за что они сидят? Наверняка грызлись против советской власти, собаки! А Сорокин — вообще натуральный людоед! Почему революция не убила их всех? Почему они смеют бить меня?”

Одними и теми же словами Артём думал об этом очень долго, быть может, час или больше. Он дошёл до того, что сумрачно мечтал, как напишет и доложит в администрацию обо всём. О чём таком он может доложить, Артём не знал, но ему до слёз, по-детски хотелось мести: так сладостно было представлять, что Кучераву, Сорокина, Бурцева, дневальных — всех уводят, и Ксиву тоже, и Шафербекова.

На Соловках называли расстрел по-всякому. Одни говорили: “уводят налево”. Другие — “под размах”. Третьи — “отправить на Луну”. Четвёртые — “в шестнадцатую роту”. Впрочем, “отправкой в шестнадцатую роту” называли любую смерть — и по болезни, и самоубийство или что-нибудь другое.

Артём очень сильным чувством, где смешивались горячая ярость и нестерпимая жалость к самому себе, желал всем им смерти и мысленно отдавал команды: “Кучерава? Под размах!” — и Кучерава начинал рыдать, ратирая по небритой морде слёзы. “Сорокин? Налево!” — и от Сорокина начинает пахнуть ещё сильнее, ещё гаже, и он хватается за нары, а его тащат на улицу. “Бурцев? На Луну!” — и видел, как Бурцев бледнеет и вдруг кричит: “За что? В чём дело? Какая, к чёрту, Луна!” — но его не слушают.

Неожиданно Артём вспомнил роман Жюль Верна “С Земли на Луну”.

“Постой, как же он назывался полностью? — спросил себя Артём и, на секунду замешкавшись, вспомнил: “С Земли на Луну прямым путём за 97 часов 20 минут”.

“Есть ли здесь, на Соловках, хотя бы ещё один человек, который читал эту книгу?” — думал Артём, воспринимая, естественно, знание о Жюле Верне как своё очевидное и неоспоримое превосходство. По сути, одного этого знания вполне хватило бы, чтобы Артёма немедленно выпустили отсюда и уж тем более не позволяли бить его перед всей ротой! За чужие, подброшенные ему карты!

“А ведь это Афанасьев мне подкинул!” — понял вдруг Артём так остро, что снова отдалось в висок, а оттуда — в глаз.

Тихо подошёл, судя по одеяниям, бывший священник и попросил:

— А нет ли хлебушка у вас?

— Чего? — не понял Артём.

— Хлебушка, — ещё раз жалостливо попросил священник. Поверх рысы, несмотря на жару, на нём была надета женская кофта.

— Нет у меня ничего, — огрызнулся Артём и с головой спрятался под покрывало.

“Афанасьев! — повторял про себя Артём в темноте. — А кто же ещё? Ну, и мразь же этот поэт. Мразь. Какая мразь! Я же убью эту мразь!”

Артёма кто-то потрогал прямо по голове — через покрывало. Он, чертыхнувшись, вылез наружу и снова увидел священника: тот и не уходил.

— А сахарку? — спросил он. — Сахарку нет?

— Уйди! — крикнул Артём, — Уйди, поп! — и снова влез под одеяло, успев заметить, как священник всплеснул руками — несколько, впрочем, наигранно — и начал мелко креститься.

— Да уйди же ты! — кто-то ещё погнался побирушку, но Артём уже не смотрел в его сторону.

До самого ужина он не вылезал из-под покрывала. У него была истерика. В темноте, в запахе своего тела, своей подсохшей крови, Артёма охватил страх: теперь ему стало казаться, что за ним должны прийти.

“А как иначе? — думал он. — Ты ударил командира взвода! У тебя нашли запрещённые карты! Ты устроил драку с руководством. Тебя запросто могут расстрелять!.. Господи ты Боже мой! — шептал Артём, почти плача и готовый закричать в голос. — Мамочка! Они же убьют меня! Выведут за ворота и застрелят. И засыплют землёй. И меня начнут черви жрать. Вот тут, где соски. Вот тут, где живот. Вот тут, где лицо, — Артём ощущал себя всего: уши, губы, пах, ноги. — И всё из-за этой мрази! Из-за Афанасьева! Из-за этого стихослагателя! Шулера! Надо было удавить его! Убить его ночью! А если я доложу, что он сдал бракованные веники, — за это меня могут простить? Но ведь я сам их — я сам их сдал вместе с ним! Меня ещё сильнее накажут!.. А как, как ещё сильнее? Что может быть сильнее, чем расстрел, идиот? Проклятый идиот!.. Мамочка! — повторял он и сжимал челюсти изо всех сил, чтоб смолчать, не привлечь ничего внимания. — Мамочка! Спасите меня кто-нибудь!” — и снова трогал себя.

— Э! Ты там дровичь, что ли? — спросил кто-то и стянул покрывало: Артём попытался поймать ткань зубами и не смог и поэтому вжался в спинку дивана.

— О, — сказал человек, стянувший покрывало, судя по виду, из блатных, — ну, и мурло. Ты б отгёр мурло-то. Весь в кровяке... Есть покурить? — Нет, — даже не сказал, а выдохнул Артём.

Больные оживились, начали привставать со своих диванов: раздавалось громыханье тазов с едой.

Артём — и тот вдруг привстал, облизывая губы. Медсестра, что ставила градусник, принесла мешок Артёма: он порылся, нашёл миску.

Догадался, что миску Василий Петрович положил, — Артём точно не клал, он её кинул на свои нары, когда скомандовали построение на шмон. Зачем-то поискал святцы...

На ужин принесли винегрет из картофеля, свеклы, моркови, капусты, трески и пшённую кашу. Всё было нестерпимо вкусное.

Сердьясь на пульсирующий висок, Артём ел, замирая от восторга, который странным образом оказался даже сильнее, чем только что обуявший его страх смерти. Он чувствовал на языке тугую свекольную плоть, хрусткую ка-

пустную, распадающуюся картофельную — всё это мешал со вкусом шён-ки, закусывал хлебом; голова кружилась, словно от влюблённости и близости, и мелко крошилась кровавая борода.

Больной на кровати, стоявшей справа, всё время косился на Артёма, и тому, естественно, казалось, что любопытствуют к его обеду, и он зажмурился, чтоб острее ощутить рыбе тело трески и привкус прелой моркови.

— Я помню, вы за меня заступились, — сказал больной, так и не дождавшись ответного взгляда Артёма.

Артём скосился в сторону голоса. Ба, да это Филиппок! Артём даже искал поблизости пенёк — с письмом Сорокина: а вдруг так и стоит под кроватью, ждёт, когда у Филиппка заживёт нога.

— Я? — удивился Артём словам Филиппа: своё заступничество он забыл напрочь. — Не было такого, — сказал он.

И отвернулся.

* * *

Ночь проспал, будто неподъёмной землёй засыпанный. Даже ребро не мешало — оттого, что, как лёг плашмя, положив сверху на голову подушку, так и пролежал.

Клопов и вшей в больничке не водилось.

“Так странно, — размышлял утром Артём, бережно трогая нитки на виске. — Все эти месяцы ем мало, постоянно на тяжёлой работе. Когда грузил в порту — сутками на сырых сквозняках. Когда с баланами — в воде с утра до вечера, и не простужался. Не болел вообще! Даже соплей не было”.

Артём, правда, не чувствовал жара, и даже напротив, после обеда ему стало лучше, он начал успокаиваться, тем более что за ним так никто и не пришёл вчера.

Ну, висок прошили, глаз заплыл, лицо распухло, в ребре отдавало, лежать на левом боку было совсем нельзя, ещё подташнивало, но всё терпимо. Крови было много, но вся натекла с виска да из носа, а нос тоже стоял на месте, не сломали.

Артём решил пока об этом никому не говорить, а пофилонить, сколько сможет.

Спрятавшись под своё покрывало, тихо потягивался и в путаных, полусонных мыслях перебирал всё то прекрасное, душистое, вкусное, что удалось ему отведать в последнее время.

Сухофрукты, плитка шоколада, конская колбаса были в посылке матери... Шоколад тоже пропах колбасой, но это его нисколько не испортило. Сухофрукты из второй посылки, по совету Василия Петровича, замочили в кипятке и пили, истекая сладостным потом.

Потом шпик, сметанка с лучком — о, каким это оказалось блаженством. Вот только Бурцев... там был Бурцев. К лешему Бурцева.

Ещё было варёное яйцо.

...А где оно было? Да не было его нигде, оно приснилось однажды, дня три назад. Ах, какое было яйцо во сне! Из такого яйца наверняка бы вылупился золотой петушок.

Вчерашний винегрет...

В третий раз замерили температуру — и опять записали в журнал тридцать девять и два.

На завтрак принесли две воблы, жаренные в тюленьем жире, и картошку в мундире, правда, только одну. Но снова были радость, и очарование, и восхищённое головокружение.

“Дома ты это есть бы не стал, выбросил бы эту воблу в окно”, — пытался увещевать себя Артём, но сам же себе старался не верить.

Освоившись, Артём начал изучать ближних соседей и обстановку.

Во всю стену огромной больничной палаты была не покрашенная, как в большинстве других помещений монастыря, фреска.

Фреска изображала больных, но среди них был, кажется, Христос. Он поддерживал одного из хворых — седобородого старика.

Артём был не очень сведущ в библейских историях и этот сюжет не знал. С минуту он любовался фреской, потом отвлёкся на людей.

Кроме юродивого Филиппа и батюшки-побирушки, то и дело вышагивающего меж монастырских диванов, почти все больные лагерники показались Артёму схожими, как сушёная вобла.

Он помнил, что вчера, да, подходил за табачком какой-то блатной, но, озирая сейчас палату, Артём не мог его узнать, напротив, готов был подумать почти на любого, что это и был он.

Бережно приподнявшись на руках — в рёбрах всё-таки болело, — Артём присел, стараясь не сутулиться, и заглянул, что там, с другой стороны высокой диванной спинки.

Там стоял такой же диван, и на диване сидел батюшка Иоанн — тот самый владычка, который угощал Василия Петровича сметанкой с лучком.

Батюшка подшивал рясу.

Они встретились глазами.

— Доброе утро, владычка, — сказал Артём несколько неожиданно для самого себя.

— Как твоё здоровье, милый? — спросил владычка просто и ласково. — Я вижу, тебя тоже подшили!

Артём не нашёл тех слов, которые показались бы ему подходящими, и просто улыбнулся, пожав плечами: всё ничего вроде бы, подшили, да.

— А с батюшкой и не надо искать особых слов, — сказал Иоанн, перекусывая нить. — Которые на сердце лежат — самые верхние, — их и бери. Особые слова — часто от лукавого, — и владычка улыбнулся.

“Вот как...” — подумал Артём с удивлением и потрогал нитки на виске.

Почему-то это было почти приятным.

— А как же стихи? — спросил он. — Стихи — это всегда особые слова.

— Думаешь, милый? — спросил батюшка. — А я думаю, что лучшие стихи — это когда как раз с верха сердца взятые. А вот когда только особые слова выбираются, тогда и стихи напрасные.

Артём почесал давно не стриженными ногтями чуть зудящую щёку. Мельком глянул на пальцы и увидел кровавую корочку под ногтями: наскрёб вчерашнего.

— И какие у вас слова лежат сейчас на самом верху? — спросил Артём: ему отчего-то хотелось говорить с владычкой.

— Что не стоит печали наш с вами плачевный вид, — сказал владычка, улыбаясь. — Что раз мы здесь собрались — на то воистину воля Божья. А ведь и не одни невинные здесь собрались, верно? Всякий про себя думает, что он точно невиновен, да не каждый даже себе признается, с какой виной он сюда пришёл. У одного — злохулильные слова, у другого — воровские бредни, у третьего — иная великоважная ошибка. И что нам теперь жаловаться, жителям соловецким? Нас сюда против воли привезли, а дедушка Савватий — основатель монастыря — сам ведь приплыл. И ведь он немолод был! Как ты думаешь, милый, Савватию показалось тут легко? Дедушка явился на пустой остров — шесть лет прожил, ничего у него, кроме репы, не росло, никто его не кормил, крыши над головой не было, никто не топил ему в его ветхом шалашике, никакого благоустройства не имелось вовсе. А жил, старался! А мы что? Только обиди и сердечное смятение, вместо того чтоб покаяться, и если не за те грехи, что вменили нам неразумные судьи, так за другие.

Артём потрогал голову и под волосами пальцами нашёл объёмную, отчего-то чуть сырую шишку, трогал её, иногда морщась и тем не менее продолжая слушать владычку.

— Для человека греха как бы и нет, если этот грех никто не видел! — говорил батюшка Иоанн. — Да ведь, милый? Не пойман — не вор. Бог — один, кто знает любого вора, и у него есть свои Соловки для всех нераскаявшихся, в сто тысяч раз страшнее.

— Так зачем же на земле Соловки, когда и там они приготовлены? —

спросил Артём. Он, естественно, не верил ни одному слову владычки, однако получал душевное удовольствие от его тихой ласковой речи.

— Я же говорю, милый: у Бога Соловки для нераскаявшихся, так, значит, лучше раскаяться вовремя, и земные Соловки — не самое дурное для этого место. Здесь без малого пятьсот лет жили так же тяжко, как и мы. Знаешь, как в Патерике соловецком писано о том житье: “Тружакхуся постом и молитвами купно же и ручным делом... иногда же землю копаху мотыгами... иногда же древесна на устои монастыря заготовляху и воду от моря черпаху... и во прочих делах тружакхуся и рыбную ловитву творяху... и тако от своих потов и кормов кормяхуся”. Что изменилось? Много ли отличий от наших дней? Мытарства те же. Путь всё туда же.

И здесь владычка — Артём даже чертыхнулся от удивленья — подмигнул. Но в то же мгновение вернул себе тихое, хоть и улыбочливое, благообразие.

— И вот что вспоминаю я ещё, — сказал владычка. — Читал вчера о соловецком архимандрите Варфоломее: “Дух же исходит от его тела добронравен”. А он на тот час одиннадцать недель, как помер! Что тут сказать, милый? Мы пахнем хуже некоторых мёртвых! Да, моют нас редко, кормят скудно, вощь живёт на нас, и хворость в нас. Но самый худший запах, милый, идёт от нераскаянного греха! Его смывать тяжелее всего!

Другой батюшка, что непрестанно кружил по палате, спрашивая хлеб, к дивану владычки старался не подходить. Но заметив, что путь побирушки проходит недалеко, в пределах почти уже досягаемости если не руки, то броска ботинком, владычка Иоанн этот самый ботинок со своей ноги снял и выказал резкое и явное намерение кинуть его. Батюшка-побирушка, прикрываясь рукой, отбежал на несколько шагов и стоял в отдалении, вытянув тонкую шею, похожий на испуганную птицу, ровно до тех пор, пока владычка ботинок свой не бросил на пол к ноге.

— Я тебе! — погрозились владычка побирушке.

Артём не без труда сдержал смех, но попутно обратил внимание на то, что веснушчатая рука владычки, когда он грозил, сложилась не в кулак, а привычно — в щепоть. Эта щепоть была обращена к самому владычке, и он тряс её так, будто быстро посыпал себя солью.

* * *

Послеобеденный замер температуры показал всё те же тридцать девять и два.

— А ты что никак не умоешься? — спросила пожилая медсестра, легко задев пальцем щёку Артёма. — Иди умойся, а то доктор будет ругать.

Лёгкое прикосновение, а так терпко что-то качнулось в душе и теперь раскачивалось. Какая-то игрушка была у Артёма в самом раннем детстве — наподобие маленьких весов. Качнёшь их — и они долго ищут равновесие: наблюдать за этим можно было подолгу, пока не закружится голова.

Артём даже приложил ладонь к щеке, чтоб прикосновение не исчезло так быстро.

“А она ведь тоже наверняка заключённая? — подумал Артём. — Её тоже осудили. И она тоже должна за что-то раскаиваться, как владычка говорит? Это же смешно!”

— Только под душ не ходи, — сказала пожилая медсестра. — Нельзя, чтоб на голову. И с такой температурой тем более.

“А тут и душ есть?” — встрепенулся Артём.

Но умываться не пошёл, всё ленился и потягивался — это ж какое удовольствие вышло: никуда не ходить, а только лежать и лежать.

Лежать — совсем не скучно. Лежать — весело!

“Странно, что в детстве я предпочитал игры лежанию, — дурашливо подумал Артём. — Надо было лежать и лежать. Вся жизнь потом на то, чтоб наиграться...”

Пришёл доктор. Само появление его вызвало словно бы лёгкую тряску и сквозняк.

Он был восточного типа — очень красивый, с пышной чёрной бородой, с умными, тёмными, вишнёвыми, напоминающими собачьи, глазами. Наверное, мать у него была русской, а отец — южных кровей. Или наоборот.

Доктор двигался между монастырскими диванами быстрый и белый, как парусник.

“Как парусник с вишнёвыми глазами...” — по привычке изобразил Артём Афанасьева.

За доктором почтительно следовали фельдшеры и медсёстры.

Больных было около ста человек. С некоторыми доктор говорил подолгу, к другим вообще не подходил. Но все его ждали, и даже доходяги пытались привстать на локтях, пропеть что-то — просьбу, жалобу...

— Доктор Али, — звали иногда то с одной стороны, то с другой. Доктор не отвечал.

По отрывочным репликам доктора и его сопровождения Артём догадался, что серьёзная часть лежащих тут лагерников — туберкулёзники, сифилитики и болеющие цингой. Другая половина — битые и покалеченные конвойными, десятниками, командирами: Артём оказался не один. Было ещё несколько саморубов и самоломов, вроде Филиппа, и пара порезанных, но не добитых блатными.

— Хлебушка нет, доктор? — спросил батюшка-побирушка у доктора Али.

У батюшки была жуткая гнойная сыпь по всей груди, которую он показывал не без гордости, как соловецкие награды.

— Хлебушка нет, — отвечал доктор серьёзно. — Клизма есть. Не хотите клизму?

Артёма это немного покорибило.

— От коммунизму — одну клизму, — отвечал батюшка недовольно и глумливо, вставив в оба слова ненужный мягкий знак, что глумливость заметно усилило.

— Хотите хлеба, батюшка, просите у неба, — в тон ему отвечал доктор Али, чем, признаться, сразу вызвал у Артёма потерянную только что симпатию. Его высказываниям, конечно, придавал особое очарование мягкий восточный акцент.

— Ох-ох-ох, — приговаривал владычка Иоанн, слушая этот досужий разговор.

Дошла очередь и до Артёма.

— Тут больно? Тут? — быстро спрашивал доктор Али. — Кажется, нет ничего. Тошнит? Покажите зрачок.

— Как я его покажу? — засмеялся Артём, хотя доктор уже взял его за подбородок. — Смотрите.

— Температура какая у него? — спросил Али пожилую медсестру, шествующую за ним с раскрытым журналом.

Пальцы у него были сильные и горячие. “Если у меня тридцать девять и два, — подумал Артём, — то сколько у него тогда? сорок два?”

— Почему не умытый? — высказал доктор даже не Артёму, а всем стоящим позади себя. — И вши, наверное, у него. При такой завшивленности брюшной тиф может начаться прямо в лазарете! Вот будет позор!

Было понятно, что доктор Али говорит не столько для своего сопровождения, а во имя некоей общей значимости своего управления.

Едва доктор отошёл, пожилая медсестра махнула журналом на Артёма: ну-ка, иди, умойся, немедленно!..

— Где душ-то? — спросил Артём у соловецкого монаха, прислуживающего теперь в лазарете. Бывшие монахи носили свои головные уборы набекрень — так их запросто можно было отличить от сосланных сюда батюшек, которых, к слову сказать, монахи не любили.

Монах указал жестом, куда.

— Воду не лить! — крикнул вслед сильным, но словно застуженным когда-то голосом.

В душевой никого не было: обход.

Душ представлял собой железный бак, полный водой, с бака свисала железная цепь; видимо, она давала воде свободу.

Артём быстро разделся, дёрнул с силою за цепь, полилась кривыми струями какая-то муть, но тёплая, приятная.

Отклоняя голову, чтоб не намочить узорное шитьё на виске, он встал поскорее под эти струи, тихо посмеиваясь и глядя себя руками по груди.

По всему телу бежала тёмная вода.

“Какой я грязный-то! — подумал Артём отчего-то с удовольствием. — Или вода такая?”

Поискал глазами мыло, не нашёл и начал яростно натирать себя руками — всё, кроме больших рёбер.

За этим своим копошением в воде сначала решил, что ему слышится женский смех... Перестал шевелиться и сразу убедился: нет, не кажется. Выше этажом смеялись женщины, молодые и голые. Они там тоже мылись.

“Голые и белые”, — подумал Артём, изо всех сил вслушиваясь в смех и голоса: даже рот раскрыл. В рот попадало брызгами из душа.

Белые и голые.

— Йодом в рот мазанная! — медленно произнёс Артём вслух чужое и непонятное ругательство. — Йодом. В рот.

Раз тронул себя, два, три — и накопленное задолго взорвалось в руке под женский смех.

* * *

Артём шёл назад лёгкий, мокрый, полный сил.

На обратном пути снова встретил монаха, думал, будет ругаться, что лил воду, но тот кивнул: вон там к тебе. И показал кривым пальцем закуток.

В закутке на лавочке сидел Василий Петрович.

Рядом с лавочкой были свалены окровавленные и драные носилки, стояло несколько вёдер, одно — полное старыми бинтами, ещё какой-то врачебный мусор.

— Напрасно, Артём, вы так не похожи на больного, — сказал с доброй строгостью Василий Петрович. — Я бы на вашем месте старался больше соответствовать этой роли. А с вас всё, насколько я вижу, как с гуся вода, — и даже потянулся рукой, чтоб коснуться волос молодого товарища, но не коснулся, конечно.

Артём улыбнулся.

— Вас там чуть не убили, между прочим, — сказал Василий Петрович. — Вы помните?

Не очень хотелось про это вспоминать, и Артём сделал неопределённую гримасу. Пока у него такая высокая температура и швы на башке — его в роту назад не погонят, а там будь что будет.

Судя по всему, его всё-таки угробят, понимал Артём, но бояться этого долго он не умел: страха хватало на несколько часов.

— Какие там новости у вас?

Теперь Василий Петрович помолчал, выдерживая паузу и не отвечая: судя по всему, он готовился к другому разговору.

— Как Бурцев? — спросил Артём, позируя своим жестяным равнодушием даже не перед Василием Петровичем, а перед собой.

— Бурцев? — переспросил Василий Петрович в явном огорчении. — Мстислав — да, озадачил. Поначалу, когда случилось с китайцем, я думал, что... Что он китайца так потому, что слишком много было китайцев среди красных войск. Бурцев же из колчаковских — у них особенно много беды было с ними. Но теперь вот вы...

Артём хмыкнул.

— Но вообще зря вы его поручиком назвали, — чуть более оживлённо заговорил Василий Петрович, до сих пор будто бы пытающийся понять Бурцева. — Он на поручика обиделся.

— То есть если бы я назвал его полковником, он бы не обиделся? — спросил Артём, улыбаясь.

Василий Петрович смолчал, поджав губы: Артём был прав.

— Лажечникова избил только что, — сказал Василий Петрович. — Я шёл к вам, его занесли в роту, а лежал за дровней... Весь чёрный. И непонятно, кто бил-то. Не начальство вроде бы.

— А я, кажется, знаю кто, — сказал Артём, вспомнив разговор на кладбище между Хасаевым и казаком.

Василий Петрович почему-то не стал переспрашивать, кого Артём имел в виду.

— Здесь все понемногу звереют, — ещё помолчав, сказал Василий Петрович. — Страшно — душа ведь.

Артём подумал и ответил очень твёрдо:

— Наплевать. Психика.

На том и начали расставаться.

Василий Петрович принёс ягод, угостил Артёма.

— Спасибо, — сказал Артём искренне, с удовольствием взвешивая кулёк на руке. — Монаху на входе, наверное, надо отсыпать?

— Я уж дал ему, — сказал Василий Петрович спокойно и чуть сухо. — Вообще сюда нельзя ведь, пришлось его подкупить... Вы, надеюсь, теперь всё поняли про Афанасьева? — спросил Василий Петрович, уже поднявшись.

Артём моргнул — в том смысле, что понял, понял. Давно всё понял.

— Знаете, Артём, как получается сглаз? — вдруг заговорил, казалось бы, о посторонней теме Василий Петрович. — Когда в человеке есть какие-то зачатки болезни, тогда к нему прививается та же мерзость или хвороба. У вас всё было здесь, насколько это возможно, хорошо, потому что внутри у вас было всё правильно устроено. Я любовался вами. Даже учился у вас чему-то. “Надо же, — думал, — никаких признаков человеческой расхлябанности, слабости или подлости”. А потом что-то случилось — и покатилося. Знаете, как они вас все били? Меня б убили, если б мне так попало. А вы вон бегаєте. Быть может, ваша бравада вас подвела, Артём? Вы подумайте над этим... Тут нельзя победить, вот что вам надо понять. В тюрьме нельзя победить. Я понял, что даже на войне нельзя победить, но только ещё не нашёл подходящих для этого слов...

Артём поднялся, пожал руку Василию Петровичу. Он решил не думать сейчас же, сию минуту над его словами — оставить на потом: скажем, попытаться осмыслить это, засыпая. Самые важные вещи понимаются на пороге сна — так иногда казалось Артёму. Одна закавыка: потом с утра не помнишь, что понял. Что-то наверняка понял, а что — забыл.

Но, может, и не надо помнить?

— Артём, вас ведь карцер ждёт, вы понимаете? — сказал Василий Петрович уже в коридоре.

Всё настроение испортил.

* * *

“А что ты думал? — издевался над собой Артём по пути назад. — Тебе двойной паёк выдадут? Пирог с капустой?”

— Чего там тебе принесли, делись, — сказал блатной, поймав Артёма на входе в палату.

Если б всё это было произнесено с нахрапом — Артём ответил бы зло: чего уж было терять после всего происшедшего. Но блатной обратился с улыбкой, несколько даже заискивающей. Ему можно было бы и отказать, весело сказав: “А не твоё дело!” — и всё это восприняли бы как надо, был уверен Артём. Хотя бы потому, что блатной тут был не в компании: в карты он порывался играть с кем ни попадя, даже владычке Иоанну предложил однажды; и вообще скучал.

— Дать ягодку? — спросил Артём.

— А то, — ответил блатной и тут же сложил руки ковшом. Не совсем осознанное, было у Артёма потайное желание задобрить, с позволения сказать, *блатного божка*: вдруг, если накормить этого, тогда и Ксива отлипнет, как банный лист?

— Хорошо, не четыре руки у тебя, — сказал Артём, отсылая в грязные ладони разных ягод.

— Чего? — не понял блатной.

На кистях его Артём заметил невнятные наколки, и ещё какой-то синопный рисунок виднелся на груди, в вороте рубахи, которая была размера на три больше, чем требовалось.

Щёки у него были впалые, глаза чуть гноились, лицом он казался похож на рыбу: вперёд вытязивались губы, дальше шли глаза, подбородок был скошен почти напрочь; будешь такому бить в бороду — и сломаешь кадык.

Прозвание у блатного было Жабра.

— Бабу хочешь? — спросил блатной, немедленно засыпав почти все ягоды в рот. Губы он тоже раскрывал как-то по-рыбьи. Артём постарался не заглядывать в блатную пасть, чтоб не увидеть рыбы мелкие сточенные зубки.

— Ох, ты, — с очевидной и нарочитой иронией сказал Артём, глядя в лоб блатному — скошенный и едва заметный. — А откуда у тебя баба?

— У меня бабы нет, — начал блатной говорить уже несколько хамоватым тоном: Артём знал эту их манеру: отвоёвывать каждым словом всякий мужской разговор в свою пользу, чтоб при первой же возможности раздавить собеседника, как клопа.

— А у кого есть? — спросил Артём весело: как бы то ни было, плевать он хотел на эти манеры! И это было видно, что плевать он хотел, даже с низким лбом можно было об этом догадаться.

Блатной догадался и продолжал более сдержанно:

— Там бабий лазарет, — блатной показал пальцем вверх. — Есть бабы рублёвые, есть полтиннишные, есть пятиалтынные. Местный монашек может сделать тебе встречу. Полтину ему, полтину мне: я посторожу, а после тебя попользуюсь. И на бабу — уж какую выберешь...

— У меня нет денег, — сразу сказал Артём.

— А чё есть? — спросил блатной и даже чуть подцепил Артёма за рукав двумя пальцами, измазанными к тому же ягодным соком.

— Убери руки-то скорей, — сказал Артём ласково.

Блатной убрал, чуть медленней, чем надо, но тут же предложил:

— А в картишки?

Артём даже не ответил: по коридору несли нового больного, носильщики — знакомые лица; двенадцатая рота вновь обеспечила пополнение лазарета.

Впереди шёл монах, указывал дорогу. Лажечникова — по виду натурально неживого — тащили Хасаев с напарником и кто-то третий, которого всё время загораживал монах.

Вот уж кого Артём не ожидал увидеть здесь, но он явился — Афанасьев! Мало того, когда, семеня, держась за край попоны, на которой лежал бессознательный Лажечников, он проходил мимо, то подмигнул Артёму. Морда невыспавшаяся: опять, поди, в карты с блатными играл.

Сзади всю эту процессию подгоняла пожилая медсестра.

— Тебя хотел повидать! Навязался к чеченам в помощники! — прошептал Афанасьев, выйдя из палаты. — Сюда ж не прорвёшься. Но местные фельдшера таскать больных не хотят — поэтому... Что у тебя? Так били, а у тебя только нос распух да нитки вот на виске! Зашили?

— Зашили, — повторил Артём, пытаясь раскатать в себе неприязнь к этой рыжей твари, и всё никак не получалось.

Афанасьев схватил себя за чуб, привычно как бы пробуя на крепость свою голову: не слетит ли, не сорву ли.

— Не по плису, не по бархату хожу, а хожу-хожу по острому ножу... — пропел Афанасьев, с нежностью глядя на Артёма.

У Артёма против его воли промелькнуло: “Нет, не он, нет...” Артёму будто бы хотелось уговорить самого себя, притом что хитрить тут было нечего: Афанасьев сбросил святцы, а кто же ещё.

— Идём, Афанас, — позвал Хасаев.
— Ага, сейчас приду, — не оглядываясь, ответил Афанасьев.
— Они казака? — спросил Артём, показав глазами на чеченцев.
— А кто же, — ответил Афанасьев с деланой строгостью и тут же решился спросить: — Ты, наверно, думаешь, это я тебе святцы? Артём, Богом клянусь...

Артёма вдруг осенило, как всё это закончить:

— Афанас, а дай рубль займы? А лучше два.

Так бы Артём ни за что стрелять не стал — не было привычки, но в эту минуту показалось простым и даже спасительным.

Афанасьев с удовольствием дал и напоследок ещё раз подмигнул.

— Я приду ещё! — сказал, схватив себя за чуб.

— Ага, — ответил Артём. — Только не тащи больше из роты никого. Тут уже и коек свободных нет.

Очень довольный шуткой и ещё, кажется, тем, что отдал два рубля, Афанасьев захохотал.

— Эй, — с полдороги Афанасьев вернулся. — Вот ещё рубль, держи. Пожрать себе купишь...

* * *

Лажечников очнулся, но говорить не мог, только моргал и дышал. Из бороды его вырвали несколько клоков, на челюстях кровянила содранная кожа. Мохнатые брови казака встали почти дыбом, будто от ужаса. Смотреть на него было тяжело.

— Может, пить? — спросил Артём у Тимофея Степановича.

Пожилая медсестра прогнала Артёма:

— Иди на своё место, без тебя знают, всё дадим.

Он ушёл, влез под покрывало, там вскоре настигли мысли горячие и нудные: что значит одно приключение в душевой для такой молодости!..

Не выдержал, выбрался на свет. Вынул из кармана мятый рубль и любовался на него с тем чувством, как будто это была картинка с обнажённой девицей.

Рубль сулил ошеломительную и долгожданную радость — такую огромную, что её едва могло вместить сознание.

“Тёмная? Русая? Рыжая? — лихорадочно думал Артём. — Какая будет? За рубль может быть очень красивая... Волосы кудрявые или прямые? И что — её можно совсем раздеть? Снять всю одежду?”

На рубле было написано: “Лагерь Особого Назначения ОГПУ”. Ниже: “Расчётная квитанция”. Ещё ниже: “Принимается в платежи от заключённых исключительно в учреждениях и предприятиях Лагерей Особого Назначения ОГПУ”.

“Почему ничего не написано про платежи рублёвым красавицам?” — дурачился Артём.

Правду сказать, ему было немного стыдно, но эта долгожданная, звериная радость была куда сильнее, она оглушала так, что сознание иногда словно бы уходило под воду.

“Потом, разве ей не нужен рубль? — отчитывался перед собой Артём, трогая нитки на виске. — Её же никто не принуждает, верно?”

Батюшка-побирушка, пользуясь тем, что владычка Иоанн задремал, вновь пришёл к дивану Артёма, и тот поспешно спрятал рубль в карман.

Видя неприветливое настроение Артёма, батюшка начал толкать дремлющего Филиппка:

— Не осталось с обеда хвостика селедочного? Очистков от картошечки, может?

— Уйдите, батюшка, нету, сами голодны, — жалостливо, в отличие от многих других, просил Филиппок, но именно на него батюшка и осердился.

— “Сами голодны...” — передразнил он. — Ничего, ничего. Была бы свинка — будет и щетинка.

— О чём вы таком говорите, батюшка? За что корите? — слезливо жаловался Филиппок, но его уже не слушали.

Батюшка-побирушка лишь на первый взгляд мог показаться душевно-больным: нет, при внимательном пригляде становилось ясным, что он скорее здоров и уж точно не дурнее любого лагерника. Речи его служили тому порукой.

Нередко батюшку угощали, особенно когда поступали новые больные из тех рот, где жизнь была получше и платили порой двойные, а то и тройные зарплаты, — мастерские из пятнадцатой роты, канцелярские из десятой, спецы из второй. И тогда он становился точен в словах и наблюдателен.

Звали его Зиновий.

Особенно батюшка любил сахарок.

Больные лагерники, — в первую очередь, из числа верующих — тянулись к нему, пока не познакомились с владычкой Иоанном и не переходили в другую, так сказать, приход.

Батюшка Зиновий, очевидно, ревновал.

Лицо у него было неразборчивое, как бы присыпанное песком и маленькое, словно собранное в щепоть; волосы редкие, русые, длинные, безвольные.

Докучливое его побирушничество легко сменялось в нём дерзостью и брезгливостью, особенно в отношении тех больных, что ни разу его не угощали и не собирались этого делать в дальнейшем, — видимо, Филиппок к таким и относился.

Впрочем, любого насилия батюшка-побирушка опасался и, если возникала угроза сурового воздаяния, сразу отступал и затаивался.

Разговоры его всегда носили характер ругательный и беспокойный: советскую власть он не любил изобретательно, разнообразно и не скрывал этого.

Однако к теме подходил всякий раз издалека.

— Как всё правильно устроено в человеческом букваре, — объяснял Зиновий цинготному больному с жуткими ранами на дёснах, которые батюшку нисколько не смущали. — Переставь во всём букваре одну, всего единственную буквицу местами, и речь превратится в тарабарщину. Так и сознание человеческое. Оно хрупко! Человек думает, что он думает, а он даже не в состоянии постичь своё сознание. И вот он, не умеющий разобраться со своим сознанием, рискует думать и объяснять Бога. А Богу можно только внимать. Перемени местами в сознании человека одну букву, и при внешней благообразности этого человека скоро станет видно, что у него путаница и ад во всех понятиях. Вот так и большевики, — переходя на шёпот, продолжал батюшка. — Перепутали все буквы, и стали мы без ума. Вроде бы те же дела, и всё те же мытарства, а всмотреться если — сразу видно, что глаза мы носим задом наперёд и уши вывернуты внутрь.

Жилистый монах из бывших соловецких, неприметно пришедший забрать бельё излеченного и отправленного назад в свою роту лагерника, зацепился, как репей, за одно слово разглагольствующего батюшки и взвился так, словно давно был к этому готов и слова припас:

— А чего вы жалуетесь? — даже притоптывая ногой в грязном сапоге, говорил он. — Мы и до вас так жили тут на Соловках, и даже тяжелее. Вставали в три утра, а вы тут — в шесть! И работали до темноты. Рабочих-трудников монахи гоняли не меньше, чем вас — чекисты!

Батюшка Зиновий немедля стих и спорить не стал.

Артём приподнялся на своём диване и взглянул на владычку Иоанна. Ему хотелось услышать пояснения случившейся перепалки.

Тот готовно отозвался на взгляд Артёма, как ждал.

— Островом белых чаек и чёрных монахов называли Соловки, — сказал батюшка Иоанн через минуту. — Им тяжело тут было, правда.

— Так вы на его стороне? — негромко спросил Артём про монаха.

— Нет никаких сторон, милый, — ответил батюшка Иоанн. — Солнце по кругу — оно везде. И Бог везде. На всякой стороне.

— И на стороне большевиков? — спросил Артём. Ответы батюшки ему не очень нравились.

Батюшка Иоанн улыбнулся и, похоже, решил начать сначала:

— Монахи и в прежние времена испытывали недостаток любви к священству. Они же в безбрачии живут, в неустанных трудах, в немалой скудости. Наверное, они считали, что имеют право упрекнуть кого-то из нас в потворстве плоти. Что ж, и я не скажу, что всё это напраслина. Но здесь, на Соловках, многие монахи, как закрыли большевики монастырь, пошли в услужение к чекистам. Теперь они, милый, числятся в ОГПУ помощниками по хозяйству и предерзостно ведут себя с заключёнными архиереями, будто свершая тайное своё отмщение. А за что метить нам? Всякий из нас на своём месте. Мы в тюрьме — они на воле.

— Этот монах ругался, что их воля всегда была, как ваша тюрьма, — сказал Артём.

Владычка Иоанн покивал головой, улыбаясь тепло и беззлобно.

— Будет великое чудо, если советская власть преломит все обиды, порвёт все ложные узы и сможет построить правильное общежитие! — ответил он так, словно напел небольшую музыкальную фразу.

— Где их воля будет как наша тюрьма... — насмешливо начал Артём, но батюшка Иоанн приложил палец к губам: те-с-с.

Артём наконец догадался, что батюшка просто не хочет прилюдно разговаривать на все эти трудные темы.

— Слушай этого обновленца! — вдруг выкрикнул со своего места батюшка-побирушка, обладающий, как выяснилось, хищным слухом. — У него попадью красноармейцы снасиловали, а он всё про общежитие рассказывает! Слушай его, он тебе наговорит!

Артём боялся взглянуть на владычку, но, когда всё-таки повернул голову, увидел, как батюшка Иоанн тихо сидит, переплетя пальцы и шепча что-то. Дождалься, пока ругань прекратится, поднял глаза и снова улыбнулся Артёму: вот, мол, как.

* * *

— Нашёл рубль? — спросил Жабра вечером: как чуял.

— Нашёл, — сказал Артём не своим голосом, немедленно почувствовав душное и томительное волнение.

Когда принесли ужин, блатной снова направился в сторону Артёма, но оказалось — не к нему.

Жабра присел на диван к Филиппку и попросил, прихватив пальцами его миску:

— Погодь, не ешь! Дай-ка.

Филипп, ничего не понимая, отдал свою миску: Жабра поднялся и пошёл с ней к себе. По дороге он съел всё, что лежало в миске, и, развернувшись ровно возле своего дивана, принёс назад пустую посуду, вложив её в руки Филиппку.

Всё это было так нагло и просто, что Артём против воли улыбнулся — улыбкой кривой и удивлённой.

Заметив эту улыбку, блатной кивнул Артёму, как сообщнику.

Ситуация была дурная и нелепая.

Едва ли Артёму пришлось бы теперь в голову заступаться за кого бы то ни было... но сообщником Жабры он точно не желал быть. А так получилось, будто бы выступил на его стороне.

“Как будто я из-за рублёвой... на всё это смотрел молча!” — раздражался Артём.

Филиппок минуту оглядывал свою миску, а потом тихо заплакал.

Ничего не видевший, но заметивший плачущего соседа владычка Иоанн поднялся и, прихрамывая, пришёл со своего места.

— Что такое, милый? — спросил он Филиппа.

— Да ничего, — ответил Артём, почувствовав, что перед владычкой ему всё-таки будет стыдно за всё это. — На, жри, — он сунул свою нетронутую миску Филиппку.

И тот принял дар.

— Что такое? — спросил владычка уже Артёма.

— Голодный, — ответил он.

Быстро и всхлипывая иногда, Филипп съел всё подчистую.

“Пшёнка”, — сказал себе Артём, стараясь не смотреть, как едят другие.

— Дойдёт тать в цель — поведут его на рель, — вдруг сказал Филипп громко.

Артём поначалу и не понял, к кому он обращается, о чём говорит. Поразмыслив, догадался, что слова обращены к Жабре. Но ещё глупее было то, что Филипп снова воспринял Артёма почти как заступника, потому и поднял голос.

Жабра, к счастью, не догадался.

Филипп протянул миску Артёму.

— Чего тянешь? — спросил он раздражённо. — Иди мой, помытую вернёшь.

Только когда Филипп стал подниматься, Артём медленно вспомнил, что тот вроде и не вставал до сих пор. По палате точно не бродил, а всё спал или тупо глядел в потолок.

Самодельный костюл лежал под диваном у Филиппка: опираясь на него, он поднялся и, неловко взяв миску, сделал первый шаг. Одна нога ниже колена была у него ампутирована.

— Б...! — выругался Артём, рывком сев и ощутив резкую боль в рёбрах. — Б...! — повторил он на этот раз уже от боли.

Напуганный Филипп встал и оглянулся: не его ли ругают. Владычка Иоанн насушился бровями так печально и болезненно, как будто его больно толкнули в грудь. Один Жабра, торопливо вернувшийся откуда-то из коридора, ловко и как ни в чём не бывало обошедший Филиппа, нашёлся как пошутить, наклонившись к дивану Артёма:

— Зовёшь уже? Сюда нельзя привести. Придётся самому до неё дойти.

Перемогая боль, Артём посидел немного, потом спросил:

— Что, сейчас уже?

— А ты думаешь, им долго готовиться надо? — спросил Жабра рыбьим своим ртом. — Подняла жопу да понесла.

“Его ж можно поймать на крючок, на червя”, — подумал Артём, глядя в этот рот.

Монах ждал в конце коридора, вроде как поправляя оконную раму, про которую тут же забыл, едва подошли Артём с Жаброй.

— Полтину давай, — сказал монах.

Голос у него был такой, словно, как зарождался в груди, так оттуда и раздавался.

— Где девка? — спросил Артём, денег не показывая. Ему уже ничего, кажется, и не хотелось. Не радость уже была, а словно обязанность, только не ясно, к кому обращённая.

— В дом терпимости, что ли, пришёл? — спросил монах из своей утробы. — Чё тебе ещё показать?

— Дай ему полтину, фраер, — сказал Жабра, снова с чего-то почувствовавший свою силу.

Артём шмыгнул носом и не придумал, как себя повести: уйти бы надо было, уйти, но так болезненно захотелось посмотреть: всё-таки рыжая, русая или тёмная? Только посмотреть, и всё.

— Натё, делите, — Артём протянул вверх соловецкий рубль. Монах взял в кулак бумажку, одним движеньем куда-то спрятал и пошёл.

Жабра больно толкнул Артёма в бок: иди за ним.

“Надо ему жабры вырвать”, — подумал Артём, но двинулся за монахом.

— Это моя комната, — сказал монах, встав у двери. — Баба там. Свет не жечь. Пока схожу мусор вывалить — надо успеть. На кровать не ложитесь. Стоя случайтесь.

Артём молчал.

Монах толкнул дверь: она оказалось открытой. Внутри была еле различимая и пахучая полутьма.

— Не вздумай, говорю, свет жечь, — повторил монах, уходя. — За бабу тридцать суток карцера полагается.

— И вечно гореть в аду, — сказал Артём будто сам себе.

— А за повторное — полгода изолятора, — утробно бубнил монах, уходя. — И поделом.

“Святоша какой”, — подумал Артём, всё никак не решаясь войти.

— Давай уже, б..., — толкнул его Жабра, и снова больно.

— Ты, пёс, — развернулся Артём, — ещё раз дотронешься до меня...

Понял, пёс?

Жабра что-то ловил своим ртом, но глаза при этом были тупые, наглые: Артём различал в упор их белую муть.

Шагнул в комнату, закрыл за собой дверь, поискал крючок — и нашёл, накиннул.

Развернулся и, пытаясь хоть что-то рассмотреть, привыкал к полутьме.

— Я тут, — раздался женский голос. Она сидела у окна на стуле.

Артём сделал два шага — она поднялась навстречу.

— Вот о подоконник обопрись, а ты давай, — сказала она; дыхание пахло пшёнкой. Лица Артём никак не мог разглядеть.

— Быстрее надо, — сказала она, поднимая свои одежды, в темноте напоминающие перешитый мешок: возможно, так и было.

— Волосы какие у тебя? — спросил Артём, взяв прядь в ладонь. Из чем-то закрытого окна едва пробивался фонарный свет с улицы, но цвет волос было не различить.

— Ты стричь, что ли, меня пришёл? — прокуренно хохотнула она.

— Замолкни, — сказал Артём, правой рукой проведя по её лицу: надбровья, нос, губы...

— Что ты, как, б..., слепой елозишь по мне, — выругалась она, хлопнув Артёма по руке.

Нос был тонкий, лоб чистый, кожа сухая, обветренная, губы женские, мягкие.

Артём сунул ей рубль в руку и пошёл.

Забыл, где крючок на двери, возился — женщина коротко и неприятно посмеялась у него за спиной.

— Ещё кто будет? — спросила она, икнув, когда Артём, наконец, открыл.

— Нет, — ответил он.

В коридоре сразу увидел Жабру, тот стоял наготове.

— Теперь я, — сказал Жабра, спеша протиснуться мимо Артёма.

Поймав его за ворот, Артём прошептал блатному на ухо очень настойчиво:

— Вот тебе рубль. Не трогай её, будь добр. Пошли со мной.

Жабра чертыхнулся, но ухватил рубль, спрятал в карман.

— Пошли, пошли, — повторил Артём, потянув Жабру за пиджак.

Он и сам не знал, зачем всё это сделал.

* * *

Настроение с утра было препоганое: всё опять обвалилось и придавило: ожидание карцера, Ксива, Бурцев, Сорокин, Кучерава... или расстреляют? Ведь могут же и расстрелять? Придёт посылка от матери, а его зарыли. В посылке колбаса — кто её съест? Или обратно пошлют посылку? “Считаем нужным вам сообщить, что по причине расстрела вашего сына посылку возвращаем за ненадобностью”.

Артём вцепился руками в покрывало и сидел так.

Новому саморубу без двух пальцев меняли повязку, он рычал.

— Летом саморуб — редкий случай, это зимой они гуртом идут, — рассказывал кто-то неподалёку. — А на одном участке прошлой зимой был такой десятник: каждому саморубу отрезал ещё и ухо. И над дверью вешал.

Так у него целое ожерелье висело. Приехало соловецкое начальство на проверку, а он докладывает: сорок саморубов наказано отсекованием ушей! И его — к награде!

“Брешут всё”, — думал Артём.

Лажечников едва приходил в сознание, ничего не ел и говорить не мог. Грудь у него стала чёрная, а борода обвела, словно подрезанная у корня.

Артём вспомнил, как поймал божью коровку, когда ломали кладбище, а Лажечников это заметил и говорит: “У нас такую кизявочку называют Алёнка”. И пробубнил над божьей коровкой: “Алёнка, Алёнка, полети на небо, там твои детки сидят у сапетки”.

“Полети” он произносил “пальти, пальти”, и это было смешно: здоровый казачина в бороде и в бровях, а шепчет над кизявочкой.

— Что за сапетка? — засмеялся Артём.

— А бабье грешное место, — сказал Лажечников, щурясь. — Но ежели по-правильному — корзина из прутьев тальника, это и есть сапетка. Шутка такая.

“Надо было всё сделать вчера с этой бл...ю, — ругал себя Артём, в мыслях своих спеша с одного на другое. — Надо было всю её разодрать на части, всю раздеть, рассмотреть, обнюхать, везде пальцами залезть... Потому что когда теперь? Да никогда!”

При этом никакого возбуждения Артём не чувствовал, и плоть его была вялая и сонная.

Филипп прежде прятал свою ногу в покрывале, а теперь выставил культю наружу и проветривал. Над ней кружились мухи.

Свою миску он не мыл: может, надеялся, что Жабра не будет из-за этого отнимать еду.

Цинготный больной неподалёку после каждого обеда выковыривал изо рта зубы. Артём как заметил один раз ужасные раны на дёснах у него, так теперь не мог отвязаться от воспоминания.

Артёму замерили температуру — на этот раз тридцать девять и три.

“Может, у меня горячка? — думал он. — Что же я ничего не ощущаю? Впасть бы в бред, может, тогда не тронули бы. Проклятое сознание, уйди!”

Явился Жабра, про которого вовсе не было ясно, что у него болит. Настроен он был так, будто Артём теперь — вша, и осталось эту вшу задать ногтем.

— Мне сказали, тебя в карцер посадят, — сразу начал Жабра. — Знаешь, куда пойдёшь? На глиномялку.

Артём молчал.

— Знаешь, что такое глиномялка? Подвал под южной стеной. На дне — глина, которую надо месить ногами. С утра до вечера в глине по колени. Пайка — 300 грамм хлеба. По уму, в подвал влезет человек тридцать, не больше, но загоняют обычно под сто. Лежат все на цементном полу — ни покрывал, ничего. Оставляют только бельё. Если бельё нет — голый. Кормят из одного ушата, а посуду не дают, поэтому жрут так, из рук. Чтоб сдохнуть — надо неделю. Тебе дадут точно месяц, но, наверно, больше.

— К чему ты это всё рассказал? — спросил Артём.

— А отдай пиджак, всё равно не нужен, — сказал Жабра.

— Отцепись, — сказал Артём.

Жабра улыбнулся: раскрыл свой рыбий рот, и показались действительно рыбы, мелкие и грязные зубы.

— И ещё пять рублей ищи, — сказал Жабра. — А то донесу, что ты с бабой был. Ещё месяц накинута. К обеду чтоб были.

Филиппок на этих словах ногу зарыл в покрывало.

Владычка Иоанн, который разговора толком не слышал, но о чём-то догадался, привстал со своего места и в своей ласковой манере попросил Жабру:

— Милый, иди-ка ты на своё место, полежи да отдохни; что ты покоя не знаешь, всё тебе не сидится на месте.

Жабра послушался и пошёл, но вспомнил что-то и вернулся на два слова:

— Из твоей роты передают: тебе посылка пришла, ждёт на почте. Надо бы её забрать, сюда принести, и я посмотрю, как с ней быть... Да? Привет от Ксивы, понял? Напиши письмо, чтоб посылку забрали, мы найдём нужного человека для этого. Напиши: “Я лежу в лазарете и прошу отдать посылку”. Так можно. А я монаху письмо твоё скину, и он всё устроит.

Владычка Иоанн, дождавшись окончания разговора, снова улёгся, но было ему беспокойно, и он ворочался.

Вскоре, не дожидаясь завтрака, поднялся и, тяжело хромая, вышел из палаты. Не было его достаточно долго, но явился он повеселевший.

Съел свой остывший завтрак, к которому никто, конечно, не притронулся, и после, порозовев, еле слышно напевал что-то.

Часа через полтора владычку вызвали — он тяжело, от одного дивана до другого, пробрался в коридор, но всего спустя минуту вернулся с мешком, который положил Артёму на диван.

Артём потянулся к мешку — ёкнуло в ребре, тогда, изловчившись, подхватил его левой рукой, уложил к себе на колени: ну, да, посылка от матери.

Как она пахла! Это было просто невозможно! Артём оглянулся по сторонам: все должны были чувствовать этот восхитительный, разнообразный дурманящий аромат.

Даже не залезая в мешок, а только закрыв на мгновение глаза, Артём мог бы назвать почти всё, что было в мешке: щекотала ноздри горчица, тяжело расплывался белый запах сала, тонко и остро вился жёлтый запах лимона, обволакивал разноцветный запах сушёных фруктов, пыльно и рассыпчато пах рис, туманно и тяжело веяло чаем, легко, чуть светясь, пах сахар, в сахаре и горчице, золотясь и нежась, плавала вяленая рыба, и колбаса — ах, эта конская колбаса! — она совсем не пахла лошадьё, она пахла мясным развратом, плотью, жизнью...

— Владычка Иоанн! — Артём повернулся к батюшке, растроганный и удивлённый. — Как вы узнали? Как вы забрали её?

Владычка поманил Артёма пальцем, чтоб не говорить во всеулышание.

Артём накрыл мешок покрывалом и перешёл к владычке на диван.

— На почте только наш длинногивый брат работает, — говорил шёпотом владычка, посмеиваясь. — Я уговорил!.. А то, я вижу, к твоей посылке слишком много рук тянется. Главное, чтоб она попала к тебе, а дальше ты, милый, сам решишь, кого стоит угостить, а кого нет. И не сердись на них! Филиппа не обижай — он с работы, раненый, с поломанной ногой, нёс огромный пень, упал, потерял сознание от боли и усталости. Пролежал день. Администрация думала: сбежал, искали с собаками. Как нашли — собаки ещё раз ногу порвали. Потом его допрашивали два дня. Потом бросили в глиномялку. Пока разобрались, что не по вине наказывают, там началась такая болячка, что пришлось резать ногу. И теперь ему без ноги скакать до семьи смерти! Ты добрый, не кори его за его пустословие. Через своё пустословие он тоже движется к Богу... И на Жабру не сердись! Легко ли человеку с таким прозвищем жить? Он ведь тоже создан по образу и подобию, а его все Жаброй зовут, хуже собаки, и собаку-то так никто не назовёт, милый... И не обозлился за весь этот беспорядок вокруг тебя. Если Господь показывает тебе весь этот беспорядок — значит, он хочет побудить тебя к восстановлению порядка в твоём сердце. Всё, что мы с тобой видим, — просвещение нашего сознания. За то лишь благодарить Господа надо, а не порицать!.. Ну, иди, иди к своим дарам.

Потрошить посылку на виду у всех Артём посчитал совсем лишним, но удержаться от того, чтоб съесть конской колбасы, не смог.

Откусил раз, откусил два — и встретился глазами с Жаброй. Тот выглядел обескураженно.

Артём не стал отводить взгляда и яростно оторвал зубами ещё кусок колбасы. Не глядя, порыл рукой в мешке, нашёл по запаху связку сушёных яблок — достал и закусил колбасу ими.

Жабра поманил Артёма, указав на двери в коридор.

Тот со счастливой улыбкой кивнул: иду, иду немедленно, дорогой товарищ.

— Не ходи никуда, милый, — позвал его владычка, но было поздно. Артём так и вышел в коридор с колбасой и яблоками.

— Ты не понял, фраер... — начал Жабра.

— Как же не понял, — удивился Артём. — Всё я понял.

Связку яблок он взял в зубы, чтоб не мешали.

Жабра ловко нырнул от первого удара, но второй — с левой — поймал. Незадача состояла в том, что в левой была ещё и колбаса, и удар был слабый. Ответный Артём получил по рёбрам — кажется, Жабра понимал, куда бьёт. Было так больно, словно одно ребро отломилось и воткнулось куда-то в самую нежную мякоть.

Артёма повело. Он выплюнул яблоки. В глазах отекало. Жабра норовил теперь попасть в висок, причём пальцы держал, как птица — когти.

“Он нитки на виске хочет развязать... — с дурашливым страхом осознал Артём. — Развяжет нитку, и башка моя... как ботинок... разявится... всё вывалится...”

Яблоки под ногами хрустели.

Кто-то выскочил из палаты, зашумел: “Эй! Дурни! Эй!”

Артём заметил, как монах идёт по коридору, в руке полено — тоже по их душу.

Пугнул левой, ушёл от удара под рукой Жабры так, что оказался у него за спиной, и всадил ему правой, крюком, в затылок.

Дверь в палату была открыта, и Жабра туда влетел и загрохотал где-то там.

Артём подхватил с пола колбасу, яблоки было уже не собрать, и поспешил вслед за Жаброй.

Монах, поняв, что не поспевает, с размаху кинул поленом — как будто всю жизнь жил с ним и ненавидел его и вот решил, наконец, выбросить.

Полено ударилось в стену так, что треснуло.

* * *

Температура опять была высокая.

Зато спал как рыба во льду: крепко, не слыша ничего, никого не помня.

Утром набрал съестного — понёс владычке Иоанну.

— Ничего не надо, милый, — печально отнекивался он. — Вот дай побирушке. А мне ничего не надо. Чем я тебе отплачу, милый? Я беру, только когда других могу угостить, а тут ты сам всех можешь покормить, кого хочешь. Не буду ж я при тебе дары твоей мамки отдавать другим в палате? Нехорошо получится. Иди лучше сам покорми, кого меньше всего хотел бы обрадовать: теперь уже можно, теперь ты его победил, будь же добр к нему, тебе это к лицу, милый.

— Обойдётся, — сказал Артём.

У Артёма в это утро сняли швы, а Жабру, наоборот, ещё вчера зашили: когда падал, рассадил себе лоб и половину рыбьей морды, включая губы. Выглядел он бесподобно и странным образом напоминал теперь двух рыб сразу.

— Язык у тебя тоже раздвоенный теперь, змей? — спрашивал Артём, присаживаясь к Жабре на его монастырский диван по дороге в сортир. Жабра двигался, уступая гостю место, и молчал, изнывая от боли и дрожа челюстями.

На обратном пути Артём опять заглядывал к Жабре, вытирал сырые руки о его покрывало, туда же сморкался.

Некоторое время разглядывал блатного.

Шов этот через всё блатное лицо Артёма забавлял.

— Предлагаю сменить тебе кликуху. Будешь не Жабра, а Корсет, — предложил Артём, потешаясь.

Жабра молча сглатывал: глотать ему было больно.

На обед Артём забрал у Жабры миску с обеденным винегретом.

— Всё равно ведь жевать не можешь, — сказал. — Жамкаешь только, еду переводишь. Я тебе червячков в навозе нарою, Жабра. Будешь их глотать, не жуя.

Жабра по тупости не понимал, что Артём говорит, и пайку свою защищать даже не пробовал.

Артёму и не надо было, чтоб его понимали, он веселил только себя.

Винегрет отдал Филиппку. Тот не хотел принимать, тогда Артём просто вывалил порцию из миски Жабры в миску Филиппку и отнёс пустую посуду блатному.

Протянул: бери. Жабра не вовремя решил показать характер, за посудой руки не протянул.

Артём не удержался и резко ударил пустой миской Жабру по голове.

Тот от неожиданности скривился, швы на губах разошлись, потекла кровь.

Полобовавшись, Артём ушёл на свой диван, улёгся, приглядывая за блатным: того било и лихорадило.

Обезумев, он добежал до дивана Артёма, тронуть его боялся и только выкрикивал:

— Пришьют тебя! Тебя пришьют! — Жабра на каждом “ш” плевался кровью; и — Артём по-детски удивился — слёзы из глаз блатного тоже не текли, а брызгали, надо же!

— У тебя рот порвался, — ехидничал Артём, не вставая. — Иди к доктору Али, попроси тебе губы пришить на место. А то жабры свои застудишь.

— А! — орал Жабра уже без слов. — Мыа!

— Господи, Боже ты мой милостивый, — шептал владычка, которого Артём не видел за спинкой дивана. — Боже ты мой, Господи!

Вскоре Жабру увели перешивать.

Через минуту взглянула пожилая медсестра — и сразу к Артёму.

Он думал, сейчас начнут за Жабру отчитывать, но оказалось другое. Она тронула рукой его лоб и сразу закричала не хуже Жабры:

— У тебя температура нормальная! Ты здоровый! Почему у тебя тридцать девять всегда? Где ты греешь градусник? Ты знаешь, как это?.. Это — симулянт! Ты! Симулянт! — слова из неё вырывались невпопад и путано.

До сих пор она казалась Артёму вполне интеллигентной. Он думал, что это какая-то несчастная казрка, и фамилия у неё была звучная, вроде Веромлинской или что-то похожее, а тут — как подменили.

— Откуда я знаю, почему у меня тридцать девять? — удивился Артём. — Нигде я не грею градусник! Сама ты его греешь где-нибудь! — Он никогда бы не заговорил с пожилой медсестрой на “ты”, но она так орала, так орала...

— Что же вы творите! — почти плакал владычка, вставший и пришедший, чтобы замирить шум.

Пока пожилая медсестра отчитывала Артёма, явился, гроыхнувшись дверью, доктор Али, весь взъерошенный и обозлённый, даже борода участвовала в его возбуждении.

— Таких, как ты, в моём лазарете — не будет! — процедил он, не доходя до Артёмова места десять шагов. — Собирай вещи! Вылетишь отсюда пулей! — взмахнул своим белым парусом и отбыл.

Артём сидел, не двигаясь, держа мешок в руках.

Сердце его громко билось, словно ошалевшее.

Он пытался хоть какую-нибудь мысль додумать до конца — в пределах одной фразы, — но только метался от градусника к доктору Али, оттуда к губам блатного, и снова назад, и никак ничего не понимал.

Владычка Иоанн сел рядом.

— Ты как дитя, милый, — говорил он торопливо и жалостливо. — Только тут детей не ставят в угол, а сразу кладут во гроб! Помолись сам, а я за тебя молюсь денно и...

С другой стороны подсел больной, всегда тихо лежавший на своём месте, рядом с владычкой Иоанном, — крупный, давно не бритый мужчина, с большим носом, большими губами, мятыми щеками.

— Я артист, моя фамилия Шлабуковский, — сказал он, утирая пот с лица и трудно дыша. — Но дело не в этом... Я слышал, как вас отчитывали... Я заметил то, на что вы не обратили внимания, — она всегда даёт вам градусник после меня... И не страживает... У меня жар... Который день жар... А они замеряют вам температуру — и ставят мою... Я только что понял... Эти люди — кого они могут лечить? Этот персонал всех может только похоронить. Вы имейте в виду — я готов подтвердить, что ваш градусник был с моей температурой...

Артём не успел обрадоваться, как за ним пришёл красноармеец из охранной роты. На плече висела винтовка.

Он громко назвал фамилию Артёма, с ошибкой и с неправильным ударением.

У Артёма пересохло во рту и ослабели ноги.

Он точно знал, что зовут его, и никакой путаницы тут нет. Красноармеец снова повторил фамилию, совершив в ней другую ошибку, ещё раз на глаз переставив ударение, которое снова было неверным.

Все эти ошибки звучали так, словно Артёма уже начали проворачивать в мясорубке.

Красноармеец выругался и назвал фамилию в третий раз, добавив:

— ...Который, мать его дрыном в глотку, Артём!

— Вот он сидит! — сказал Филиппок, усевшись и показывая на Артёма рукой. — Здесь! Вот!

Артём взял мешок и, не глядя ни на кого, пошёл к выходу.

Последним мелькнуло: владычка крестил веснушчатой рукой его спину.

* * *

— Мешок-то куда? Ещё покрывало возьми с подушкой, — сказал красноармеец, скалясь. — А то и диван волоки. Будешь, как Иван-дурак на печи. Лицо у него было, как картошка в мундире, лопнувшая улыбкой.

“Словоохотливый...” — выпало в сознании Артёма единственное слово, но оно зародило способность к мышлению.

Артёму пришлось возвращаться к своему дивану. Владычка принял мешок в руки и сказал уверенно:

— Сберегу до твоего возвращения.

На улице шёл дождь, Артёма привели в ИСО, он успел немного промокнуть и остыть, да и продышаться.

До сих пор он внутри этого здания не был и не стремился туда.

Пройдя мимо пивших кипяток дежурных вниз, поднялись на третий этаж, красноармеец крикнул, приоткрыв дверь безо всякой надписи:

— Привёл заключённого из лазарета! — и назвал фамилию, в четвёртый раз её переврав.

Артём даже засмеялся — негромко, но искренне. Его точно привели не на расстрел — это уже было весело.

В кабинете сидела Галина за громоздким и некрасивым столом.

Или, быть может, сама она была стройна и по-женски деловита настолько, что стол казался таким чрезмерным, грубым.

На столе стояла печатная машинка, крупная и тяжёлая, как трактор.

Вся комната, кроме окон и стены за спиной Галины, была заставлена стеллажами. Там, видимо, хранились дела лагерников.

Она произнесла фамилию Артёма без единой ошибки:

— Горяинов?

— Да. Я.

— Артём?

— Артём Горяинов. Да.

Галина трогала бумаги на столе, но было видно, что она и так всё помнит отлично.

— Садитесь, — сказала она через минуту, как будто не помнила, что он стоит.

“Всё ты помнила...” — подумал Артём и сел на табурет у стола.

Табурет был шаткий.

Он попробовал, чуть привстав, его установить понадёжней, но Галя попросила:

— Сидите спокойно.

Артём уселся, однако ноги пришлось держать в напряжении — всё время казалось, что он сейчас завалится вместе со стулом на пол. Даже в виске заняло и в ребре отдалось.

“Лучше б я стоял...” — подумал Артём.

— Вот донесение... — Галина читала одну из бумаг и морщилась: видимо, от помарок и несуразиностей письменной речи, — “...в ходе проверки обнаружил в мешке Горяинова карты игральные...”

— Карты не мои. Я играть-то не умею. Мне их подкинули, — быстро сказал Артём.

Галина подняла глаза — они были зелёного цвета, — и очень спокойно, почти без эмоций, произнесла:

— Я. Ещё. Ничего. Не. Спра. Ши. Ва. Ла.

Артём замолчал.

Галина карандашом почесала лоб так торопливо, словно там только что сидела муха и теперь осталась щекотка от мушиных лапок.

За спиной Галины на стене висели бликующие, чистые, — видимо, протёртые — портреты Троцкого и Дзержинского. Ленина почему-то не было.

Стараясь не привлекать внимания, Артём скосился в одну сторону, в другую — вдруг главный большевик где-то ещё есть, пока не замеченный... Впрочем, крутить головой не стоило — Галя чуть сдвинула бумаги, и Артём увидел на столе, под стеклом, портрет Ленина из “Огонька” и рядом — портрет Эйхманиса, вырезанный из газеты и наклеенный на толстую бумагу или картон: чтоб не смялся и не стёрся.

— Откуда карты? — спросила Галина.

— Я объясняю, — терпеливо повторил Артём. — Не мои. Подбросили.

— Афанасьев? — быстро спросила Галина.

— Почему? — спросил Артём, шатнувшись на стуле и с трудом удержавшись.

— Афанасьев играет в карты.

— Может, играет, но не рисует, — пожал Артём плечами.

— Но карты у него могли быть? — спросила Галина.

Артём опять пожал плечами, на этот раз ничего не говоря.

Галина ироническим взглядом оценила этот жест. Артём почувствовал себя глупо: “Жму плечами, как гимназист...”

— Индус Курез-шах действительно не умеет говорить по-русски? — прозвучал неожиданный вопрос.

— Я не знаю. Он только пришёл, а я... попал в больницу, — Артём улыбнулся.

— Василий Петрович ничего не говорил о своём прошлом?

— Что-то было...

— Что?

— Занимался охотой. У него была собака Фет. Он из образованной семьи, отец говорил на нескольких языках... — Артём неожиданно понял, что ничего толком о Василии Петровиче не знает.

— Во время гражданской войны он чем занимался? — бесстрастно спросила Галина, по-прежнему разглядывая разные бумаги на столе и время от времени трогая карандашом свой висок. Глядя на это, Артёму самому сильно захотелось почесать там, где ещё вчера были нитки.

— Воевал, — неуверенно ответил Артём.

— С кем?

Артём озадаченно молчал. Как-то нужно было грамотно и необходимо ответить: с вами? С большевиками?

— Слушайте, вы у него спросите, я на самом деле не очень знаю. Я просто всегда был уверен, что он сидит как каэр, — ответил Артём.

Его куда больше волновало, что в комнате явственно пахло духами. Он

даже немного захмелел от этого запаха: никаких духов он не слышал уже давным-давно.

— А вы что не воевали? — спросила Галина.

— С кем? — спросил на этот раз Артём.

Галина, в отличие от него, долго слов не подбирала.

— С нами, — ответила она просто. — Или против нас.

Артём мысленно отметил, что и “с нами”, и “против нас” вполне может означать одно и то же, и особого выбора тут нет.

— Вы же знаете, я по возрасту не подлежал призыву.

— Афанасьев не рассказывал, встречался ли он с поэтом Сергеем Есениным накануне его самоубийства? — спросила Галина.

“Прыгает с места на место”, — быстро подумал Артём и тут же ответил: — Нет.

Галина аккуратно прихватила самый кончик карандаша зубками. В одном из соседних помещений кто-то болезненно и коротко вскрикнул — словно человека ударили, и он тут же потерял сознание.

На крики Галина не отреагировала, даже не подняла глаз, только, убрав карандаш, быстро облизала губы кончиком язычка.

— Смотрите, Горяинов, — сказала она чуть громче, чем говорила до сих пор. — У вас обнаружены карты — запрещённая вещь. Откуда они взялись, вы не знаете. Это раз. Неделю карцера вы заслужили... Вы устроили драку с командиром взвода и командиром роты. Неподчинение приказам сотрудников администрации — ещё от недели до полугода карцера. А нападение на сотрудников администрации — высшая мера социальной защиты, то есть расстрел. Это два.

— Я не нападал, — сказал Артём, в ответ Галина вертикально подняла карандаш: тишина, ясно?

— На этом можно закончить, но тут не всё, — продолжила она. — Принуждение женщины к сожительству — ещё месяц карцера.

“Монах стучит? Или Жабра?” — подумал Артём, покрываясь противным потом. Секунду раздумывал: сказать, что не имел никакого “сожительства”, или не стоит? — но не успел.

— Подделка подписи при получении посылки в результате стовора с заключённым из числа антисоветски настроенного духовенства. Ещё от трёх дней до двух недель карцера, — Артём сморгнул, как будто ему сыпали на голову что-то ненужное, вроде соломенной трухи. — Наконец, симуляция во время нахождения в лазарете. “...Больной Горяинов... симулировал горячку...” — прочитала Галина на одном из листков.

— Зачем мне симулировать, если я “больной”? Вы же сами видите, что они пишут? — с некоторой, неожиданной для себя насмешливой дерзостью быстро ответил Артём. — Там эта медсестра — она же не медик, она чёрт знает кто...

— Заткнись, — вдруг сказала Галина просто. У Артёма упало сердце от её голоса; губы её, которые только что казались красивыми и возбуждающими, тут же показались тонкими, злыми, старушечьими. — Вас можно ликвидировать немедленно. А можно посадить в карцер ровно до окончания вашего срока.

— Чтоб я там сдох? До окончания нашего срока? Я могу объясниться по каждому случаю, — не унимался Артём; голова его кружилась, он понимал, что надо торопиться изо всех сил, ужасно торопиться.

— Заткнись, — ещё раз повторила Галина, но только громче и злей.

Артём на полуслове закрыл рот, как будто муху поймал. Сидел с этой мухой во рту: нестерпимо хотелось открыть рот и произнести ещё сто слов и даже тысячу самых нужных слов, они все зудели и бились у него во рту.

Три минуты они молчали.

“Это всё, — повторял Артём. — Это уже всё... это бравада, о которой мне говорили... Это уже всё, точно. Или что-то нужно сказать? Нет, это всё. Почему я не падаю в обморок от страха? Ведь это всё...”

— Страшно? — спросила Галина; в углу её гадких старушечьих губ мелькнула улыбка.

Артём сглотнул слюну и промолчал.

В углу кабинета за её спиной стоял вместо сейфа сундук, закрытый на замок. Там, наверное, хранились самые важные документы.

“Или она там свои трусы держит?” — подумал Артём с бешенством.

— Есть другой выход, — сказала Галина. — Потому что вы молодой человек, и цепь случайностей... Могла привести.

“Не много моложе тебя, сука, — подумал Артём и сразу же, без перерыва: — Милая, родная, самая милая, самая родная, не убивай меня, я буду целовать твои ноги, пожалуйста!”

— Вы, мне кажется, можете встать на путь перековки, — Галина явно говорила чужими для неё словами, но других по такому случаю и не было, — ...и выйти по истечении срока или даже раньше — нормальным, хорошим, правильным советским человеком. Но нужно подготовиться, чтоб подобных случаев не было впредь, да?

— Конечно, — сказал Артём.

Он дышал через рот. Язык был сухой. Он чувствовал свой сухой язык и сухое, холодное небо.

— Чтоб вам не вбрасывали карты, мы должны знать, кто их может вбросить, так?

— Так, — ответил Артём, всё уже понимая.

— Чтоб не было симулянтов. Чтоб здесь тайно не устраивали лагерникам случек, как для собак. Чтоб люди, попавшие сюда за проступки перед советской властью, не преумножали своей вины. Лучше это всё предотвращать заранее, а не доводить до карцера или высшей меры социальной защиты, так?

— Так, — повторил Артём, лихорадочно думая, что ему делать после того, как закончится всё это перечисление.

— Мы с вами подпишем бумагу, что вы будете — мне! лично мне! — способствовать и помогать во всех трудных случаях. Их много! Потому что десятники, взводные и ротные из числа всё тех же заключённых часто превратно понимают свои задачи и, следя за выработкой и дисциплиной, сами злостно нарушают дисциплину. Потому что контрреволюционеры, которым советская власть дала возможность исправить вину, только усугубляют её антисоветскими речами, которые, как и в гражданскую войну, могут стать делами. Потому что воры и убийцы — все эти блатные! — бессовестно пользуются ближайшим родством к рабочему классу, превращаясь в яркий асоциальный элемент с круговой порукой, пьянством и картёжничеством. Вы не хотите жить среди всего этого?.. Сколько вам ещё находиться здесь, на Соловках?

— Больше двух с половиной лет, — ответил Артём.

— Вот и думайте, как вам их прожить, — сказала Галина. — Просидеть в карцере? Или... выйти по заслуженной амнистии, отсидев половину? Кто у вас дома? Мать? Невеста?

— Мать.

— Мама ждёт... Почему она вам не пишет писем?

Артём замешкался.

— Так получилось. Шлёт посылки. Только что прислала, — ответил он, тут же вспомнив, что Галина знает о посылке и даже о том, как Артём её получил.

— Ой, — как-то совсем по-домашнему сказала Галина, увидев ещё одну бумагу на столе. — У вас ещё драка в лазарете. Вы избили Алексея Яхнова.

— Кого? — удивился Артём. — Жабру, что ли?

— Какую жабру? — спросила Галина, без особого, впрочем, интереса, уже протягивая Артёму какой-то самый важный листок с распечатанными буквами. — Вот тут форма, надо лишь расписаться.

— Слушайте, — Артём даже сделал неосознанное движение, чтоб сдвинуть табуретку назад, но снова едва не упал. — Мне ещё нечего... — он приветал и постарался установить табурет крепче, — совсем нечего рассказывать о нарушениях. Но я со всем согласен, с каждым вашим словом. Это нужное дело!

— Ну, так расписывайтесь, — сказала Галина, по-прежнему держа листок на весу. Она даже привстала, чтоб Артёму было ближе дотянуться, левой рукой тут же оправив сзади юбку.

Артём против воли скользнул по фигуре Галины взглядом. Она была хороша... эта юбка... и эти, чёрт, духи... Живот у неё — как он пахнет? Если живот без одежды?

— Давайте знаете, как сделаем, — попросил Артём, улыбаясь и вкладывая все свои силы, всё естество, всю нежность, всё человеческое, всё честное, всё самое сердечное в свою просьбу. — Я уйду и всё обдумаю, и наверняка буду вам полезен. Я помогу. И вы меня вызовете — да хоть даже завтра... или послезавтра... И я уже приду... — “Как сказать? — думал Артём. — С донесением? Какая мерзость! С рассказом? А что не с романом? Не со стихами?” — ...я приду и уже что-то... важное расскажу. Чтоб вы увидели, что я способен к работе. Что я нужен. И тогда мы сразу всё это подпишем. А сейчас — я ещё ничего не сделал, а уже подпишу. А если ничего не смогу сделать?

— Сможете, я вижу, Артём, — она впервые назвала его по имени, это прозвучало так голо, так остро, так приятно, как если бы она показала живот, немного голого живота... Или увидела немного его голого тела и назвала это тело по имени...

— Нет, я прошу вас, — Артём не знал, как к ней обратиться. — Я прошу. И я обещаю. Что ж я, сейчас подпишу... а пользы от меня никакой? Надо, чтоб уже была польза. В следующую же встречу я...

— “Встречу...” — тихо передразнила его Галина, садясь на место.

Ещё минуту она молчала, наглядно недовольная.

— Ну, я надеюсь, — сказала Галина с лёгкой неприязнью. — Тогда разбирайте вещи и возвращайтесь в роту. Вы ведь здоровы?

— Здоров, — ответил Артём, хотя уверенно подумал: “Я ужасно болен. Я скоро сохну”.

Галина опять потрогала карандашом свой висок.

Висок был бледный, чуть впалый. На карандаш упала тёмная прядь.

— Так не ваши карты? — спросила Галина.

— Да нет. Я играть-то не умею, говорю.

— А что умеете? — Галина разговаривала отстранённо, думая о чём-то другом.

— Не знаю... — Артём посмотрел на прядь и, сам от себя не ожидая, пощупил самой дурацкой шуткой, которая могла ему прийти сейчас в голову. — Целоваться умею.

Галина отняла карандаш от виска, словно он мешал бы ей поднять удивлённые глаза.

Иронически осмотрела Артёма. Отёк с той половины лица, где его подшивали, ещё не спал окончательно... Нос этот припухший, потный лоб, грязные волосы, сухие губы... Прямо смотрящие глаза, где наглость и лёгкий испуг замешались одновременно...

Она сделала короткое движение карандашом: выйди отсюда, дурак.

* * *

На обитом, затоптанном, сколоченном из двух деревянных брусков пороге Информационно-следственного отдела Артём некоторое время озирался в поисках своего красноармейца.

Подумав, решил вернуться обратно — не хватало ему ещё одного нарушения.

“Как это назовут? — думал Артём устало. — Побег из-под стражи?”

Его остановили на посту внизу:

— Кого ищешь?

Сопровождавший Артёма красноармеец сидел тут же, трепался о чём-то со старшим поста.

— Его, — указал Артём.

— Чего тебе? — спросил красноармеец.

— Меня отпустили назад в лазарет, — сказал Артём.

— И чего мне? Донести тебя? — спросил красноармеец, пихнув старшего поста: посмотри на чудака.

Оба зареготали, показывая тёмные рты с чёрными зубами.

— Компас не дать тебе? — крикнул постовой вслед, и зареготали снова.

“Из морячков”, — предположил Артём равнодушно, словно чуть подмороженный.

На улице стояло вечернее соловецкое солнце, пронизывая лучами тучи. Лучи мягко и скользко шли по-над кремлёвскими стенами, и всё в воздухе казалось подслащённым.

По пути в лазарет Артём размышлял обо всём одновременно, словно избегая думать о самом главном, но эти попытки были тщетными.

“...Солнце так светит... — вспомнил и передразнил он Афанасьева, — только на санках кататься по такому закату...”

“...Бойтся, что заложу его... — без улыбки смеялся Артём над Афанасьевым. — Три рубля дал! Хитрый рыжий сволочуга...”

Но зла на ленинградского поэта всё равно не было. Вспомнил про владычку Иоанна с мешком, в котором лежала посылка, и подумал: “...Сейчас немедленно всё сожру... удушусь, а съем — всё равно в роту идти... Может, оставят переночевать в лазарете?.. Пасть доктору Али в ноги?.. Нет, не выйдет...”

И дальше думал: “Как же люди могут полюбить Бога, если он один знает всё про твою подлость, твоё воровство, твой грех? Мы же всех ненавидим, кто знает о нас дурное? Я эту суку Галину ненавижу. Она знает, что меня можно прижать. Она меня прижала! Что делать теперь?”

Потом немного путано думал о Бурцеве, о Ксиве, ещё о Жабре — и, вспомнив, какой Жабра стал жалкий, глупый со своей зашитой рыбьей мордой, засмеялся вслух.

От собственного смеха ему стало противно — эта ненужная и невозможная теперь улыбка на лице заставила вернуться к тому, что нужно было понять: “Они же сделают меня стукачом. Или угробят в роте. Как мне выкрутиться? Как? Может быть, снова всё обойдётся?”

И сам себе ответил: “А вот нынче вечером тебя блатные порежут на куски — и обойдётся...”

Слабый человеческий рассудок подкинул Артёму решение: вернуться к Галине, подписать всё и попросить немедленно перевести в другую роту.

Одной частью сознания Артём уговаривал себя, что это стыдно, что он так не поступит, потому что не стукач и потому что не хочет никого ни о чём просить, тем более эту тварь... Но одновременно он понимал, что не идёт назад в ИСО по совсем другой причине.

И он проговорил себе вслух, что это за причина: “Она не переведёт тебя никуда, идиот! На кого ты будешь стучать в новой роте, где ты никого не знаешь? И с чего ей тебя переводить? С того, что ты струсил? Больше им заняться нечем, как переводить всех напуганных с места на место?..”

“Что значит струсил? — остервенело ругался Артём сам с собою. — Меня угробят сегодня или завтра! Проткнут! Как мне это принять? С открытым, чёрт, сердцем? Я что, бык на заклятие?”

В лазарете, замученный этим внутренним диалогом, он упал на диван.

Спустя минуту владычка Иоанн принёс мешок с посылкой. Трудно, — видимо, его мучило больное колено — присел рядом.

— Спасибо, владычка, — сказал Артём, принимая мешок. Вообще ему стоило бы усесться на диване — нехорошо лежать рядом со священником, — но не было никаких сил: едва шевельнул рукой и раздумал.

— А лежи, лежи, — сказал владычка Иоанн. — Тебе силы ещё понадобятся...

Они помолчали.

Едва Артём захотел услышать его голос, владычка заговорил, словно в который уже раз понимал его мысли без слов.

— Всё ищешь, милый, правду или честь. А и правда, и честь —

здесь, — владычка показал Евангелие. — Возьми, я тебе подарю. Тебе это нужно, я вижу. Как только поймёшь всей душою, что Царствие Божие внутри нас есть, — будет тебе много проще.

— Нет, — сказал Артём твёрдо. — Не надо.

— Ой, не прав, милый, — сказал владычка, пряча Евангелие. — Ну, дай Бог тебе тогда... Дай Бог превозмочь всё.

Не успел владычка уйти, как в палату заглянули пожилая медсестра и монах. “За мной”, — понял Артём.

— Иду, иду, — сказал он громко с места, потому что медсестра уже раскрыла, было, рот, чтобы ругаться и понукать Артёма.

Братъ ему было нечего: мешок с вещами так и не был разобран — только миску да ложку оттуда вынимал.

Мешок с посылкой владычка Иоанн перевязал своим узлом.

Филипп лежал с закрытыми глазами, выставив отпиленную ногу наружу. Лажечников смотрел на Артёма, но словно не узнавал его. Артём свернул к нему по дороге, на ходу развязывая посылку — в посылке был сахар, он насыпал казаку полную плюшку.

— Ты? — спросил Лажечников еле слышно; прозвучало так, словно у него звук “т” лежал на языке, и он его вытолкнул.

Артём не ответил.

Жабра спрятался под покрывало, хотелось оголить его, съёрнуть напоследок, но Артём поленился, тем более что пожилая медсестра перетаптывалась за спиной, словно стояла на горячем полу.

— Ещё нет ли чего? — спросил батюшка Зиновий, заметивший, как Лажечникову пересыпали сахар.

Артём, заглянув в мешок, выловил недоеденную конскую колбасу, сунул в руки батюшке.

— А сахарочку? — попросил он уже в спину Артёму. — Сахарочку бы тоже?

На больничном посту Артёма остановили: видимо, искали его учётную карточку, а потом ещё и доктора Али, чтобы он в ней расписался. И всё это второпях, лишь бы выставить его поскорее.

Владычка Иоанн, несмотря на болезненную хромоту, вышел проводить Артёма и торопливо шептал, как будто они могли и не увидеться:

— Я вот так размышляю: ты не согрешил сегодня — и Русь устояла.

Он словно бы догадался, что происходило с Артёмом в ИСО, и от этого Артёму было ещё дурней на душе и раздражительней.

— Здесь все грешат, — быстро отвечал Артём; отчего-то он себя чувствовал, как на вокзале: ему пора было уезжать, и теперь все слова были лишними, но он их зачем-то произносил, — грешат во сто крат больше нас...

— А ты не за них отвечай, а за Русь, — скороговоркой говорил владычка Иоанн. — Они грешат, а ты уравнивай. Праведное дело больше весит, чем грех!

— Нет! — с трудом сдерживая злость, отвечал Артём. — Грешить — и спасаешься, а праведное — ни на шаг над землёй не поднимает, а тянет на дно.

— Бог правду видит, да не скоро скажет, — совсем уже беспомощно даже не говорил, а просил владычка.

— В ИСО его надо, пусть бы там всё сказал, — отвечал Артём с улыбкой, которая на лице его была как чужая — даже челюсти от неё сводило.

— Ангел тебе в помощь, милый, — сказал владычка, когда монах раскрыл Артёму дверь: проваливай.

— Где просто — там ангелов со сто, а где мудрено — нет ни одного, — надерзил Артём напоследок. Произнёс всё это громко, но не оборачиваясь. Владычку видеть больше не хотел.

В роту Артём шёл деловой походкой, как на рыбалку. Черпал из мешка присланный матерью сахар и ел с руки: через минуту ладонь стала сладкой, липкой, шершавой, мухи кружились возле лица и с размаху вшибались то в щёки, то в лоб от жадности и удивления. Артём отмахивался, потом вытирался сахарной рукой.

— За Русь отвечай! — вслух дразнил отсутствующего владычку Артём, хрустя сахаром на зубах. — А вот завтра вызовут к Галеньке — и про всю Русь буду отвечать. Всё за эту Русь расскажу.

Хохотнул — и изо рта брызнул по сторонам сахар. Шагавший мимо из бани чекист в тюленьей куртке на голое тело, несмотря на тепло, недовольно оглянулся на хохот, но Артёму было плевать.

— Ваше Евангелие, — ругался Артём, — не помирило даже владычку Иоанна с побирушкой Зиновием, а их вместе — с монахом. С кем оно может помирить меня?

Встретил оленя Мишку, тоже потянувшегося к сахарку. “Переживу ночь или нет?” — думал он, усевшись прямо на землю и подставляя оленю поочерёдно лицо и руки: тот облизывал Артёма, часто моргая и торопясь.

Над ними, истерично вскрикивая, метались чайки.

В прихожей для дневальных чеченцы улыбнулись Артёму, как долгожданному.

— Привет, брат! — сказал Хасаев и даже хлопнул его по плечу. — А что ты не в карцере?

Артём мысленно хмыкнул, ничего не ответил и твёрдо шагнул в пахучую свою двенадцатую конюшню, псарню, скотобойню, мясорубку.

* * *

Едва Артём вошёл в роту, Моисей Соломонович запел.

Песня была незнакомая и грустная: “Он был в кожаной тужурке, тридцать ран на груди...”

Ксиву Артём увидеть не ожидал, но сразу же встретился с ним глазами. Тот заулыбался, с некоторой даже ласкою разглядывая мешки в руках Артёма.

Артём, расталкивая лагерников и не отвечая на приветствия тех, кто с ним здоровался, поспешил к своим нарам.

Василий Петрович встал ему навстречу, собирался вроде бы обнять, но Артём пробормотал что-то невразумительное, забрался наверх и там уже приступил к тому, что собирался сделать.

— Митя, — позвал Щелкачова. — Ты не слушай меня, живи своим умом... Угощайся вот лучше.

Выхватил из мешка две вяленые рыбины с отсутствующими глазами.

— А вы? А ты? — спросил Щелкачов.

— А меня в другую роту переводят, на повышенное довольствие, — ответил Артём. — Тройной паёк! Моисей Соломонович, идите, идите сюда. Прекратите петь на минуту.

Тот не заставил себя ждать.

— Хорошо поёшь, Соломоныч. Не портишь песню. Спой мне, знаешь, какую? “Не по плису, не по бархату хожу, а хожу-хожу по острому ножу...” У меня, знаешь, были плисовые штаны и хоть не бархатная, но шёлковая рубашка. И ещё отец через особую дощечку с вырезами натирал мне пуговицы гимназического мундира. У меня, представь, был отец. Спой?

— “Не по плису”? — переспросил Моисей Соломонович с удовольствием, кивая и улыбаясь. — Да, да, — но петь не стал, понёс поскорее, пока не передумали, насмерть запечатанную железную банку с подсолнечным маслом.

— Афанасьев! Рыжая сволочуга! — обрадовался Артём, когда дремавший рыжий поэт свесился с третьего яруса своим чудесным чубом. — А у меня для тебя сюрприз! Что тут у нас в этой жестянке? Конфеты! Чтоб их грызть! Держи!

Курез-шах и Кабир-шах получили на двоих остатки сахара в отдельном мешочке и долго улыбались и кланялись. Авдею Сивцеву достался последний кусок колбасы.

— Чтоб твоя лошадка тебя дождалась, Сивцев! — пожелал Артём.

Фельетонист Граков, молча вставший за своей очередью, удостоился связи баранок.

— Ой, и ты тут, Самовар, — удивился Артём. — Держи подболоточной муки и с генералом своим не делись. Его и так теперь хорошо кормят.

— Какого генерала? — спросил Самовар, с достоинством принимая дары.

— Фельдмаршала, — устыдился Артём. — Фельдмаршала Бурцева.

Самовар наглядно, всеми своими надбровными дугами обиделся, но муки не вернул.

— Ешьте, милые, я вас всех скоро дам с потрохами. Если доживу, — шептал Артём, оглядывая лагерников.

Они действительно принялись немедленно есть: странно прятать в заначку то, чем угостили.

— Василий Петрович, — Артём легко прыгнул вниз. — Смотрите, сколько я вам чаю принёс! До зимы хватит точно... И орехов. А где наша зайчатина? Где китаец желтолицый? У меня ещё рис для него есть.

— Китаец?.. Китайца взводный Мстислав Бурцев перевёл в карцер, — ответил Василий Петрович, скорее с грустью, чем с любопытством рассматривая Артёма.

— Вот как, — отозвался Артём тем тоном, как если бы ему сообщили о небезынтересной светской новости, — Василий Петрович, я б отдал вам всю посылку, но вас бы за неё наши блатные зарезали, — сказал Артём свистящим шёпотом.

Василий Петрович сморщился: похоже, ему была болезненна ситуация, в которой Артём был вынужден паясничать. Он не мог его прервать, но и терпеть не хотел.

По крайней мере, Артём так всё это понял, но остановиться уже не мог.

Когда явился Ксива, замешкавшийся с поиском товарищей, мешок был пуст.

— Готовил тебе половину, а тут вот какая незадача: всё разобрали, — сказал ему Артём. — Вот возьми хотя бы мешок. Может, платье себе сошьёшь из него.

Ксива молча смотрел, играя желваками. Губа его озадаченно свисала при этом, чуть шевелясь.

Объявляли вечернюю поверку, был слышен буйный и пьяный голос Кучеравы. По рядам пошёл Бурцев, в руке у него был стилет. Он помахивал им.

— Загиб Иванович ночью к тебе придёт, — сказал Ксива Артёму. — Дождёшься? Или можешь прямо сейчас удавиться.

— Почему удавиться? — спросил Артём. — Дождусь.

Афанасьев сидел на своих нарах и всё это наблюдал, не говоря ни слова. Загибом Ивановичем здесь называли смерть.

(Окончание следует)

ДИАНА КАН



МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА

* * *

Пью за здоровье бывших мужей!..
Здравы будьте, мужья мои милые!
Опьяняйтесь свободой своей,
Жизнь любите с удвоенной силою!

Никого и ни в чём не вина,
В женских душах блистательно властвуйте!..
Ну, а что не любили меня —
И за это, мужья, благодарствуйте!

И за это, и даже за то,
Что в своей поэтической удали
Вы, как, видимо, больше никто
Юность с вечностью намертво спутали.

Не ищите такую нигде —
Во хрустальном гробу почивавшую,
Выживавшую в мёртвой воде,
Из трубы на метле вылетававшую.

КАН Диана Елисеевна — поэтесса, член Союза писателей России. Автор книг “Високосная весна”, “Согдиана”, “Междуречье”, “Подданная русских захолустий”, а также множества публикаций в центральных и региональных изданиях России и СНГ. Член редколлегии ряда изданий России. Живёт в городе Новокуйбышевск.

Убедившую: путь ваш высок!..
Обманувшую всех и минувшую...
Всех созвавшую на огонёк —
Лёгким дымом в трубу улизнувшую.

* * *

Когда на небе полная луна,
Когда на Волге ты совсем один —
Кувшинкою персидская княжна
Всплывает из отверженных глубин.

Пускай ты не назвал её женой.
Слов запоздалых — нет! — не говори.
Пусть, осиянна синию луной,
Она цветёт до утренней зари.

Пленённая персидская княжна,
Тебя навечно взявшая в полон, —
Пускай она качается, нежна,
Кувшинкою на дрёмной глади волн.

Ей безразличны и людская молвь,
И свойственный преданьям приукрас,
Что злее зла была твоя любовь,
И холоден огонь кинжальных глаз.

Под крики: “Нас на бабу променял!” —
Она, струя потоки стылых слёз,
Лишь спросила с грустью: “Кинешь мя?..”
В казачьем оре потонул вопрос.

Не говори, как ты её любил,
Ватажеству шальному предан в дым...
Ведь ты не виноват, что выбор был
Меж нею и всем миром остальным.

* * *

Ты долго по миру блукал,
Всемирности русской заложник.
Среди иноземных лекал
Себя отыскать невозможно!

Ты счастья отнюдь не просил.
Ты классика принял на веру,
Который не раз говорил,
Что счастье земное — химера.

Что все мы под небом седым,
Где ветры вселенские свищут?..
Невольно о воле скорбим,
Покой, беспокойные, ищем.

Выходим один на один
С пропахшим степями култуком...
Но — вал повернёт баргузин,
Нам став и собратом, и другом!

...Ты все так долго искал
Покоя. Созвучья. Участья...
...Россия. Распутин. Байкал...
Ну, что ещё надо для счастья?

* * *

Пускай переживают нас
Нас вдохновлявшие мужчины,
Которых видеть без прикрас
Не признавали мы причины.

Какою — Боже мой! — была
Непроходимую я дурой,
Что до небес превознесла
Тебя, мой демон белокурый!

Тебя, ушедший в злую ночь
В обнимку с одичалой вьюгой...
Сумевший вьюгу превозмочь —
Не назовёт её подругой.

...Но разве мог быть не любим
Хотя бы на одно мгновенье —
Лобзаньем пламенным своим
В меня вдохнувший вдохновенье?!

* * *

Сладкими восславленная снами,
Проклятая трижды наяву,
Полыхнёт — о, если б куполами! —
Сторона, что отчиной зову.

Полыхнёт — от края и до края!
Кабы знать — рассвет ли то? Закат?
Угли ада или розы рая
В небесах над отчиной горят?

Поцелуй Авроры розоперсой
Воспевала я сама не раз,
Позабыв: “Аврора” — это крейсер!
Только так заведено у нас!

* * *

Медной горы хозяйка!
Где же твоя гора?
Или ты просто зазнайка
И поумнеть пора?

Где твой Данила-мастер?
Каменный где цветок?
Эвон, какие страсти
Бьются тебе в висок!

Жить бы, не беспокоясь,
Не замечать обид...

Где он, твой Каменный пояс?
Что ж он тебя не хранит?

Мерцают твои самоцветы
Тысячи долгих лет...
Чёрт догадал поэтом
Родиться на Божий свет!

И самоцветные фразы
Разбрасывать напоказ...
Светятся хризопразы
Лунных усталых глаз.

Слёзы в каменья отлиты...
Знает о том одна
Чара из чароита,
Выпитая до дна.

* * *

Ужель тебе к лицу твоя судьба,
Ты, прежде ветром крытая крылатым,
Бревенчатая русская изба,
Обложенная сайдингом, как матом?..

Здесь синий март — протальник-зимобор,
Апрель — зажги снега, играй овражки.
И обрусевшим розам не в укор
Вновь палисады обживали кашки.

Где этот палисад? В разгаре дня
Я помню, как от зноя неподвижны,
Заморские гортензии тесня,
В нём безраздельно царствовали пижмы.

Красавишны, царишны мои,
Форштадтским ветром венчаны на царство,
Судьбой своей с моей судьбой сродни,
Они так любят мне во снах являться.

В растерянности на ветру стою
И думаю: “Зачем пришла? Не знаешь?..”
...Родной Форштадт, тебя не узнаю!
И ты меня узнать не поспешаешь.

Дорогая Диана!

“Наш современник” поздравляет Вас с юбилеем и надеется на дальнейшее соратничество. Будем рады видеть Ваши замечательные стихи на наших страницах.

Редакция

АНДРЕЙ СКРИПЦОВ



СЧАСТЬЕ

РАССКАЗ

1

— А Вальк-то что? — спросил я Юрку.
— Померла Валька в марте, — ответил тот, нахмурившись.
— Чего ж сестрёнку не сберёг, олух?!
— Да я что! — заторопился оправдываться Юрка. — Я и в город ходил мешки таскать за кусок хлеба, и сам пахал, и сеял сам, и крупу воровал даже на станции! Вальке мамка всё давала, что было, а всё одно... Прихожу раз со станции, а она мёртвая лежит уже.

Помолчали.

Был хороший майский день. Мягко светило солнце, осторожно лаская соскучившуюся по теплу землю. Уже и деревья выпустили листья, и в гуще леса завели свою возню птицы, оглашая округу пением. И будто не было никогда холодного ветра, снега, зимнего голода. Будто две огромные воронки, оставшиеся на дороге от давнишней бомбёжки, — и не воронки вовсе, а ходы, прорытые неведь зачем какими-то гигантскими кротами. Что бы ни происходило у людей, а природа живёт по своим законам.

СКРИПЦОВ Андрей Викторович родился в 1976 году в Симферополе. Окончил Крымский институт бизнеса по специальности международная экономика и Таврический национальный университет по специальности философия. Председатель исполкома общественной организации “СПД “Русский Крым”. Член Совета по молодежной политике при Председателе Верховного Совета Автономной Республики Крым. В 2008 издана книга “Эпоха Возрождения души”. В 2014 окончил дистанционные Курсы литературного мастерства А. В. Воронцова. Живет в Симферополе. В начале 2014 года организовал и возглавил один из отрядов самообороны Крыма.

Я не видел Юрку с зимы. Жил он в соседней деревне, а работы у нас, ребят, в отсутствие отцов, по весне невпроворот, вот и не видались до сего дня. Мы сидели на небольшом холме и смотрели, как солнце объезжает свои небесные владения; наверху — ни облачка. Юрка загрузил, будто чувствовал себя виноватым в смерти сестры. Вертя в руках прохудившийся башмак, он зло затыкал брешь в нём тряпочкой. Башмаки надо беречь — где их взять, ежели к холодам испортятся совсем? — поэтому обыкновенно мы ходили босиком уже по весне, но сегодня Юрке что-то захотелось пофорсить.

— Понимаешь, Валька всё молока просила у мамки, а где ж нам его взять, когда корова ещё в тот год зимой от голода издохла? — Юрка закончил с башмаком и вдруг снова поник. — Не было у нас молока.

Я видел, как на Юркины глаза наполнили слёзы, но старался не смотреть в его сторону. Реветь у нас считалось девчачьей слабостью, и, зная, что мой приятель с трудом сдерживает себя, я не хотел подавать виду, что заметил это.

— Да и у нас в деревне в половине дворов за три зимы дети малые померли. Что ж тут поделаешь, коли все на фронт ушли немца добивать и работать некому, а всё, что ни делаем мы, то на фронт, в подмогу отправляем? — сказал я, стараясь не смотреть в Юркину сторону. — А Вальку, конечно, жалко.

Вспомнились мне её большие карие глаза и румянец на весёлом личике. Почему-то я вспомнил её не худую и несчастную, устало бредущую с тяжёлым бидоном воды от колодца к дому, — нет; вспомнилась мне Валька ещё до войны, когда Юрка привёл её, трёхлетнюю девчонку, на уроки в школу и спрятал под парту, чтобы учительница не видела. Так и сидела там Валька затаившись, подмигивала мне озорно, а весь класс аж ёрзал на стульях: заметит Анна Ивановна эту “ученицу” или не заметит?

И снова до слёз стало жаль Вальку от этих воспоминаний.

Неожиданно Юрка вскочил на ноги и закричал:

— А что ж они меня немца добивать не берут?! Три раза в военкомат ходил, говорят, мал ещё! — Он тяжело дышал, будто ему не хватало воздуха, — его душили чувства. — Двенадцать годов уже будет скоро! А они: мал, мал! Как похоронку отцовскую получать, так не мал? Как по шестнадцать часов в сутки на станции работать, так не мал? Как в мёрзлой земле своей сестре могилу рыть, так не мал? А фрицев бить вдруг мал! Как же так?

Юрка не выдержал и заплакал. Без рыданий, изредка всхлипывая и резкими движениями вытирая слёзы, непослушно бегущие по щекам.

— Да что ты, Юра! Ты думаешь, я на фронт не хочу?! Да мне военкомат сказал, что ежели сбегу сам на фронт, то поймает меня и в тюрьму посадит! — Я тоже перешёл на крик. — Но прав он, пойми. Если мы с тобой да другие ребята на фронт пойдём, то кто ж здесь деревню кормить-то будет? Все наши тогда вымрут. Мамка твоя с голоду помрёт, как Валька, ты о ней подумал?!

— А один чёрт помрём, пока немца не добьём! Все подмётки сапожные съели уже, берёзовую кору варим да жрём. Вы тоже её грызёте?

— Грызём. Пока урожая нету ещё никакого.

— Вот и всё пропитание. А немца добьём, так быстрее всё восстановим сообща, — веско заключил Юрка. — А я всё равно сбегу на фронт! Вот только мамке хлеба соберу, чтоб продержалась до моего прихода, и сбегу.

— А если не вернёшься? А если убьёт тебя немец? — спросил я.

— У-у-у, фашисты проклятые! — прорычал Юрка и стих.

Мы сидели и молчали, глотая слёзы. Сейчас весна, сейчас тепло, скоро лето, скоро будет урожай, если заморозок не погубит; созреет рожь, картофель, брюква, и будет “сытая жись” до самой глубокой осени. До зимы точно дотянем, а там... Кто знает, как всё обернётся? Будем ли мы следующей весной сидеть на этом холме с Юркой или не сбережём себя и поляжем в сырую, холодную землю студёной зимой? А может, и не поляжем... Рыть-то её будет некому — старики почти все повымерли, а у баб откуда силы будут в голодную зиму? Так под снегом до весны можем и пролежать, если совсем худо в деревне будет. Эх! А может, и дотянем до весны. Нет! Обязательно

дотянем! В тринадцать-то лет уже точно в армию возьмут — как смогут отказать! А с нами — со мной да с Юркой — мы быстро с фрицами покончим. Уж мы-то их жалеть не будем, церемониться не станем! Пока там командирьи на фронтах тянут, так вся страна повымрет, чего недоброго. А мы подсобим, и всё станет хорошо — победим быстро!

2

Так думали мы с Юркой, сидя на холме, утирая слёзы, всматриваясь вдаль, куда-то туда, где далеко-далеко огромная жёлтая звезда сияла в синеве небес, цепляя верхушки деревьев золотыми лучами. Как вдруг мы увидели на дороге облачко пыли и тёмную точку в нём, которая приближалась к нашему селу. Для машины из района пыли было маловато, да и не должно было быть на этой неделе в наши края машины, а для человека точка двигалась слишком быстро. Приглядевшись, мы поняли, что это был Федька — сын начальника станции, единственный мальчишка во всей округе, у которого был велосипед. Хоть и старый, на в шести местах отремонтированных колёсах, но велосипед! Нам с Юркой не довелось кататься на нём, потому что, когда мы ходили на станцию, то без передыху работали, после чего уже не было сил крутить педали, да и Федька не давал прокатиться, говорил, что отец строго наказывал.

— Чего это с ним? — Юрка привстал и двинулся к дороге. — Пойдём поглядим, чего это с ним стряслось. Ишь как педали наяривает!

— Пойдём.

И мы оба поспешили спуститься к дороге навстречу Федьке. Тот и вправду крутил педали, как сумасшедший. Последний раз он так торопился, когда надо было поспеть на тушение пожара, но и тогда, пожалуй, он не спешил так неистово. Может, снова пожар где? Но оглянувшись по сторонам, мы не увидели нигде никакого дымка, а если бы был пожар, то чёрная, угрожающая пелена непременно бы нависла клубами под небом. Нет, не горит вроде нигде.

Федька, видимо, увидел нас не сразу и стал тормозить, когда был уже довольно близко, да так неловко, что съехал на обочину, не справившись с управлением, и повалился набок в траву. Мы бросились поднимать его, поспешно уничтожая остатки слёз на ресницах — не хотелось, чтобы чужой мальчишка видел нашу минутную слабость. Ещё разболтает — вот позор-то будет!

Но Федька и сам был в слезах. Крупные капли, медленно вытекая из глаз, ползли на растянутые в широкой улыбке щёки. Сам он был весь вздерошен, будто его долго трепали за волосы. Мы подбежали к нему с вопросами, но он только плакал, улыбался и задыхался от бешеной гонки на велосипеде. Наконец он набрал воздуха и что есть мочи, будто мы находились в версте от него, а не совсем рядом, звонко прокричал, растягивая слово:

— По-бе-е-е-да-а-а-а! — Казалось, Федька даже не замечал нас. — Победа-а-а-а!!!

— Говори толком, дурак! — Мы трясли его, не веря своим ушам.

Федька чуть отдышался, отмахиваясь от нас:

— Всё, братцы, кончилось! Наши Берлин взяли! — Федька, казалось, стал улыбаться ещё шире, и новые слёзы покатались из его глаз на сияющее лицо. — На станцию сообщение пришло. Конец войне! Немец капитуляцию подписал!

И снова, набрав полные лёгкие воздуха, закричал:

— По-бе-е-е-да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!!

На какое-то время у меня потемнело в глазах от нахлынувших чувств. Сердце бешено застучало, будто просясь выскочить наружу, будто ему тоже надо было крутить педали Федькиного велосипеда. Неужели?!

Мы обнимались, кричали что-то нечленораздельное, плакали, смеялись, гурьбой валялись на траве, а потом, поднявшись, прыгали вверх, махая руками в воздухе. Федька вскочил на велосипед и помчался в деревню, а мы припустили во весь дух за ним. Мы поняли, почему так спешил Федька, —

было просто невозможно спокойно стоять на месте, прилив радости требовал выхода в движении. Земли под собой мы не чуяли, мы летели! И словно на крыльях, может, лишь на минуту отстав от Федыки, мы, задыхаясь от восторга, влетели в деревню.

— По-бе-е-е-да-а-а-а!!!

А в деревне все уже высypали на улицу и сбегались к месту, где, сойдя с велосипеда, оглушал своим криком Федыка:

— По-бе-е-е-да-а-а-а!

Его хватали за руки, прижимали к груди, распрашивали, но он, вымолвив не более, чем нам, снова срывался в крик. И этого было достаточно. Словно большое, огромное море радости разлилось по деревне. Люди пили его, жадно хватая ртом это волшебное слово, разносящееся по дворам, подхватывали его; и вот уже во всех домах возникло движение и всё тот же всеодолевающий, будто способный мёртвых поднять из могил, крик:

— По-бе-е-е-да-а-а-а!

Наверное, стоило закатить пир на весь мир по такому случаю, но у нас ничего не было. Ничего, кроме безумного количества энергии, которая была ключом из каждого. Люди плясали, некоторые ложились на дорогу и трясли ногами и руками; другие, не выдержав прилива энергии, как и мы с Юркой, начинали носиться по деревне, как безумные, выкрикивая всё то же слово, которое, нам казалось, мы никогда не устанем повторять. Выбившиеся из сил бабы садились на траву и, закрыв лицо руками, плакали навзрыд от радости.

Мы долго металась по полю, бескрайнему, как наш восторг, пока не упали, задыхаясь от переполнявших чувств и долгой беготни. Лёжа на земле, мы вглядывались в бездонное небо, словно растворяясь в нём. Вот теперь-то мы заживём по-настоящему! Мы представляли себе, как на наши поля вернуться работники, а мы снова пойдём в школу; как не будет больше холода и голода, потому что всего у нас теперь будет вдоволь, потому что главное, что мешало нашему счастью, — война — кончилось. Мы представляли себе, как наши отцы, пусть немного постаревшие и седые, вернуться в свои дома, как им будут рады матери. Мы вспоминали забытый звук возни в коровнике и плакали от мысли, что недалёк тот день, когда вкус парного молока станет обыденностью. Но главное было не это. Главное — мы победили! И враг, которого мы ненавидели, который вырвал у нас самое дорогое — жизни наших близких, — который топтал нашу Родину грязью своих сапог, этот страшный враг повержен. А где-то далеко на западе наши солдаты взяли — наконец-то взяли! — штурмом Берлин. И значит, с войной покончено. А остальное всё мы сделаем сами, а остальное всё — пустяки. И перевернуть мир, поставить его с головы на ноги — это не фантазия, а наша задача, то есть то, что мы сделаем в самое ближайшее время.

И мы лежали на мягкой земле, упоённые теплотой майского солнца, мы пили это солнце стаканами неба, мы растворялись в небесной синеве, безбрежной, как наша молодая, ещё только начинающаяся прекрасная жизнь. И ничего иного не было в наших душах, кроме одного на всех, огромного, не оставляющего места ни для чего иного, тёплого и такого позабытого ощущения — счастья!

БОРИС БУРМИСТРОВ



ЕСТЬ У НАС ОДНО ПРОСТРАНСТВО

* * *

Голоса людей, как птицы,
Разлетаются по свету.
Никакой такой границы
Между нами в мире нету.

Голоса людей в пространстве,
Словно отзвуки былого.
После долгих-долгих странствий
Я твой голос слышу снова.

Никакого здесь шаманства:
Голос твой всё выше, выше...
Есть одно у нас пространство —
Где мы все друг друга слышим.

ЗИМНИЙ ПОЕЗД

Полустанки мимо, мимо,
Липкий снег летит в окно.
Всё ль с душой соизмеримо,
Всё ль с душою заодно?

БУРМИСТРОВ Борис Владимирович родился в 1946 году. Работал на Колыме бульдозеристом, потом строителем и механиком в Кузбассе. Автор шести стихотворных сборников. Член Союза писателей России. Живёт в г. Кемерово.

Всё ли мне понятно, ясно
В этом мире бледных грёз?
Для кого-то жизнь прекрасна,
Для кого-то — море слёз.

Полустанки мимо, мимо —
Ночь за ночью, день за днём.
Всё, похоже, повторимо
В этом сонмище людском.

В ожидании тревожном
Я лечу на край земли.
Только снег в окне морозном,
Только свет слепой вдали.

* * *

От встречи до встречи — мгновенье одно,
Рябина-кручина стучится в окно.
От встречи до встречи — века и века
На горных вершинах не тают снега.
И зимы, и вёсны идут чередой,
От встречи до встречи — живу я тобой...

* * *

То посев, то снова жатва —
Пашем, сеем, жнём.
Выше правды та лишь правда,
Что в тебе самом.

Путь земной укажет компас,
Путь из дома в дом.
Больше космоса — лишь космос,
Что в тебе самом.

Не убавить, не прибавить —
Каждый день весом.
Больше жизни — только память,
Что в тебе самом.

“МОЙ АНГЕЛ” (Диптих)

1

Давай тебя, мой ангел, обниму.
Как много непонятого в миру...
В миру случайных и капризных грёз
Так мало смеха и так много слёз.

Давай тебя, мой милый, обниму.
Есть сто причин, я думаю, к тому —
К тому, что в жизни ты один мне друг,
Твой нежный голос мне ласкает слух.

И по утрам я слышу шелест крыл:
Со мною ты всё время рядом был.
Пока во сне я милости просил,
Ты мою душу на крылах носил.

Давай тебя, мой ангел, обниму —
Двоем, поверь, теплей, чем одному...

2

Мой юный ангел, ты всё так же юн
Или стареешь наравне со мною?
Моей душе приятен голос струн,
Которых ты касаешься рукою.

Мой милый мальчик! Всё-таки ты юн,
А я старею — не душой, но телом.
Ворчун несносный и, конечно, лгун —
Лгу сам себе об этом свете белом.

Что, дескать, здесь — в миру разлук и встреч —
Я был любим (хотя сомненья гложут).
Я не сумел, наверное, сберечь
Тех, с кем делил свой скромный кров и ложе.

Себя обманом тешить разрешу.
Мой юный ангел, ты один всё знаешь:
Когда грущу я и когда грешу —
Ты надо мной, Спаситель мой, летаешь.

* * *

Не сжигайте в прошлое мосты —
Повечерить позже будет не с кем.
Поливала женщина цветы,
На окне раздвинув занавески.

Отмывала пыльное окно,
Чтобы солнце в комнату светило.
Как же это было всё давно,
Боже мой, когда всё это было?!

Сколько вод по рекам утекло,
Снегом, пылью замело дорожки,
Но осталось в памяти тепло
От цветов печальных в том окошке.

На рассвете улицы пусты.
Я иду, пытаюсь вновь представить:
Поливает женщина цветы...
И сквозь время память прозревает.

ПЛАТОН БЕСЕДИН



ДЕНЬ ПОБЕДЫ

РАССКАЗ

В такую жару лучше всего ехать троллейбусом. Иначе — не выжить. Душно, жарко. А в старом троллейбусе — почти благодать, столько щелей, что дует, кажется, отовсюду. Можно высунуть голову в окно, и так спастись от майских плюс тридцать.

Сколько же будет в июле? Раскочегарится солнце, приедут туристы, и станет вовсе невозможу. Туристы почему-то всегда приезжают в Севастополь в июле. Умирать от зноя, купаться в подогретом молоке Чёрного моря, покупать втридорога фрукты. Если и отдыхать в Севастополе, то в мае или в сентябре. Лучше, наверное, в сентябре. Потому что в мае вода ещё не прогрелась. Это мне вчера после водки казалось, что она прогрелась, а сегодня — заложенный нос и опухшее горло.

Но ехать всё равно хорошо. Дребезжа стёклами, скрипя рессорами, матерясь кондуктором, троллейбус ползёт в горку. Справа — кирпичное двухэтажное здание, увитое плющом. Слева — мой родной университет. К нему ведёт кипарисовая аллея, названная студентами “Дорогой жизни”; то ли из-за сессий, то ли из-за ветров. Раньше здесь был ларёк с книгами, а сейчас — гастрономы, бары и палатки с шаурмой.

Выхожу на улице Меньшикова. Фёдор Меньшиков сражался против фашистов и погиб в последние дни второй обороны Севастополя. Его нет в “Википедии”, — там только актёр Олег, князь Александр, писатель Михаил и рэпсер Андрей, известный как “Лигалайз”, — но он есть на кубическом

БЕСЕДИН Платон Сергеевич родился в 1985 году в Севастополе. Окончил Севастопольский национальный технический университет. Работал фотографом, сомелье, охранником, инженером-испытателем, маркетологом, копирайтером. Публиковался в журналах “Дружба народов”, “Бельские просторы”, “День и ночь” и др. В 2012 году в издательстве “Алетейя” вышел дебютный роман “Книга Греха”.

обелиске среди так называемых зеленых насаждений. Возле них сворачиваю на улицу Репина. Иду через дворы, мимо хрущёвки, на первом этаже покосившиеся буквы складываются в надпись “ГАСТРОНОМ”. Тут и, правда, был гастроном. Школьниками мы покупали в нём жареные пирожки с рисом и яйцом. Теперь здесь магазин живого пива и разливных вин.

У входа лужагут семечки мужики. Прикидывают, чем опохмелиться. Один — тот, что с деньгами — рвётся домой. Его держит мужик с Иисусом Христом на брюхе. Брюхо студенистое, изображение нечёткое. Да и сам мужик весь какой-то расхристаный.

Срочно опохмелиться, но не здесь. Пройти триста метров в кафе “Черноморочка”. На двери висит поздравление с Днём Победы, написано от руки красным маркером. За дверью — пустота с запахом рыбы. Барменша атакует сразу, не дав прицениться:

— Вам чего?

— Пива.

— “Рогань” или “Сармат”?

— “Рогань”.

— А “Сармата” всё равно нет, — пенная жижа медленно лезет в стакан. — К пиву бычков не желаете?

— Давайте.

Удивительная женщина: предложила бы кредит — взял бы.

Из-за рыбной вони пью на улице. Сворачиваю голову бычку, расслабляюсь. Ненадолго. Чужая рука — бледно-красная, взопревшая, точно креветка в супермаркете — на моей руке.

— Брат, дай на опохмел, а...

Рука-креветка принадлежит мужику в синей панаме. Лезу в карман, протягиваю мягкие купюры, не успеваю рассмотреть номинал. Судя по тому, что мужик спокоен, номинал не велик.

— Спасибо, брат! С праздником! С Днём Победы!

— И вас.

После львовского пива и черноморских бычков отыскать нужный подъезд — не проблема.

Валерий Абрамович живёт на третьем этаже, квартира номер 24. Поднимаюсь быстро, чтобы не пропитаться миазмами сырости и мочи. На лестничной площадке, между вторым и третьим этажом, валяются шприцы. В пластиковых колбочках — остатки крови. Кровь и на стене, изрисованной свастиками.

Дверь, обитую старым кожзамом, открывает старик, высохший, сгорбленный, с коленями в разные стороны. На нём праздничный мундир, увешанный орденами, похожими на медяшки леденцов. Из квартиры прёт затхлостью.

— Алексей? — голос у старика тихий, усталый.

— Здравствуйте, Валерий Абрамович, с праздником вас!

— Спасибо, проходите...

Валерий Абрамович семенит вглубь квартиры. Обои на стенах бледно-жёлтые, чахоточные, точно у Раскольниковца в комнате-шкафе; углы отвоевала чёрная плесень. Одна из стен занята полками с книгами: классика, философия, коммунизм, но больше всего книг о войне, вроде “Они сражались за небо” Покрышкина или “В походах и боях” Батова. Среди книг — небольшая бюст Сталина.

Рассаживаемся.

— Ну, — Валерий Абрамович старается устроиться в кресле поудобнее, — с чем пожаловали?

Повторяю то, что сказал ему в телефонной беседе. Задание главреда — подготовить материал о том, как ветераны встречают День Победы.

— Как встречаю? Сами видите... вот школьники приходили, — показывает на пять красных гвоздик в банке.

Надо было купить цветы. Почему не купил?

Валерий Абрамович говорит, будто извиняется. Теревит руками край застиранной скатерти. Руки у него в набухших венах, словно пластиковые трубки капельниц.

— Недавно жену схоронил. Прожили пятьдесят восемь лет, и схоронил. Умерла два месяца назад. Дочка приехала, говорит, давай, папа, к нам, — они с мужем и внуками в Саратове, — но я не хочу. Тридцать шесть лет прожил здесь, здесь и умирать. Быстрее бы...

— Ну что вы, Валерий Абрамович, вам ещё жить и жить...

— Это вам, молодым, жить. Вы, Алексей, женаты?

— Был...

Вспоминаю развод после года брака: упрёки, обвинения, суд и жуткую бородавку — спелая чёрная шелковица, вся из крошечных гранул — на переносице судьи. Когда спрашивают — отвечаю стандартно: не сошлись характерами.

Но Валерий Абрамович не спрашивает. Он предлагает чаю, хочет встать. Руки и голова его трясутся. Успокаиваю, прошу сесть.

Надо было купить что-то к чаю. Почему не купил?

— Валерий Абрамович, расскажите, как воевали, пожалуйста.

— Да, да, конечно, — он мнётся, — мне только надо принять лекарство...

— Вам подать?

— Я сам, — он, скорчившись, поднимается, — пока сам.

Берёт с полки таблетку, глотает, запивает мутной водой из грязного стакана. Говорит:

— Пока вспомнил, потом забуду. Раньше Люсенька контролировала, а теперь некому. Учёт вела, — протягивает мне тетрадку, в ней записи мелким уборым почерком, — когда и что я принял. Вы о боевом пути спрашивали...

Валерий Абрамович медленно опускается в кресло. Бледнеет, вытягивает ноги толщиной с мою руку. Растирает колени, начинает рассказ.

Родился в селе Заплавное, под Сталинградом. Отца как “врага народа” арестовали в тридцать девятом. Отправили в посёлок Ягодное под Магаданом. Больше отца не видел. Двадцать второго июня стук в избу. Началась война.

Мать пошла санитаркой в госпиталь. Под него оборудовали школу. Стало негде учиться, решили собираться в амбаре. Читали, считали под керосинкой. Потом учителя, Абрама Яковлевича, арестовали.

Позже в Заплавном командировался полк. Прибился к солдатам. Пошёл добровольцем на фронт, в Сталинград. Голод, холод, руины, трупы. Всё время было светло, даже ночью. Непрерывно обстрелы и бомбёжка. Когда наши стали давить, потерял бдительность — контузило миномётным осколком.

Госпиталь. Смерд, крики. Негде хоронить трупы. Выздоровел, на фронт. Пленён под Данцигом. Четыре месяца в немецком концлагере. Питки, голод. Из полицаев особенно зверствуют мадьяры.

Когда фашисты поняли, что проиграли, стали расстреливать заключённых. Спас немец Пауль: вывел за ворота, думал, что ему зачтётся. Может и зачлось.

После фашистского плена — проверки на благонадёжность. Молодой лейтенант с усиками щёткой решил, что не благонадёжен. Вновь — концлагерь. Теперь уже родной. Восемь лет лагерей. Амнистировали при Хрущёве.

Женился, служил на флоте. Всё время переезды. Благовещенск, Куйбышев, Архангельск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск. Родились мальчик и девочка. Спать негде. Спят в чемодане. Много клопов. Коммуналки, коммуналки.

Потом, наконец, дали двухкомнатную в Севастополе. Эту. Демобилизовался из-за сталинградской контузии. Устроился работать в институт. Дочь вышла замуж, удачно, живёт в Саратове. Сын женился, неудачно, где-то на Севере.

Жили вместе с Люсенькой. Доживали. А теперь одному доживать. Без неё.

Для статьи вполне хватит. Выйдет на одной полосе с рекламой средства от геморроя или анонсом очередного целителя. Но лучше написать рассказ. Или повесть. Для себя. Для него. Хочется, требуется писать вновь. Спустя два года после клятвы не прикасаться к литературе.

Нет, я не забыл усмешек знакомых, издёвок жены, отказов журналов. Бессонницу, форточку, сигареты. Не забыл ощущения затравленности. Когда те, кто не смог выучить таблицы умножения и прочесть букварь, становились хозяевами жизни. И мне было пора, но я всё не решался, идеализировал, а потом уже и не мог.

Неужели опять? Ведь обещал себе. Убеждал, доказывал, клялся.

Надо уйти, бежать от старика, избавиться от его прошлого, которое так настойчиво, как агент сетевого маркетинга, лезет в моё настоящее. А он, избавленный от одиночества, всё говорит. Наверное, принимает моё смятение за сочувствие.

— Днём, Алёша, тяжесть собственного тела, а ночью — тяжесть мыслей. И почему-то одна мерзость в голову лезет. Не спишь, ворочаешься. И всё как на ладони: что сделал плохого и чего хорошего сделать не смог...

Замолкает. Выражение лица становится ещё более извиняющимся.

— Простите старика — разоткровенничался, — всё понимает. — Вам, наверное, пора?

— Да, пожалуй, пора.

Поднимаюсь. Валерий Абрамович встать не может. Придерживая за локти, помогаю подняться. Он пахнет как застоявшаяся в раковине вода. Начинает подташнивать. Хочется быстрее домой, сидеть за бутылкой вина, расслабляться.

Холодильник “Минск” в прихожей шумит и мешает прощаться. Впрочем, тем легче — избавляет от необходимости быть многословным.

— Спасибо, Валерий Абрамович, — топчусь в дверях. — Выйдет заметка — пришлю. Или зайду...

— Лучше зайдите, — он смущается, — почта что-то плохо работает.

— Хорошо, зайду, а вы, — подбираю слова, — не болейте, держитесь. Здоровья, долголетия вам.

— Упаси Бог, Алёша, — отмахивается, — нет сил жить. Быстрее бы. Понимаете?

Он сжимает мне руку. Вздрагиваю от неожиданности. Руки у него сухие, холодные, безжизненные. Взгляд, наоборот, цепкий, пристальный, испытывающий. В нём читается ясная мысль, которой он живёт последние месяцы. Он давно всё решил для себя. Потому и отверг предложение дочери переехать.

— Понимаю, зайду...

Мои слова звучат как обещание. Чего-то более весомого, нежели просто зайти.

Улица, раскатывающая духотой и зноем. Будто ползёшь в свежесваренном киселе. Ничего кроме горечи во рту, мыслях, ощущениях.

От чего живу так бессмысленно? От чего изо дня в день малодушничая? Вечером уверяю себя, что надо быть сильным. Утром просыпаюсь, молось, ем — держусь. Но одна лишь мелодия, взгляд, и сломано всё прежнее, решительное. Чужое это всё, не моё, не со мной, не отсюда. И оцепенение, парализующее, убийственное. Подари, Господь, утешение. Или хотя бы Суд Твой. Чтобы быстрее всё это закончилось.

А ведь ему, старику, ещё хуже. И надо помочь. Он только того и ждёт. Потому и не спит. Вернуться — исполнить безмолвную просьбу. Не потом — сейчас.

Открывая дверь, он суетится с цепочкой. Наконец, справляется.

— Вы что-то забыли, Алексей?

Смотрит настороженно, будто вот-вот решится на нечто действительно важное. Пытаюсь улыбнуться.

— С праздником, Валерий Абрамович, — протягиваю букет полевых цветов, — давайте, может, чаю попьём, я печенья купил...

Из глубины квартиры приглушённо доносится: “Этот День Победы порохом пропах, этот праздник со слезами на глазах...”

И, правда, сегодня день победы. Теперь уже и моей.

ВЛАДИМИР ОВЧИНЦЕВ



ВАЛЬС ИЗ ПРОШЛОЙ ТИШИНЫ

МОЛИТВА О РОДИНЕ

Я голос сердца подаю
По человеческому праву:
Верните Родину мою —
Русоголовую державу!

Пусть аналитики твердят:
Всё в прошлом, не расклинить ворот!
А мне то снится Ашхабад,
То Севастополь — русский город.

И маюсь я без Душанбе,
Без чаек Риги в бликах ранних.
Не знаю, как без них тебе,
А я — как сиротливый странник.

Раздрая горькие пиры
На землю сходят, как лавины,
А там глаза моей сестры
И песни рідной Украины.

ОВЧИНЦЕВ Владимир Петрович родился в 1945 году в Сталинграде. Работал на заводе "Баррикады", в обкоме ВЛКСМ, администрациях Волгограда и Волгоградской области. Пятнадцать лет является бессменным председателем правления Волгоградской организации Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии "Сталинград", премии "Сыны Отечества" и города-героя Волгограда. Автор многих стихотворных книг. Член СП России с 1993 года.

Я в путь безмолвный соберусь,
Не находя в Отчизне места,
Встречай полесьем, Беларусь,
От Могилёва и до Бреста!

Я ваш, Тбилиси и Баку,
И Ереван с волной Севана.
Вовек поверить не смогу,
Что вы отринули Ивана.

Он не отрётся от родства —
Оно в крови его струится...
Мудрей, боярыня-Москва,
Почувствуй вновь, что ты — столица.

Новопрестольным королям
Аль не круты золотые троны?
Признай за равных москалям
Твоих сограждан миллионы.

Нам влагу огненную пить
Судил Господь из общей чары.
Ещё суровой стала нить
Судьбы, прошедшей сквозь пожары...

В свой срок зависнув на краю,
И прохриплю, и прошепчу я:
— Верните Родину мою!
Она — жива! Я это чую...

РУССКИЙ ВАЛЬС

На заезженной пластинке
Вальс из прошлой тишины:
Привалило счастье Нинке —
Муж Иван пришёл с войны!

Дождалась! Живой! Со “Славой”...
Вон, как орден воссиял!
Правда, ноги под Варшавой
Ванька разом потерял.

Пролетели мимо пули,
Всё истыкав, всё изрыв,
Да фугас подкараулил —
Свой. Но, слава Богу, жив!

Руки ить не закорюки —
Проживём! Не зря ить зряч!..
...Прёт в стакан подле гадюки
Неразбавленный первач.

Нинка слёз уже не прячет,
Их, сердешных, не унять...
Жив! Чего дурёха плачет —
Даже мамке не понять.

Вон соседке Нюрке знаться
С этим змием не впервой,
У неё мужик остался
Спать под Прагой золотой.

Под чужим крылом заката —
Не под звонницей Кремля —
Убаюкала солдата
Чужедальняя земля.

Пухом пала к изголовью
Облетевшая листва...
Пригубляет чашу вдовью
Нюрка в полных двадцать два.

Вальс гуляет неторопко,
Незатейлив и упрям,
По крутым Маньчжурским сопкам
И по нашенским полям.

И по Нюрке, и по Нинке,
И по тем, кому должны...
Кто дожил до середины,
Кто ушёл в конце войны,

Кто дополз, как мог, добрался,
Кто, скрипя, доковылял.
Кто не смог, навек остался
Под позёмкой ковыля...

Шмякнет об пол самокрутку
Ванька, душу распая,
Крикнет зло, а может, в шутку,
Мол, станцуем, бабы, бля?

Ну, что так стоим, как чурки?!
Аль не всласть Победный час?
Закружились Нинки, Нюрки
Под старинный русский вальс!

Ах, кружи, кружи до стона,
До покуда и пока,
Как когда-то у перрона —
До прощального гудка.

Пусть плывёт в глазах беспечно
Вешний сад и лунный плёс.
Робость платьев подвенечных —
Целомудренной берёз.

Путь в реке восходит Млечный,
И по ней нам плыть и плыть —
Далёко, надёжно, вечно —
По-другому и не быть!..

Пусть с мелодией вернётся
День, не знающий войны,
Пусть хотя б на миг проснётся
Мир забытой тишины.

Скрипнет дверь с подковкой ржавой,
Глянь: четыре колоска!
Эти — Нюркины, что справа.
Эти — Нинки да Ванька!

Босоноги, конопаты,
Шмыгнуть носом мастаки.
Это вам не фунт с лопаты!
Подрастают мужики!

Что им феи? Что им замки?
Детский взгляд приворожён
К чуду, где танцуют мамки
Под трофейный патефон!

Им ещё дождаться надо
Век свой новый, день и час,
Чтоб понять, какая дата
Матерей пустила в пляс.

Полевой мешок заплечный,
Путь к далёким берегам...
Будет вальс им сниться вечно,
Закруживший юных мам.

А пока, беспечно-светел,
Смотрит юный шулыган
И не знает, что на свете
Есть дорога на Афган...

СЧАСТЬЕ

Заводской гудок хрипатый
В окна рвался напролом,
И вставал пятидесятый —
Скор и ловок на подъём.

Пятый год послевоенный,
Горевой — увы, не нэп...
И батяня шёл на смену,
Нёс в фуфайке соль и хлеб.

Да ещё пластушку сала,
Что тайком совала мать:
— Он кормилец! — и вздохала, —
Нас-то вон какая рать!

Мы-то дома! Чай, не сгинем
При тепле да при дворе...
Ах, как вкусно утром зимним
Есть картошку в кожуре!

Маргарин и чай на мяте
Под весёлый треск в печи...
Возвращался поздно батя,
Доставал свои харчи.

Хлеб на стол, пластушку сала...
Улыбался серым ртом:
— Вот, лисичка вам прислала
Да помазала хвостом.

Мы-то, дурни, веря в байку,
Брали штурмом бедный стол.
А отец снимал фуфайку
И курить к печурке шёл.

Ох, как счастье нас пытало!
Мы поймём — придёт наш срок! —
Отчего так мать вздыхала,
Поднеся к глазам платок...

ВАЛЕРИЙ ГАНИЧЕВ

ГОГОЛЬ БЕССМЕРТЕН

“Вставить два юмора”

В отделе пропаганды ЦК комсомола в качестве инструкторов у нас работали ребята из разных областей Советского Союза. До этого они работали обычно главными редакторами молодёжных газет. И, как водится, писали для разных начальников доклады по разным вопросам. Одним из инструкторов был и Саша Гаврилов, приехавший из Луганска. Там первым секретарём обкома партии работал колоритный мощный бородатый мужик Михаил Шевченко. Я запомнил его, когда мы с космонавтом Волыновым приняли участие в открытии музея молодёжной подпольной организации “Молодая гвардия” в Краснодаре. Но для Саши Гаврилова он был известен как автор знаменитой фразы: “Гаврилов, начинай писать доклад и обязательно **вставь два юмора**”. Какие факты надо было вставить, Шевченко не говорил. Пишущий доклады Саша сам догадывался и находил. Фраза **“вставить два юмора”** стала для нас не только юмористической, но и знаковой.

“В тайгу приезжай, а то совсем одичаш!”

Георгий Макеевич Марков, много лет бывший Председателем Союза писателей СССР, долго писал свой известный роман “Сибирь”. Один из его героев – дед Фишка, – вполне вероятно, был списан с реального человека, который наезжал к нему из тайги в Москву. Георгий Макеевич любил, хитро прищурившись, рассказывать, как приехавший дед спрашивал его: “А ты, Макеич, на речку-то ходишь?” – “Да, когда, дедушка? Под душ или, в лучшем случае, в ванну”. – “А ходишь, Макеич, в баньку?” – “Да что ты, дедушка, тут как напарят в ЦК, что никакого венчика и банщика не надо!” – “Ну, а на рыбалке-то бываешь?” – “Да нет, дедушка, тут самого на крючок ловят!” Дедушка вздыхал и говорил доверительно, обращаясь к писателю: “А ты вырывайся к нам, Макеич, в Сибирь, **в тайгу, а то совсем одичаш**”.

“Это же Слуцкий!”

(Исполнять указания ЦК было нелегко)

Когда я был назначен директором книжного издательства “Молодая гвардия”, то куча указаний из ЦК партии и Комитета по печати обрушилась на мою голову. В том числе и такое: больше одной книги одного автора в план года не ставить. Действительно, шустрые авторы обходили издательства и, пользуясь знакомством или связями, или даже родством, получали разрешение на

выпуск 3–4 книг в году. Это, как говорят поляки, “занадто, а что занадто, то не здраво”. Я “почистил” планы, снял излишества. Одним из таких излишеств было три поэтических книги поэта Бориса Слуцкого. Кое-кто из работников издательства предостерег: “Но это же Слуцкий!” Ну, и что, указание ЦК для нас важнее, а из трёх книг выберем лучшую. Но не тут-то было! Раздался звонок из Союза писателей. Звонил Юра Верченко: “Валерий, ты там не свирепствуй – это же Слуцкий!” – “Да я не свирепствую, а исполняю указание ЦК”. Юра немного поуговаривал, но понял, что против ЦК нет сил. Успокаиваюсь. Вдруг звонок из ЦК от замзавотделом культуры. Начал официально (хотя мы до этого дружили, да и были соседями по дому): “Валерий Николаевич, не с того начинаете. Это же поэзия, это же Слуцкий!” Я начинаю заводиться, хотя звонок довольно серьёзный: “Юрий Серафимович, выполняю указание ЦК партии”. В трубке была небольшая пауза: “Внимательно отнеситесь к автору”. Начинаю наглеть и говорю елеынным голосом: “Ну, а что указание ЦК, не выполнять?” Ещё пауза, и уже явно не для меня, а для того, кто сидит рядом: “Валерий Николаевич, будьте внимательны к творческой интеллигенции”. Приступ и атака закончились. И лишь через несколько лет, после 1991 года я прочитал в “Независимой газете”, что Борис Слуцкий – родной брат шефа израильской разведки. Ничего себе, но вполне возможно... Кто же посылал тогда ко мне свои сигналы? “Бнай брит”, КГБ, Союз писателей, ЦК партии? В общем, книгу Слуцкого мы выпустили (ничего книга!), но одну.

“Открывается дверь и входит...”

В 60-е годы у меня был холецистит, то есть воспалён был желчный пузырь, и доктор категорически посоветовал не есть солёного, жирного, острого.

В субботу мы поехали в дом отдыха “Берёзка”. Светлана наказала девочкам, Марине, Вите и Кате, следить за мной, чтобы не съел чего-нибудь лишнего. Утром мы пошли завтракать и – о радость! – нам приносят на закуску красную рыбу, что было, честно говоря, не часто. Я, зная, что мне вроде бы её нельзя, спрашиваю у девок: “Может, попробую?” Марина строго и решительно сказала: “Папа, ты же знаешь, что тебе это вредно”. Я обратился к Вите. Она, потупившись, сказала: “Дядя Валера, вам же нельзя”. С последней надеждой я обратится к шестилетней Кате, которая всегда была доброжелательна ко мне. Она, явно не желая меня обидеть, но исполняя наказ, убедительно сказала: “Дядя Валера, представьте себе, что вы накаливаете на вилку рыбу, подносите ко рту, и тут открывается дверь, и входит тётя Света!!” Да, это было убедительно, и каждый раз, что-нибудь нарушая или предполагая нарушить, мы говорим: **“Вдруг открывается дверь и входит...”**

Тираж больше, чем народ

Уникальное всё-таки это было издание – “Роман-газета”, и не только у нас в стране, но и во всём мире. Регулярное издание романа или повести имело разовый тираж до полутора-двух миллионов. А произведения большей частью были высокой художественности и истинной нравственности. Там были напечатаны М. Шолохов, Л. Леонов, В. Распутин, В. Астафьев, К. Симонюв, П. Проскурин, Р. Гамзатов, В. Белов, Ч. Айтматов, Ю. Бондарев, В. Пикуль и другие сегодняшние и вчерашние классики.

В разгар перестройки я нашёл выход против партийно-либеральной цензуры. Мы напечатали список авторов и их произведений по предложению читателей и из них определили план. Тираж вырос до четырёх миллионов. Небывалый эффект: художественное, не гламурное, нравственное произведение получало невиданный тираж. В связи с этим вспоминаю случай, который произошёл в 1989 году. Выпустили роман каракалпакского писателя Каипбергенова об исчезающем Аральском море. Он заходит ко мне со слезами, я встревоженно спрашиваю: “Что с тобой? Что случилось? Почему плачешь?” Он вытер слёзы и со смущением сказал: “Ты знаешь, **мой народ насчитывает едва ли миллион человек, а вы выпустили мой роман тиражом четыре миллиона!**”

Да, тиражи были фантастические! Достигнем ли мы снова когда-нибудь такого уважения к художественному слову?

“Все прогрессы реакционны, если рухнет человек...”

Судьба свела меня с поэтом Андреем Вознесенским в далёком 1964 году. Он принёс к нам в журнал “Молодая гвардия” свою поэму “Оза”. Главный редактор Анатолий Никонов почитал её и испытующе поглядел на меня: “Ну, что, ставим?” Я, не очень уверенный в своих литературных предпочтениях, нерешительно сказал: “Наверное”. — “Вот я уезжаю в отпуск — доведёшь дело до конца”. Мы с Сергеем Высоцким, ставшим ответственным секретарём журнала после ленинградской “Смены”, ещё раз прочитали “Озу”, взрывоопасных мыслей не нашли, а выражение из поэмы: **“Все прогрессы реакционны, если рухнет человек”** — нам очень понравилось. Ну, а некоторая разорванность поэмы, её конструктивистские схемы, рифмованные лесенки нас не испугали — поэт современный, да и его профессиональное образование (он архитектор), как нам казалось, сказывается на поэтическом строе автора. Позднее мы узнали, что Оза — это шифровка имени его жены Зои, ушедшей от своей семьи и двоих детей к Андрею. Он от неё тоже уходил, но вернулся, — магнетизм притяжения! Вот и для нас поэма имела свой магнетизм, да ещё и преклонение перед созданным прессой авторитетом поэта. Номер с “Озой” вышел. И вдруг вызывают меня на секретариат в ЦК комсомола. Сажусь перед длинным столом, где заседают “небожители”. Павлов (первый из них), нахмутив брови, говорит о поэме “Оза”, напечатанной в “Молодой гвардии”. “Поэма слабая, с модернистскими выкрутасами, проще говоря, выпендриванием. Объявляем выговор Валерию Ганичеву, Никонов был в отпуске”. Когда я попытался встать, чтобы высказать свою точку зрения, он рукой показал, чтобы я сидел, и сказал: “Всё. Можешь быть свободен”. С возмущением и с невысказанным гневом в душе я вышел. Как можно, не получив никаких замечаний, вдруг получить выговор?! Иду домой. Страстно говорю Светлане: “Всё, я ухожу с работы, возвращаемся в Николаев (откуда я приехал три года назад)”. Она, поддерживая меня, с сочувствием сказала: “Делай, как считаешь нужным”. Я утром написал заявление, пошёл к Криворученко (зав. общим отделом) и торжественно вручил ему заявление. Он взял заявление и сказал: “Смотри и слушай!” Достал бумагу и зачитал: “За публикацию слабой в художественном и идейном смысле поэмы “Оза” зам. главного редактора журнала “Молодая гвардия” В. Н. Ганичеву объявить выговор. Видишь?” “Да, вижу”, — с вызовом отвечаю я. “Больше не увидишь”, — и при мне на четыре части разорвал решение. “А заявление забери на память. Свободен”, — с улыбочкой сказал он. Не очень понимая, что произошло, я вышел. Лишь потом я понял, что Павлов “сыграл” на секретариате перед инструктором ЦК КПСС, обсуждение прошло, выговор вынесен, а бумажку разорвали. Ох, ещё многому пришлось мне в жизни поучиться у опытных руководителей!

Что касается Вознесенского, то я, испытывая неистребимое любопытство к его вычурным и необычным стихам, опубликовал в издательстве “Молодая гвардия” книгу “Ямочки в тазу” и получил очередной нагоняй от Евгения Тяжелникова, который передавал мне “мнение старших товарищей”. Из-за Андрея мне ещё раз пришлось получить “втык”. Как-то он зашёл ко мне и стал жаловаться на своё житьё-бытьё, мол, за границу не пускают. А мы в “Комсомолке” организовали лыжный поход на Северный полюс. Через три дня должен был вылететь самолёт, чтобы на полюсе встретить экспедицию и отметить это событие поднятием флага Советского Союза и спуском капсулы от газеты и её читателей на дно у полюса. Андрей запричитал: “Возьмите меня на борт, приеду, привезу хорошие стихи, клянусь!” Я подумал, что это будет неплохо, то есть, по сегодняшнему говоря, приличный пиар для нашей экспедиции.

Дал добро, разрешил вписать в список, в котором уже был Василий Песков.

Экспедиция закончилась, флаг подняли, батискаф опустили, вокруг Северного полюса прошли хороводом, самолёт прилетел. Андрей появился на второй день, принёс хорошие, вполне “советские” стихи, хотя не знаю, включал ли он их в следующие свои книги. А мне опять попало в ЦК партии: “Вы же знаете, что ему запрещён выезд? Зачем взяли?” Я уже научился демагогически отвечать на такого рода вопросы и сказал: “Но его задерживают только за границу, а Северный полюс-то наш, советский. Или не наш?” Опешивший инструктор не сразу ответил: “Да нет, наш, но вы его не пошли-те за границу”.

За границу мы его и не собирались посылать – это по линии ЦК он ездил во Францию и Италию, чтобы писать поэму о Ленине. Неисповедимы пути Господни!

Правда, когда меня “выперли” из “Комсомольской правды”, Андрей написал в “Литературке”, что вот, мол, мы с Ганичевым люди разных идеологических взглядов, но он, однако, меня напечатал. Ну, что тут рассуждать о взглядах? Вот строчки **“Все прогрессы реакционны, если рушится человек”** вполне противостоят безудержным восхвалителям либерального прогресса.

Палестина разрешает взлёт

1973 год. Бейрут. Я ошеломлён красотой, сиянием города. Если честно, то, побывав в Париже, Вашингтоне, Токио, Стокгольме, Дели, такой умиротворяющей красоты в облике города ещё не видел. Бейрут – банк Ближнего Востока, сюда стекаются деньги всех нефтяных держав этого района, да и СССР имеет тут свой зарубежный банк. Мы (Комитет молодежных организаций СССР) проводили тогда здесь пятидневный фестиваль молодёжи Советского Союза и Ливана. Красиво и благородно. Но вот сквозь эту красоту пробиваются горе и нужда. В христианском в общем-то городе видны горестные лица, чувствуется беда. Острее, конечно, это чувствовалось за городом, где были лагеря палестинских беженцев. Тысячи, сотни тысяч людей изгнаны с их родных мест, из сёл и городов, которые остались на территории Израиля. Вечером к нам в отель зашли двое молодых парней и предложили встретиться с делегацией палестинской молодёжи. Я полномочий на это не имел. Но главным было не в этом. Завтра – встреча в Бейрутском университете, послезавтра – в Советском культурном центре, спортивные соревнования, а затем мы улетаем в Ирак (там тоже был фестиваль). Некогда. Палестинцы настаивали. Потом один из них с лёгкой улыбкой сказал: **“Да из Бейрута ни один самолёт не взлетает без разрешения палестинцев”**. Намёк был вполне определённый, да и ребят я встречал в Москве на молодёжном форуме. Через день они зашли за мной в гостиницу, и мы проехали к одной из шикарных гостиниц города, в гостиничный ресторан. Швейцар, растопырив руки, бросился навстречу расхристанной ватаге молодых парней. Те в белых простых рубашечках с короткими рукавами негромко сказали: “Палестина”. Швейцар отступил. А ребята со мной сразу прошли к окошку, вытащили из-под рубашки короткий автомат и положили его на подоконник. Дамы – в дорогих манто, мужчины – в щегольских костюмах, но через пять минут их в зале уже не было. Я поговорил с представителями молодёжной организации, рассказал, что советская молодёжь продолжает стремиться на целину и на БАМ, проводит поход по местам боевой славы и многое другое, проявляет солидарность со всеми, кто борется с империализмом. Через час обед закончился. На следующий год в Берлине, на Всемирном фестивале молодёжи, во время митинга солидарности я рассказал Ясиру Арафату, лидеру Палестинского движения, о встрече в Бейруте. Он усмехнулся и сказал: “Ребята молодые, прихвастнуть любят...” Не знаю, не знаю, но на следующий день наш самолёт благополучно вылетел в Багдад.

80! Не юбилей, а круглая дата

Пожалуй, это был один из самых счастливейших дней моих жизни. 10 сентября 2013 года в Храме Христа Спасителя, в зале Церковных Соборов был проведён торжественный вечер русской православной культуры и литературы, посвящённый моему 80-летию юбилею. Выступил Патриарх Кирилл, сказал возвышенные слова о Союзе писателей, Всемирном Русском Народном Соборе, о Святом праведном адмирале Ушакове, о событиях, относящихся к юбиляру. Юбиляр был награждён орденом Святого преподобного Сергия Радонежского I степени и получил в качестве подарка икону Божией Матери “Знамение”. Ганичева поздравили три президента – России, Белоруссии и Украины. Сказка! Ан, нет, всё это не было юбилеем. В заключительной части своего выступления Святейший Патриарх сказал буквально следующее: **“Сердечно приветствую Вас в связи с Вашей замечательной круглой датой. Юбилей мы будем праздновать через 20 лет, а вот знаменатель-**

ная круглая дата выпадет на этот год”, – и попросил огласить Патриаршую грамоту.

Вот так: отнюдь не юбилей, а круглая дата (Сергей Котьяло объяснил, что в Церкви отмечают только два юбилея: в 50 и 100 лет).

Придётся жить до юбилея!

“Хинди-руси – бхай, бхай!”

В 1967 году я возглавил небольшую делегацию молодёжи, отправлявшуюся в Индию. Там мы оцепенели перед одним из чудес света – дворцом Тадж-Махал, подивились миллионной нищете Бомбея, встречались с молодёжью в университете, в конце поездки оказались в южном штате Керала. В этом штате большая часть населения – христиане и друзья нашей страны. нас пригласили на праздничное шествие левых партий. Трибуна, где мы стояли, была перед громадной площадью, которая заполнялась и заполнялась пляшущей и поющей толпой. Десять тысяч, тридцать, потом пятьдесят, сто, двести, триста, возможно, пятьсот. Демонстрация была украшена красными флагами, гигантскими бумажно-картонными драконами разной расцветки. Драконы, поддерживаемые длинными палками и канатами, извивались, в головах и вдоль их туловища горели фонари, вспыхивали петарды, из громкоговорителей неслись призывы местных вождей. И вот главный из них обратился ко мне и попросил сказать слово. О чём? Что близко этим миллионам людей? Перед отъездом в Индию мы в “Молодой гвардии” сделали на цветной пластмассе портрет Юрия Гагарина. Я попросил у Юрия Алексеевича разрешения подарить этот портрет в Индии. Он, конечно, согласие дал. И вот час пришёл. Я вышел и сказал всего несколько слов: “Дорогие друзья! Вам просил передать поклон и привет первый человек в мире, который побывал в космосе, – и показал пальцем вверх. – Это наш земляк, советский космонавт Юрий Гагарин. Он просил передать вам, вашему штату Керала этот портрет”. Я поднял над головой небольшой портретик Гагарина. Что тут началось! Все пятьсот тысяч вскричали: **“Хинди-руси – бхай, бхай!”** – **“Русские и индусы – братья!”** Этот лозунг нам всем был тогда понятен. Заходили из стороны в сторону красные флаги, заметались драконы и другие чудища, зажглись тысячи фонарей, из репродукторов раздались громоподобные “Подмосковные вечера”. Ко мне подходили десятки одетых в белые одежды и слегка прикрытых материей людей. Одни кланялись, другие обнимались, невиданной красоты индианки посылали ласковые улыбки и махали руками. Пожалуй – да что пожалуй! – я никогда и не имел такого успеха! Юра Гагарин, когда я рассказывал об этом, немного посмутился и сказал: “Такое внимание нам всем!” Да, тогда у нас у всех был великий символ, который был известен и понятен всему миру.

“А вы танками утюжили СССР...”

В чешском издательстве “Млада фронта” “восстанавливалось дыхание” после 1968 года. Одна из чешских женщин-редакторов, дочка пролетария, яростно поддерживала ввод советских войск, или, скажем, ввод войск стран Варшавского договора. Она со злостью говорила ехидным оппонентам: “Да вы вообще не умеете сопротивляться. Вам бы только пиво у “Калиха” пить (где у Швейка мы и были). Вы все Швейки. Судеты отдали немцам в 1938 году запросто”. Оппоненты слегка сопротивлялись: “Мы же в войне с Советским Союзом не участвовали”. Мария, так, кажется, её звали, возмутилась: **“А вы забыли, что все танки, вторгшиеся в Советский Союз, были чешские, и вы ими утюжили Россию”**. Честно говоря, я тогда не знал об этом, узнал позднее, что в Пльзене делались чехами для вермахта фактически все танки. Как-то быстро забылись услуги фашистам, оказанные в Чехословакии. А потом долго можно было разговаривать о демократии, раздавленной в Чехии советскими танками... А сколько немецко-чешских танков раздавили (в прямом смысле) русских людей в 1941–1944 годах?

Мария напоминала забывчивым. Кажется, не впрок. Стоны о демократии повторялись часто, о танках для фашистов никто не вспоминал.

“Капитал” в джунглях

1979 год. Летим в Лаос налаживать связи с молодёжной организацией после многолетней борьбы лаосцев с французами и американцами. Какие-то проблески молодёжной организации появились. С секретарём этой организации ходим по почти игрушечной столице Луанг Прабангу. Миниатюрные буддистские храмы, пагоды для меня в новинку. Секретарь предлагает слетать на север: “Захватчики его так и не взяли во время войны!” Летим на маленьком допотопном самолётике типа нашего легендарного У-2. Он с некоторой отдышкой трещит, виляет среди высоких, заросших лесами гор. Сзади верещит прихваченный лётчиками поросёнок, чувствует своё будущее.

Ещё один нырок в ущелье, и, хоть не высший пилотаж, садимся на маленьком аэродроме, вполне попадая на полосу. Хм, а как же сюда доставляли советские ракеты, которые и не дали возможность разбомбить и захватить Север? Нас встретили двое военных в камуфляжных костюмах, по-видимому, местные генералы, которые сразу повели нас на боевые пункты, расположенные в пещерах и гротах. Вот оттуда-то недостижимые для американцев и выезжали, почти выскакивали на “газиках” и на дрезинах ракеты (ясно, что советские), поражали самолёты. Бомбы же и ракеты американских самолётов попадали в горы, не поражая противника. Вокруг пещеры было сбито немало американских самолётов, катапультирующихся лётчиков захватывали в плен и помещали в огороженный бамбуком лагерь, не очень охраняя. Из лагеря, как сказали лаосцы, никто ни разу не убежал: кругом джунгли, ядовитые змеи, болота. Лучше было оставаться под присмотром незлобивых в быту лаосцев. Генералы с гордостью повели в пещеру правительства – тут сидел “сам Суфанувонг”.

В Лаосе мудрый король разделил свих сыновей по политическим силам, действующим в стране. Принц Бун Ума с генералом Фуми Носаваном были проамериканцами, поддерживали с ними связи, нередко жили в Штатах, второй сын Суванна Фума был центрист, косился на Поднебесную, посещал Москву и Пекин. Суфанувонг был человеком левых взглядов, во Франции познакомился с коммунистами, держал связь с Москвой.

Генералы завели нас в пещеру, посредине стоял стол, над которым свисала электрическая лампочка без абажура, на нём лежала толстая книга. **Мы подошли к столу, на 17-й странице был открыт “Капитал” К. Маркса на французском. Почему-то эта толстая книга всегда вызывала глубокое, почти религиозное чувство у всех революционеров.** Хотя какой “Капитал” можно изучать в Лаосе, да ещё и на пустынном севере?

Генералы вывели нас на улицу, подвели к круглому столу, где стояла большая, наполненная жидкостью фляга. Они с гордостью сказали: “Сделана из алюминия сбитого американского самолёта”, – и предложили выпить из алюминиевых “самолётных” кружек.

Мы ещё раньше обнаружили, что генералы сносно говорят по-русски, заменяя “р” на “л”. “Товалищи! Пледлагаем выпить за наших длузей, – хитро улыбнулись они, – Иванова, Петлова и Сидолова, которые помогали нам наводить ракеты”. Конспирацию боевые ребята соблюдали. Мы согласились и почти опорожнили кружки.

И, Боже мой, что с нами было! Дыхание остановилось, жар запылал внутри, спазмы жгали дыхание. Мы лихорадочно смотрели на стол, искали необходимую в таких случаях закуску, но её не было! Генералы, поняв наши страдания, показали на куст и провели рукой вдоль веточки. Пук зелёных листьев оказался у них во рту. Лихорадочно сделали это и мы. Чуть отлегло, затухло, но на предложение повторить мы замотали головами. Генералы улыбнулись, наполнили кружки: “Советские товалищи нас всему холошо научили! Лакеты наводить и шум-шум пить!” Так мы узнали, что напиток (или местный самогон) имел такое понятное и незамысловатое название. Побыли ещё немного на базе, посмотрели на эти сказочные горы, поняли, что защита Лаосу обеспечена, и полетели обратно в Луанг Прабанг. Поросёнок, судя по всему, нашёл пристанище и не верещал. Когда прилетели в столицу, у аэродрома большая толпа в оранжевых одеждах пританцовывала, бил в барабаны, дудела в какие-то дудки. Свадьба? Да, нет, человек умер, ушёл в лучший мир, все радуются за него, сопровождают в последнюю дорогу.

Да, Восток есть Восток, и никто его не поймёт.

Ганичев – болгарская фамилия

В Киевском университете нам преподавала курс “Истории южных и западных славян” доцент Наталья Сергеевна Чиколини. Красавица, судя по фамилии, итальянка, жена секретаря ЦК КПУ Червоненко. К преподавательским обязанностям она относилась со, скажем так, доброй беззаботностью. Семинаров не вела, скучных коллоквиумов не устраивала, а читала два раза в неделю спецкурс. И вот на тебе – уже экзамен! Смотрим друг у друга конспекты, нашли на весь курс один учебник из Москвы. Начинаем сдавать. Я захожу с опаской, смотрю билет из двух вопросов, готовлю конспектик. Она тоже смотрит в ведомость и громко вызывает: “Ганчев”. Выхожу и начинаю громко отвечать про чешское королевство Средневековья. Она слушает и говорит: “Ганчев, вы хорошо говорите по-русски”. А в это время, в 52-м году, у нас в университете появилась первая группа иностранцев. Это были болгарские студенты – мы с ними возились на всех уровнях. Я начинаю подозревать, что Наталья Сергеевна принимает меня за болгарина (вспоминаю, что Ганичев, почти что Ганчев, – часто встречающаяся в Болгарии фамилия), но молчу. “Ну, хорошо, – говорит она, – этот вопрос вы изучили, давайте второй”. Я читаю: “История второго болгарского царства”. Людмила Сергеевна перебивает, всплескивает руками: “Ну, этот-то вопрос вы, наверняка, знаете”. Я выжидательно смотрю на неё. “Давайте зачётку”. Расписывается – “отлично”! Я ошеломлённо выхожу. Вроде бы и не обманул, да и вопрос второй, пожалуй, знал. С тех пор я всех поправлял: **“Ганичев, не путайте с Ганчевым.** Русский я знаю, историю второго болгарского царства тоже”.

“Какой же ты ещё молодой!..”

Человек необычайной внутренней красоты и расположенности к людям, Серафим Карпович Царукьян был нашим другом и замминистра по строительству оборонных объектов. Под стать ему и его жена – красавица Аида. Серафим Карпович с гордостью говорил мне: “Знаешь, когда она шла по городу (а они были из наших армян из Ростова), то под её каблуками снег таял”. Как старший, он нередко поучал меня: **“Валера, какой же ты ещё молодой!”** (а мне-то уже 60!) – “Почему?” Я в то время препирался со Светланой, что мне надеть на улицу. “Почему же?” – **“Ты до сих пор спиришь со своей женой”.**

“Мы русские, с нами Бог!”

В 1982 году после “изгнания” из “Комсомолки” я пригласил группу писателей поехать к землякам в город Николаев, в Причерноморье.

Был с нами Иван Стаднюк, Ирина Ракша, Александр Проханов, Юра Медведев, Алик Лиханов, Гена Серебряков, Валя Свининников. Выступили здорово, при полных залах, интересно во всех аудиториях. В последний день поехали на базу торпедных катеров в город Очаков. Выступили при полной и чёткой дисциплине. Однако затем развернулась “великая баталия”, как сказал Саша Проханов. Все переехали на довольно пустынную Кинбурнскую косу, бывшую тогда закрытой зоной и заповедником. На косе, имевшей славную историю (тут в 1787 году Суворов дал бой турецким янычарам из Очакова), сохранились стены церкви, где молился Александр Васильевич перед сражениями. Мы пришвартовались к самому кончику косы, где стоял бюст Суворова. Торпедники застелили громадный брезент, привезли бидоны с прекрасным вином и водочкой, набросали на брезент всяких вкусностей. А дальше пошли стихи и песни. Особенно запомнилось, что каждый, кто выходил к расположенному рядом с нами бюсту Суворова, должен был рассказать историю и прочитать патриотические стихи. Когда поиссякли, Саша Проханов подошёл к бюсту, чокнулся с Суворовым (рюмка, правда, развалилась) и произнёс известные всем слова Суворова: **“Мы русские, с нами Бог!”** К печали нашей бюст Суворова был украден и, возможно, переплавлен в наше время. Потом, правда, с помощью местного депутата установили какую-то плиту с надписью “О. В. Суворов”, что возмутило жителей.

А тогда замполит тихо спросил у меня: “А что, в Москве уже Бога признают?” Я подумал и ответил: “А как же! Вот Брежнев Данилов монастырь отдал Церкви”. Замполит, кажется, был удовлетворён ответом.

“Русский, немец и поляк танцевали краковяк...”

1939 год. Мы живём в Сибири на станции Марьяновка. Где-то в Европе началась Вторая мировая война. Польша раздавлена за несколько дней Германией. Наши войска в сентябре освободили Западную Украину и Западную Белоруссию. Колька Плотников, немножко хулиган и матершинник, поёт лихую частушку:

*Русский, немец и поляк
Танцевали краковяк.
Русский вытащил бутылку —
Хлоп поляку по затылку,
Немец вытащил наган —
Хлоп поляку по зубам.*

Мы, мальчишки, особенно ничего не понимали в незатейливых стихах. А там была заложена большая трагедия Польши. Правда, первым вытащил наган немец в августе 1939 года, когда началась Вторая мировая война. А уж 17 сентября, когда Польша была повержена, “русский вытащил бутылку”. Нынешние бандеровцы никак не хотят признавать, что Западная Украина была присоединена и воссоединена с остальной Украиной Советским Союзом, то бишь Россией. А частушечку кто сочинил?

“За мной гонятся шпионы...”

Известный писатель-детективщик Юлиан Семёнов (достаточно вспомнить “17 мгновений весны”!) дружил с издательством “Молодая гвардия” (мы его не раз издавали). И куда бы я ни приезжал, он находился там. В Польшу — там Юлиан Семёнов, в Прагу — там Юлиан Семёнов водит нас по всем швейковским пивным местам. Прагу знает досконально. Особенно он поразил меня в Бонне (1980 год!), где зашёл ко мне в гостиницу (я был там по приглашению журналистов) и сказал, что ему надо поговорить со мной наедине. Надо, так надо. Поехали. Он за рулём. Едем на север города. Вдруг он резко разворачивается и выезжает в какой-то тёмный переулок, затем туннель, опять переулок. Я беспокойства не обнаруживаю. Он же совершает невиданные виражи, разворачивается на юг города. Начинаю понимать, что он крепко выпил. Всё равно не беспокоюсь. Авторитет Юлиана непоколебим. Он же совершает какие-то невиданные развороты, уходит в какие-то туннели, вихрем выезжает на отшлифованные автобаны, съезжает с них, видит, что я не беспокоюсь, склоняется ко мне (я сижу рядом) и шепчет: **“За мной гонятся шпионы”**. Я всё равно из себя не выхожу, а он нагнетает: “Установлена слежка, я от неё ухожу”. И снова — то в туннель, то на эстакаду. Ветер свищет. Начинаю догадываться: Юлиан прочерчивает очередную сцену погони для очередного детектива. Наконец, полностью запутав меня, подъезжает к двухэтажному особняку, бросает у входа машину. Мы заходим в дом. “Вот это моя вилла, я с твоего разрешения могу лечь спать? Устал. Вот холодильник, вот проигрыватель, вот “Бони-М”, слушай, ешь, когда надоест, спи”. Да, с тех пор я выучил “Чингисхана” и весь репертуар “Бони-М”. Через пару часов и я заснул.

Утром Юлиан, как ни в чём не бывало, спросил меня: “А ты разведку за нами не заметил?” Отвечаю, что нет. Он соглашается, тоже не заметил. “А зачем так гонял?” — “Так своего героя “проигрывал”. — “Ну, и что?” — “Ты знаешь, по-моему, он запутал противника”. Посмеялись. Выпили пивка. Но когда ехали в гостиницу, я всё время оглядывался.

Из гурзуфской “бочки” на всю жизнь

В 1965 году мне дали очень дешёвую путёвку в молодёжный туристический лагерь “Спутник” в Гурзуфе. Нас, так называемых отдыхающих в “Бочке” (это такой жестяной ангар), наверное, человек 10–15, все молодые, сильные, здоровые, всё время были на море. Днём в “Бочке” нестерпимо жарко, она накаляется. Возвращаемся к вечеру. Утром пытаемся поспать подольше, пока не разогреется. Рано утром ворвалось на свободную койку, как сейчас го-

ворят, “лицо кавказской национальности” и громко заявило на всю комнату: “Ребята, что пьём? Давайте купим бочоночек местного вина и будем распивать”. Я ещё из-под одеяла буркнул: “Ты чего здесь с утра порядку устанавливаешь?” Он обернулся: “А ты что, монах?” (Мы по молодости называли друг друга на “ты”.) Я высунулся из-под одеяла и довольно невежливо сказал, увидев гостя: “Знаешь, друг, ты свои законы устанавливай на рынке”. Он вдруг стал такой беззащитный, по-мальчишески обиженный и спросил: “На каком рынке? На каком рынке? Я в Тикси секретарь райкома, а вообще-то полярник-метеоролог из Ленинграда”. Стало стыдно. Я протянул руку: “Валерий!” – “Артур!” – “Так ты в Тикси Дедом Морозом работаешь?” – “Нет, ви-ночерпием”. Бочонок вина был, конечно, тут же куплен. Так это рукопожатие протянулось почти на 50 лет! **Один из самых героических парней России, Герой Советского Союза и Герой России, человек, опустившийся на дно у Северного полюса, покоровший Северную и Южную макушку земли,** стал с той поры одним из самых близких и дорогих в нашей семье людей. Артур Чилингаров. У нас дома есть даже диван Чилингарова, на котором он часто спал, ворвавшись ночью из Тикси, Якутска, Нарьян-Мара, Новой Земли, а то и с Северного или Южного полюса. Горжусь дружбой с этим чутким человеком, безусловным героем нашего времени.

“Берегите пар!”

Баня в советский период играла роль общественного клуба. Скажу о трёх из них. В 70-е годы два раза в месяц мы с Володей Токманём исчезали из “Молодой гвардии” с 2 до 3 часов на обед, а на самом деле – в легендарные “Сандуны” (Сандуновские бани в центре Москвы). Попасть туда, да ещё в первый номер было почти нереально, но один из наших знаменитых авторов был Николай Трофимович Сизов, генеральный директор “Мосфильма”, сценарист и писатель, а в прошлом зампред Моссовета и главный комиссар милиции города, то бишь её начальник. Так что сюжетов о московских приключениях или преступлениях у него было достаточно. У нас его книги выходили регулярно, и поэтому мы пользовались его приглашениями. Тот клуб был, я бы сказал, философско-литературным. Приходил нередко Леонид Леонов, Анатолий Иванов, Владимир Фирсов, завкафедрой русской литературы и языка из областного пединститута, а также ректор этого института, талантливый физик-акустик, лауреат Госпремии да ещё и великолепный поэт Василий Ноздрёв. Конечно, была баня, бассейн, веники, но потом “пивная” беседа. Заводилой тут был Леонид Леонов, который выражал недовольство многими вещами.

Интересовали нас и воспоминания Сизова (во время войны он был секретарём Московского обкома комсомола), как он ездил опознавать тело Зои Космодемьянской, бывшей в комсомольской диверсионной группе. Рассказывал он, как вызывал его Михайлов, первый секретарь ЦК комсомола, и передал слова Сталина: “Ищите и находите молодых героев-комсомольцев”. Их и находили. В общем, разговор был неторопливый, размеренный. На то они и “Сандуны”.

В 80-х годах я ходил в баню на 16-м этаже гостиницы “Орлёнок”. Меня, как бывшего комсомольца, туда пускали. А там, я сказал бы, был экономическо-академический клуб. Хозяин положения был Гавриил Попов, декан экономического факультета МГУ. Он задирался, но к наглости и хамству, как позднее, будучи мэром, он ещё не призывал. Приходил Марчук, который ещё не был президентом РАН. Он укорял Попова и его соратников в объявлении множества российских деревень “неперспективными”, то есть подлежащими угасанию и уничтожению, о чём объявила академик Заславская.

Ну, и третий, демократический клуб был у нас в Рочдельских банях. Рочдельская улица, почти закоулок, названная так в честь бастовавших в 20-е годы английских горняков, тогда ещё сохраняла своё название и находилась напротив гостиницы “Украина”. В баньку приходили заранее, ибо уже к 2-м часам она была забита. Появлялись соседи с Университетского проспекта Володя Токмань, Серёжа Высоцкий, Володя Червяков и Саша Калужный. Приходим, занимаем отсек, достаём капусточку, грибочки, бутерброды с “докторской”, разливаем, но только одну, из которой пятьдесят грамм, ну, может, сто, отливаем банщику. Тот собирает для страждущих поздно вече-

ром, когда всё закрыто. Банщик знакомый однажды увидел, что мы хохочем над плакатом: **“Граждане! Берегите пар!”**, и пообещал отдать его нам. Как это было бы забавно видеть на двери кабинета издательства! В это самое время Володя Червяков, поступающий на работу в журнал “За рубежом”, решил поупражняться в английском с Калюжным. Банщик был бдителен, с подозрением посмотрел на них и сказал: “Плакат не отдам!” Червяков пообещал денег. Старик ещё больше заупрямился: “Вы что, хотите его в американское посольство продать?” Хохочем. Будем беречь пар у себя дома.

Педагогика войны

Мой сосед, генерал Эдуард Болеславович Нордман, на пятый день после начала войны ушёл в Пинские леса в Белоруссии и партизанил до освобождения. Был назначен секретарём Пинского обкома комсомола и подрывником. Рассказывал о подрыве фашистского поезда, об атаке гарнизона под Гомелем, об умелом обмане полицаев, которых взял в плен. Да мало ли чего вспомнилось этому партизану, ставшему после войны генерал-майором! Но особенно меня поразило, как в сорок третьем году, после жестоких морозов и голода, жертв и некоторого затишья, в гуще лесов они создали школу.

– Почему и для чего? – спросил я.

– Ребятишек надо же было учить.

– Чему?

– Ну, во-первых, русскому языку, во-вторых, истории. Надо же им было знать об Александре Невском, о Дмитрии Донском, о Кутузове и Суворове, о Пушкине (заучивали стихи).

– Кто же преподавал?

– Да все мы, кто десять классов закончил или техникум. Был один учитель, конечно, арифметике учил, чтобы считать умели. Никто не отлынивал, наоборот, обижались, если из землянок не позвали.

Невероятно это. Кругом война. Жертвы. А ребят учат русскому языку и истории. Это была высшая забота наших людей и общества о будущем.

Да и у нас в сибирском тылу была военная педагогика. В 1-м классе в апреле 1942 года заходит в класс учительница и радостно говорит: “Ребята, мы сегодня победили!” – “Ура! Ура!” – “Да, нет, ребята, в этот день 700 лет назад Александр Невский разбил немецких псов-рыцарей на льду Чудского озера”. Всеяло радость, что 700 лет назад мы немцев тоже били. А учительница во всю доску написала: “Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет. Александр Невский”.

Эту фразу с первого класса я запомнил на всю жизнь.

Гагаринская улыбка

Наверное, Господь послал нам совершенную человеческую натуру, когда Советский Союз запустил первого человека в космос, это был Юрий Алексеевич Гагарин. Скажу только, что он улыбчивый и весёлый человек, чего стоит известная на весь мир гагаринская улыбка! Не буду касаться многих его черт, расскажу только о нескольких весёлых и важных моментах, свидетелем которых я являлся.

Согласовал на самом верху

Конечно, это было необычайное и важное событие. В 1965 году комсомол развернул важное, скрепляющее поколения движение – Поход молодёжи по местам революционной, боевой и трудовой славы нашего народа. Касалось это, в основном, памятных событий Великой Отечественной войны. Но мы в журнале “Молодая гвардия”, обращая главное внимание на историческую составляющую, напечатали обращение к молодым патриархов отечественной культуры: великого скульптора Конёнкова, известного своим скульптурным изображением Александра Невского, замечательного народного художника Павла Корина и мудрейшего писателя Леонида Леонидова – под названием “Берегите святыни наши”. О сбережении нашей отечественной истории в памяти и произведениях архитектуры и искусства. Что касается архитектуры, то это,

в первую очередь, были величественные храмы и церкви, памятники нашей истории.

Юрий Алексеевич Гагарин, с которым дружили я и главный редактор журнала, всем этим интересовался. И вот **25 декабря 1965 года** проходил пленум ЦК ВЛКСМ, посвящённый этой проблеме. Юрий ещё раз прочитал обращение в журнале, расспросил про начинающееся зарождавшееся Общество охраны памятников и выступил на пленуме. В выступлении он сказал о памяти бойцов Великой Отечественной войны, о памятниках им, которые необходимо построить или восстановить. И тут он, неожиданно для многих, но не для нас, высказал выдающееся предложение о необходимости **восстановить Храм Христа Спасителя**, разрушенный в 1933 году. “Этот храм, – обратился к истории Гагарин, – был построен в честь героев Первой Отечественной войны 1812 года. И это тоже наша память и забота”. Молодёжная аудитория восприняла его призыв с пониманием и энтузиазмом. Позднее на телевидении меня спросили: “Неужели он так и сказал?” Да, он так и сказал, и то был первый призыв с официальной, даже государственной трибуны восстановить величественный Храм в центре Москвы.

Нельзя сказать, что руководящий президиум сильно обеспокоился. Патриотическая оттепель начиналась. Правда, ко мне подошёл инструктор ЦК КПСС и с сомнением спросил: “А вы думаете, что Гагарин это согласовал?” Я не растерялся и с уверенностью показал вверх: **“На самом верху!” Благоразумно умолчал о том, что имею в виду космос, а не кабинеты ЦК.**

“Этот полетит на Луну”

В 1967 году мы, делегация молодых писателей, летели в станицу Вёшенская на Дон к самому Шолохову. Вместе с нами – Юрий Гагарин. Сразу стало ясно, что встреча удастся. Естественно, стюардессы суетились вокруг Гагарина, принесли рюмочку, закуску. А мы с Юрием Верченко, как ответственные за всю поездку, семинар, встречу, сидели через проход на том же первом ряду. И вдруг через пять минут напротив нас встал столик с коньяком и бутербродами с чёрной икрой. Ну, не отказываться же? Угощение повторилось. Я обратился к Гагарину: “Не ваши ли проделки?” Он замотал головой, но девушки-стюардессы проговорились. Гагарин сказал им: **“Я-то что, а вот тот высокий блондин первым полетит на Луну!”** Девушки поверили. Я подошёл с рюмкой и передал привет от лунатиков. Хохотали вместе...

“Гагарин – это тот, кто пьёт кефир”

Потом летом мы все вместе отдыхали в небольшом домике возле Аю-Дага. Юра опоздал немного. Он, как всегда, заходил позвать руку поварам, официантам, сторожам и сел рядом с моей женой Светланой. Она, конечно, засмушалась, а он стал говорить, что он в начале заграничных поездок тоже смущался. Английская королева, когда Юрий остолбенел у стола от огромного количества приборов, с доброй улыбкой сказала: “Я ведь тоже не знаю, что для чего предназначается. Главное, чтобы была вилка и ложка”. И он по-хозяйски распорядился, передав вилку и ложку Светлане и нашей шестилетней дочке Марине. Жена осмелела и рассказала, как Марина в три годика вопрошала: “Кто такой Гагарин?” В детском садике читала расхожий тогда стишок:

*Летит-летит ракета
Вокруг земного света,
А в ней сидит Гагарин —
Простой советский парень.*

Её тогда племянник спросил: “А ты хоть знаешь, кто такой Гагарин?” Она сказала: “Да, нам няня сказала, **что он всегда пил кефир**”. Гагарин хохотал: “Меня всяко называли, а то, что я **кефироед**, слышу впервые!”

Главное – встать!

Замечательную поэтессу Ларису Васильеву я знаю немало лет. Я был издателем первой её блистательной книги стихов “Льняная луна”. Много она

сделала для увековечивания памяти своего отца Н. А. Кучеренко, одного из создателей танка Т-34, написав об этом книги, и, что не менее важно, создав музей танка Т-34 в Подмосковье. Её энергия и страсть неисчерпаемы, ни с чем несравнимы и потому вырастают с её участием нужные людям проекты и книги, которые удивляют и восхищают. Она всегда молода, но вот и юбилей подоспел. Когда я пришёл на этот её юбилей, Лариса была ещё в гримёрной и вскоре вышла во всей своей красоте. Я с букетом белых роз встал перед ней на колени. Лариса всплеснула руками и воскликнула: **“Валера, ты ещё так можешь?”** Я с сомнением сказал: “Тут главное – встать!” Да, действительно, в жизни **самое главное – встать!**

Русская книга в центре

В ту первую поездку в США я побывал в 1969 году в магазине “русской книги”, созданной эмигрантом Камкиным. Глаза разбегались от таких книг, которых у нас, конечно, в то время нельзя было увидеть: И. Ильин, Солоневич, митрополит Антоний (Храповицкий), В. Родзянко и др. Оголенного антисоветизма вроде бы не было, даже наших книг было немало. Ко мне обратился хозяин: “Вы из России?” – “Да, я из Советского Союза. Издатель”. – “Какое издательство?” – “Молодая гвардия”. – “О, это известное издательство. Ваша серия “ЖЗЛ” отменная. Но почему у вас нет биографий Суворова, Пушкина, Аксакова, Александра Невского, Дмитрия Донского, Ушакова, Достоевского и других русских гениев и подвижников?”

Да, это было нашим слабым местом в то время. Я задумался и пригласил из Ленинграда кандидата наук Сергея Семанова, с которым мы сменили вектор серии. Фактически серия “Пламенные революционеры” стала выходить в “Политиздате”, в том числе её авторами стали и не замеченные в революционных симпатиях В. Аксёнов, Б. Окуджава. А. Гладилин. Но вот сигнал, хотя он и не был единственным, я тогда воспринял.

Хозяин пригласил меня выпить чашечку кофе. Потом стал рассказывать, что русские у него последнее время часто бывают. “Вот недавно у меня был один ваш престарелый генерал. Он тоже посмотрел книги, покритиковал нас за отсутствие военных мемуаров. Я сказал: “Пишите и издавайте. Купим”. – “А вы где воевали в революцию?” – “Я на востоке сражался, под Волочаевкой. Знаете такую нашу песню “Штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни?” А я ему говорю: “Вы помните, как по вам слева стреляли?” Он спрашивает: “А вы откуда знаете?” – “Да я вот слева и был, только по ту сторону, где белые”. Мы с тем генералом долго говорили и настоящей русской водки выпили много, поскорбели, что по разные стороны были”.

Да, у В. П. Камкина в книжном магазине “Русской книги” я бывал ещё несколько раз. Спасибо ему за пропаганду нашей культуры.

Урок империализма

Будучи директором “Молодой гвардии”, в первый раз я попал в США в 1969 году – на международный семинар молодёжи “Будущее атлантизма”. Сделал доклад о неизбежной катастрофе последнего. Меня, кстати, поддержали левые французы, радикалы из Испании, не согласились, конечно, американцы из Джорджтаунского университета, где проходил семинар. История, правда, распорядилась по-своему. На семинаре, кстати, было немало видных лиц: Эдвард Кеннеди, Уильям Аверелл Гарриман, посол в СССР в годы войны, Джеймс Фулбрайт, сенатор, председатель комиссии по иностранным делам Конгресса США, то ли примчавшийся, то ли удравший из Европы вождь левых радикалов и р-р-революционеров Руди Дучке. Запомнился и один из сенаторов США У. Проксмайер, который в ответ на восклицания чешки-эмигрантки о том, что США не помогли Чехословакии, когда туда вошли советские танки в 1968 году, спокойно объяснил, что есть “зоны влияния”, которые или за СССР, или за США, и которые не пересекают их границы. Он подошёл демонстративно ко мне, взял под руку и дружелюбно сказал: “Как нам надоела эта мелюзга – бельгийцы, голландцы, датчане, как и вам эти румыны, чехи, болгары”. Я, конечно, руку выдернул, пытался возразить: “Нет, нам не надоели”. Он захохотал: “Да ладно, мы вас тоже втравим в какой-нибудь Вьетнам (там шла война)”. Этот разговор я вспомнил, когда началась война в Афгани-

стане, да и многие изменившие тогда “союзнички” (как и мы им) действительно оказались мелюзгой. **В общем, урок дружелюбного империализма я в США получил.**

Коммерческая тайна

Тогда же я появился в посольстве СССР в Вашингтоне. Послом был видный, уважаемый в Америке, да и во всём мире советский дипломат Дубинин. Оказалось, что он ещё и видный книголюб, расспрашивал про все литературные события, о споре “Нового мира” и “Октября”, интересовался “Молодой гвардией”. С удовольствием принял книги нашего издательства и предложил встретиться с моими коллегами – издателями США. Я, конечно, с радостью согласился, хотя и побаивался их ехидных вопросов.

На встрече в каком-то ресторане сидела не очень большая группа джентльменов, удобно развалившихся в креслах, внимательно разглядывавших меня, медленно попыхивая сигарами. В общем, “акулы капитализма”. После паузы – первый вопрос.

– Мистер Ганичев, какое количество наименований изданий вы издаёте?

– 500–600 изданий в год.

– О!

– А какой общий тираж книг вашего издательства?

– 50–60 миллионов в год.

– О-о!

И тут последовал тот ехидный вопрос, которого я боялся:

– А какая у вас зарплата?

Понял, что горю, теряю только что завоёванный авторитет, но вспомнил их формулу и скромно сказал:

– **Это коммерческая тайна...**

– О-о-о!

Контакт установился: “Свой парень, крупнейший издатель, умеет хранить тайну”. Дальше пошли разговоры под “виски”.

Чёрный расизм

В Высшей комсомольской школе на разных факультетах учились тысячи студентов из более чем 50 стран мира. Светлана, моя жена, преподавала там педагогику для тех, кто хотел быть воспитателем, учителем, детским работником. Часто она приводила к нам домой своих студентов из Африки, Азии, Латинской Америки.

Мама моя, Анфиса Сергеевна, побаивалась их, руки ходила мыть после рукопожатий. Светлана смеялась, говорила: “Они же добрые, сердечные и милые”, – даже пригласила маму на вечер дружбы. Зал был переполнен. Вначале пели и танцевали студенты из ГДР, Венгрии, Польши, Италии, Франции, потом другие. Рядом с мамой посадили двух прелестных маленьких девочек. На факультете было много смешанных браков студентов из Африки и Советского Союза. Так вот, эти чёрненькие, весёлые дети были результатом эдакого брака. Обе чёрненькие девочки были в центре внимания зала. К ним подходили, вручали конфетки, обращались по-русски: “Машенька! Настенька!” Те хлопали в ладошки. Но вот, когда на сцену вышел оркестр из Гвинеи, Машенька на весь зал вскричала: “**Цольненькие. Не люблю цольненьких!**” Анфиса Сергеевна испугалась и обратилась к ней: “Что ты, Машенька, они же хорошие!” Маша с сомнением покачала головкой – себя-то она считала русской красавицей! И собственный цвет кожи её не смущал.

“Жиганём!”

Великий скульптор Сергей Конёнков, за чьи руки Рокфеллер давал золото, после войны возвратился в Советский Союз и неустанно работал, вытёсывая свои скульптуры из дерева. В 70-х годах, когда ему было 94 года, он решил сделать царский подарок комсомолу и подарить бюст Николая Островского, а также мраморную скульптуру Ленина, которую изваял.

На церемонию в его дом на углу тогдашней улице Горького, нынешней Тверской, он пригласил первого секретаря ЦК Комсомола Сергея Павлова

и других комсомольцев. Я тоже там был, тем более что скульптуру решили передать издательству “Молодая гвардия”. Конёнков встретил нас с радостью, да и мы уже начинали готовить книгу о нём. Он сказал: “Потрогай мускулы, каждый день работаю”, – и закатал рукав. Мускулы у девяносточетырёхлетнего ваятеля были железные. Поговорили. Мы знали, что скульптор не прочь выпить хорошего вина, а Толя Светликов, управляющий делами ЦК, приобрёл бочонок прекрасного кахетинского вина. Не теряя времени, разлили вино. Конёнков провозгласил: “Ну, жиганём!” Жиганули ещё раз. Жена забеспокоилась: “Сергей, может быть, хватит?” Он махнул рукой: “Я ещё хочу спросить их: зачем Гагарину разрешили летать? Он же национальное достояние! Он же наш, Смоленский!” И, подумав, добавил: “Да разве его удержишь? – Затем он обернулся ко мне: – Гагарин же **небожитель, не-бо-житель!** Он, конечно, туда же, на небеса должен был уйти. **Давайте помянем, жиганём!**” И жена не возражала.

Триумфальное возвращение

В 1968 году произошло великое событие: вытащили из хлама и отреставрировали знаменитую Триумфальную арку в Москве.

Она была воздвигнута в 1814 году как деревянные триумфальные ворота в честь победы над Наполеоном и возвращения победителей. Потом по проекту знаменитого Бове в 1834 году уже как каменное сооружение встала в районе нынешнего Белорусского вокзала, украшая Москву и напоминая о великой победе. То и другое мешало шустрым градостроителям, и её убрали: “Мешает проезду, перенесём”. Это был отработанный приём: всё, что напоминает о победе России, русского духа, или взрывалось, или сносилось, или, в лучшем случае, складировалось. Триумфальные ворота, арку убрали на время, а получилось – навсегда. Приём этот не нов, он отработан у такого рода “зодчих”.

К счастью, её основные части сохранились в музее Щусева. И вот после замораживающей антицерковной, антирусской “оттепели” Хрущёва где-то шевельнулась память и совесть, обозначился патриотизм и пошёл слух: Триумфальную арку восстанавливают! Это же победа русского духа.

В выступлении Гагарина на съезде комсомола в 1965 году, о котором мы уже упоминали, он сказал: “В Москве была снята и не восстановлена Триумфальная арка 1812 года, был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранные по всей стране в честь победы над Наполеоном. Неужели название этого памятника затмило его патриотическую сущность? Я бы мог продолжить перечень жертв варварского отношения к памятникам прошлого. Примеров таких, к сожалению, много”.

Говорят, Н. С. Хрущев на это отреагировал так: “Гагарин есть Гагарин. Поэтому первое, что мы сделаем, – это обязательно восстановим Триумфальную арку”.

Но где? Сказали, что в конце Кутузовского проспекта. И вот в 1968 году она встала там посреди проспекта. Встала в день Октябрьской революции. Чудно! Здорово! Но подойти к ней нельзя – с двух сторон мчатся автомобили. Мы решили запутать бдительных милиционеров и подъехали к ней на машинах, которые отпустили. Подошли к Триумфальным воротам, в нашем просторечии – к арке. Впереди – Владимир Солоухин. Он перекрестился. С ним все остальные. Владимира Алексеевич торжественно сказал: “Вот и начинается восстанавливаться слава России, – помолчал и продолжил: – Володя, доставай!” Поэт Владимир Фирсов, как всегда, был наготове, достал поллитру, солёные огурчики. “Боже, царя храни!” Но слова знал лишь Солоухин. Предложили и спели “Солдатушки, браво ребятушки”. Когда приготовились выпить по второй, подъехала милицмейская патрульная машина. Вышел немало роста строгий капитан, отдал честь и сказал: “Граждане, вы, конечно, знаете, что ни заходить сюда, ни выпивать в общественном месте нельзя”. “Мил человек, – протянул известный всем писатель Михаил Алексеев, прошедший с боями от границы до Сталинграда, а потом до центра Европы, – ты знаешь, что вчера случилось великое событие: восстановили Триумфальные ворота в честь победы над французами в 1812 году. А мы, русские писатели, – Владимир Солоухин, Михаил Алексеев, Гарольд Регистан, Анатолий Никонов, Валерий Ганичев, Владимир Фирсов – это событие торжественно отмечаем.

Или нельзя?” Капитан снова отдал честь: “Поздравляю. И ведь хорошо поставили, рядом с Поклонной горой, где Наполеон так и не дождался ключей от Москвы. И вот дождались победной арки”. “Да, да, — ответил Алексеев, — вот Бранденбургские ворота в Берлине до сих пор стоят!” Капитан ещё раз отдал честь и закончил: “А бутылочку и стаканчики, товарищи писатели, вы с собой унесите — тут должно быть чисто. Жаль, что не могу с вами отметить — на работе”. И, садясь в патрульную машину, добавил: “Переходите осторожно, ведь движение сильное”. Все отметили: “Образованный милиционер”. Володя Фирсов, знакомый со всеми милицескими службами, серьёзно добавил: “А как же, тут каждый день Брежнев ездит”. Почему-то все согласились, что на пути генсека должны быть образованные милиционеры.

Расул: “Дагестан силой присоединили к России, а теперь только силой могут его отделить от России”

С кучей шуток, комком веселья, сопровождаемый улыбками буквально врывался в издательство Расул Гамзатов. Шутки, наигранное удивление от выпущенной книги (а таких у нас выходило немало) исходили от него. У него были неплохие переводчики: Яша Козловский, Наум Гребнёв. Но когда он решил создать и создал книгу “Мой Дагестан” — своеобразную эпопею народной жизни, быта, обычаев, — Юра Мелентьев посоветовал Расулу, чтобы его “Дагестан” перевёл лучший знаток народного русского языка, известный всей стране Владимир Солоухин. Владимир взялся за это дело со всей тщательностью, был в аулах, беседовал со стариками, слушал дагестанские предания. Честно говоря, я несколько раз бывал в Дагестане, но заметить те особенности, понять сказания, о которых рассказал Расул и истолковал Солоухин, удалось лишь после прочтения “Моего Дагестана”, который мы издали.

Расул усиленно приглашал на своё шестидесятилетие. Я согласился, но самолёт запоздал, и я прибыл к середине торжественного вечера. А на сцене была целая пирамида на фоне вершины Казбека, у подножия которой танцевал ансамбль “Лезгинка”. Выше, под нарисованными облаками сидели аксакалы литературы Мустай Карим из Башкирии, Кайсын Кулиев из Кабардино-Балкарии, а на самой вершине импровизированного Казбека сидел Расул. Там ему было удобно. В перерыве он сокрушался, что я опоздал: “Тебе первому в застолье дадим слово”. Застолье началось, ведущий заявил: “А сейчас мы дадим слово большому другу Дагестана, замечательному человеку, любимому всеми нами”. Он нагнулся к Расулу и довольно громко спросил: “Кто он? Имя-то какое?” С фамилией справилась, я сказал о радости от книг, песен, стихов Расула (всё больше становились известными его “Журавли”, в которых Юра Мелентьев попросил заменить слово “джигиты” на слово “солдаты”). Ну, ещё много хороших всяких слов, но Расул встал и сказал: “Если такой самый большой друг, на, выпей рог коньяка”. Я был ещё молод, трезв и храбр и опрокинул этот почти бездонный рог. Через полчаса я ушёл спать в гостиницу, через два часа вышел купаться в Каспийское море, возвратился в зал, а там вечер был в разгаре. Выступали председатели всех 33-х (!) национальностей, живущих в Дагестане. Крепка была дружба народов. Наутро Расул отправил меня в Гуниб, где был такой чистый воздух, что секретарь обкома партии сказал: “Тут мы сделаем республиканский вытрезвитель”. Посмеялся он потом, когда в горном ауле показали двери уборной, то бишь, туалета. Когда распахнул двери, то чуть не упал в пропасть. “А мы выгребных ям не строим — всё идёт в природу”, — хохотал он.

На прощанье Расул сказал одно из самых его памятных изречений и для сегодняшнего дня: **“Знаешь, Дагестан силой присоединили к России, а теперь его только силой можно отделить от России”**. Пытаются, но у Дагестана в сердце Расул Гамзатов.

Юрий Никулин лечил смехом

На одной из встреч известный клоун и артист Юрий Никулин, узнав, что я еду в Америку, попросил привезти оттуда два анекдота. Я засмеялся, зная, что он коллекционирует их, но поставил условие: “Приступай к написанию книги. Не жизнь, а история страны. Село. Фронт. Артист цирка. Встречи. Анекдоты, в конце концов”. Юрий Владимирович покачал головой: “Да я толь-

ко анекдоты и знаю”. – “Прекрасно. Разделим книгу на две части. 2/3 листа – жизнь, а 1/3 – под голубой полоской, анекдоты. Идёт?” Он неуверенно согласился – идёт. Через три месяца я звоню: “Как дела с книгой?” – “Да ты знаешь, сверху на 2/3 ничего не написано, а снизу почти заполнилось”. Через полгода звоню. “Да, вот снизу всё заполнилось, а сверху ещё нет”. Знаю, что шутит, но, в конце концов, закончил. Я горжусь этой книгой, написанной одним из талантливых, радостных людей страны, замечательным артистом и человеком. Он был неистощимо добрым и весёлым, пригласил после этого в цирк всю мою семью, там показывал знаменитый номер с бревном, который они таскали с клоуном М. Шуйдиным. Зал корчился от смеха, а Юрий Владимирович подбавлял жару: “Ну, что ты так слаб, к нам сам Валерий Николаевич приехал”. Зал, конечно, не знал, кто такой Валерий Николаевич, а моя дорогая мама Анфиса Сергеевна, приняв всерьёз, обращалась ко мне: “Попроси их не мучиться, если они тебя боятся”. А они не мучились – **они лечили смехом.**

Англичане дают свою хронологию. А Россия – за подлинную свободу

1988 год. Заканчиваю вторую часть исторического повествования “Росс непобедимый” и “Ушакова” для “ЖЗЛ”. Путеводителем по концу XVIII века были книги академика Е. Тарле и доктора исторических наук А. Станиславской. Но нужные источники и документы о взятии эскадрой Ф. Ушакова Ионических островов, о дарованной этим островам первой Конституции находятся в Греции. Андрей Вознесенский говорит, что у Союза писателей есть деньги на заграничные “творческие” командировки: ему, например, давали для написания поэмы о Ленине “Лонжюмо” съездить в Париж. Да, заграничная командировка стоила недёшево, но в Союзе писателей раскошелились и командировочные выписали. Ура!

На острове Корфу (Керкира) предьявляю отношение от МГУ с просьбой помочь найти архивные документы о десанте и экспедиции адмирала Ушакова в 1798–1801 годах. Главный архивист пожимает плечами: таких нету. Я прошу поискать папки за эти годы. Он уходит и приносит папки **“Русско-турецкая оккупация 1798–1801 годов”**. Я искренне возмущён: “Как же так? Он освободил вас, дал вам Конституцию, восстановил в правах греческий язык (до этого был итальянский), православную епархию, а вы – оккупация!” Грек смутился и сказал: “Да, остров **50 лет, с 1820 года был английским протекторатом, так они и оставили нам эту хронологию**”. **Молодцы англичане! Они – это свобода и демократия, а Россия и другие – это оккупация.** “Англичанка” так всегда и во всём (кстати, греки после сменили названия папок и дали им названия, связанные с республикой Ионических островов и адмиралом Ушаковым). Листаю те папки, ничего нет, и вдруг – приказ Ушакова, его подпись, русский текст. Испускаю победный клич, не принятый, конечно, в архивах: “Ура! Ура! Ура!” Подбегает грек и участливо спрашивает: “Нашли?” Да, нашёл и второй, и пятый, и пятнадцатый документ. Это замечательно! Это укрепляет книгу ссылками на указы, рескрипты великого адмирала. Да, Корфу, Греция оправдала надежды. А когда приехали в Союз, то бухгалтер ухмыльнулась: “Вы первая делегация, которая сдаёт часть денег”. Да Бог с ними, **мы привезли другое богатство.**

Великий ас Кожедуб: “Я угадывал тенденцию к повороту”

Мы выпускали подростковую “Книгу будущих командиров” Митяева. Тираж – один миллион (!) экземпляров. Разместили весь тираж. Ещё миллион. Постоянно приходил и консультировал нас трижды Герой Советского Союза, легендарный лётчик Иван Кожедуб.

Как-то я спросил Ивана Никитича: “Почему изо всех авторов в издательстве у нас больше всего авиаторов и космонавтов?” Он подумал и сказал: **“Лётчик за минуту больше других осваивает и изучает информации”**. И тут стал ясен ответ на мой второй вопрос: “Иван Никитич, почему вы сбивали вражеские самолёты, а вас нет?” Он с убеждённостью сказал: **“Я угадывал у врага тенденцию к повороту”**. Вот так, не движение, не движение, а его замысел. Наверное, это была интуиция профессионала – **тенденция к повороту!** Великое чувство!

“Это было так мило...”

Жена известного французского писателя Ромэна Роллана, широко издававшегося в Советском Союзе в 30-е и послевоенные годы, русская дама, приехавшая к нему из Союза как переписчица и машинистка его писем и трудов, так и осталась с ним до конца. Она подготовила к изданию у нас книгу его трудов в 70-е годы. Мы проверили вместе с ней вёрстку, подписали в печать, и я пошёл проводить мадам до лифта и первого этажа. Лифт застрял на 3-м этаже. Я кричал, чтобы нас вызволили, но механики возились почти час. Как я изощрялся! Вспоминал различные анекдоты, забавные истории, шутки. Наконец, нас освободили. Я долго извинялся. Она милостиво простила и через месяц прислала письмо из Франции о том, как ей понравилось в издательстве, особенно в лифте: **“Это было так мило: Вы мне рассказали так много интересного”**.

Что главное в газете?

Когда меня утверждали главным редактором “Комсомолки”, то собеседование со мной проводил секретарь ЦК партии Зимянин М. В., человек в стране известный и бывалый, да к тому же много видевший и мудрый. Ведь он был из той преданной и честной группы белорусских партизан, которые в боях, болотах и лесах это подтвердили, а потом были на разных ответственных участках работы в стране. Михаил Васильевич побывал везде: поработал в областях, послом во Вьетнаме и Чехословакии, даже главным редактором в самой “Правде”, что для нас, работающих в комсомольских изданиях, было недостижимой вершиной, почти Эверестом. Он поспрашивал меня о работе в издательстве, где я уже был десять лет, почувствовал, что издательское дело я знаю, выслушав мои энтузиастические ответы. И потом, посмотрев на меня умудрёнными и немного печальными глазами, спросил, не требуя ответа: “А что самое главное в газете?” Я подумал: “Ну, художественный уровень, ну, идейность, ну, чёткость, соответствие задачам общества, эрудированность журналистов, в общем, подбор кадров, да и...”

Михаил Васильевич, по-видимому, вспоминая что-то своё, а может, и прозревая моё будущее, ответил сам себе: **“В газете главное – знать, кто за кем стоит”**.

Нельзя сказать, что я это понял тогда, но позднее уяснил. Хотя в той же “Молодой гвардии” немного бесшабашно, наступательно вели русскую тему, печатали книги о ещё не известных широкому читателю фактах истории, раскрыли на том уровне вопрос о масонстве, критиковали ревизионизм, сионизм, католицизм. Не скажу, что в этих публикациях было всё верно, блистало эрудицией, но заместитель заведующего отделом пропаганды Владимир Севрук, тихо прокладывающий путь перестройке, крушению Советского Союза, внимательно вглядываясь в нас, вслух размышлял: **“Знать бы, кто за вами стоит?”** Но за нами никого, кроме России, не стояло. А “русской партии”, которой пугают современные либералы, не было, да, пожалуй, и сейчас нет.

Недифференцированное и дифференцированное сознание

Николай Куцев, строптивый, упрямый и умный секретарь Иркутского обкома комсомола, предложил мне со Светланой после встречи молодых писателей в Сибири поехать на север от Иркутска, к острову Ольхон. Мы с энтузиазмом молодости согласились. Ехали по дороге вдоль Байкала на истрёпанном “Москвиче”. Потом эта дорога вспоминалась и как дорога в ад, и как путь в рай. Ад – это, конечно, те рытвины и ухабы на дороге, это поломки и починки истрёпанного “Москвича”. А рай начинался тогда, когда мы въезжали в неопишуемой фиолетовой красоте распадки меж предгорий и поднимались к вершинам сопок с лёгким розовым облачком на вершине. “Да ведь это Рерих!” – восклицали мы, не раз посещавшие его квартиру-музей на Ленинском проспекте. Куцев нас просвещал: “Да, фиолетовый и розовый цвет у Рериха – это цвет гор, который он принёс в свои картины с далёких Гималаев”.

Но дальше было ещё более невообразимое. Подъехали к стоянке то ли колхозной, то ли фермерской, хотя тогда этого понятия в нашем хозяйстве не существовало, хозяйка сдержанной и величественной восточной красоты Ма-

рия Таганоевна показала нам уютный и красивый дом, сарай, баню. Она оказалась не только рачительной хозяйкой, но и замечательной собеседницей.

Во-первых, она показала 15 газет и журналов, которые выписывала: “Новый мир”, “Знамя”, “Наш современник”, “Молодая гвардия” – все литературные, и рядом – “Техника – молодёжи”, “Юный техник”, “Знание – сила” – это для знаний, ну, и для общественной жизни и политики – “Правда”, “Огонёк”, “Известия”, “Комсомольская правда” и “Красная звезда”. “А она-то вам зачем?” – спрашиваю я. “Надо знать, как там армия себя чувствует”. Выписывала ряд сельскохозяйственных журналов, в том числе и нашу молодогвардейскую “Сельскую молодёжь”. “Неплохой журнал, читаю, но часто пишу городские, поэтому врут, не знают село”. В доме стоял не так часто встречающийся в то время в сельской хате приёмник. Она слушала Москву, Ленинград, Иркутск, Улан-Удэ. Спрашиваю Марию Таганоевну, как она тут живёт вдаль от людей. “Да я же не одна живу, а со всем миром. Во-первых, со мной дети живут и жить будут. Муж-то умер. Двое в вузе. Один ветеринарный заканчивает. Летом со мной. Дочка английский язык в инязе изучает”. Так и хотелось спросить: зачем? Почувствовав вопрос, отвечает: “Она собирается сюда приехать. Трое школьники. В соседнее село ездят в школу. Все со мной, матери помогают, читаем вместе, приёмник слушаем, о жизни говорим, ну, а главное, работаем”. Мы с недоверием слушаем, а она с интересом расспрашивает о Москве, об издательстве “Молодая гвардия”, о писателях. “А что пишет Шолохов? А что Симонов? Люблю Михаила Алексея, он и солдат, и земледелец, пишет просто и понятно о нас, селянах. А его “Карюха” – это памятник корове”. Говорит о политике, предсказывает трудности, “зазнаваться стали – скоро в войну втянутся”.

Мы с подозрением смотрим на Куцева: что за театр он нам устроил? А Мария Таганоевна пригласила нас на дойку, где она и три её дочери за полчаса подоили всех своих пятнадцать породистых и упитанных коров. “Они ведь рядом на альпийских лугах пасутся. Тут и эдельвейсы”, – сказала она не для красного словца, угостила нас свежайшим творогом и сметаной. Сметану привезли в баночке в Москву. Она было нежного кремового цвета. Честно говоря, я никогда больше в жизни не ел сметану из эдельвейсов. Об этих цветах я только в сказках слышал и видел в Швейцарии. Потом с её сыном за час наловили два ведра рыбы в Байкале. Не браконьерство? “Да нет, у нас небольшая лицензия есть”. Уха была первостатейная. Ну, а затем Мария Таганоевна устроила нам настоящий экзамен. “Что в театрах? Что в Большом?” Знала многих певцов, любила и имела пластинки Барсовой. Любила слушать, как читают Ильинский и Царёв. Уф! “Да кто это был с нами на северном берегу Байкала?”

Бурятская женщина, скотовод, мать или вдумчивый учёный-интеллигент, засланный в этот мир, чтобы показать неистощимость человеческой природы, нам всем на урок... Природы ведь разные бывают.

Вот, например, склеивший мои одиннадцать осколков после автомобильного наезда кудесник-травматолог Виктор Калнберз из Риги рассказывал. Когда он был в качестве военного хирурга в Афганистане, то оперировал всех – и наших бойцов, и моджахедов. У последних после ранений раны заживали быстрее, чем у наших, на две-три недели. Почему? Он дал интересный психологический ответ: **“Недифференцированное сознание”**. Этим понятием мы часто награждали грубых, не очень развитых во всех смыслах людей.

Тут же, на Байкале **мы ощутили сверхдифференцированное и верно направленное на человеческую суть сознание**. Уезжали в возвышенном состоянии и вопросами к себе и к обществу.

“По самой сути, жизнь проста: его уста – её уста”

Наша либеральная, только себя и своих собратьев любящая критика пытается вытаскивать из русской литературы и её истории и не замечать корневых народных писателей и поэтов. “Знаете, это чересчур просто или даже простовато”. А народное сознание помнит их, держит в себе, сохраняет. Вот несколько лет назад самое большое количество встреч, вечеров, конференций, выставок, я уже не говорю о многочисленных посиделках, песенном сумерничанье у костра, было связано с Николаем Рубцовым. Да, этот год был юбилейным для Николая, который уже давно ушёл из жизни, но было и все-

народное почитание, несмотря на то, что телевизор светил другими именами.

Помню, когда писал диссертацию о прессе 30-х годов, то обнаружил цифру изданных в тот год книг. Кто, вы думаете, был на первом месте по изданным книгам? Александр Безыменский! На втором – Иосиф Уткин, на третьем – Николай Асеев. Где они нынче? Ну, да Бог с ними, каждый имеет право на строчку в литературоведении. Вот в 60–70-х годах мы были в восторге от стихов поэта Василия Фёдорова, размашистого, талантливоего. Его вечера собирали массовые аудитории. Но кто его мог пустить на телевидение или в Политехнический? Тут места сберегались обычно для тех, кто позднее уезжал за границу или называл Россию “эта страна”. Для Василия Фёдорова Россия была не “эта” и не “та” – это была его Родина, его страна, о которой он писал, его люди, которых он любил. Да, он был полемист, борец за Россию. Он призывал вялых агитпроповцев и культурначальников к бою с оппонентом:

*Все испытав,
Мы знаем сами,
Что в дни психических атак
Сердца, не занятые нами,
Не мешкая, займёт их враг,
Займёт, сводя всё те же счёты,
Займёт, засядет,
Нас разя...
Сердца!
Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя.*

Или, вступая в дискуссию с безапелляционными ниспровергателями реалистического искусства, объявляющими себя передовым “левым”, модернистским направлением, он почти выбил чеканные строчки:

*Мы спорили
О смысле красоты,
И он сказал с наивностью младенца:
– Я за искусство левое. А ты?
– За левое...
Но не левее сердца.*

Вся страна, соединяя боевые и трудовые дела, знала его, по сути, священные слова:

*Из одного металла льют
Медаль за бой, медаль за труд.*

И слегка усмехаясь, по-житейски мудро он философствовал:

*По самой сути жизнь проста:
Его уста – её уста...*

Большой, душевный, улыбчивый был наш друг поэт Василий Фёдоров. Мы успели в “Молодой гвардии” выпустить его поэтическое собрание сочинений, которое имеет своего читателя.

“Хорошо бы сегодня кто-нибудь у кого-нибудь украл “Тихий Дон””

В 1988 году в Бостоне мы побывали в именин Кеннеди. Нам там помахала с балкона ручкой мать Джона Кеннеди. Хотя ей уже было сто лет, она захотела поприветствовать “советских парней”. С нами был Фицджеральд Кеннеди, который представлял второй фланг клана Кеннеди (Фицджеральдов). Он гостеприимно показал нам усадьбу, а потом организовал встречу в знаменитом Бостонском университете. Народу было много, вопросов было много, но вспоминаю один. Дама, из эмигрантов, задала, возможно, провокационный вопрос, а может, и из любопытства или односторонней информации: “Господа! А правда ли, что Михаил Шолохов украл “Тихий Дон”?” Ну, что тут было отвечать: начинать рассказывать историю создания романа? Обидеться

на глупость? Я ухмыльнулся и сказал: **“Знаете, мы давно ждём, чтобы кто-нибудь у кого-нибудь из писателей что-нибудь украл, и тогда бы появился гениальный “Тихий Дон”. Что-то никто не ворует. А у вас? Тогда и издадим”**. Аудитория рассмеялась, даже поаплодировали. Американцы тоже любят прямолинейный юмор.

Тут был один дурак...

На Дальний Восток, в Хабаровск и Благовещенск, я попал 20 сентября 1969 года в благодатную погоду. Было сухо, тепло, солнечно. Я попросился, как всегда, на пограничную заставу. Привёз библиотечку, выступил перед пограничниками. По дороге машина поломалась. Остановились в одной избушке в Амурской области. Хозяин обрадовался гостям, накрыл стол. А на столе-то помидорчики и огурчики. Хвастался: “Тут всё растёт!” Мы слегка посомневались, а он тащит небольшие арбузы, а затем, чтобы развеять наш скепсис, кладёт в вазу гроздь винограда, не “изабеллу”, конечно, но вполне приличного. И чтобы “пришибить” гостей, несёт со своего огорода дыньку. Восхищаемся и уезжаем с ящиком яблок, винограда и дынькой. На другой день пришли к первому секретарю крайкома партии Алексею Павловичу Шитикову. Ну, он известный правитель на Дальнем Востоке, влиятельное лицо в государстве, вскоре его забрали в Москву, избрали председателем Совета Союза Верховного Совета СССР.

Наших восторгов по поводу погоды и солнца не разделил: “Вот был в 1963 году один дурак (он сказал покрепче) в такой же день и повелительно сказал: **“Тут у Вас Сочи, и никакой больше северной и восточной надбавки область не получит. Срезаем!”** Улетел и оставил нас в расстроенных чувствах, да почти что в горести... На другой день у нас снег повалил, а надбавки северные сняли. Знать страну-то надо не по редким заездам. **Знать надо страну”**.”

Машеров: “Ссылайтесь на меня, когда надо отстаивать интересы Советского Союза”

В 70-е годы мировое зло хотело под разными видами и предложениями втиснуться в Советский Союз. Там и своих бед хватало: догматизм, чиновничье неумение, оголтелый атеизм, неумная эксплуатация молодёжного энтузиазма, равнодушие к человеческим судьбам. Да мало ли чего ещё надо было сделать на государственной и общественной ниве! Один из тех державников-патриотов, с кем мне пришлось встречаться, был молодой, умный, энергичный, сердечный руководитель Пётр Машеров, первый секретарь ЦК партии Белоруссии.

В Белоруссии я бывал не раз и не раз восхищался той беспримерной гордостью, которая была у каждого белоруса от той нашей общей победы и места Белоруссии в ней. Там умели ценить своих героев, но и склоняли головы перед жертвами: в Белоруссии был единственный памятник сожжённой и уничтоженной деревне. В России и на Украине таких деревень тысячи, но чванливое пренебрежение к 19 миллионным жертвам среди мирного населения не даёт до сих пор воздвигнуть там достойные памятники жертвам.

А тогда, в конце 70-х годов, мы были на Всесоюзном собрании по вопросам идеологии. Многие не восприняли доклад Петра Машерова, где он предостерегал от проблем алчности, потребительских настроений, поклонения лживым нравственным ценностям, от неумения разглядеть простых людей, тружеников, подлинных героев. Многим это показалось отвлечёнными рассуждениями. А Машеров видел опасность и предупреждал. К сожалению, его таинственный уход из жизни (автомобильная катастрофа) не позволил здоровым силам в обществе обратить на всё это внимание.

Один случай. У нас выходил целый ряд книжек о борьбе с буржуазной идеологией. Одна из этих книг В. Бегуна “Вторжение без оружия”, вышедшая в издательстве “Молодая гвардия”, встревожила будущих активных перестройщиков, могильщиков Советского Союза, и они никак не хотели выхода второго издания, ибо первое “размели” за несколько суток. Меня вызвали в ЦК, предупредили: не выпускать. Но тут раздался звонок: “Машеров говорит. Что там с книгой Бегуна?” — “Да, вот, задерживают в ЦК”. — **“Почему?”**

Как нам такие книги нужны. Ускорьте". — "Я могу сослаться на разговор с вами?" (Машеров уже входил в Политбюро.) **"Конечно, можете, и всегда ссылайтесь, когда надо отстаивать интересы Советского Союза"**. На следующий день я был в ЦК у завотделом Севрука. "Я о Бегуне". — "Я же сказал Вам, что выпускать не будем". Я пригасил улыбку и вроде бы проинформировал: "А вот вчера Машеров сказал: "Ускорьте!" — "Машеров звонил?" Севрук побелел — фигура звонившего была авторитетна — и выдал из себя: "Нет, я говорю — поработаем, улучшим, издадим". Через десять дней после "улучшения" почти не исправленный текст книги "Вторжение без оружия" был второй раз издан.

Если бы Машеров оставался в Белоруссии до 1991 года, Беловежского сговора не произошло бы.

Наши опять победили

В Севастополе ежегодно 9 мая проходит реконструкция штурма Сапун-горы: советские бойцы, моряки наступают на немцев, гремит бой, выстрелы, взрывы и в конце — красный флаг на вершине горы. Мы с профессором Казариным в числе зрителей наблюдали за воспроизведением того легендарного штурма. Стоящая рядом бабушка в конце перекрестилась и сказала: **"Слава Богу, наши опять победили"**. Мы расцеловали её, думая: пусть эти слова звучат для нас всегда.

В этом месяце мы отмечаем 90-летие Виктора Петровича Астафьева, с которым у “Нашего современника” сложились многолетние и крайне непростые взаимоотношения.

Мы жёстко спорили, не давая друг другу спуску, особенно в последние годы жизни Виктора Петровича, когда он стал “своим” (якобы своим!) в либеральном лагере и безжалостно “сжигал всё, чему поклонялся”. Но при этом мы всегда помнили Астафьева — автора “Последнего поклона”, “Пастуха и пастушки”, “Царь-рыбы”, автора замечательных рассказов, нашего некогда близкого друга и соратника.

И сейчас мы возвращаемся памятью именно к тому времени, когда писатель был нашим близким другом и стоял с нами плечом к плечу.

Мы публикуем письма В. П. Астафьева к его многолетнему редактору в издательстве “Современник” Нине Ивановне Суворовой — светлая ей память! А также воспоминания Владимира Скифа о приездах писателя на Байкал и о его встречах с Глебом Пакуловым. Но не забыть и “позднего Астафьева”. О нём, о его кричащих противоречиях, о вышедшей за все мыслимые пределы остревелости вы прочтёте в интереснейших воспоминаниях Виктора Линника.

“КНИГА ПОЧТИ СВОБОДНА ОТ СОЧИНТЕЛЬСТВА...”

ПИСЬМА В. П. АСТАФЬЕВА К НИНЕ ИВАНОВНЕ СУВОРОВОЙ — РЕДАКТОРУ ИЗДАТЕЛЬСТВА “СОВРЕМЕННИК”

1.

Дорогая Нина!

Работа над “Поклоном” близка к завершению¹ — осталось дописать две новых главы и одну большую, старую. Затем всю рукопись пронумеровать, вычитать и можно везти к тебе на стол.

Сейчас я в деревне, вплотную тружусь, правки в старых главах очень много, но к праздникам я планирую всё свернуть и где-то числа 10-го ноября дёрнуть в Москву.

Там у меня есть и другие текущие дела, и хорошо бы сдать тебе рукопись, засадить тебя читать, а самому, устроившись в Переделкино, кое-что переделать и потом заняться редактурой “Последнего поклона”.

Я и пишу тебе заранее оттого, чтобы знать, как мои планы совпадают с твоими? Ведь если хлопотать место в Переделкино (дабы не мыкаться по Москве), надо уже сейчас делать заявку, а то товарищи классики и евреи всё там займут.

Ты черкни мне, пожалуйста, домой, ладно? Напоминаю адрес: 160004, Вологда, Ленинградская, 26, кв. 12, а если скоро соберёшься — сюда: 162209, Вологодская обл., Харовский р-н, п/о Никольское, деревня Сибла.

Передавай привет Славе Марченко², Вале Сорокину³, Прокушеву⁴, Володе Вагину⁵ и всем, всем. Скажи Володе, пусть он подберёт хорошего художника для “Поклона” по своему вкусу, а вкус у него — будь здоров!..

Будь здорова!

Кланяюсь — В. Астафьев

17 октября 1977 г<ода>.

¹ “Последний поклон”, в 2-х книгах. В 1986 году В. П. Астафьев переехал в Красноярск, а в 1989-м “Последний поклон” вышел в издательстве “Молодая гвардия” уже в трёх книгах; позднее были написаны ещё две главы.

² Вячеслав Иванович Марченко (1930–1996) – писатель.

³ Валентин Васильевич Сорокин (родился в 1936 году) – маринист, поэт, член редсовета “Нашего современника”.

⁴ Прокушев Юрий Львович (1920–2004) – критик, литературовед, популяризатор наследия Сергея Есенина, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

⁵ Вагин Владимир Васильевич (родился в 1937 году) – художник, книжный график.

2.

Дорогая Нина!

Вёрстка очень хорошая¹. Я вспоминаю вёрстку из минской типографии книги “Где-то гремит война” – ужас!

Теперь главное, чтоб Ваши труженики не добавили ошибок. И всё будет хорошо. Я сперва не понял, почему на некоторых страницах пробелы, потом разобрался и, пытаясь тебе помочь, расставил абзацы, где надо – сделал сокращения.

Сейчас только прочёл всю целиком и понял, что, кажется, написал книгу жизни, “свою”, после которой можно и нужно, наверное, бросать писать – лучше мне уже ничего не сделать. Эта книга почти свободна от сочинительства, в худом смысле этого слова, того сочинительства, которое, как ржавчина, разъело правду жизни, искренность разговора с читателем в нашей запаршивевшей литературе.

Да! Вот что. Критика уже купилась на “цитатах” дяди Васи. И хватит с неё. Это не цитаты. Это я сочинил старинные тексты. Мне казалось, что ирония и насмешка над вычурностью и цветистостью “романтизма” так явна, что слепой только не заметит её. Не заметили! В одной статье пишут, что нехорошо-де столько цитировать устами полуграмотного дяди. Поэтому снимите скобки, раскавычьте, иначе с дураками не управиться мне.

Завтра я улетаю с Сибирь и сразу же оттуда – в Крым, лечить пневмонию, домой заеду дня на два. Что надо – напиши. Если ничего не стрясётся, слава Богу.

В Крыму я буду с 14-го мая и адрес оттуда тебе сообщу, на всякий случай.

Вот и всё пока. Волны столичного прибоя донесли опять мутную весть, что снова в “Современнике” не спокойно. Видно, как пойдёт война, остановить её трудно. Надо бы об этом помнить всем, кто развязывает войны, и ещё о том, что посеявший ветер, как сортирная бумажка, будет в кювет бурею унесён...

Во как! Всем поклоны!

В. Астафьев

21 апреля 19..

1. В этом и в следующем письме речь идёт о книге “Царь-рыба” (М., “Современник”, 1982).

3.

Дорогая Нина!

Какой ты молодец! И – голова! Как ты хорошо книгу-то от воров утаила. Ну, политик!

Ну, тебя бы в таможду иль ещё где дальше служить, однако же нас, авторов твоих, горемышных, не покидать и просить у Гусева¹ и Фролова² добавку в зарплате за смекалку. А то ведь крадут! Ой, крадут! Куда мы идём? Может, Барченко³ знает? У него имя – Светозар, т<о> е<сть> всё на свете зреет он!

Книжка получилась хорошая, капитальная, по цвету и оформлению солидная. Пусть вся серия такой и идёт. А я тебе за заботу и хлопоты потом подарю книгу, какую только ты захочешь. Ладно? Это уже осенью. Лето собираюсь пробыть здесь, поездить по краю, посмотреть. Может, и поработать удастся, пока же текучка заедает.

Нина! Я посылаю копию инвалидного удостоверения для Вашей бухгалтерии, чтоб не драли подоходный налог. Недавно мне об этом сказали добрые люди. Передай, пожалуйста.

Получил я экземпляр плана на 1983 год⁴ и письмо от Гусева насчёт книг, мне в Красноярск высланных. За всё большое спасибо.

У меня просили замечания по плану. Нет у меня никаких замечаний. Удивляюсь, как много выходит книг. И куда они деваются?

И ещё: какое убожество в названиях! Какой примитив! Одно название, да и то старое – “Молоко волчицы”⁵ – и западает в память. Ну, заставляйте авторов думать – то хоть маленько, хоть название своё придумали бы, а уж литература – Бог с нею, её очень трудно придумывать и ещё труднее писать.

Обнимаю тебя. Благодарю. Век тебе обязан!

Кланяюсь всем и желаю доброго лета. А у нас весна, прямо горе, будто с Вологодчины за мной гонится.

Целую – твой Виктор Петрович.

14 мая 1982 г<ода>.

¹ Гусев Геннадий Михайлович (1933–2012) – директор издательства “Современник” (1980–1984), первый заместитель главного редактора журнала “Наш современник” (1993–2007).

² Фролов Леонид Анатольевич (1937–2013) – прозаик, главный редактор (1980–1984) и директор (с 1984 года) издательства “Современник”.

³ Барченко Светозар Александрович – прозаик, заместитель главного редактора издательства “Современник”.

⁴ Имеется в виду перспективный план издательства “Современник”.

⁵ Роман “Молоко волчицы” А. Т. Губина вышел вторым изданием в “Современнике” в 1984 году.

4.

Дорогая Нина!

Обе посылки с книгами получили. Спасибо! Спасибо! Мне очень понравилась голубенькая книжка второго завода. Такой у меня ещё не было – красивой и гладенькой, как камешек с берега Енисея, которые мы в детстве собирали и иногда лизали, будто леденцы. Сейчас вместо камешника лежит стекло, банки и говно всякое.

Я пишу тебе из деревни. Каждый вечер выхожу на берег, сажусь на бревно и глазею на реку и берега, застроенные дачами каких-то современных богачей и рвачей. Не было бы счастья, да несчастье помогло: подорожал бензин, и поредела армада мелкого водного транспорта, и река хоть маленько вздохнула.

Работать давно уже не работаю. Осень ушла на суету, зима тоже, а весною тяжело переболел, и то ли весна плохая, то ли лекарств насовали в меня много, то ли возраст, – скорее всего, и то, и другое, и третье, но напала на меня такая хандра, что не только писать, а смотреть на белый свет тошно.

Вот с письма тебе и начну, может, и разойдусь, ты человек добрый и сердцем лёгкий, так и поможешь мне на расстоянии. Уже помогла присылкой книг и приветом.

Надо ведь деньги тебе отдать за книжки, напиши – сколько, и я переведу или лично отдам, когда буду в Москве. Голубых-то книжек пришли ещё, если возможно. А пока кланяюсь всем Вашим, желаю всем доброго здоровья и послабления международной обстановки, ведь у многих есть дети и внуки.

Тебя целую и обнимаю. Поцелуй за меня сыночка своего – Глебушку. Большой уж поди-ка? Матери помощник?

Лето 1983 года (письмо без даты).

5.

Дорогая Нина!

Книжечки получил в канун праздника. Спасибо! А то один только раз и видел книгу: был недавно в Иркутске, ставил автограф какому-то активному книголюбу. Книга хорошо сделана. Корочка просто новейшая и богатая.

Над новой книгой продолжаю работать – роман закончил и отправил в “Октябрь”¹, передал на машинку пять рассказов, ещё два на подходе, а два в черновиках. Думаю, что в январе смогу сдать книгу, но без заглавного рассказа. Он ещё в башке и писать его буду, немного передохнув, пока в издательстве рецензируют рукопись и прочее, может, и сделаю, даст Бог.

Правда, время очень изорвано: в конце ноября поеду в ФРГ, а оттуда сразу на съезд, там уж и до января рукой подать. Но книга, в основном, уже готова, можешь доложить начальству, а попутно и спасибо скажи за хорошо изданный “Поклон” и за тираж хороший.

Мы сегодня отметили свой юбилей – сорок лет совместной с М. С.² жизни. Во как много! Прокатилась, пролетела жизнь, когда – и не заметили.

У нас наступила зима, пока сухая и морозная. Я чувствую себя сносно и вполне работоспособен, чему и радуюсь. Только бы слякоти и мокра не было, они меня в Вологде чуть не доконали. Валя Распутин тоже в форме, работает и охотно общался с нами, правда, ни граммулечки не принимает, но это уж не столь важно для творчества.

Вот пока и всё. Будем в конце месяца в Москве – позвоним (Марья Семёновна тоже выбрана на съезд делегатом). С праздником тебя и Глеба. Будьте здоровы!

Ваш – Виктор Петрович.
6 ноября 1985 г<ода>.

¹ Речь идёт о романе “Печальный детектив”.

² Мария Семёновна Корякина – жена В. П. Астафьева.

6.

24 марта 1986 г<ода>.

Красноярск
Дорогая Нина!

Придётся книгу сдавать без “Исповеди”¹. Я к ней так ещё и не притрагивался и едва ли скоро притронусь. Скопилась текучка и приболел, как уже все последние весны, наваливается усталость, апатия, ничего не могу делать, даже читаю мало, да и то муру всякую – рукописей много скопилось.

Начало к рассказу “Кузяка” я посмотрю в гранках и или сокращу совсем, или сделаю что-то повразумительней.

У меня просьба к тебе, к Светозару Барченко и Фролову: включить в перспективный план книгу Ивана Полуянова (из Вологды) – “Месяцеслов”, я построил её в журнал “Сельская молодёжь”, и она, по главе каждый месяц, будет печататься в журнале до конца года. Книга самобытная, нужная народу, особенно деревенскому, по значимости своей и складу не уступающая ни в чём замечательному “Ладу” В. Белова и как бы продолжающая эту “линию”².

2. Книгу повестей Юрия Пшонкина “Пленник волчьей стаи”³. Я недавно открыл прозу этого автора... для себя, автора, интересно пишущего о природе и животных, что-то от знаменитых североамериканцев, но на наш лад, и про природу Сахалина и Дальнего Востока. Если потребуется, готов написать предисловие к этой книге.

3. По молодёжной редакции прошу включить в перспективу Владимира Шапко “Городок”⁴. Этого автора, самого талантливого из тех, кого я “веду” и держу “на глазу”, пора издавать в Москве. Я помог ему напечатать рассказ в “Литературной России”, повесть “Подсадная утка” – в “Уральском следопыте”, но из *периферийных штанишек* он быстро вырос. Предвижу очень талантливого прозаика, которого пора поддерживать не только мне. Роман 25 листов объёмом. Автор, после моего прочтения, дорабатывает рукопись.

Кланяюсь, обнимаю.

Виктор Петрович.

Р. С.: Роман Шапко, будучи у меня в гостях, недавно прочёл критик Валентин Курбатов и был в восторге.

¹ Книга “Жизнь прожить” (Москва, “Современник”, 1986).

- ² Полуянов Иван Дмитриевич (1926–2008) – вологодский прозаик. Книга “Месяцеслов” вышла в Архангельске в 1979 году.
- ³ Пшонкин Юрий Александрович – прозаик. Книга “Пленник волчьей стаи” вышла в издательстве “Золотая аллея” в 1996 году.
- ⁴ Шапко Владимир Макарович (родился в 1938 году) – прозаик. Книга “Деревенский городок” вышла в издательстве “Советский писатель” в 1991 году.

7.

Дорогая Нина!

Зиму я продержался, а вот в апреле уже простудился и заболел. Но начинаю подыматься, ведь мне скоро предстоит трудная поездка.

Очень надо, чтоб я посмотрел верстку “Зрячего посоха”¹, есть уточнения и поправки уже от читателей. Если буду здоров, и всё пойдёт по плану, я буду в Москве 25 апреля, а если сорвётся – не знаю когда.

Что касается “Избранного”, то у меня не наберётся на него материала, мало я написал после того собрания сочинений.

Бог с ним! Книги издаются и довольно много, и помирать ради собрания сочинений не стоит, есть причины более основательные.

С весной, с маем тебя – здоровья и всяческих успехов! Кланяюсь, целую.

Виктор Петрович.

16 апреля 1987 г<ода>.

¹ Книга “Зрячий посох” вышла в “Современнике” в 1988 году.

8.

Дорогая Нина!

Так врачи и не позволили нам с Марьей Семёновной оторваться от дома и побывать в Москве и Вологде.

Поэтому все дела приходится исправлять письменно, и по телефону я не люблю “работать”.

Просьба первая к “Современнику”: в будущие годы включить двухтомник покойного Александра Филипповича из Свердловска¹.

Просьба вторая: узнать, что с антологией одного стихотворения, составленного мной и Р. Солнцевым²? Увидит ли она свет за время перестройки?

Более пока просьб нету. Прилетал Михаил Алексеев, и мы с ним подготовили к печати “Зрячий посох”³. Урывками пописываю “Затеси”, готовлюсь на убёг в Овсянку, чтоб начать работу над “Поклоном”, да холод не пускает, и я успеваю полениваться, ликвидировать всю текучку. Марья Семёновна со мной в деревню не поедет, жизнь осложнится, придётся мотаться туда-сюда, надеюсь, не всё лето.

Вот пока и все.

Звони. Телефон сейчас работает, и кто-нибудь всё время дома.

Кланяюсь – Виктор Петрович.

(В. Астаф)

21 мая 1987 г<ода>.

Красноярск.

¹ Александр Филиппович – прозаик.

² Антология одного стихотворения “Час России” вышла в “Современнике” в 1988 году.

³ “Зрячий посох” печатался в журнале “Москва” (№ 1–3, 1988).

9.

Дорогая Нина!

Я пишу тебе из больницы. Завтра 10-й день, как я здесь. Заболели как-им-то страшным бронхитом сперва Витя-малый, потом Марья Семёновна, потом и я. У меня все легло на гнилые легкие, так свалился основательно. Ма-

рья Семёновна дома мается – ребятишки. Кашель страшный, а так-то бы и терпимо.

Конечно же, хорошо будет, если ты бы прилетела в январе. Один я едва ли соберу эту книжку. Подождём публикации в “Москве”. У меня дома даже и экземпляра никакого нет. Целого. Рукопись много раз перепечатывали и раздирали. “Затеси” вообще придётся собирать по газетам и журналам, кроме последних, – этих я заказал напечатать на машинке побольше.

Чего сколько наберётся – пока и предположить не могу. Было начал, заставил себя работать, но болезнь прервала меня снова, и апатия совсем меня сковала.

Может, в конце октября поеду всё же во Францию, так позвоню тебе. А пока кланяюсь, обнимаю. Через три дня дней на 10 должна прилететь невестка Татьяна, так легче М. С. будет, а пока не знаю, как и чем она держится. Одно время казалось – не устоит, нет, выдержала и на этот раз все беды, правда, едва ходит, но ходит.

У нас ранняя осень. Снег упал на жёлтый лес, из окна моего видно Овсянку. Сижу, смотрю, и какие только думы в башку не лезут! А сны – один другого страшнее, да все длинные какие-то, сюжетные, как романы Пети Проскурина. “Не дай мне Бог сойти с ума...” – раньше эта пушкинская строчка как-то отдалённой была от меня.

Но никто, как Бог. Уповать на него, как и прежде, приходится, не глядя на перестройку.

Ещё раз кланяюсь, ещё раз обнимаю – Виктор Петрович.

(В. Астафьев)

7 октября (в День Конституции) 1987 г<ода>.

Красноярск.

10.

Дорогая Нина!

Какая жара? Всё лето было 12 погожих дней вразбежку. Всё остальное время льёт без перерыву. Страшное наводнение, гидростанция делает аварийный сброс, всё бушует, трещит и бежит. Все запаны с лесом сорвало, несёт гаражи, дома, сараи. Картошка гниёт, так и не успевши расцвести. В крае работает чрезвычайная паводковая комиссия, убытки колоссальные. Урожай где и вырос, так лёг на землю и выбит градом, сено или не скошено, или унесло его наводнением.

А мне с моими лёгкими лишь в деревне и жизнь, только там и сушусь, а делать ничего не могу. Приближается годовщина со дня смерти дочери. Вот перевалим, может, легче будет.

Ребятишки сейчас у нас, а Таня и Андрей уехали на теплоходе по Енисею, но завтра уже возвращаются, и вовремя, ибо М. С. уже устала, ведь трое гавриков, и все требуют ухода, еды и внимания.

Об издательских делах. Так совпало, что Кемеровское издательство в будущем году издаёт мою книгу “Зрячий посох” и “Кражу”¹. Хотели больше и в серии, но что-то у них срезали, урезали и т. д. Значит, Вам стоит поговорить с ними (редактор Тамара Ивановна Махалова), это ещё не поздно, и добавить что-то или как там и поставить гриф своего филиала. Впрочем, я плохо разбираюсь в этих делах, но книгу они вот-вот сдадут в производство.

“Молодая гвардия” предложила мне прислать заявку на собрание сочинений, и я это сделал. Подождём. Если у них ничего не выйдет, а может и выйти, начальство там понастырней Вашего, да и возможности больше. Тогда и вернёмся к разговору об “Избранном”, а пока – молчок, не пугай своё руководство. Ну, что ещё? “Посох” жду, и не только я, но и друзья, и читатели даже некоторые ждут.

В сентябре, в конце, я, возможно, поеду в Грецию на какие-то торжества христианские, видимо, как представитель беспартийных писателей, а до этого, возможно, съезжу на встречу ветеранов дивизии, может, поездка и соединится, т<о> е<сть> если в Киеве задержусь, то сразу в Москву и оттуда за границу. Из-за ахового лета ни разу не был в тайге и на рыбалке, всё собираюсь. А так ли я ждал конца зимы, тепла и сухих дней... Прогневили Господа, прогневили!

Как получу книги, так отпишу, а пока кланяюсь, обнимаю.
Твой Вик<тор> Петрович.
(В. Аст)
7 августа 1988 г<ода>.
Красноярск.

¹ “Кража”. “Зрячий посох”. Кемерово, 1989.

11.

11 апреля 1990 г<ода>.
Красноярск.
Дорогая Нина!

Получил вёрстку¹. Читать мне её некогда, да и неохота. Вещи старые, и мне уже читать их муторно. Пусть корректоры будут повнимательней, ибо в тексте, в общем-то чистом, есть нелепости.

Мы живём помаленьку. Я после Москвы долго болел, но лечили меня хорошо, следили, чтоб осложнение, павшее на сердце, не обострилось, и я легко отделался. Правда, полтора месяца самой середины зимы ушло на больницу, лечение, уколы и прочие прелести.

Трудно было вернуться к заброшенной рукописи, но я заставил себя это сделать и черновик первой книги романа всё же закончил². Только черновик, и только первой книги, а всего их должно быть три, так что о публикации романа говорить ещё рано. Года два-три мне ещё нужны будут. К семидесятилетию закончу, если буду жив.

У нас была хорошая зима, сухая, морозная, и весна хорошая, но только пугающе-сухая. Днём потает, а ночью вся влага вымерзнет. Не было б засухи... Впрочем, нас уже ничем не испугаешь. У меня и всегда-то, особенно в молодости, весной было муторно на сердце, тоска наваливалась, одиночество, а ныне прямо жду не дождусь, когда можно будет уехать в деревню. Там мне как-то легче.

Но до этого мы с М. С., если инкомиссия пошевелится, должны съездить на недельку в Голландию – приглашает издательство, которое выпустило уже пять моих книг. Восьмого мая надо быть уже в Амстердаме. А пока я одолеваю текучку: почту, рукописи и бытовые, продуктовые делишки на мне. Мечтаю в деревне написать последнюю главу в “Последний поклон” и “для души” пописать “Затеси”. Роман-то писать очень тяжело, невыносимо переживать заново то, что мы пережили. Как вынесли? Как стерпели? Народ, конечно же, должен был сломаться, и он сломался. А хребет его не очень крепок – молод народ-то ещё, сырой, и едва ли уже срастётся перелом его хребта, едва ли...

Ну, целую тебя, обнимаю –
Виктор Петрович.
(В. Астафьев)

Р. С.: Вёрстку, как я понял, возвращать не обязательно? Если нужно – кинь телеграмму, вышлю.

¹ “Стародуб. Повести”. Кемерово. “Современник”, Сибирское отделение, 1990.

² Речь идёт о романе “Прокляты и убиты”.

*Подготовка публикации писем А. Ф. Гречицкой.
Вступление и комментарии С. С. Куняева.*

ВЛАДИМИР СКИФ

ГЛЕБ ПАКУЛОВ И ВИКТОР АСТАФЬЕВ

Из книги “Байкальское Переделкино”

Глеб Пакулов не только мой собрат по перу, но ещё и товарищ по морскому братству.

— Вовка! Ты парень флотский, и мы с тобой одной крови, — часто твердил мне Глеб и пьяный, и трезвый. А ещё нас объединяло байкальское содружество, где мы называем себя гордым именем — байкальчане.

Глеб купил на Байкале дом одним из первых, кто обосновался в порту Байкал, и привечал всех, кто к нему приезжал в любое время дня и ночи, летом, осенью и даже зимой. Кто только у него не гостевал, кто только не заглядывал: писатели Виктор Петрович Астафьев со своей женой Марией Семёновной Корякиной, Евгений Иванович Носов, Николай Воронов, писатели-иркутяне Валентин Распутин, Александр Вампилов, Геннадий Машкин, Станислав Китайский, Евгений Суворов, Владимир Жемчужников, Валерий Хайрюзов, Борис Лапин, Анатолий Байбородин, Ростислав Филиппов, Сергей Иоффе, Пётр Реутский, московские поэты Владимир Соколов, Николай Котенко, Георгий Кольцов, автор пьес Владимир Удатов, директор Иркутского театрального училища Александра Даниловна Коновалова, художники из Красноярска и Перми — Николай Худенёв и Анатолий Тумбасов, священник Николай Евдокимов, польские книжники София Рустецка и Мария Рычковска и многие-многие другие.

Жил Пакулов со стороны Ангары в Молчановской пади, как говорят местные, у Шаман-камня. Дом, который он приобрёл, вызывал у многих неподдельное восхищение и добрую, белую зависть. Дом был просторный, чистый, обихожанный, как большая четырёхкомнатная квартира. Да, наверное, лучше, чем квартира. Когда я впервые попал во двор дома и, пройдя через калитку, остановился у небольшой скамейки, на сиденье которой яркой голубой краской было написано: “Сядь, подумай, или уже не о чем?”, — то мне, действительно, захотелось на неё присесть, осмотреться вокруг и углубиться мыслями в себя, а осмотреться стоило.

Тишина, стоявшая в распадке, и эта возвышенность, на которой царствовал дом, — всё располагало к блаженству души и размышлениям о смысле жизни. Внизу сверкала необыкновенным сиянием Ангара, к ней по правой стороне густо сбегали берёзы, ольха, рябина и вкрапленные в них стройные, позолоченные сосны. Левая сторона распадка, покрытая травой и мелким ку-

старником, привлекала местных жителей хорошими покосами, и там к середине августа вырастали духмяные зелёные копны.

Глеб с неизменным хлебосольством приветчал своих гостей — и великих, и малоизвестных, и пьяных, и драных — всех, кто не миновал этот гостеприимный дом. Его жена Тамара, которую он ласково звал Тусик, и теща Ольга Евстафьевна не перечили ему в этом, а наоборот — принимали друзей Глеба, как своих собственных. Ольга Евстафьевна славилась своими знаменитыми рыбными расстегаями, а Глеб был известен на всю округу как отменный рыбак. Рыба к нему и, прежде всего, хариус, шла даже тогда, когда никто не мог поймать ни рыбины. Глеб самостоятельно готовил самые разные мушки. Из какой только шерсти, волос, перьев, начёсов он их не готовил!

В доперестроечное время на глебовской даче, как минимум, пять раз гостил великий русский писатель и такой же, как Пакулов, завзятый рыбак Виктор Петрович Астафьев. Приезжал он и один, и со своей супругой Марией Семёновной Корякиной. В самом начале семидесятых он побывал у Глеба в первый раз, и с тех пор его тянуло на Байкал, как в родную деревню Овсянку. Виктор Петрович всякий раз мечтал хотя бы на недельку примчаться на великое наше озеро, порыбачить, потягаться с Глебом, посоперничать: кто кого? В этих поездках Астафьев встречался у Глеба на даче и в Иркутске не только с Распутиным, но и с другими иркутскими писателями: Машкиным, Суворовым, Жемчужниковым, Лапиным, Иоффе.

Обычно после чудных, незабываемых путешествий в Прибайкалье он писал Глебу письма, в которых искренне восхищался Байкалом и Ангарой, горами и тайгой, травами и цветами и непременно рассказывал о своих житейских делах, о родственниках, о планах на будущее, о поездках по стране и за границу, о радостных и трудных писательских буднях:

“15-го июля 1974 г. Вологда.

Дорогой Глебушек!

Кланяюсь тебе из далёкой милой Вологды, где ныне стоит прекрасная погода, и, после двух лет бедствий, всё очень хорошо растёт и не может нарадоваться себе каждая травинка, каждый листик и цветок. Природа здесь бедная, по сравнению с Сибирью даже убогая, и оттого всякая Божья кара особенно обнажает её, делает совсем нищенской и неприкрытой. Нищеты-то в годы бедствий и на Байкале не меньше, но там её прикрывает буйноцветье, громады гор и девственно-чистая вода, в которой, наверное, создатель омывал новорожденных ангелов, прежде чем пустить их в небо, и оттого у них такие белые, нежные, лебединые крылья (а бабьи зады — это уж от немецких харчей, от картошки, в частности).

У меня в глазах всё ещё колышутся склоны гор в голубых проблесках и волнах от незабудок с жарко польхающими полями жарков, с кострами багульника и белой пеной таволожника, и всё ещё ощущаю вкус воды, которую я хлебал из ладоней, и, наверное, после меня Ангара убыла маленько.

*Прекрасная поездка. Много осталось в памяти и для памяти, и главное, что все были нам с Женей (писатель Евгений Иванович Носов. — **В. С.**), как родные (иркутяне): и Гена (Машкин. — **В. С.**), и Валя (Распутин. — **В. С.**), и Боря (Лапин. — **В. С.**), и Володя Жемчужников — все, все. Спасибо за такое дело. Меня уже с истинными родичами больше разъединяет, чем объединяет — опять мирил тёток своих, опять увещевал их, ругал, стыдил. Пока было горе, нужда — жили дружно, а теперь наелись маленько (испились даже больше, чем наелись) и вот сводят какие-то счёты. Тяжело мне с Женей стало и, как ни прискорбно себе это сказать, в родную деревню не поеду, сколь выдержу, во всяком случае, на будущий год — шабаш.*

В дороге из Иркутска я подпростыл, в Красноярске и в селе добавил и свалился (снова обострение пневмонии, которого я так боялся ещё на Байкале), — полежал даже в больнице, но выпросился домой и вот уж более недели дома. Лечусь, но хожу ещё плохо, в лес и на речку нельзя, однако думаю с 1-го августа всё же уехать на озеро, в деревню и поработать до сентября, а там предстоит поездка в Польшу.

Вчера перебирал своё “имущество” и подержал в руках коробочку Саши Вампилова — как-то светло и печально на душе стало. Все мы какие-то странные люди, общаться друг с другом не умеем, добрые слова, в которых нужна

такая у всех, говорим припоздало, чаще вослед ушедшему, а надо бы?.. Как надо-то? А никак! Как есть, так и есть. Вот мы встретились, порыбачили, по-матерились маленько, поглядели друг на дружку, и вроде бы праздник какой был, только, как и всякий праздник, пролетел он быстро и в угаре...

Глебушек! Я шлю тебе свою книжку, самую “толстую”, и надеюсь, что ты всё же не всех хариусов выловишь и хоть одного оставишь на мою долю, — мы с женой всё же собираемся поехать к бурятам на Байкал в будущем году, — я подлечусь весной в Крыму, окрепну и двинем, а там, глядишь, на пароходике и к тебе завернём!.. Ну, не будем загадывать!!!

Я дочитываю книгу Володи Жемчужникова “Чистые кедрачи” — очень она мне понравилась, бесхитростная, добрая и с “голосом” только Володиным — мне даже захотелось о ней написать куда-нибудь доброе слово, что я и сделаю, если будет время и здоровье, а пока лишь отвечаю на письма, да написал два коротких предисловия к книгам моих иркутских семинаристов — Суворову и Суханову.

Глебушек! Письмо, сколь бы оно длинно ни было, всё равно ничего не передаст и не расскажет!.. Просто поклонись от меня Байкалу, залови самого большого хариуса на мой “загад”(когда будешь бросать, загадай — “на такого-то мудака!..) — и вот увидишь, выловишь большую рыбу..

Ребятам всем поклоны и поклоны! Будь здоров и счастлив. Я знаю, чем дальше в зиму, тем подробней и ярче я буду всё вспоминать, и Женя уехал домой размятённый, тихий и с обострённой язвой.

Ну, обнимаю и целую тебя, твой Виктор Петрович.

Поклон твоей супруге и теще”.

Не все письма сохранились, но в тех, которые есть, Виктор Петрович с неподдельной любовью относится к Глебу Пакулову, да и к другим писателям-иркутянам. А Глеба всё-таки он любит больше всех. Как-никак, такой же, как и он сам, рыбак. А рыбак рыбака видит издалека! Да и не худший российский писатель — Глеб Пакулов. Конечно же, это чувствовал своим особенным чутьём Виктор Астафьев. Нюх на талантливых людей у него был обострённым. И вот ещё одно письмо, написанное Астафьевым после его приезда из Курска, где он 15 января 1975 года праздновал 50-летие выдающегося русского писателя Евгения Ивановича Носова:

“Февраль 1975 года.

Дорогой Глеб!

Я только что вернулся из Курска от Евгения Ивановича, праздновали его юбилей, вспоминали чудесное лето, Байкал и порешили: ни к каким бурятам не ездить, что мы у них будем делать? А поехать к вам, тремя парами: я с женой, Женя с женой и наш добрый друг, чудесный мужик — Миша Колосов с женой (он работает ныне замом в “Литературной> России”). Бабы у всех избалованные, уживчивые и не вредные, точнее — в меру вредные. Нам очень хочется вас всех повидать, неторопливо порыбачить, а бабам — Байкал посмотреть. Наметили мы август месяц — у Жени жена работает, Миша и жена его тоже люди трудовые и от отпуска зависимые.

Ежели эти пары распадутся из-за нездоровья или ещё отчего, тогда мы приедем вдвоём с Марьей Семёновной. У меня одна лишь просьба к тебе — известить, когда изволит пребывать в краях ваших месью Воронов? Я терпеть его не могу, а моя жена и того больше, не терпят и все мои остальные друзья и нигде, а тем более в родной Сибири, мы не хотели бы его видеть и встречать.

Больше никаких особых условий нет — удочки привезём.

Лодка у тебя есть, водки и хлеба купим.

Я уютно сижу в деревне и работаю. Над камином у меня висит карта Байкала, а слева от неё — карта Вологодской области, путешествую. Добиваю “Царь-рыбу”, никак у меня не хватает куска времени докончить её. В феврале (в конце) еду в Белоруссию на совещание, и потом опять в село, за работу. Хочу переделать все дела, чтоб со свободной душой потом поехать к вам в гости.

Получил от Вали Распутина большое и умное письмо, он тоже в деревне. Боре Лапину передай поклон и скажи, что рассказ я ему раньше марта не смогу прислать.

Написал большую новую главу (начерно) в “Последний поклон” — называется она “Те далёкие детские игры”, а то совсем уж все серьёзные стали и забыли писать об играх, да и сами игры забыли, а они, как изволил написать “аз грешный”, и есть слепок жизни.

Всем широко кланяюсь! Всех обнимаю! В. Астафьев.

Р. С. Черкни мне домой — почту жена привозит”.

И хотя летом 1975 года поездки с друзьями, которую намечал Виктор Петрович, не получилось, он смог всё-таки приехать к Пакуловым вместе с женой, писательницей Марией Семёновной Корякиной. Это была его последняя, но самая весёлая поездка на Байкал.

У Пакуловых на даче всегда жили небольшие собачки: то Мультик, то Кешка, хотя одно время они держали огромного, умного пса, помесь волкодава с овчаркой по имени Ксар. Это имя скифского полководца из романа Глеба Пакулова “Варвары”. С собаками тоже связано много историй. Мультик был самый преданный Глебу, а Кешка служил доносчиком. Его в своём письме к Глебу упоминает даже Виктор Астафьев.

Так вот, Глеб очень любил посидеть на берегу с деревенскими мужиками. Они его ценили за ловкость и умение ловить рыбу в любую погоду. Бывало, встретятся на берегу трое-четверо рыбаков, кто с водкой, кто с самогонкой, и раскроют скатерть-самобранку. Выпивают, спорят, хвалятся уловом, рассказывают былички и анекдоты. Глеб седлает своего “конька”, и вплоть до темноты его из этой компании не выкурить. Тамара ждёт, нервничает, уже ни зги не видно, а его всё нет и нет.

Застолье даже при малой видимости ещё не угасает, и сворачивать его никто не торопится. Вдруг из темноты выныривает Кешка, хватает пробку от бутылки и улепётывает на гору к Тамаре. Там он, покорно склонив голову, вручает вещественное доказательство хозяйке дома, и Тамара в крайней разгневанности идёт за Кешкой туда, куда надо.

Над мужиками и Глебом разражается гроза с молниями, импровизированное застолье сворачивается. Все расходятся, благодаря Тамаре, по домам. Мужики извиняются, а Глеб шипит на Кешку:

— Предатель! Кагэбэшник! Иуда! Повешу на осине!

Кешка, не обращая внимания на рассерженного хозяина, бежит рядом с Тамарой, зная, что непременно получит от неё косточку или крылышко, или, на худой конец, кусочек пирога с рыбой. Тамара, подобревшая и спокойная, что муж жив-здоров, поднимается на гору и Кешку наградить не забывает.

Астафьев с великой радостью ждал встречи с Байкалом, с Ангарой, он вожделел этой встречи и, конечно же, готовился к ней, как истинный рыбак. Он так и рвался на Ангару, которая славится щукой, ленком, тайменем, хариусом. А что рыбаку надо? Чтобы у глаз колыхалась волна, вспыхивала тонкой молнией леска, вздрагивал поплавок и, отягощённый, уходил под воду. Не торопись, но и не медли, подсекай осторожную рыбину и вытаскивай её, блестящую, на берег.

На второй день после приезда Глеб повёл Астафьева на рыбалку, собрав перемётную суму и наполнив всем необходимым, что нужно рыбакам в желанные часы ловли и необходимые минуты перекуров.

— Тусик, ты за нас не волнуйся, мы перекусим на берегу, — успокоил он Тамару и похлопал по туго набитой брезентовой сумке.

— Виктор Петрович, вы не слушайте его, — сурово, но сдержанно сказала Тамара, — приходите, как только захотите поесть.

— Спасибо, Тамара, разберёмся, — улыбнулся Астафьев.

Пошли под гору, за ними увязался Кешка. Глеб остановился, зыркнул на него глазами:

— Вот, Виктор Петрович, это — Кешка, мой лучший друг в кавычках.

И Глеб рассказал, кем служит Кешка и у кого работает на посылках. Астафьев удивился и засмеялся, глядя на Кешку:

— А он и вправду умный пёс! По рылу видно.

Виктор Петрович с Глебом колдовали на берегу, а Кешка следил, скоро ли будет “накрываться стол”. Что-то давно уже он не видел хозяина в боль-

шой компании. Кешка неотступно наблюдал за Виктором Петровичем, чувял, что его присутствие непременно станет причиной застолья, и когда тот наконец-то выловил свою первую добычу — сверкающего ясной чешуёй хариуса весом, примерно, с килограмм, — то Кешка вытянулся в струнку.

— Ура! — закричал Виктор Петрович, — какой красавец!

— Ну, вот, скоро начнут обмывать, — успокоившись, подумал Кешка, — этому пузатому везёт. Сейчас второго выдернет.

И точно. Виктор Петрович буквально через пять минут вслед за первым выловил второго, изогнувшегося дугой хариуса.

Вдали появился рыбак. Кешка знал его хорошо.

— Каскадёр появился. Эх, ещё бы Паша Жёлтый да Белянушкины подошли — стол точно будет! — радовался Кешка назревающей работе.

Берег Ангары и всех рыбаков в одночасье, как чайка, облетела весть, что рядом с ними удит рыбу сам Виктор Астафьев. Подошли и Паша Жёлтый, и Белянушкины, сначала Виктор, а за ним Виталья, Мишка Мулганеев и набежал Толя Толстоухов, хотя рыбаком особым не слыл, но жил в доме на Ангаре, который потом сгорел в самом начале перестройки в праздник Первого мая, а Толя долгое время оставался бездомным. Из усадьбы, расположенной на самом берегу Ангары, буквально выпрыгнул издатель Николай Есипёнок.

— Ну, вот и все в сборе, — радостно поскуливал Кешка, — начинайте!

Мужики собрались в тесный кружок: кто-то знакомился с Петровичем, а кто-то здоровался с ним, как со старым другом. Все жали друг другу руки, хвалили Астафьева, поздравляли с первой удачей. Тут Глеб, заметив Кешкину радость, заорал:

— Мужики, идём к моему гаражу! Там сядем у лодки, как у стола, и обмоем улов Виктора Петровича.

Кешка завилал хвостом и преданно, с любовью посмотрел на хозяина. Он-то верил — хозяин не подведёт. Будет раскрыта первая бутылка, и вторая, и третья. Но Кешка знал, ни от первой, ни от второй, ни от третьей бутылки пробки он таскать не будет. Во-первых, должно стемнеть, а во-вторых, у него была своя, давно отработанная тактика. Он необыкновенным чутьём всегда чувял последнюю бутылку. И полагал, что сегодня их будет четыре. Вот её-то он и ждал.

Глеб раскрыл бутылку, а пробку положил к себе в карман. Кешка задумался. Раскрыли вторую бутылку. И хозяин опять положил пробку в карман. Кешка опустил голову на лапы и стал ждать, что же будет дальше?

— Может быть, рвануть сейчас и утащить всю бутылку, — подумал он, — нет, бутылку не унесу. Подожду.

Веселье было в самом разгаре. Виктор Петрович рассказывал свои байки, не менее интересные, чем у Глеба. Мужики хохотали. Глеб раскрыл третью бутылку, медленно спрятал пробку теперь уже в нагрудный карман и показал Кешке фигу.

— Вот тебе. Больше бутылок нет! И пробок ты тоже не увидишь.

Кешке этот жест был не по душе. Он не стал вилять хвостом, а, презрительно фыркнув, затрусил на гору.

Кто кого здесь перехитрил, я не знаю. В разгар пирушки Глеб достал и четвёртую бутылку, но распечатал её, только удостоверившись, что Кешка удалился. А может, и вправду Кешка перестал работать доносчиком. Он чувствовал, что будет четвёртая бутылка, интуиция и обоняние никогда его не подводили. Но он ушёл в гордом одиночестве и на этот раз без пробки.

Тем не менее, Тамара тут же появилась у гаража.

— Всё, мужики, хватит. Мы Виктора Петровича заждались. А ты можешь оставаться в гараже, — обернулась она к Глебу, — и Кешку не ругай, он ничего мне не говорил.

Виктор Петрович радовался тому, что поездка на Байкал удалась. У себя дома он был полон веселья, памятных рассказов сельчан и шуточных быличек Глеба. Из Вологды он отправил ему новогоднюю открытку с исключительно жизнерадостным текстом, где не забыл упомянуть и байкальского народного героя Кешку:

“Дорогой Глебушек!

Пусть мчится твоя жизнь ближе к лету, как эта лихая тройка, и чтобы прямо в Ангару, и харюза за зебры, да на строганину! Словом, клёв на удачу!

Водка за губу! Книгу в печать! Бабу в роддом! Кешку-стукача на живодёрню! Тёщу на икону! Сам в лодку и на ту сторону... за хлебом!

Во! А ещё здоров будь и не кашляй! У нас теперь морозно – мы за вас станем кашлять и чихать. Я живу в трудах, зарабатываю “отгулы” на лето, бо купил избу в родной деревне со двором и буду в бане тренироваться ловить рыбу из шайки, а потом как поеду за Саяны, на Байкал, да ка-ак закину в реку уду, да как выну сапог, а в сапоге – поллитра, а в поллитре – водка, а в водке – бутерброд, а в бутерброде – золотой, а в золотом... не знаю чё... Словом, живу ожиданием лета и, как чудо, вспоминаю неделю в Иркутске и на Байкале. Ещё 10 дней в родном селе отдохнул и всё. Так и живу, едрёна мать, “свободный художник”.

Лобызая тебя в плешь. Твой Виктор Петрович”.

Глеб не только умел ловить рыбу, но очень хорошо знал и умел собирать байкальские грибы. Когда мы только-только осваивали свой дачный дом и его окрестности, Глеб рассказал нам, какие на Байкале водятся грибы и какие стоит собирать для засолки или для жарёхи. В своё время я с великим удовольствием прочитал книгу Владимира Солоухина “Третья охота” и, конечно же, знал многие грибы и по виду, и по вкусу, но некоторые из тех, о которых нам рассказал Глеб, в моём Куйтунском районе не водились.

Начинал свой разговор о грибах он примерно так:

– Гриб любит, чтоб его поискали, ну, а если уж нашёл его, то бери и будь благодарен лесу. В лесу не ругайся, не матерись, говори только хорошие слова – тихие и прозрачные. Глянем, какие грибы вы принесли? – и он начинал разбирать нашу корзину, когда мы прямо из леса заглянули к нему и были приглашены его тёщей Ольгой Евстафьевной и женой Тамарой на чай с рыбными расстегаями.

– Это что за гриб? – достал я тёмный, почти чёрный гриб, по виду напоминавший груздь.

– Ну, милый мой! – это по-местному чернушка, чёрный груздь. Очень хороший гриб, только его надо хорошо вымочить. В засоле он тёмно-вишнёвый, почти фиолетовый. А под водочку как идёт! Мухой! А вот сыроежка. Их в лесу много, и по цвету они всякие: и жёлтые, и розовые, и красные, и оливковые. Слушайте, вот это просто чудный грибок! – и он достал из корзины валуй. – Местные называют валуи бычками. И вправду они, особенно недавно народившиеся, такие округлые, крутолобые, как молодые бычки. Он в раннем возрасте упругий, скользкий, сопливенький, а потом, вырастая, становится сухим и плоским. Бычок хорош в засоле и тоже под неё же – родимую, незаменимую, – срифмовал он экспромтом.

– Вот рядовочка, – Глеб указал на гриб, похожий на сыроежку, но менее хрупкий, чем сыроежка, – рядовка бывает только одного цвета, она сизая, сталистая, а это козляк! Есть гриб-моховик, близкий к маслятам, а козляк ближе к моховику. У того и другого подшляпник, как губка, только у козляка губка крупно-пористая, а у моховика – помельче.

– Лисичка, – Глеб достал единственный в нашем арсенале подобный гриб, похожий на маленький граммафон, – лисичек у нас мало, но изредка встречаются. Встретишь – бери! А это мохнатенькая подружка-волнушка.

– Волнушку мы знаем, – вступила в разговор моя жена, – жалко только, что белых груздей нет в нашем лесу и жёлтых, еловых мало.

– Да, Женечка, – ответил ей Глеб, – за груздями надо ехать к Вовке, в Куйтун или Тулун, – там их море. Подосиновик и подберёзовик – хорошие, ценные грибы. Их бери с уважением и благодарностью. Только старый подберёзовик плох, быстро пропадает, а подосиновик и большой хорош, – Глеб потрогал крупный, шляпистый подосиновик.

Я достал гриб с увесистой коричневой шляпкой и толстенной ножкой:

– Глеба, у дороги мы нашли вот этот странный гриб и сомневаемся: брать – не брать. Решили тебе показать.

– О-о-о! – длинно пропел Глеб, – ребята! Это же царь грибов, белый гриб! Он почти не бывает червивым.

– У нас в Куйтуне они не водятся, – заметил я.

– Ну, то Куйтун, а то Байкал! Разумеешь? – и Глеб горделиво засверкал глазами. – Царский гриб обязательно должен быть при царе. А кто такой Бай-

кал? Царь! – он вскинул руку с поднятым в небо указательным пальцем. – Теперь белые царские грибы и у нас на Байкале есть.

Когда-то, действительно, белых грибов на Байкале фактически не было. Но, видимо, меняется климат, видоизменяется что-то в нашей природе. Чёрных груздей раньше было видимо-невидимо. А сегодня их стало меньше. Зато появилось белые грибы. Пойдём с женой в лес и приносим за один раз по 50-70, отборных белых грибов, а нынче летом их особенно много. Позавчера мы принесли 103 красавца-гриба. Да все, как на подбор, ладные, упругие, с яркими то оранжево, то красно-коричневыми шляпками и толстыми, широкими ножками.

Что только не делает с ними моя искусница-жена: крупные, холёные грибы режет на сушку, рассыпает в пустые коробки от конфет и сушит на солнце, а маленькие, крепенькие маринует, да так, что не оторваться от банки, самые большие – жарит. А совсем недавно средние по размеру грибы стала ещё и замораживать в небольших пластиковых контейнерах. Зимой вынешь такие грибы, а они, как будто только из лесу, – целенькие, красивые, запашистые!

Моя жена Евгения Ивановна – грибница необыкновенная. Она собирает корзину грибов даже тогда, когда никто не собирает. Может пойти в лес вечером часов в девять, а в 10 выходит из него с полной корзиной. Причём она всегда повторяет свою неизменную присказку после того, как находит белый гриб: “Спасибо, лесок, что дал мне грибок!” И я думаю, что и Байкал, и байкальский лес слышат её поговорочки, и грибами никогда не обделяют. Иногда ищем грибы с ней вместе, я уже подустал, звоню или кричу, мол, давай, собирайся, уже домой бы надо. А она мне в ответ:

– Не могу! Как я их брошу? Я – от них, а они – за мной!

Видимо, с давних времён она что-то переняла от Глеба-грибника. Его грибные уроки мы запомнили на всю жизнь. А байкальский лес нас радует ежегодно. Храни, Господь, эту благодатную землю и великое наше море-озеро, бездонное космическое око, глазной хрусталик планеты, живую и трепетную душу Сибири, а может быть – и всей Вселенной.

ВИКТОР ЛИННИК

НЕОКОНЧЕННЫЙ ДИАЛОГ С ВИКТОРОМ АСТАФЬЕВЫМ

Встречи и письма

Почему творчество “окопников” и “деревенщиков” с годами стало в глазах огромной части читающей публики магистральным направлением нашей словесности? Да потому, что именно через русский народ впервые в нашей истории рассказал о себе сам, устами своих сказителей, своих Гомеров и Гесиодов. Минули на Руси эпохи дворянской и аристократической литературы, разночинной и купеческой, пролетарской с её многочисленными “попутчиками”, а русский народ всё дожидался часа услышать правду о своей жизни и судьбе от своих сказителей — от сохи, из крестьянской избы, плоть от плоти народной, знавших мужика не как баре, пусть и сочувствующие, вроде Льва Толстого, не как разночинные интеллигенты, вроде Чехова или Горького, взиравшие на него опасно и сторожо, а так, как может знать только свой, всамделишный, коренной деревенский человек. Без умиления и прикрас, но и без снисходительности старшего брата. Предвижу возражения: дескать, природа художественного гения такова, что бесстрашно пронзает толщу сословных перегородок, и пушкинский Савельич как народный образ ничуть не менее достоверен, чем беловский Африканыч. Всё так, но одним художественным даром эта задача не решается, есть ещё и понятия крови и родовой памяти.

С. Есенин, М. Шолохов, А. Твардовский, Н. Клюев, Павел Васильев, Ф. Абрамов, В. Солоухин, Е. Носов, К. Воробьёв, В. Шукшин, Н. Рубцов, В. Распутин, В. Белов, В. Личутин с огромной художественной мощью сказали в нашей литературе то, чего нельзя было не сказать. О России, о гибельных и победных путях народа в XX веке, о его заблуждениях и поисках, о жизни и смерти, об обретении смысла бытия.

И в этой сверходарённой компании, великой по самым высоким меркам мировой литературы, Астафьев выделялся масштабом своего редкого, истинно народного таланта, удивительным русским языком, сочным и образным, непревзойдёнными картинами стремительно исчезающей *не-городской* натуры и эпическими, громокипящими сказаниями о слиянии человека с природой, чуть ли не последними в русской словесности.

“Вы ведь первые, кто уже только на асфальте вырос”, — с сожалением и даже, как показалось мне, с укором бросил он мне как-то в дни наших встреч в бетонной тени нью-йоркских громад. Дескать, что с вас взять, убогих, городских, обделённых счастьем соития с Божьим миром?

Читатель сразу углядел в произведениях Астафьева литературу, а не беллетристику, подлинную правду, а не наигрыш, пусть и талантливый. И не мог не откликнуться на это, ибо для сотен тысяч людей в России настоящее Слово по-прежнему значило много.

“Я убеждён, что занятие литературой – дело сложное, не терпящее баблства, никакой самодеятельности, и нет писателю никаких поблажек, – сказал как-то суровые, беспощадные слова о своём ремесле Виктор Петрович. – Сорвёшь голос – пеняй на себя. Захочешь побережешься и петь вполголоса – дольше проживёшь, но только уж сам для себя и жить, и петь будешь. Однако в литературе жизнь для себя равносильна смерти”.

Он – израненный и испытывавший столько жизненных ударов – никогда не берёг себя. Как, впрочем, и других. Истинно русский был человек.

* * *

Могилу лейтенанта Бориса Костяева, умершего в санитарном поезде от “лёгкой” раны уже на излёте войны и преданного земле на глухом, заброшенном полустанке, где “тенью проступает хребет Урала”, находит женщина, которую он любил. Этой сценой – библейски печальной, немногословной, пронзительной – начинается и заканчивается повесть Астафьева “Пастух и пастушка”:

“...И послушав землю, всю засыпанную пухом ковыля, семенами степных трав и никотинной полынью, она виновато сказала:

– А я вот живу. Ем хлеб, веселюсь по праздникам.

Низко склонившуюся над землёю седую женщину с уже отцветающими древними глазами засыпало порошей семян. Солнце закатилось за горбину степи, всё так же калила небо заря, и, слушая степь, она почему-то решила, что он умер вечером. Вечером так хорошо умирать.

Закат неторопливо погас. Сок его по жилам трав скатился в землю. Сухо и чисто шелестела степь. Скакало что-то на мохнатых лапах, то западая, то выпрыгивая на чуть уже заметный свет. Это вырвало и гнало ветром куст до тех пор, пока он не упал в дотлевающий костерок зари.

– Господи! – вздохнула женщина и дотронулась губами до того, что было могилой, но уже срослось с большим телом земли.

Костлявый татарник робкой мышью скрёбся о пирамидку. Покой окутывал степь.

– Спи! Я пойду. Но я вернусь к тебе. Скоро. Совсем скоро мы будем вместе. .. Там уже никто не в силах разлучить нас.

Она шла и видела не ночную, благостно шелестящую степь, а море, в бескрайности которого качалась одиноким бакенем пирамидка, и зыбко было всё в этом мире.

А он, или то, что было им когда-то, остался в безмолвной земле, опутанный корнями трав и цветов, утихших до весны.

Остался один – посреди России”.

Помню, впервые читал эти страницы в начале 70-х годов – совсем молодым, беззаботным, беспредельно уверенным в себе и в жизни, и – не было сил оторваться. В один присест проглотил, прожил, прочувствовал так, что перехватило дыхание, это сказание о войне, любви и смерти. И понимал всем существом своим: это – настоящее.

Уставился потом в никуда невидящими глазами, не в силах стряхнуть ощущение волшебства, сотворённого Словом, возвратиться Оттуда в день сегодняшней. . .

Потом были “Звездопад” и “Печальный детектив”, “Царь-рыба” и “Последний поклон”, “Ловля пескарей”, наделавшая столько шума. . . Но то – первое! – ощущение надсадной тяжести войны, любви – как удара молнии, гигантского одиночества смерти осталось. Вместе с потрясением от великого писательского дара Астафьева.

Во всякой настоящей литературе есть неизъяснимая тайна. Кажется: ну, вот они, совсем простые, безыскусные слова, всякому под силу их знать и употребить – и плетётся вязь из этих слов, неторопливая, спокойная, тоже вся на виду. А рождается тайна. . . “В кремне огня не видать”, – говорит про то половица. . .

В 60–70-е годы шум в столицах стоял от В. Аксёнова, Ю. Семёнова, Б. Ахмадулиной, Б. Окуджавы, отпрысков номенклатурных фамилий, от западных писателей, коими непрестанно потчевал изысканную публику журнал “Иностранная литература”. Стремительно взошла и закатилась переменчивая звезда изгнанного А. Солженицына. А военное поколение писателей задвигалось на второй план: мол, чего с них взять? Они дописывают вчерашний день, работают в традиционном ключе и вообще слишком приземлённые, слишком почвенники, чтобы занимать умы и воображение изощрённых интеллектуалов.

Шло время, всё астафьевское мною прочитывалось, ничто не пропускалось, каждая вещь ловилась, как желанная весть. Кто знал, что через годы доведётся встретиться с ним далеко от России, на другом конце света?..

* * *

...Осенние утра в Нью-Йорке удивительны. Причудливая, не похожая ни на что панорама Манхэттена медленно выплывает из серо-синей полумглы, прочерчивая светлеющее небо кубическими очертаниями строений. Наступающий день мягко, неспешно сползает вниз по стеклянным глазницам небоскрёбов, впуская свет в узкие улицы, под завязку забытые задремавшими ненадолго машинами. По здешним понятиям ещё тихо — шумят только вентиляторы кондиционеров на крышах, да изредка протарахтит со станции на высотке неподалёку ранний вертолёт, развозя пассажиров в аэропорты, рявкнет сиреной полицейский патруль или захлебнётся сдавленным воем “Скорая помощь”.

Нью-Йорк вообще никогда не спит, но всё же выдаётся эта зыбкая, короткая, как вздох, пора на грани света и тьмы, когда город — самое близкое подобие Вавилона в современном мире, — словно усталый зверь, замирает перед прыжком в новый день, в очередную свалку, сутолоку и суету. Это редкие и потому, наверное, лучшие здесь минуты.

Всего час или два назад Нью-Йорк, весь в блеске и мишуре, взбрыкивал, как старый боевой конь; чтобы это почувствовать, достаточно было смешаться с пёстрой и праздною полночной толпой на пересечении Таймс-сквер и Бродвея в западной части города. И в час, и в два, и в три ночи тут светло, как днём, шумно и запружено народом. Кого и чего здесь не увидишь! Туристов со всего света, вконец ошалевших от таранного напора “столицы мира”, сутенёров с жирными пальцами в громадных перстнях, предлагающих живой товар на любой вкус: чёрных, белых, жёлтых проституток любого пола и любой сексуальной ориентации, торговцев наркотиками с цепкими, холодными глазами.

Какой-то малый с копной огненно-рыжих волос, густо усеянный веснушками по белой коже, разложив прямо на тротуаре небольшой чемодан, предлагает из него любому желающему часы — всего по червонцу: “Берите! Покупайте! Лучшее предложение в вашей жизни! Такого шанса у вас больше не будет! — надсаженным голосом взывает он к шелестящей мимо толпе. — Не спрашивайте меня, где я достал эти часы. Я же вас не спрашиваю, где вы достали свои деньги!” И разводит бледными руками, на которых тоже веснушки. Народ улыбается — здесь любят рискованых, — останавливается, торгуется и... покупает. Напёрсточники, хваткие, поджарые, перебирают ногами, как борзые перед гоном, с блестящими глазами то ли от азарта, то ли от “травки”, всегда в ходу, всегда при деле, ибо отбоя нет от зевак-прохожих, готовых обмануть фортуна, сорвать куш. Судьба-то — индейка, а жизнь — копейка. Цифры государственного долга США, с огромной скоростью бегущие здесь же, на огромном, в несколько этажей неоновом панно, веско и предметно напоминают всем о тщете потуг к здравому смыслу и осмотрительности.

Здесь же в огнях реклам соревнуются друг с другом уличные оркестры. Однажды я с удивлением услышал, как трубач, саксофонист, тромбонист и ударник бодро наяривали “Бывает всё на свете хорошо”, — видно, привезли наши евреи-эмигранты. В это время на проезжей части водитель огромного лимузина, похожего на броневик, ослепительно сверкающий хромом и никелем, выписывает немислимые кренделя; одна рука — на баранке, в другой — труба, на которой он во всю мощь лёгких выдаёт залихватское соло. Никто тебя не развлечёт, если не развлечёшь себя сам, — таков подход нью-йоркцев к ночной жизни. “Нью-Йорк, Нью-Йорк, чёрт, а не город”, — пел Фрэнк Синатра к неизменному восторгу местных жителей. “Пестрота, разгул, волне-

нье, ожиданье, нетерпенье”, – будто бы про здешних жителей писал Нестор Кукольник. . .

* * *

Осень 1989-го. Я уже два года, как собственный корреспондент “Правды” в этом городе. Первые месяцы в США тянулись долго – в глухой тоске по дому, родным и друзьям, по привычному и устоявшемуся укладу московской жизни. Долго, очень долго хотелось улететь в Москву с каждым рейсом “Аэрофлота”, которые я провожал в аэропорту имени Кеннеди. Всякий раз острой завистью завидовал я отъезжающим, которые часов через 10–12 будут мчаться из Шереметьево по широченному Ленинградскому проспекту! Домой! Домой! И вдруг однажды, провозжая в Москву гостившую у нас сестру, поймал себя на незнакомом и странном ощущении: отрешённости. Понял, что прижился, притёрся, привык, стал считать Нью-Йорк своим. На меня уже был спрос на “Си-эн-эн” и на других американских телеканалах, я выступал регулярно в программах “Найтлайн”, “Доброе утро, Америка”, “Кроссфайер” (“Перекрёстный огонь”) Патрика Бьюкенена и Роберта Новака – консерваторов, острых на язык, известных всей стране, с удовольствием “поджаривающих” на потеху публике своих гостей заковыристыми вопросами. Спорил там с Мадлен Олбрайт, в прошлом аспиранткой Бжезинского и будущим госсекретарём США в правительстве Б. Клинтона. В передаче “Международные корреспонденты” появлялся вместе с журналистами других стран. Там, в частности, произошла встреча в эфире с итальянцем Дззукони, который сделал в газете “Республика” разгромный репортаж о скандальной поездке Ельцина в США в 1989 году, обвинив его в беспробудном пьянстве. Ельцин и впрямь тогда *не просыхал*, а однажды даже помочился на самолётное колесо прямо на аэродромном поле. Сейчас это ведомо всем и каждому, а тогда перепечатка этого материала в “Правде” стоила тогдашнему главному редактору Виктору Афанасьеву его должности. Горбачёв и Яковлев тут же уцепились за возмущение читателей “злобным партийным наветом” на тогдашнего кумира толпы. Сотни людей демонстративно жгли “Правду” у входа в редакцию, тысячи читателей возвращали подписку на газету. И миллионы по всей стране были, как вирусом, внезапно поражены повальной слепотой, детским легковерием и в иступлённом экстазе взирали на Ельцина, как на долгожданного спасителя Отечества. . .

Через пару недель была свалена Берлинская стена, а год спустя Шеварднадзе с преступной лёгкостью сдал Западу ГДР, подписав в Нью-Йорке четырёхсторонний договор с США, Великобританией, Германией и Францией. После этой церемонии я шёл рядом с ним в другой зал, где начиналась сессия ОБСЕ.

“А к чему туда идти? Главное-то уже решено. . .” – обратился я к седовласому министру иностранных дел СССР, одетому в щегольской тёмно-синий костюм. Шеварднадзе улыбнулся обезоруживающей улыбкой хорошо натренированного партийного тамады, схватил меня за руку, ласково потряс её и. . . не сказал ни слова в ответ. В зале заседаний царило необычайное оживление. “Западники” чуть не взмывали в воздух от восторга – обнимались, поздравляли друг друга, смеялись, жали руки. “Вот оно, – думалось при этом, – новое поколение чемберленов с мюнхенскими обещаниями “привезти вечный мир”. На делегатов ГДР во главе с министром иностранных дел было страшно смотреть: бледные, растерянные, с ужасом, застывшим в глазах, они в одну минуту стали политическими трупами. Предательство наше было слишком очевидно, слишком вероломно. . . Так Горбачёв, не моргнув глазом, сдал немцам целую страну.

У нас – разгар перестройки, стремительно переходящей в разгул. Освобождение от всех и всяческих табу. Жажда справедливости, вылившаяся в отчаянную борьбу с привилегиями номенклатуры. Все с горячным вожделием ждут от газет новых разоблачений ГУЛага.

Бросалась в глаза беспомощность тогдашней советской элиты, её полная неспособность совладать с вихрем перемен. И – по контрасту с ней – бесовская активность разрушителей, действующих решительно, нагло, осмысленно.

В самом конце октября 1989 года вместе с другими советскими журналистами, аккредитованными в Нью-Йорке, я вылетел в Питтсбург, второй по величине город в Пенсильвании. Разрешение на любую поездку за пределы 25-мильной зоны в те годы запрашивали у госдепартамента США минимум за три дня. Поводом была очередная встреча советской и американской общности под ничего не говорящим нашим участникам названием “Чаттокуа в Питтсбурге”. В местечке с индейским названием Чаттокуа когда-то начинались эти диалоги представителей СССР и США, продолженные теперь в Пенсильвании.

“Конференции”, “семинары”, “чтения” и “диалоги” с нашим участием обрели в перестроечные годы в США характер эпидемии: они устраивались с поразительной частотой и в несметном количестве. Американцы из верхов, чьи мозги были крепко настояны на протухших дрожжах “холодной войны”, долгое время подозревали, что перестройка – очередная после разрядки 70-х годов тактический ход хитроумной и коварной Москвы, придуманный для “идеологического разоружения” Запада. Даже прожжённым советологам в голову не приходила дикая мысль о том, что никаких планов и задних мыслей у Горбачёва со товарищи не было и в помине. СССР под водительством “новомышленцев” стремительно летел под откос. Куда должна была вывести кривая разрядки и ускорения, никто не ведал.

Но американцам, как людям рациональным, пекущимся о своих национальных интересах, очень хотелось это знать. Поэтому они беспрестанно созывали всевозможные советско-американские сходки, где дотошно выпытывали у всякого посланца из пошедшей в полный разнос Страны Советов, что же на самом деле на уме у очередных кремлёвских мечтателей. Вопросы американцев на любой конференции или семинаре были одни и те же, что навело на нехитрую мысль: их просто под копирку разгоняли повсюду соответствующие американские службы. Денег и напитков не жалели. В Нью-Йорке однажды даже провернули грандиозный сбор под крышей южнокорейского проповедника Муна, куда пригласили около 300 избранных гостей из Советского Союза – абсолютно неслыханное расточительство по американским понятиям! Все официальные заседания и все междусобойчики в кулуарах тонули в бесконечных разговорах о горбачёвской перестройке и пресловутом “новом мышлении”.

“Откуда вообще взяться “новому мышлению” в тех же головах? – с наивной горячностью выпытывал я у встреченного в Техасе на Дартмутской встрече знаменитого в те годы философа М. Мамардашвили. – Какие химические реакции должны произойти, чтобы вчерашние мозги вдруг, ни с того ни с сего, начали думать по-новому?” – “На поворотных этапах истории новое мышление может возникать, – с доброжелательной улыбкой наставлял меня опальный в недавнем прошлом любомудр. – Случается это редко, но всё-таки случается”.

Питтсбургская конференция проходила в местной “сирийской мечети” – здании эклектическом во всех смыслах, с пёстро размалёванным верхом на манер куполов нашего храма Василия Блаженного. Стены отделали под посеребривший от времени ракушечник, а вход в мечеть охраняли стальные сфинксы, излаженные под древнеегипетских, хотя фараоны, как известно, в силу своей исторической отсталости, с учением пророка знакомы не были. Скорее всего, устроители выбрали мечеть потому, что арендная плата за неё была всё-таки божеской.

Советскую делегацию возглавляла Валентина Терешкова – изящная, сдержанная, немногословная. Протянула руку в ответ на моё приветствие, узнав, – в Москве мы встречались, – улыбнулась. За окном – мягкий октябрьский вечер. Дивная пора, золотая осень – “индейское лето”, как называют в Америке наше “бабье”.

На одном из неперемных вечерних фуршетов мы оказались рядом с Виктором Астафьевым, я тут же представился ему как давний его поклонник и корреспондент “Правды” в Нью-Йорке. При Астафьеве в эти дни неотступно крутился какой-то поджарый американец, – то ли из госдеповских, то ли из прочих служивых структур, – человек с абсолютно стёртой, незапоминающейся внешностью.

Астафьев располагал к себе мгновенно. В нём не было ни намека на фальшь, ни на привычное московское византийство, ни претензий на позу “великого” мэтра. Он сразу перешёл на “ты”, смеялся, шутил, вспоминая хохмы из сегодняшнего заседания, рассказывая анекдоты на сельские темы, которых знал великое множество, не забывая при этом закусывать и, само собой, вставать в очередь к стойке бара за подкреплением. В голубой спортивной ветровке, в белой рубашке с галстуком, в тёмных брюках и чёрных башмаках, Виктор Петрович, как теперь говорят, “оттягивался”, как и все, с заметным удовольствием.

Крупная, львиная голова на коротковатой шее, волевое, обветренное до красноты, стремительное лицо, на котором тотчас читались любые перемены настроения, ослепительная улыбка, светло-карие глаза, мощные руки. Шрамы на левой руке, шрамы на лице. . . И эти знаки войны, и отяжелевшая стать, и благородство облика заставляли угадывать в нём образ воина, вечный во все времена, будь то суворовский солдат-ворчун или ветеран галльских походов Цезаря. “У кого короткий меч, подходи к опасности ближе”, – советовал один из римских полководцев. Астафьеву, кажется, подходили эти слова.

* * *

В один из дней после обеда повезли всю советскую делегацию в торговый центр на окраине Питтсбурга для покупок. На “шопинг”. Тогда это слово было для наших путешественников в диковину, не то что теперь, когда оно пролезло в русском наречии в первый ряд благодаря усилиям “челноков”, беззаветных тружеников на злачной ниве потребительского прогресса. Предусмотрительные американские хозяева, раз уж им пришлось изрядно раскошелиться на конференцию, решили обставить поход русских в торговые ряды с максимальной пропагандистской пользой для “свободного мира”. Подрядили две телевизионные группы для съёмок и рассчитывали получить “горячие кадры”, над которыми наверняка будет потешаться доверчивый американский зритель: как “советские”, вконец потеряв головы и одурев от неслыханного изобилия, будут сметать с прилавков трусы, жвачку, колготки, видюшки с телевизорами, тогда бывшие в бешеном дефиците на родине социализма. Обыкновенно это срабатывало – не зря в те годы наших туристов на Западе прозывали “пылесосами”.

День выдался серым, влажным и ветреным. Временами мелким бисером сыпал дождь. Советская группа расчехлила японские зонтики, но на настроении непогода никак не сказывалась: все без умолку гомонили в оживлённом предвкушении больших закупок. Вывалившись из автобуса, телевизионщики сразу пристроились к Астафьеву – камеры отслеживали каждый его шаг и каждое слово. Почему они выбрали именно его, неясно. Колоритная ли внешность Астафьева была тому причиной? Или тамошние тележурналиги получили наводку от начальства: дескать, присматривайте за человеком, весьма близким в ту пору к самому Горбачёву? Само собой, телевизионщики и понятия не имели, что перед ними известный советский писатель. За американское невежество можно было ручаться головой. В этой стране, где всерьёз могли спросить, кто нынче король в Германии, на общую эрудицию рассчитывать не приходилось.

Но Астафьев, похоже, и сам быстро смекнул, что к чему, и не собирался ударить в грязь лицом перед всегда улыбчивыми и предусмотрительными хозяевами. “Где тут продаются аудиокассеты?” – громко спросил он – так, чтобы слышали окружающие. Съёмочная группа, учитывая, но напористая, закинув на плечи штативы телекамер, гурьбой двинулась за ним, на ходу разматывая кабели. Звякнув колокольчиком входной двери, толпа ввалилась в магазин. Длинногривый продавец у стойки заметно напрягся. “У вас есть “Дон Карлос” Верди? Или “Парсифаль” Вагнера?” – с расстановкой, отчётливо произнёс Виктор Петрович. Я переводил. Продавец стушевался: обычно спрашивали что-нибудь попроще. “В исполнении “Ла Скала”?” – продолжал напирать Астафьев. “Извините, сэр, сейчас нет”, – вежливо выдавил продавец, растерявшийся, побледневший от неожиданной просьбы клиента и от напряжённого внимания толпившихся вокруг журналистов. Обескураженные телевизионщики, разочарованно вздохнув, начали бесшумно сворачи-

вать аппаратуру. “Забойного” телесюжета о “голодных и диких советских потребителей” с Астафьевым явно не получилось.

“Я ведь теперь классику собираю, – слегка смущаясь, признался он уже на выходе из магазина. – В Красноярскую филармонию стал ходить”.

* * *

Само собой вышло так, что встретились мы с ним в Нью-Йорке уже на следующий день после окончания конференции, провели, почти не расставаясь, ещё два долгих дня вместе. “Мне почему-то всегда с правдистами везёт, – возбуждённо делился Виктор Петрович со мной по дороге из Питтсбурга. – Ага. В Афинах с Володей Потаповым общался, в Париже – с Большаковым” (тогдашние корреспонденты “Правды” в этих европейских столицах). “Стало быть, тянет вас к партийной печати”, – не удержался я.

Но просто так в жизни ничего не случается – ни встречи, ни расставания, ни воспоминания. К Астафьеву люди тянулись, движимые инстинктом общей цели, как говорил по другому поводу в своих стихах Ст. Куняев. Десятилетиями с Астафьевым дружили Валентин Распутин и Савва Ямщиков, Валентин Курбатов и Анатолий Заболоцкий, снимавший “Калину красную”. Годы спустя и мне посчастливилось сойтись с ними, пригласить в члены Общественного совета газеты “Слово”. Чем, если не Божьим промыслом, объяснить эти почти предопределённые сближения?

Виктора Петровича по утрам я забирал на корпунктовском белом “Олд-смобиле” из гостиницы “Дорал инн” на Вест-сайте, в номерах которой годами останавливались командированные из СССР и где у американских пинкертонцов всё было давно отлажено по части подслушки и киносъёмки советских граждан. Невод забрасывали широко, без скидок на положение. Глядишь, какой ни то компромат сам упадёт в руки: чья-то сверхжадность, на которой можно при случае сыграть, адюльтер примерного семьянина по пьяной страсти. Словом, работали американцы, зря казённый хлеб не ели.

Я привозил красноярского писателя к себе в корпункт “Правды” – на 38-й этаж дома № 515 на 72-й улице Ист-сайда. Бесшумный лифт взмывал между этажами так стремительно, что закладывало уши. На балконе из тёмно-серых плит, с невысоким – чуть выше пояса – широким парапетом гулял свежий осенний ветер. Глянув вниз со стометровой высоты на улицу, съёжившуюся до размеров школьной линейки, Астафьев только ахнул: “Ну, и высотыща!”.

Прямо, насколько хватало глаз, расстился Манхэттен. В полукилометре слева поблескивали тёмные воды Ист-ривера, змеей вдоль неё вилась набережная Рузвельта, добегая до закованных в ажурную сталь Бруклинского и Манхэттенского мостов. А дальше, направо, разновысокие и великолепные в своей мощи “Крайслер билдинг”, рокфеллеровский “Эмпайр стейтс”, “Панам”, “Ситикорп”, две башни-близнецы Всемирного торгового центра и к западу, уже на Вест-сайте, “Трампа тауэр”, “Галф энд Вестерн”... Пиршество бешеных денег, полёт американского строительного гения, царство стали, стекла и бетона.

Лёгкие облака, гонимые ветром, стремительно перемещались в густеющей синеве ясного неба. Снизу тянулись навечно примерзшие к Нью-Йорку звуки, сливающиеся воедино, не знающие передыху ни днём, ни ночью: визг и вой пожарных, скорых, полицейских машин, иногда стрельба – какофония гама, симфония контрапункта... “Красиво, – задумчиво произнёс Виктор Петрович, внимательно вглядываясь в городские очертания. – Но как здесь жить-то, среди сплошного камня и стекла?”

Сегодня исчезли навечно из знаменитой панорамы взорванные 11 сентября 2001 года башни-близнецы Всемирного торгового центра, давно разорилась авиакомпания “Панамерикэн”. Словом, *иных уж нет, а те далече* – не только о людях, но и о зданиях так тоже можно сказать...

* * *

Запись тех дней из моего дневника:

“1 ноября 1989 года.

В. Набоков пишет в одном из своих писем из Нью-Йорка: “Тут дивный вид

из окна на Центральный парк – гобеленовые купы деревьев, а с боков, оттенённые сиреновой гуашью, таинственные небоскрёбы под пуссеновым небом”.

Во всём этом бездна изыска, пропасть культуры, бесконечное любование собственным эстетством. Но и холодом веет страшным! Набоков, несомненно, из того пласта, из того тонкого слоя, который владеет высочайшей культурой. Свободно говорил и писал на нескольких европейских языках, обнаруживал несравненное владение словом, блестящий ум...

Но мне куда ближе Астафьев, с которым только что познакомился, – приземистый человек с вырубленным, крестьянским лицом, иссечённым морщинами, с покалеченной на фронте рукой, щедро пересыпающий свою речь матом и совсем не дурак выпить.

Потому что Астафьев – плоть от плоти народной, сколок тяжкой народной судьбы, нашедший в себе силы восстать и сказать своё болью напоённое слово. А Набоков – бесстрастный любователь красотой. Его Галатея, – если даже допустить, что он её создал, – никогда не оживёт”.

Но сам Астафьев к разговорам о культуре, об образовании возвращался в эти дни неоднократно: видно было, что эта тема в ту пору его сильно задевала. “Ну, какая у нас, “деревенщиков”, культура? Образование? С моей семилеткой да ФЗО! Ни языков не знаем, ни мировой литературы! Нигде не были, куда нас не пускали, понятия не имели, как люди за границей живут, о чём думают. До всего пришлось доходить самим уже в зрелом возрасте. Я ведь и Бунина впервые в сорок лет прочитал!” – горячо, с горечью говорил. “Может, и слава Богу, что так, – спорил с ним в частностях я. – Прочти вы его в восемнадцать, Бунин, может, навсегда заглушил бы в вас всякое желание писать. Ведь сотворить неоперившемуся новичку нечто подобное зрелой бунинской прозе – дело заведомо неподъёмное”.

Любопытно, что в речах уже творчески полностью сложившегося Астафьева, а иной раз и в его переписке ощущалась даже некая бравада своими корнями, происхождением, “народностью”: вот, мол, мы какие – *земляные, нутряные, посконные!* Но как художник в лучших своих вещах он был безупречен. И, наверное, был прав, vesко заметив в одном из своих последних интервью: “За нами были Тургенев, Лесков, Бунин. И я думаю, что мы не унизили ни их, ни литературу”.

Василий Ключевский, наш знаменитый историк, очень точно заметил по этому поводу: “Есть люди, у которых язык умнее их самих”.

* * *

В домашней уединённости Нью-Йорка после питтсбургской, почти коммунальной, толчеи, мельтешения лиц и застолий общение с Астафьевым стало другим. Чувствовалось, как зорко, дотошно и придирчиво присматривается он ко всему. Оглядев небольшую, со всеми окнами на юг, квартиру, ладную, уютную, но без неизбежных для оседлого быта мелочей, так многое говорящих о хозяевах и придающих свой колорит любому жилью, обронил: “А всё-таки казенный у вас дом, нежилой. Не свой!” Здесь я и не спорил: “Ясно, не свой, Виктор Петрович! Дом-то наш в Москве. А потом, ведь вся американская цивилизация такая – без корней, вечно на колёсах. Что ж мы – будем рушить их монастырь своим уставом? А если серьёзно, в Нью-Йорке у нас есть и комфорт, и удобства, и деньги, да вот только вся жизнь “не в зачёт”, всё считаешь дни до отпуска, до встречи с родными”.

Заметив в кабинете фотографию моего отца в генеральской форме, Астафьев не удержался, едко выпалил: “Не люблю генералов! Ни военных, ни политических! Натерпелись мы от них и в войну, и до, и после”. “Ну, до генерала-то ещё надо было дослужиться, – не соглашался я с ним. – Когда я родился, он был капитаном, в 42-м на фронте вступил в партию, тогда за это коврижки не полагались. Расстрел при взятии в плен”.

Но Виктор Петрович спорящих с ним не жаловал, заводился с полоборота: “Да что ты говоришь? Воевали наши начальники, не щадя не своих – солдатских жизней. Приказ выдают: “Киев взять к 7 ноября!” К празднику! А на кой ляд? Положили лишних тысяч сто – я ведь был на форсировании Днепра, знаю, видел, как это делалось. И при штурме Берлина то же самое – взять опять-таки к празднику, к “Первому мая”, – передразнил он полководцев из

народа, распаяясь всё больше. “Мать их ети! Генералам отрапортовать надо, чтобы ещё один орден получить, ещё одну звезду на погоны. А в Ленинграде в блокаду уморили голодом и холодом почти миллион человек – никто и не знает в точности, сколько. Сдать надо было город немцам, людей бы спасли. Только кто когда у нас жалел людей?!”

“Начнись война сегодня, я бы ни за что добровольцем не пошёл. И внукам своим заказал бы. Я своё отдал сполна”, – устало произнёс он, завершая болтовню для него тему.

Я слушал его с удивлением: всё это было очень похоже на то, что тогда на все лады перепевалось нашей “демократической” прессой. Егор Яковлев закончился для меня как журналист и как человек, когда на первой полосе “Московских новостей” опубликовал ко Дню Победы 9 Мая фотографию: русские крестьяне со спущенными штанами встают со скамьи, на которой немцы их банально порол. “Нате, вот вам ваш “пир победителей”, – хотел этим проорать Яковлев! Всё это было настолько гнусно, низкопробно, подло, что оставалось только зубами скрипеть от обиды. Но узреть подобное от творца “ленинианы” Яковлева было одно, услышать от фронтовика Астафьева – совсем другое.

В конце концов, кто на кого напал? Мы, что ли, приглашали к себе немцев в 41-м? Разве мы затеяли войну на тотальное истребление? Почитайте хотя бы план “Барбаросса” – его ведь не советские пропагандисты писали! Там русским, которых должно было остаться около 50 миллионов, отводились северные территории, чтобы подышали сами собой. За войну заплачено невыносимой ценой, это верно. Как вооружали ополченцев октября 41-го года в Москве, вспоминал потом один из них, Юрий Владимиров, в своей книге “Война солдата-зенитчика”: “Нашему отделению в 12 человек досталось пять винтовок, – чётко рапортовал он на страницах книжки, напроць лишённой каких бы то ни было литературных изысков, но от этого особенно достоверной. – Из них две отечественные, мосинские, образца ещё 1891 года, а три – польские, оказавшиеся в СССР как трофеи после похода Красной армии в сентябре 1939 года в Польшу”. Вот так и начинали воевать. Но войну выиграли, потому что спасали Россию! Всё это я сумбурно и запальчиво высказывал Астафьеву в накуренном кабинете, где мы остались вдвоём. Наши дочери Маша и Саша, шаловливые и резвые, заметно присмирели, слыша из соседней комнаты наши разгоряченные голоса.

Обедали все вместе за большим столом в гостиной. Ветер теребил светло-серые пластмассовые жалюзи на отворённом окне. С реки тянуло запахом воды, смешанным с острым дизельным чадом. Коротко и звучно просигналил с Ист-ривер прогулочный катер.

Астафьев ел неторопливо, без спешки, по-крестьянски основательно. “Ну, и чему вас в школе учат? – спрашивал он у детей, брал на руки младшую, 6-летнюю Сашу, смеясь, рассказывал, каким озорником растёт его внук.

Мне же не терпелось перейти к главному: услышать его мнение о своих первых литературных опытах. Надев толстые очки в тёмной оправе, читал он мой рассказ о перестройке, опубликованный в “Смене”, – неспешно, развернувшись за столом вполоборота, подперев подбородок одной рукой и держа журнал на отлёте в другой. “Бойко написано, – великодушно сказал он, закончив чтение. – Мы в этом же журнале много слабее начинали”.

– Понимаю всё его несовершенство, – в тон ему отвечал я. – Рассказ, конечно, “головной”, выдуманный, хотя и основан на реальном факте.

– А ведь рассказа в нашей современной литературе нет, – убеждённо, как давно выношенный приговор, произнёс Виктор Петрович. – Замечательный мастер рассказа был Юрий Казаков! И Юрка Нагибин здорово в этом жанре работает. Работоспособный чёрт! Ага. Уж как ни пьёт, а способности выдавать прекрасные вещи не теряет. Из нынешних поэтов, считаю, самый сильный – Юрий Кузнецов.

Вечером пошли с ним ужинать. На выходе из дома Мэтью, рослый, дородный привратник-негр лет 45-ти, услужливо распахнул массивные, выдраенные до прозрачного блеска стеклянные двери. “Добрый вечер, мистер Линник”, – с вышколенной приветливостью произнёс он высоким голосом, всегда неожиданным для человека таких внушительных габаритов. Сильно хромавший, он с удивительной проворностью отскочил в сторону, пропуская нас. “После ранения во Вьетнаме припадает на ногу, – сказал я Виктору Петровичу, поздоровавшись с Мэтью за сегодня уже в пятый раз (американцы, как известно, здо-

роваются на дно столько раз, сколько видятся). — Вообще, разный народ оказывается в привратниках на Манхэттене. Пару лет служил у нас Янек, худой, тихий поляк. Не сразу и признался, что знает русский язык. По-русски со мной всегда говорил шёпотом, боялся, чтобы коллеги не засекали”.

... Уже годы спустя читал я в письме Астафьева Валентину Курбатову, написанном 2 декабря 1989 года, то есть через месяц после его пребывания в Штатах, такие слова: “... Я углубился в роман после поездки в Америку, где все работают хорошо, много смеются, здороваются друг с другом, а не говорят про работу и не перегрызают глотки друг другу”. Такими были его американские впечатления, разбавленные обязательным у него в ту пору выпадом в адрес соотечественников...

Вечер был тёплым, со стойкими, присущими только Нью-Йорку, запахами и ароматами — сладковатой бензиновой гари, прогорклого масла, на котором уличные торговцы готовят всё подряд: плетёные бублики “претцелы”, рецепт которых вывезли эмигранты из Австрии, “хот-доги” с квашеной капустой к ним. В ближайшем итальянском ресторане на 73-й улице — тёмном, с приглушенным светом низко навешенных ламп с зелёными абажурами, с безупречно выглаженными, тоже в тон зелёными скатертями на столах — было всегда пустынно. Время от времени ко входу подкатывали огромные чёрные лимузины, пассажиры которых тут же скрывались в уединённых кабинетах в задней части зала на первом этаже. Водители часами ждали их возле дверей. Спортивно сложенные, с накачанными бицепсами брюнеты с непроницаемыми лицами прислуживали в зале и за стойкой бара. Как такое, никогда не имевшее аншлага заведение могло окупаться или тем более приносить доход, оставалось загадкой. Потом мои американские друзья снисходительно разъяснили мне, что держит такие рестораны итальянская или другая мафия, отмывает с их помощью “чёрный нал”, полученный за наркотики или иные платные услуги населению. Сегодня и в Москве полно таких заведений, в которых никогда не бывает посетителей, на что хозяевам искренно наплевать, — держат они эти точки общепита для тех же надобностей.

Взяли по бифштексу, зелёный салат, овощи, бутылку красного вина. “Может, чего покрепче?” — на правах хозяина осторожно поинтересовался я. “Нет, разгуливаться не будем, — улыбнулся Виктор Петрович. — Это раньше, по молодости, завертели бы. А теперь ни к чему”.

Как они загуливали, видно из одной записи за 1971 год в дневнике Юрия Нагибина, с которым Астафьев одно время был крепко дружен:

“Грандиозное заседание редколлегии “Нашего современника”, превратившееся прямо по ходу дела в грандиозное пьянство. “Помянем Феликса!” — так это называлось. Недавно назначенный редактором “Молодой гвардии”, наш бывший шеф, Феликс Овчаренко, 38-летний красивый и приятный парень, в месяц сгорел от рака желудка...”

На редколлегии как всегда прекрасны были В. Астафьев и Е. Носов, особенно последний. Говорили о гибели России, о вымирании деревни, всё так откровенно, горько, по-русски. Под конец все здорово надрались. Я, конечно, разошёлся и, непонятно зачем, отказался от премии за рассказ “Машинистка живёт на шестом этаже”. Из благодарности, наверное, что меня приняли в этот сельский клуб. Продолжали мы втрём в ЦДЛ, а потом у меня до шести часов утра. Ребята и на этом не остановились. Кончилось тем, что Женю Носова отправили к Склифософскому с сердечным приступом. Для меня же наша встреча явилась хорошим противоводием от моего обычного низкопробного литературного окружения”.

Но здесь, на 73-й, всё было тихо и чинно, под стать нравам хорошо вымуштрованной итальянской мафии. Ожесточение, которое так или иначе ощущалось в Астафьеве все эти дни даже здесь, за границей, где обычно все командировочные размякают, оттаивают, оторвавшись от привычных забот, обязанностей и семейного надзора, ненадолго оставило его. Иногда отвлекался: “Главное, семью сохрани. Без этого никак нельзя”, — подперев голову, тихо бросил мне, казалось бы, ни с того ни с сего. “Как он видит и упоминает всё”, — ещё раз подивился я про себя. Но очень скоро в грехоте приращения страны и профессии, в распаде дружеских и семейных уз разлетелась на куски и моя семья...

Из колонок ресторанный музыкальный центр бархатный голос Нэт Кинг Кола пел “Очарование”. Бесшумные кондиционеры в стенах мягко затягивали стелившийся вдоль столов сигаретный дым.

“А знаете, Виктор Петрович, ведь я заплакал на последних страницах “Пастуха и пастушки”, – только теперь признался я ему. Ответом мне был долгий, излучающий взгляд. Астафьев не проронил ни слова.

* * *

На следующий день поехали за покупками в городок Сикокус в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси, который начинается сразу за извилистым, в прокопченных стенах и plafонах, тоннелем Линкольна под Гудзоном. Торговый центр, раскинувшийся на многие километры в залах-ангарах из гофрированной жести, с гигантскими парковками для автомобилей, предлагал товары по фабричным ценам, к тому же без нью-йоркского налога на продажу. Место популярное и у американцев среднего достатка, и, само собой, у совкомандированных. Что-то покупали для жены его, Марьи Семёновны, для сына, внуков.

На обратном пути крутыми виражами спускались к Гудзону, и здесь, с джерсийского угора, как всегда в погожий день, было видно, как над Нью-Йорком пыльно и душно нависал смог, тяжёлой подушкой наваливаясь на продольные авеню и поперечные стриты Манхэттена. Чаша острова покоилась внизу, в зубчатом окоёме из небоскребов, величественная и нереальная, как пейзаж неведомой планеты. Справа, за дымным маревом, пересекаемым жёлто-красными лучами заходящего солнца, тёмной осенней водой начиналась Атлантика.

Астафьев оставил 600 долларов, попросил: “Купи фотообъектив для Толи Заболоцкого. Это мой друг в Москве, кинооператор. Вот его телефон на конверте. Ну, и мне присылай лекарства, какие мы с тобой брали, и чёрные чернила для авторучки – у нас ведь не достанешь”. Оторвал кусок от упаковки со снадобьем: “На вот тебе, чтобы названия не забыть”.

На свежем, только что вышедшем в “Молодой гвардии” двухтомнике “Последний поклон” надписал: “Ирине и Виктору Линнику с поклоном и на доброе здоровье – Храни Бог Вас и деток Ваших – до встречи на Родине. В. Астафьев. 30 октября 1989 года. Питтсбург”. На втором томе нарисовал воздушное, в два лепестка, растение, сопроводив рисунок словами: “Мой сибирский цветок – Вам в Нью-Йорке. В. П.”. В двухтомник вложил свой экслибрис, сделанный ему красноярским художником: проросшее из земного шара ветвистое дерево с опоясывающей надписью “Из книг В. П. Астафьева”.

Объектив оказался слишком дорогим, брать его не решились. Но всё остальное мы всем семейством добросовестно исполнили вплоть до своего отъезда из США. Пересылал эти мелочи Виктору Петровичу с оказией – он иногда присылал к нам своих доверенных людей. Так с его подачи объявился в Нью-Йорке его земляк Роман Солнцев, крепко сбитый, по-детски наивный красноярский поэт. Чернобородый, с густой гривой непокорных, с проседью волос, он, вышагивая по улицам, время от времени поводил головой, как усталый конь, словно пытаюсь стряхнуть с себя круглосуточное наваждение нью-йоркского бедлама.

Так случилось, что остаток, 200 с лишним долларов, долго лежал у меня, и лишь спустя годы через того же Заболоцкого мне довелось вернуть его в том же маленьком конверте уже сыну Виктора Петровича.

При расставании Виктор Петрович задумчиво произнёс: “Приезжай в Красноярск, на рыбалку съездим, у костра посидим”. Обнялись на прощание – оказалось, чтобы никогда больше в этой жизни нам не увидеться. Но письмами несколько раз обменивались. Теперь отчётливо вижу – о многом в нём говорили его письма: о его человечности, дружеском внимании к другим, напряжённом труде, а подчас о гневе и ожесточении. Впрочем, ожесточения – этой пагубы дьявольского времени – мало кто избежал, самых близких мне людей обожгло оно своим смрадным духом. Ибо все мы, помимо нашей воли, были затянuty в воронку неподвластных каждому в отдельности, а потому особенно язвивших сердце перемен.

Но всё равно в водовороте событий, вихре встреч, под прессом неподъёмных дел и расшатанного здоровья он находил время, чтобы следить за тем, что происходило со мной.

Обиделся я на него после последнего его резкого письма ко мне, не ответил. Переписка оборвалась. Остаётся казнитья этим. И тем, что так никогда и не выбрался в Красноярск. “Забирайте же с собою в путь, выходя из мяг-

ких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!” – вспоминаются гоголевские слова.

О, как безумны мы в своём расточительстве жизни – в любви, в друзьях, в таких вот встречах, которые, как понимаешь потом, были неслыханно щедрым подарком судьбы. Думаешь, что всё ещё не раз повторится, всё можно переиграть, исправить. Увы...

* * *

О том, какие страсти кипели в те нью-йоркские дни в его душе, какие бури бушевали, можно было лишь догадываться по одной фразе, богоборческий смысл которой дошёл до меня много позже. “Все учат – и апостолы, и коммунисты”, – в сердцах бросил Виктор Петрович в ответ на какую-то мою реплику, косо блеснув белёсым глазом и с вызовом поджав губы. На миг почудилось, что слова эти приотворяли дверь в его сокровенное, намекали на то, чем вызывалось нараставшее в нём ожесточение. Всё горше и всё тягостнее становились его раздумья о неизбежном уходе: к кому он придёт – там, в неведомых пределах, “где стона нет и плача”? Перед чьим судом предстанет – Бога ли? дьявола? или пустоты? Понимал, что жизнь уходит и сроки подступают, и мучился этим несказанно.

“Кто долго жил, долго всматривался в людей, у того сердце должно или разбиться, или окаменеть”, – изрёк когда-то французский мыслитель-афорист Шамфор. У большинства из нас сердца окаменевают, у избранных – таких, как Астафьев, – разбиваются. С этим он и жил последние годы.

Понимание того, что мы смертны, приходит рано. Но очень долго мысль о собственном исчезновении кажется далёкой, словно не про нас, она таится на задворках сознания, ежечасно и ежеминутно забиваемая ослепительным бегом жизни. И лишь на склоне лет, на исходе бытия мысль эта встаёт перед каждым из нас въявь, во весь рост, в своей отталкивающей и неотвратимой наготе, и немногие из людей выдерживают её. “На смерть, что на солнце, во все глаза не взглянешь”, – говорит пословица.

Верующих выручает истинная вера: “Нарождаемся мы на смерть, а умираем на живот”, – говорят православные. Те, на кого не снизошла благодать сердечного единения с Христом, те, кто, как Астафьев, шёл к Богу, но не смог дойти до него, ожесточаются перед концом, идут напролом, словно желая бросить вызов самой смерти. Леденящему равнодушию мироздания. Но как это сделать? Как? И тогда постепенно разрываются с каждым прожитым днём все связи с жизнью, все бесчисленные нити, соединяющие нас с прекрасным и печальным миром, со всем, что дорого и любимо, и всё это затем, чтобы не было больно уходить. Кажется, что записка Астафьева, написанная ещё до его болезни твёрдой, недрогнувшей рукой и найденная в его бумагах, говорит именно об этом.

“От Виктора Петровича Астафьева. Жене, детям, внукам.

Прочсть после моей смерти.

Эпитафия.

Я пришёл в мир добрый, родной и любил его безмерно.

Ухожу из мира чужого, злобного, порочного.

Мне нечего сказать Вам на прощание.

Виктор Астафьев”.

Это, если хотите, – разновидность суицида, который принимает разные обличья. Немигающий взгляд солдата перед атакой в отталкивающее и одновременно завораживающее лицо смерти.

Но не этим хочется помянуть Виктора Петровича. Вот слова, которыми откликнулся на кончину Астафьева А. Солженицын: “Умер самобытный русский писатель, настойчивый правдолюбец. Из первых, кто чутко отозвался на нравственную порчу нашей жизни. Как никто, испытал солдатскую тяжесть войны и поднял её со дна. Мир его праху...”

“Простим угрюмство, разве это сокрытый двигатель его? – спрашивал дивный наш поэт. – Он весь дитя добра и света, он весь свободы торжество”. Эти слова куда больше подходят Астафьеву, великому человеку и великому

писателю. Он останется в русской литературе, останется в благодарной памяти тех многих, кто имел счастье его знать. И слова его прощания с нами были другими, их хочется привести в заключение.

НАД ДРЕВНИМ ПОКОЕМ

Я не всякий раз захожу на старое овсянское кладбище, заросшее буйным лесом, воистину вольно разросшимся черемушником, рябиной, березником, пихтачём и ввысь взнявшимися елями. Оно “не работает” уже 50 лет, и многие могилы на нём “потерялись”, значит, те, кто помнил и навещал упокоенных родных, тоже закончили свои земные сроки – сами уже “разместились на горе”, где расположилось новое сельское кладбище.

Но всякий раз, проходя мимо старого кладбища, этого мирного успокоения давно и по-разному живших людей, я отыскиваю глазами ель, упирающуюся в облака, под которой покоятся мои самые дорогие, самые родные люди: мама, бабушка, бабушка, дядья, тётки, племянники.

Ель эта выросла сама собой, и под нею обмерли, захудали пихта, рябина, все цветы, которые мы сажали в разное время. Рябину я подпилит – она уже в середине сгнила, но пенёк дал новый росток, он всё ещё жив. У ели я отпилит все нижние ветви. Сделалось в оградке просторней, свету над могилами больше и снегу глубже, властвуют здесь тишина, покой, только деревья шумят над прахом сельских тружеников, над подгнившими, где и упавшими крестами.

И когда я, поклонившись праху самых любимых людей, стою над родными могилами, какое-то, отстранённое от всего, успокоение, смиренное чувство охватывает моё сердце, и всё, что происходит вокруг, кажется мне таким мелким, суетным и быстро проходящим в сравнении с этой надмирной вечностью.

И снова, и снова память вы светляет прошлое и, прежде всего, ясноликое детство, которое всегда счастливо, что бы на свете ни происходило, что бы с людьми ни делали тираны и авантюристы, как бы ни испытывала, ни была людей судьба.

Когда стал вопрос, где строить сельский храм вместо порушенного в тридцатые, злобно неистовые годы, я показал на уголок земли рядом со старым кладбищем. И стоит он, младенчески-светлый, из тёсаных бревен храм Божий. В святые праздники над ним звучат колокола, а вечерами в нём удалённо теплится огонёк, будто вместе собранные души моих односельчан и родичей светятся из дальней, непостижимой дали. В порушенном храме крестили меня, в этом, вновь возведённом, завещал я отпеть меня.

Жизнь прекрасна и печальна, повторю я за одним великим человеком. Вот об этой радости и печали я не перестаю и не перестану думать, пока живу, пока дышу. Об этом и самая заветная книга моя “Последний поклон”, которая тревожит мою память, озаряет светом прошлые дни, печалится и радуется во мне.

Пока живу, мыслю и пишу, – “и жизни нет конца и мукам – краю”, – всевечная память поэту, изрекшему эти великие слова, летящие во времени вместе с нами”.

* * *

Письма Виктора Петровича Астафьева – огромная часть его творческого наследия, раскрывающая всё многообразие его непростого, с острыми углами характера. Большой и страстный художник, он нередко бывал резок, до обидного пристрастен. Быстро сходясь с людьми и привязываясь к ним, он мог так же быстро, без оглядки, оттолкнуть вчерашних друзей. “Он со всеми рвал. Со всеми! – с горечью бросил мне об Астафьеве начала 90-х годов Валентин Распутин в нашем разговоре много лет спустя. – Правда, приветы мне через Марию Семёновну всё равно передавал”.

В 70–80-е годы его пытались травить за “национализм”, “почвенничество”, воспевание “уходящей природы”. Этим “травильщикам”, псевдолитераторов и идеологов от литературы сейчас и помнят только потому, что они прилюдно, в печати топтали “деревенщиков”, учили их, как надо писать и как выработать “правильное” мировоззрение. Не гнушались они и эпистолярным жанром. Виктор Петрович давал им отповедь яростную и непримиримую – у многих она на памяти. И ненавидели его за это люто.

В каком национализме можно упрекать его — человека, который сказал самые горькие и беспощадные слова о своём, русском народе? Но народ, как писал он сам, не выбирают, — как родителей, как Родину. К тому же, будь у других наций хоть малая толика астафьевской пронзительной правды и честности, разве бы повернулся язык упрекнуть его в великодержавности?

И, наконец, не сам ли он живое опровержение своих же собственных высказываний о народе? Ибо из самой толщи народной жизни, из глубин, в глуши российских просторов поднялся и расцвёл его божественный дар, который новым поколениям читателей ещё только предстоит осознать и прочувствовать в полной мере.

Говоря об отношении русских литераторов к народу, Валентин Распутин в своей статье о Ф. Достоевском процитировал классика и великого провидца: “Все наши русские писатели, — писал Достоевский, — решительно все только и делали, что обличали разных уродов. Один Пушкин, ну, да, может быть, Толстой, хотя чудится мне, что и он этим кончит. . . Остальные все только к позорному столбу ставили или жалели их и хныкали. Неужели же они в России не нашли никого, про кого могли сказать доброе слово, за исключением себя, обличителя?.. Почему у них ни у кого не хватило смелости (талант был у многих) показать нам во весь рост русского человека, которому можно было поклониться? Его не нашли, что ли!..”

Не больно-то его и искали. После Достоевского литература ещё усердней занялась переустройством социальной жизни; как жуки-древоточцы, художники крошили основание тысячелетнего здания, умиляясь в перерывах родным картинам вокруг, родным лицам и родным песням. Поумиляются — и снова за работу. Рухнуло здание (отчего так хочется думать, что, доживи Достоевский до возраста Толстого, этого не произошло бы с такой стремительностью и безоглядностью, с каким-то бурлацким “эх, ухнем!”, хотя здравый смысл подсказывает, что и он не удержал бы этого безотчётного разрушительного порыва. . .), но рухнуло здание, и принялись выстраивать новое, в литературе поменяли почерк с критического на социалистический, последний потребовал “героя нашего времени” по соответствующим идеологическим меркам. . . Позднее, после войны, литература сумела-таки поклониться воину, защитнику Отечества, ещё позднее нашла она и подходящие чувства, и язык, чтобы поклониться старикам, хранителям народных традиций и языка, веры и совести, на своих плечах в несказанной муке вынесших Россию из голода, холода и неурядства, но поклонилась им литература уже с края могилы, в которую уходила русская деревня. А затем опять, и с ещё большей страстью, с ещё большим острвенением, началось поношение народа, не прекращающееся по сей день: и такой он, и сякой. . .

Да, и такой, и сякой. . .

“Но народ сохранил и красоту своего образа, — отвечает Достоевский. — Кто истинный друг человечества, у кого хоть раз билось сердце по страданиям народа, тот поймёт и извинит всю непроходимую наносимую грязь, в которую погружён народ наш, и сумеет найти в этой грязи брильянт. Повторяю: судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым и в самой мерзости своей постоянно вздыхает. А ведь не все же в народе мерзавцы, есть прямо святые, да ещё какие: сами светят и всем нам путь освещают!”

* * *

Публикуемые письма написаны Виктором Петровичем в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века. Тексты даются без купюр, авторская пунктуация оставлена неизменной. Это всего лишь капля в море его эпистолярного наследия, но как всякая капля даёт представление о составе воды, так и эти письма безошибочно характеризуют многое в душевной смуте и нервном, на пределе, настрое писателя в те бурные годы. Письма — иной раз бескомпромиссные, резкие, полемически заострённые — своеобразный и ценный документ той эпохи тектонических сдвигов в российской жизни и политике, когда рвалось наружу всё накипевшее, полыхали страсти, сходились и расходились друзья и вчерашние антагонисты. И наша короткая, хотя и растянувшаяся на годы переписка с Виктором Петровичем это пусть в малой части, но с готов-

ностью подтверждает. Из песни, как говорят, слова не выкинешь. К сожалению, у меня сохранилась лишь единственная копия из моих писем Виктору Петровичу.

Геннадий Сапронов, иркутский издатель и друг Астафьева, ныне тоже покойный, издал эпистолярное наследие писателя – без преувеличения огромное. Виктор Петрович никогда не вёл дневников – его письма были его дневниками. “В отдельные годы, – говорил Сапронов, – Виктор Петрович писал до пяти писем в день!” Подходил издатель к огромному массиву астафьевского письмотворчества не сразу, а шажками, по частям: в 2003 году выпустил книгу “Крест бесконечный”, где собрана переписка с Валентином Яковлевичем Курбатовым, ближайшим другом писателя, знаменитым критиком и литературоведом, за три с лишним десятка лет. Затем издал переписку с давнишним другом Астафьева Александром Николаевичем Макаровым под названием “Твердь и посох”. Книги эти стала заметным событием для профессиональных издателей и литературоведов, а для широкого читателя – в высшей степени занимательным и поучительным чтением.

“Дорогой Витя!

Вот на открытках сибирской тайги вид через Енисей из моей квартиры.

Поздравляю тебя, Иру и девчушек твоих с наступающим Новым годом, желаю всего, чего желают добрым людям, да плюс здоровья, работы по душе, поменьше неприятностей и побольше радости, а всем нам, чтобы год мирный был и всё, что задумано отцами нашими в Кремле, сбылось и, главное, чтоб смуты удаление было.

А поздравляю я тебя заранее оттого, что письма мои из Америки пришли к моей Марье уже в двадцатых числах ноября, но она всё равно была счастлива их получить.

Поездка моя даром не прошла, я хорошо отдохнул, набрался впечатлений, и меня неудержимо, как в молодости, потянуло работать. И можешь меня поздравить – на сегодняшнее утро я написал уже 140 страниц военного романа (вторая и третья книга (нрзб.) уже написана, и вот я кончал первую). Боюсь, что у меня не хватит чернил, и к тебе большая просьба – найти и с кем-нибудь переслать в Москву и из Москвы мне флакончик чёрных чернил, если можно, то лекарство от головной боли, какое мы покупали с тобой.

Надо ли говорить, как я тебе благодарен за приют и помощь – Бог тебе воздаст за доброту и пошлёт счастья и хороших друзей твоим ребятишкам. У нас зима, глухо, но кисло – самое время работать и, хотя меня всё время бомбят вызовами в Москву, я держусь, не еду, ибо, если ездить, то и дома не бывать или, как моя покойная тетка говорила: – “Начнёшь давать, не успеешь штаны скидывать!”, да и летать стало тяжеловато и смещение времени переживать трудновато, да и услышишь, узнаешь меньше, ибо многие знания про нашу действительность воистину умножают скорбь! Мой поклон Володе, Нью-Йорку – лютому и великому (так отчётливо я вижу его с твоего 38-го этажа), и кружащихся внизу, парящих чаек, которые, как я теперь понял, вашего этажа уже достать не могут, и живут, и летают на Богом им определённой высоте. Это мы всё лезем вверх и вдаль, а оказываемся на больничном горшке или в узенькой равнодушной могиле. Клянюсь, обнимаю – Виктор Петрович.

24 ноября 1989 года, Красноярск”.

“Дорогой Виктор!

Ну, вот, собирался да собирался тебе вежу дать и прособирился – пришло от тебя письмо, да ещё и с фотографиями, единственными, что памятны по Америке.

Я уже в деревне, в своей, родной. Отдыхиваюсь от зимних трудов, забот и хворей. Середину зимы проболел, подцепил во время съезда в Москве грипп – и началось. Ваш столичный грипп – не то, что наш, деревенский насморк, этот сразу к сердцу подбирается.

Главное, прервалась работа над романом о войне, так хорошо пошедшая с осени, и возобновлять работу после большого перерыва всегда сложно, трудно и не хочется. Сколько я побросал начатых вещей! Но тут заставил себя, взял себя за чуб и ткнул себя мордой в бумагу и пусть на ином уровне, более вяло и на слабой температуре, черновик первой книги завершил и отложил работу до осени.

Сейчас копаюсь в огороде, занимаюсь почтой и делаю кое-какие записи. Чуть было не увиделись мы с тобою вновь. Приглашали меня в свиту президента, на переговоры с Бушем, но я лететь после болезни не решился. На руках двое малых детей и больная жена, приходится и об этом думать.

Не смог поехать и в Голландию, на Сахаровскую конференцию, отказался и от других поездок. Вот вниз по Енисею на теплоходе с семьёй, наверное, поплыву и порыбачу, пока ещё современные дебилы всё не спалили и не срубили.

Нынче у нас малоснежная зима была и сухая весна, так резваки отроческого возраста запалили край со всех концов, да ещё пыльные бури начались, и я воочию узрел, что такое конец света. И вообще живём мы ныне в своём Отечестве беспокойно, озабоченно и тревожно. Что-то будет? Уцелеет ли Россия и мы вместе с нею?

Сегодня я был в сельской библиотеке, смотрел “Правду”, видел полоску “американскую”. У тебя сейчас забот, забот! В отпуск, наверное, уж после переговоров?

Желаю, чтобы они мирно прошли и чтобы тебе работалось ударно, и все чтоб твои домашние были здоровы и благополучны.

Ещё раз спасибо за фото, за поздравление.

Кланяюсь, обнимаю Виктор Петрович.

28 мая 1990 г<ода>

село Овсянка.

P. S.: Посылаю тебе календарик с моими родными местами”.

Письмо Виктору Астафьеву

“6 декабря 1990 года

Здравствуйте, дорогой Виктор Петрович!

Лишь после своего возвращения из отпуска нашёл Ваше письмо в грудe скопившейся за время отсутствия почты. Всегда рад получить от Вас весточку, спасибо. Пытался звонить Вам летом из Москвы, однажды говорил с Вашей женой, но Вы, понимаю, пребывали в Овсянке, как и должно быть, когда жарко. Деньги Ваши я привёз с собой, да так и оставил у своих родителей. Так что в случае нужды позвоните им по телефону 286-93-11 (Алексей Васильевич или Анфиса Васильевна). Если же приедете сюда, в Штаты, то, понятное дело, отдам их на месте. Жаль, что Вы не приехали с президентом в мае, хотя, правду сказать, народу с ним ездит много, только толкаются и мешают друг другу.

Как Ваше здоровье? Как работается? Только что прочёл полученный мной совсем недавно 8-й номер “Современника”, который открывается вашей вещью. По-моему, тот случай, когда литература перестаёт быть собственно литературой, а становится сказанием, и писатель превращается в Бояна, повествующего *о былинах прошлого времени*. Литературно можно работать тогда, когда, скажем, умирает Иван Ильич или господин из Сан-Франциско. Когда же речь заходит о таком страшном, как у Вас, то оно перевешивает самое литературу. Вот почему, думаю, Солженицын избрал, по сути, публицистическую форму для своего “ГУЛага”. Для описания девяти кругов ада никакой художественности, да и сил человеческих не хватило бы.

Кстати, некоторое время тому назад, в связи с предстоявшей тогда публикацией его “Посильных размышлений”, несколько раз общался по телефону с его женой Натальей Дмитриевной. Выяснилось, между прочим, что мы с ней, хоть и в разные годы, учились у одного и того же учителя в Москве. Мир тесен воистину! Конечно, все мои попытки пробиться к самому Патриарху оказались безрезультатными. Не захотел он иметь с “Правдой” дел и по поводу публикации (его материалов у нас). Я его не виню и всё понимаю, но всё-таки обидно. Отдали в “Комсомолку” – газету Вами похваленную. Газета и впрямь неплохая, только, на мой взгляд, всё-таки за счёт печатания гостей, а не своих авторов. Взять хотя бы Шафаревича или Эдичку Лимонова, на которого дружно завизжали все наши либералы.

А в самой газете пошлятины не счесть! Достаточно вспомнить заголовок “Прямо в яблочко!” – в заметке о том, как насильнику, убежавшему от преследования, из пистолета попали в зад и, как пишет автор заметки, “в то место, которым и было совершено преступление”. А как Вам нравится “Млеко, курки нах Москау” – о немецкой жратве, доехавшей к нам (в виде гуманитарной помощи. – **В. Л.**)? Конечно, куда больше камней можно бросить в “Прав-

ду”, хоть и по другому поводу, и поделом будет, – всё это понятно... Но всё же.

Показывал я кое-что из своей работы бывшему здесь как-то Андрею Дементьеву на предмет печатания в “Юности”, но он сказал: “Доработать”. По размышлению – и вправду так...

Внимательнейшим образом слежу за всем, что появляется в печати о Вас, а появляется немало. Всегда радуюсь, хотя не всё, на мой взгляд, исполняют на должном уровне. Но опять же журналисты – что с них взять?

О делах наших домашних говорить и думать больно. Знаю твёрдо одно – я за сохранение Союза. Немыслимые жертвы поколений русских людей были принесены на то, чтобы сбить это всё в один кулак. И совсем не за тем, чтобы в пять лет всё развалить!

Россия, если хотите, стала жертвой собственного благородства (а может, и глупости). Мы ни один народ не приводили к общему знаменателю, как американцы всех – к англосаксонскому! И в итоге на нас же всех собак вешают! Насильно мил не будешь – всё так, но всё же, всё же, всё же... Вам, конечно, виднее, – может, самое главное для нас сейчас эту зиму вытянуть, а не об империи скорбеть. Но ведь развал государства идёт рука об руку с развалом экономики. И не остановив одно, не наладить другого.

Вот думаю: ну, что нам дали последние пять лет? Террор аппаратный сменился террором левых, как две капли воды, кстати, похожих на своих собратьев разлива 37-го года – столь же беспощадных, бесчестных и страшно ограниченных при всём их наносном шике. Полилась кровь. Выплеснулось столько злобы, что задохнуться можно. Зазвучали стройные хоры проходимцев и подлецов. А хороших людей за это время появилось на удивление мало. Всех хороших-то и раньше было видеть.

Молю Бога, чтобы спала пелена с глаз у народа.

Засим заканчиваю, – что у Вас время отнимать. Желаю Вам, семейству Вашему здоровья и возможного по нынешним временам благополучия.

Обнимаю,
Ваш В. Л.

Р. С.: Посылаю отдельно новогоднюю открытку, но её могут и спереть – всё же заграничная! Так что и с Новым годом Вас тоже.

Если нужны лекарства или что ещё – дайте знать”.

После этого письма Виктор Петрович надолго замолчал, – видно, мои высказывания пришлись ему не по нраву. Это для него характерно: упомянутая книга В. Курбатова показывает, что иногда он замолкал на год с лишним, и только исключительная деликатность Валентина Яковлевича, продолжавшего писать ему безответно, позволяла в итоге восстанавливать двухстороннее эпистолярное общение. Я, увы, покладастостью не отличался, в итоге переписка оборвалась... Правда, в одном из тогдашних интервью Астафьева читаю: “Пора бы нам уже устать от пошлости”, – может быть, косвенный отклик на высказанные в моём письме оценки. “Комсомолка”, впрочем, продолжала дуть в ту же дуду безоглядной пошлости, что с успехом делает до сих пор.

Потом “разверзлись хляби небесные” – случился обвал государства и страны. “Правда” спешно закрывала свои корпункты повсюду, и под Новый 92-й год я выехал домой, где начал работать в новой, уже оппозиционной “Правде”. После октябрьских событий 1993 года был избран главным редактором, на что Виктор Петрович, после долгого молчания, не преминул запальчиво откликнуться. Уже совсем в ином тоне, едва сдерживая клокотавшее в нём раздражение.

“14 января 1994 г<ода>. Красноярск.

Уважаемый Виктор,
кажется, Александрович!

Я тихо обрадовался, когда Вас назначили редактором “Правды”, ибо считал Вас и сейчас ещё не совсем, правда, уверенно, считаю порядочным человеком, к тому же отличным и грамотным газетчиком.

Я видел Вас по телевизору и не раз, выглядели Вы в этом “окне в преисподнюю” почти достойно и порой даже умно. Впрочем, на фоне таких гиган-

тов мысли, как Зюганов, Горячева, Умалатова, Андреева и Жириновский, умно выглядеть совсем нетрудно, даже и красиво выглядеть.

Всё хотел пойти в библиотеку и полистать “Правду”, “новую”, уже Вами ведомую, но работа на пределе не оставляла для этого времени. Зато для романа мне требовалось найти подшивки “Правды” за 1942–1943 годы, и я, сам в прошлом районный газетчик-приспособленец, всё же в ужас пришёл, листая этот “орган”. Какое средоточие лжи, обмана, притворства, наглой пропаганды коммунистического бесовства и пресмыкания перед *отцом народов*.

Издавайся газета при Чингисхане, даже азиаты дикие, кровожадные не дошли бы до такой степени лести, низкопоклонства и вероломства!

И вот “доброжелатели” прислали мне “Правду” уже Ваших дней с разглашательствами защитника народа В. Г. Распутина, и я увидел воочию, что *чёрного кобеля не отмоешь добела*: была “Правда” кривдой, кривдой и осталась. Чуть половчее, чуть подемократичней, но не (нрзб.).

Сообщая вам и Кожемяко-исповеднику, что всё, что принял Распутин, всё, на что по дешёвке купился, предлагалось и мне: место в Верховном Совете, место советника, место фрейлины в свите Горбачева и, естественно, воздаяния за это харчем, вельможными привилегиями, хоромами, но я хотел работать, исполнять своё дело, Богом определённые обязанности, и ото всех почестей и подачек отказался – вежливо. И так вежливо, что не утратил уважения к себе, а Михаил Сергеевич, насколько мне известно, не утратил уважения ко мне. А его уважение, пока единственного из всей правящей банды, мне дороже всех, ибо я считал и считаю его Величайшим реформатором Двадцатого века, избавившего человечество от красной чумы и давшего русскому народу возможность жить свободно и распоряжаться собой и землёю своею. Но открылось не только мне, всему миру открылось: коммунисты потрудились в России здорово, народа русского уже нет, а есть население, готовое бежать к любому корыту, наполненному кормом и объедками с большевистского стола. Ни морали, ни стыда, ни чести, ни достоинства нет у населения нынешней России, грамота и лозунги, прославляющие народ и горячо им любимую партию, результатов не дали, любое слово, любая ложь, любой обман падает, как сорное семя, в тёмную толпу и произрастает дурью. И тут та “Правда”, которую Вы несёте народу, в самую пору, в самый раз.

Я тут писал письмо одному давнему своему товарищу и кладу Вам его копию в конверт, чтобы не тратить время на длинное письмо. Одного хочу от Вас – ответственности. Если вы поможете коммунистам вновь укрепиться у власти (уходить-то они никуда и не уходили, лишь за спиной оказались и из-за спины действовали подло и нагло, а иначе и не умеют), на Вас грех и преступление лягут тяжкие, ибо Вы обманете неразумных, подведёте к пропасти доверчивых, а столкнуть в пропасть население наше есть много желающих, и сделают они это с чувством сладострастным и мстительным. Как же: не захотели стоять по команде “смирно”, иди табуном в казённые места дорубать леса, добывать уголь, докачивать нефть.

Одно ясно, одно поддерживает дух и придаёт силы: 37-го в том виде уже не повторится, каратели будут встречать ответное сопротивление.

Р. С.: Что касается моей подписи под письмом, она присобачена без согласования со мной, но начитавшись “Правды”, вникнув в нравственно-просветительную проповедь товарища Распутина, я уяснил для себя – подпись моя, стоящая среди достойных людей нашего времени, уместна, и я поставил её, считайте, задним числом...

Обрадуйте тов. Распутина, его беседы из газет “Земля” и “Правда” с визгом перепечатывает тов. Пашенко в своей красноярской “подворотне” – безграмотной, фашистской, чёрной газете, издающейся на уровне “Боевого листа” стройбата, – достойное сотрудничество!

С беспартийным приветом –

В. Астафьев.

14 января 1994 года, Красноярск.

Р. Р. С.: Извините, что не перепечатано. Марья Семёновна очень была привязана к Распутину и горько за него переживает. Письмо её очень расстроит”.

Последнее письмо Астафьева я получил уже под занавес своей тогдашней работы в “Правде”. Пойдя против передачи учредительных прав на газету, че-

го потребовали от меня греки Янникосы, тогдашние владельцы ОАО “Правда интернешнл”, я был выметен из редакторского кресла. “Пятая колонна” из числа правдивов с энтузиазмом поддержала греков, из-за кулис “очистительным процессом” дирижировали вожди КПРФ. Тут уж впору было согласиться с Виктором Петровичем: и впрямь, “чёрного кобеля не отмоешь добела”. Поражение стало для меня тяжким личным ударом, но и освободило от моральных обязательств перед левыми вождями.

Филиппики в адрес В. Распутина, конечно же, несправедливы. Астафьев ссылается на интервью Валентина Григорьевича, опубликованное в “Правде” в конце декабря 1993 года. Думается, время рассудило их спор, показало, кто из двоих писателей, в прошлом сердечных друзей, был прав в оценке тогдашних событий.

Астафьев рассказывает здесь, как 5 октября 1993 года в “Известиях” появилась его подпись под письмом 42-х, этим гнуснейшим памятником ненависти к восставшему народу и подлого пресмыкательства перед ельцинскими узурпаторами. Фамилия Астафьева стоит последней в списке подписантов, что говорит о том, что письмо это он не читал и согласился поддержать власть заочно. До сих пор неизвестным остаётся имя автора, но стиль и тон письма говорят о том, что, скорее всего, им был кто-то из кремлёвского окружения тогдашнего президента. Расстрел Белого дома на годы отбросил страну назад в своём развитии.

* * *

Но не этим письмом останется Астафьев в памяти читателей. К его творчеству и судьбе будут возвращаться вновь и вновь — залогом тому редкостная сила его писательского дара, масштаб его бескомпромиссной и яркой личности. Неистовый правдоискатель, неудобный и неугомонный человек, чудотворец русского слова, неутомимый труженик, он стоит в ряду тех писателей, кто способствовал славе совестливой и всечеловечной русской литературы.

ГЕОРГИЙ ЦАГОЛОВ

ОБМАНУТАЯ ЭКОНОМИКА

Влияние, которое на современную экономическую жизнь оказывают “специалисты”, известные своим упорством в незнании и всеобъемлющей посредственностью, не так уж безобидно.

Джон Гэлбрейт.
Экономика невинного обмана

Наше экономическое неблагополучие теперь уже ни для кого не является секретом. В связи с этим вновь встают традиционные для России вопросы: “Кто виноват?” и “Что делать?”

Ответственность за то, что “не растёт кокос”, правительство обычно старается возложить на независящие от него обстоятельства – ошибки предшественников и неблагоприятные внешние факторы. Поскольку по ряду причин делать это становится всё затруднительнее, руководство просто хранит молчание, которое, увы, далеко не всегда является золотом.

Они не ушли

Из уст президента Путина резкая критика нынешней исполнительной власти и угрозы её роспуска впервые прозвучали на заседании кабинета министров в апреле прошлого года. Тогда он сказал: “Либо я работаю неэффективно, либо вы все плохо работаете, и вам нужно уйти... на сегодняшний день я склоняюсь ко второму варианту”.

Они не ушли. Тем не менее, каких-либо сдвигов в лучшую сторону в экономике с тех пор не наблюдается. Скорее, наоборот, о чём свидетельствуют непреложные факты и влиятельные представители экспертного сообщества. В начале текущего года в докладе на форуме Меркурий-клуба, пользующегося немалым авторитетом в среде нынешних правящих верхов, бывший премьер-министр РФ академик Евгений Примаков резонансно констатировал: “Можно прийти к общему выводу: правительство в 2013 году не сосредоточилось на системе мер, необходимых для экономического роста”.

Национальная валюта – один из индикаторов общего состояния. Обесцениение рубля резко ускорилось. Оно побивает сейчас все исторические рекорды времён разгара мирового финансового кризиса. Так как значительную часть потребительской корзины россиян составляют импортные товары,

девальвация отечественных денежных знаков подхлестывает инфляцию и бьёт по карману простых людей, уменьшая и без того скудные реальные доходы. Вследствие удорожания импортируемого сырья и производственных компонентов предприниматели вынуждены увеличивать цены на свою продукцию. Но сжатие потребительского спроса снижает возможности реализации продукции и ведёт к убыткам и банкротствам в сфере бизнеса.

Предчувствие дальнейшего ухудшения ситуации витает в воздухе. В обществе возрастают пессимистические настроения. Они дополняются событиями в соседней Украине, которые резко изменили к худшему для нас геополитическую ситуацию.

Складывающаяся обстановка вызывает в памяти повесть Габриеля Гарсиа Маркеса “История одной смерти, о которой знали заранее”. То ли исполнительная власть пребывает в растерянности, не зная, что делать, то ли руководствуется ложными идеями, уводящими в сторону от решения неотложных задач. Но, спрашивается, почему тогда не признаёт и не исправляет непрерывно допускаемые ошибки? Она составляет прогнозы с заниженными показателями по основным параметрам экономического развития и одновременно уверяет, что майские (2012 года) указы президента в части создания 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест и увеличения до 2018 года производительности труда в 1,5 раза будут выполнены. Совместимость одного с другим совершенно непонятна.

Чем же вызваны неудачи на внутреннем фронте? Стоит ли ждать позитивных перемен? И откуда им взяться? Прежде чем попытаться ответить на эти вопросы, вкратце напомним хронику погружения в стагнацию.

Путь ко дну

Во второй половине 2011 года российская экономика разогналась до 5-процентного экономического роста. Казалось, что кризис уже где-то позади, а впереди ждёт длительная полоса процветания. Да и в первые месяцы 2012 года всё обстояло более или менее пристойно. Готовившийся тогда к третьему президентскому сроку Владимир Путин в предвыборных выступлениях уверенно ставил задачи проведения реиндустриализации страны и достижения среднегодовых показателей увеличения ВВП в 5-6 процентов, приближающихся к тому, что было в “тучных” нулевых.

Но этому не суждено было сбыться. С той поры чётко обозначилась тенденция замедления экономической динамики, поквартально в 2012 году выраженная убывающими числами: 4,8%, 4,3%, 3%, 2,1%.

Позапрошлый год завершился всё же со средним показателем темпа роста в 3,5%, что было выше среднемирового индекса, хотя и ниже достижений стран-передовиков БРИКС.

В дальнейшем падение продолжилось. В I квартале 2013 года рост в сравнении с аналогичным периодом годом ранее уже составил всего лишь 1,6%. В двух последующих соответственно – 1,2%. В среднем за минувший год – 1,3%, что означало уже заметное отставание от мировой экономики в целом. В I квартале текущего года рост не превысил 0,8%. Как выразился один эксперт, “хозяйство нашей страны напоминает паровоз, у которого кончился уголь, и он двинется по инерции, постепенно замедляясь”.

С прошлой весны в МЭР открыто забили тревогу и заговорили о возможной рецессии. Осенью стагнационное состояние в России уже никем не оспаривалось. Сделанные прежде правительственные прогнозы развития не раз пересматривались в сторону худших из ранее обозначенных сценариев. При этом черепашья скорость движения предполагается вплоть до 2030 года.

Глава МЭР Алексей Улюкаев вынужден признать: “Такой неблагоприятной обстановки не было пять лет... Министерство экономического развития в России есть, а экономического развития – нет”. Мягко сказано. Количественное снижение основного экономического показателя дополняется другими негативами. Рост обеспечивается, прежде всего, добывающими сырьё отраслями, а обрабатывающая промышленность скатывается в минус и находится в удручающем состоянии. На ладан дышит машиностроение, особенно станкостроение, годовое производство которого на всю страну измеряется 0,5 млрд рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что для выправления пагубной картины нет иного пути, как прибегнуть к увеличению числа безработных. Растущие цены на продукты питания, топливо, услуги и ЖКХ порождают так называемую стагфляцию. Инвестиции в основной капитал продолжают падать. В минувшем январе они рухнули на 7% в годовом сравнении. Коррупция и отток капитала за рубеж усиливаются. Финансово-кредитная сфера начинает испытывать неприятные симптомы. В связи с развёртывающимся отзывом ЦБ лицензий у ряда банков вкладчиков охватила паника. Она распространилась и на крупные учреждения, многие из которых, например, Уралсиб, МДМ-банк, Русский стандарт, Альфа-банк, Открытие и др. также столкнулись с оттоком вкладов. Наблюдается резкое замедление корпоративного и потребительского кредитования. На излёте и прежнее процветание торговой сферы. До того неуклонно показывавшие рост продаж крупнейшие розничные сети фиксируют спад.

Лучшие ожидания экспертов сводятся к тому, что близкие к нулевым величинам темпы роста сохранятся. Другие предрекают продолжение тренда и скатывание экономики в пропасть нового кризиса.

Расхожие мнения

“Сколько людей, столько и мнений”, – говорил древнеримский драматург Публий Теренций. Обилие толкований российской экономики подтверждает справедливость крылатой сентенции. Другое дело, что расхожие мнения не добираются до сути происходящего.

Нарушив обет молчания о нисходящей траектории развития нашей экономики, правительство вначале апеллировало к внешнему фактору, отмечая, что продолжающийся мировой кризис уменьшает спрос на наши сырьевые товары: газ, нефть, металлы. А так как, мол, экспорт снижается, замедляется и рост.

Что ж, такое влияние действительно имеет место быть. Профессор Станислав Меньшиков и другие, хорошо знакомые с экономической теорией длинных волн учёные добавляют, что Кондратьевский цикл сейчас находится в понижительной стадии, а поэтому депрессивное состояние глобальной и нашей экономики может затянуться на долгие годы.

Хотя заметим, что цены на углеводороды пока ещё остаются довольно высокими. К тому же наблюдаются существенные расхождения нашей динамики с трендом мировой экономики. В кризисном 2009 году мы по объёму ВВП “просели” больше других – на 8%. Теперь же, когда ситуация в Америке и Западной Европе вроде как успокаивается или даже налаживается, наши дела продолжают идти не в ту сторону. Как выразился один из членов кабинета министров, мы находимся в “противофазе” с мировой экономикой. Всё это, как и многое другое, говорит о том, что помимо внешнего фактора у стагнации существуют и весомые внутренние причины.

В их числе чаще всего упоминается имеющее место на протяжении уже нескольких кварталов падение инвестиций в основной капитал. Немало пишут и об исчерпаниии прежних резервов роста: незагруженных производственных мощностей и былого наличия резервов незанятой и довольно дешёвой рабочей силы. Обращают внимание и на то, что завершился бум потребительского кредитования населения, которое долгое время также служило драйвером экономического роста. Называют и неблагоприятный инвестиционный климат, слабость институциональной среды, в том числе правоохранительной системы, высокие процентные ставки, неразвитость инфраструктуры, всепроникающую многоуровневую коррупцию и т. д.

Министр А. Улюкаев, например, поясняет: “Закончился этап восстановительного роста после кризиса 2008 года. Мы достигли потолка... Производственные мощности загружены. Безработица на рекордно низком уровне. Расширять производство невыгодно: и рабочих рук нет, и зарплаты зашкаливают, опережая рост производительности труда. Не забудем и о росте тарифов естественных монополий на 15–18% в год”.

Резонен вопрос: кто же повинен в букете недугов российской экономики?

Если бы финансово-экономический блок правительства в последние годы принципиально менялся, то нынешнему его составу можно было бы возложить

ответственность на своих предшественников. Но вот незадача: ключевые посты занимают представители одного и того же политического клана.

Под знаменем Гайдара

Многих из них можно было увидеть на V юбилейном Гайдаровском форуме, прошедшем в середине января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ.

Роль связующей скрепы играет Анатолий Чубайс – председатель Попечительского совета организованного им Фонда Гайдара. В его руководство входят прежний министр экономики, а ныне глава Сбербанка Герман Греф, бывший вице-премьер правительства и министр финансов, а ныне глава “Комитета гражданских инициатив” и член президиума Экономического совета при президенте Российской Федерации Алексей Кудрин. Здесь же и бывший министр экономики и теперешний научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин, и министр внешнеэкономических связей при Ельцине, а сегодня – председатель совета директоров финансовой группы “Альфа-Банк” миллиардер Пётр Авен, и прежний председатель Госимущества и вице-премьер правительства РФ Альфред Кох, и экс-министр экономики, а затем – заместитель председателя РАО “ЕЭС России”, а позже – заместитель генерального директора и член правления РОСНАНО Яков Уринсон. Кто ещё? В прошлом правая рука Гайдара, его советник и заместитель Института экономических проблем переходного периода (ИЭПП, ныне Институт имени Е. Т. Гайдара), а теперь директор РАНХиГС Владимир Мау, бывший министр экономики, а ныне председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Постоянный докладчик и участник “наиболее значимого события года в экономике” – премьер-министр РФ Д. А. Медведев. Среди выступавших – первый его заместитель Игорь Шувалов, другой заместитель премьера – Аркадий Дворкович, нынешний министр экономики Алексей Улюкаев, министр финансов Антон Силуанов.

Судьбы большинства вышеназванных чиновников тесно переплетены. Алексей Улюкаев, например, в середине 1980-х познакомился с Чубайсом и Гайдаром, был участником руководимых ими экономических семинаров московско-питерской школы “Змеиная горка”. В 1988 году Гайдар пригласил Улюкаева работать заместителем редактора отдела журнала “Коммунист”, а после развала СССР привлек его в свою правительственную команду в качестве советника и помощника. После ухода из правительства Гайдар стал директором ИЭПП и назначил Улюкаева своим замом. Они вместе учредили журнал “Открытая политика” и газету “Демократический выбор”.

В начале текущего века Чубайс вновь рекрутировал Улюкаева в правительство. Он стал первым замом министра финансов А. Кудрина, затем – первым замом председателя Центрального банка С. Игнатьева.

Улюкаев тесно связан и с Г. Грефом, поскольку входил в Центр стратегических разработок, которым Греф руководил. Примечательный случай. Осенью 2006 года разразился скандал с участием Улюкаева: при вылете из Сочи в Москву на самолёте “Аэрофлота” он поругался с командиром воздушного судна из-за того, что его жене не досталось места в салоне бизнес-класса. Рейс был отложен, а он вместе с женой вылетел на личном самолёте Грефа.

Нынешний зампред правительства РФ Аркадий Дворкович в 2000 году был одним из соавторов разработанной под патронатом фонда “Либеральная миссия”, основателями которого были Егор Гайдар и Евгений Ясин, “Экономической стратегии России в первом десятилетии XXI века”, находился в штаб-квартире Центра стратегических разработок Г. Грефа. Затем вслед за шефом, получившим портфель министра, перешёл работать его заместителем.

Супруга Дворковича, Зумрад Рустамова, в прошлом – замминистра имущественных отношений РФ, сегодня входит в руководящие органы многих крупных российских корпораций и банков, зарабатывая в год более миллиона долларов. Но самой богатой из жён чиновников можно считать Ольгу Шувалову, доход которой только за два последних года составил более 1 миллиарда рублей (около \$30 млн).

Занимающая с мая прошлого года пост председателя ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в конце прошлого века подвизалась в бизнесе и одновременно была вице-президентом Центра стратегических разработок Г. Грефа. Затем он

получил портфель министра экономики, а она стала его первым замом. Позже Набиуллина сменила Грефа на этом посту. Она замужем за Ярославом Кузьминовым – ректором Высшей школы экономики, главной идеологической кузницы и пристани праволиберальных сил, заражающих студенческую среду мировоззрением рыночного фундаментализма.

Беспринципность и благодущие

Создаётся впечатление, что вся эта “элита” оторвана от народа и служит не государственным, а корпоративным, клановым, карьерным и корыстным интересам. Бросается в глаза научная и гражданская беспринципность ряда остепенённых чиновников. В 1980-х годах Гайдар и Улюкаев, возглавляя отдел политической экономики и экономической политики журнала “Коммунист”, всячески клеймили капитализм, прославляя преимущества общенародной собственности на средства производства и “развитого социализма”. Затем каждый из них внезапно “прозрел” и, как тургеневский герой, “сжег всё, чему поклонялся”, и “поклонился всему, что сжигал”. В своих ранних трудах “Развитие теории планомерности социалистической экономики” и “В поисках планомерности” Владимир Мау воспевал преимущества плана перед капиталистической стихией, слывя ортодоксальным марксистом. Но затем переметнулся в лагерь рыночников-фундаменталистов.

Своей карьерой многие из них обязаны друзьям-олигархам, с которыми они сохраняют “рабочие” отношения. Так, Игорь Шувалов работал в структурах миллиардеров Александра Мамута и Олега Бойко, а позже принимал участие в проектах Алишера Усманова, Романа Абрамовича и Сулеймана Керимова. Их дворцы с огромными поместьями расположены по соседству в престижном районе подмосковного Сколково. Личное состояние Шувалова, по оценкам газеты “Ведомости” и журнала “Форбс”, превышает \$200 миллионов.

В деловой среде Алексея Улюкаева и Олега Дерипаску называют “кровными братьями”. Будучи первым зампредом ЦБ РФ, Улюкаев заявлял, что он всегда готов “по-донорски” помочь Дерипаске. Сравнительно недавнее продавливание решения МЭР о заморозке тарифов естественных монополий связывали с интересами металлургических магнатов, в частности, с хозяином “Русала”, чьи предприятия особенно заинтересованы в сокращении издержек на энергоносители.

Инициированная Набиуллиной банковская “чистка” ведёт к тому, что клиенты изымают вклады из мелких и средних финансовых учреждений и открывают счета в Сбербанке. Корпоративный портфель Грефа в последние месяцы круто пошёл в гору. Сами представители банковского левиафана считают, что важным фактором “прироста баланса стала валютная переоценка, вызванная ослаблением курса рубля”, проведённая не без попустительства со стороны ЦБ.

Ораторы на гайдаровском форуме делали хорошую мину при плохой игре. О “чёрной метке” Примакова накануне не упоминали. Благодущный тон задал премьер-министр РФ Д. А. Медведев, увидевший в обостряющихся проблемах “очередной этап созидательного разрушения”, который “создаёт предпосылки для последующего развития”. “На фоне глобального кризиса, – на голубом глазу утверждал он, – ситуация в России по формальным признакам выглядит достаточно стабильной. Экономика растёт, конечно, не высокими темпами, но всё же как-то растёт... Наши сегодняшние проблемы не являются результатом ошибок прошлого. Напротив, это скорее следствие достаточно успешной реализации политики последних 10–12 лет, которая и позволила нашей стране совершить рывок вперёд, подняться на качественную ступень, именно на которой мы и сталкиваемся с совершенно новыми по своей природе и масштабам вызовами... Не так давно я сказал, что время простых решений прошло. Это действительно так”. Далее он говорил о какой-то непонятной “ловушке среднего уровня доходов, когда при достижении определённого уровня валового внутреннего продукта происходит определённое “зависание” темпов экономического роста”. А. Улюкаев с учёным видом знающего вещал о необходимом переходе “от экономики спроса к экономике предложения”. Что имелось в виду, он не пояснил, и никто этого, похоже, не понял.

На финансово-экономическом Олимпе случаются и раздоры, как это произошло между Д. Медведевым и А. Кудриным, когда тот, погорячившись, нарушил “правила игры” и тотчас же был отправлен в отставку. Но все они цепко держатся друг за друга: ворон ворону глаз не выклюет!

Большевизм наоборот

О необходимости вывода государства из экономики праволиберальный клан твердит уже много лет, вторя постулату своего духовного лидера. Устранение государства как “субъекта экономических отношений в стране” (Гайдар Е. Государство и эволюция. М., 1995. С. 189) было положено в основу приснопамятных экономических реформ начала 1990-х годов. Тогда это означало курс на скоропалательную ликвидацию общественной собственности и планового хозяйства, по сути, большевизм наоборот.

“Шоковая терапия” и приватизация, включая залоговые аукционы, нанесли экономике ни с чем не сравнимый урон, наречённый его творцами “кризисом переходного периода”. Так же, как во время “военного коммунизма”, страна быстро подошла к краю пропасти, что засвидетельствовали представители самых различных социальных и политических спектров. Приведём некоторые из них.

Академик РАН Н. Н. Моисеев: “Эра Гайдара” – так бы я назвал тот ужас безвременья, невероятного пренебрежения к человеку, особенно к русской интеллигенции, которое началось после его прихода на пост первого министра. Только потомственные большевики могли действовать подобно: не понимая сути происходящего в стране, не просчитав последствий, поставить страну на грань выживания. Была необходима длительная и постепенная трансформация общества. Потому-то я и говорил об уроках нэпа... Но гайдарообразные экономисты, коррумпированное чиновничество, криминалитет разного рода и клептоманы разных сортов стремились сделать всё как можно быстрее. Наворовать, обогатиться и разрушать, разрушать...”

Бывший диссидент Владимир Буковский задавался вопросом: “Каким образом Егор Гайдар, всю жизнь просидевший то в журнале “Коммунист”, то в экономическом отделе газеты “Правда”, оказался вдруг экономистом-рыночником и демократом? Охотно верю, что он читал какие-то книжки про рынок (тайком от своего партийного начальства), но он никогда не жил в стране с рыночной экономикой и понятия не имел, как это всё работает. Отсюда его безобразные “рыночные реформы”, его ваучерная “приватизация”, выродившаяся в простое жульничество. В результате за какие-нибудь два года такие вот “демократы” ухитрились дискредитировать то, за что мы 30 лет боролись”.

Но за всеми этими и многими другими аналогичными оценками по логике должен следовать вопрос: что же за общественный строй сформировался вследствие столь же нелепых, сколь и радикальных преобразований?

Неутешительный диагноз

Последнее время даже среди представителей праволиберальных сил проскальзывает признание, что наш капитализм “не такой, как надо”. По сравнению с тем, что утверждалось ранее, это, конечно, шаг вперёд. А прежде говорилось, что мы находимся в “переходном периоде” от “порочной” планово-социалистической экономики к “нормальному” рыночному, или капиталистическому, хозяйству. Теперь оказывается, что получилось не то.

Прежде чем уточнить: что же именно получилось? – заметим, что встречаются и иные трактовки. Так, заместитель директора финансовой группы “Калита Финанс” Игорь Суздальцев в интервью AiF.Ru заявляет: “Мы видим развал экономики во всех сферах, даже ракеты уже чаще падают, чем взлетают. Нам нужна реальная рыночная экономика, а не нынешняя рабовладельческая форма производства, в которой раб как основной производитель абсолютно не заинтересован. Ну, не бывает так, чтобы вся собственность в стране принадлежала 100 семьям, а остальные 140 миллионов граждан хотели бы на них работать”.

Сгущение красок не всегда помогает выяснению истины. Спорить, что у нас не рабовладельческий строй, не хочется. Хотя концентрация собственности в России действительно чрезвычайно велика, она всё же существенно разнится с утверждениями автора. 110 российских миллиардеров владеют 1/3 богатств России. В целом по миру миллиардеры владеют 1–2% национального богатства. Но стоит обратить внимание и на другое.

Билл Гейтс – самый богатый человек на Земле (\$76 млрд). Информационные технологии его “Майкрософта” изменили человечество. А что сделали наши олигархи для социального или научно-технического прогресса? Пиратский генетический код обусловил полное отсутствие какого-либо интереса к развитию экономики, а получение доходов прочно срослось с рейдерством, коррупцией и финансовыми махинациями.

Впрочем, нет правил без исключений. Житель Краснодара Сергей Галицкий, единственный из “золотой двадцатки”, сколотил состояние в \$8,2 млрд, не “унаследовав” собственности СССР. Хозяин торговой сети “Магнит”, а это многие тысячи продуктовых и других магазинов, сетует: “Мы специфически устроенная страна. Есть горстка предпринимателей, которые испортили саму репутацию бизнеса. Это бандиты или “договорщики”, у которых была возможность договориться с властью и пилить советские активы. Теперь народ в бизнесменах видит воров, негодяев, подонков. Что меня, человека, который работает семь дней в неделю, оскорбляет”.

Основатель инвестиционной компании “Тройка диалог” Рубен Варданян – ещё один из претендентов на номинацию “Рыцарь света в тёмном царстве”. “Кризис показал, – утверждает он, – что никакого капитализма у нас нет. Крупнейшие магнаты национализируют убытки, а себе забирают прибыль. Основная же часть бизнеса, лишённая доступа в кабинеты чиновников, пребывает в растерянности. Сделки в большей степени идут по понятиям, чем исходя из рыночных соображений. Возросла коррупция, а перераспределение активов происходит нерыночным способом. Общий уровень неуважения к российскому бизнесу продолжает возрастать”.

Сказано справедливо, кроме одного: капитализм у нас есть, но он **бюрократическо-олигархический**. Вот где собака зарыта.

Нынешняя стагнация – производная господствующего в стране строя, созидательные и конкурентные начала в котором подмяты отношениями монополистического господства и подчинения, неизбежно выдвигающими на авансцену экономической жизни тенденции паразитизма и загнивания. Плюс к этому – периферийное место в системе мирового капитализма, обрекающее на усугубление ситуации и усиление отставания от стран-рекордсменов экономического роста, гарантирующих повышение благосостояния граждан.

“Лето красное пропела...”

Читатель вправе спросить: если сейчас так плохо, то почему в первые восемь лет текущего столетия, до охватившего мир и нас глобального кризиса, экономическое развитие России шло вроде бы благополучно, а темп роста составлял в среднем 7%? Ведь экономический блок правительства и тогда состоял из тех же представителей рыночного фундаментализма.

Дело в том, что “тучные годы” обуславливались стечением временных, ныне улетучившихся обстоятельств. Мировая цена барреля нефти за это время возросла более чем в пять раз, что раздувало паруса нашей однобокой сырьевой экономики и питало иллюзию, что так будет всегда. Кроме того, доставшийся в наследство от СССР основной капитал тогда ещё не достиг той степени износа, как теперь. Имелись и незагруженные свободные производственные мощности, и резерв незанятой рабочей силы. Поэтому инвестиции давали сравнительно быструю отдачу.

Кажущуюся стабильность принимали за чистую монету. На самом деле она была хрупкой и неконструктивной. Езда на одном коньке всегда крайне рискованна. О необходимости диверсификации экономики говорили многие, но этой теме не позволяли становиться популярной. Вместо неё воспевалась “энергетическая сверхдержава” с её девизом: надо продавать углеводороды, а на выручку покупать то, что требуется.

По мере того как цены на “чёрное золото” ползли вверх, разгорался спор о необходимости изъятия сверхдоходов в общегосударственный бюджет. В 2004 году был создан специальный Стабфонд, средства которого могли хотя бы отчасти пойти на восстановление разрушенного в 90-е годы хозяйства. Но нет, их “стерилизовали”, чтобы, по утверждению тогдашнего министра финансов А. Кудрина, не допустить “укрепления рубля и ускорения инфляции”. Главным же теоретиком “стерилизации” выступал Е. Гайдар, доказывающий в своих пухлых, но теоретически несостоятельных трудах вредность “ресурсного богатства”, якобы накладывающего на обладающие им страны “нефтяное проклятие”. Поэтому, чтобы избежать всех этих угроз, средства Стабфонда целиком отправляли за океан в “надёжные руки” под какие-то жалкие 2–3%, с лихвой съедаемые инфляцией. Запад же отчасти из этих самых источников предоставлял кредиты нашему отечественному бизнесу, но уже втридорога. Замораживая средства, “скупые рыцари” по существу торпедировали процесс модернизации экономики, заверяя, что тратить их можно лишь тогда, когда наступит “чёрный день”. И дождались...

Как тут не вспомнить Крылова и его басню о Стрекозе, которая “лето красное пропела; оглянуться не успела, как зима катит в глаза”...

Путиномика и священная мантра

В середине прошлого десятилетия президент Путин сделал акцент на промышленной политике, а выпестованные в ряде важных отраслей госкорпорации, по замыслу, должны были не только способствовать сохранению национального контроля над стратегическими активами, помогать развитию тех сфер, которые частный капитал обычно игнорировал, но и явиться действенным созидательным противовесом чисто спекулятивным олигархам. Этот курс был чем-то сродни энпу. Тогда Ленин отступил от бездумной национализации и как прагматик принял “смешанную экономику”, адекватную обстоятельствам. Политика Путина был таким же логичным и вынужденным отступлением от оголтелой приватизации к укреплению госрегулирования.

Некоторое время всё шло неплохо, но позже выявились и отрицательные моменты. Госкомпании уподоблялись тем, кому должны были показывать положительный пример: их штаты оказывались полны родственниками и знакомыми официальных лиц, они были уличены в коррупции, раздувании окладов высокопоставленных менеджеров и многом другом. Не рискуя собственными деньгами, “топы” этих компаний быстро обогатились. Получаемые гендиректорами ежегодные вознаграждения достигали \$50 миллионов. И выплачиваемые им при уходе “золотые парашюты” производили неизгладимое впечатление...

Между “старой гвардией” олигархов и “выскачками путинского призыва” разгораются ожесточённые баталии. Два года назад группа Михаила Фридмана ставила палки в колёса “Роснефти” Игоря Сечина, не разрешая ей сливаться с отделениями ВР. Но позже миллиардеры первой волны сдались и даже продали свою ТНК-ВР “госкапиталисту”. Но матёрые олигархи не сложили оружие. Их ставленники муссируют тему о том, что в экономических бедах виновато “вмешательство государства в рыночные отношения”.

Да, госкапитализм пока не оправдал возложенных на него надежд. Выявились и дискредитирующие моменты. Наследники Гайдара во власти использовали эти факты, чтобы под предлогом пополнения бюджета страны убедить Д. Медведева в необходимости приватизации госкомпаний. Она бы уже и началась, но лицам из окружения Путина удалось временно приостановить процесс под предлогом, что цены на них в условиях кризисной конъюнктуры весьма низки, и торги в настоящее время могут оказаться не в пользу казны.

Однако и помимо этого возникают вопросы: не ослабятся ли тем самым рычаги воздействия на усилия по преодолению экономического застоя? Не уменьшатся ли возможности решения задач диверсификации и новой индустриализации? И не превратится ли новый тур приватизации в кормушку для олигархов, привыкших получать государственные активы задарма? Настораживающие моменты уже просматриваются.

В нынешней ситуации приверженцы Гайдара превратились в адвокатов дьяволов-олигархов, а священная мантра о “невмешательстве государства” контрпродуктивна попыткам гармонизации общества. На самом деле требует-

ся не вывод государства из социально-экономической жизни, а наоборот – усиление его вмешательства. Без возрождения плановой системы хозяйствования никак не диверсифицировать экономику и не возродить утраченную пропорциональность хозяйственной структуры. Так не лучше ли укрепить госкомпании квалифицированными кадрами и организовать за ними должный контроль? Правда, речь уже должна идти не о нынешнем государстве, превратившемся в самодовлеющую силу и кормушку бюрократии, а о реформированном, находящемся под контролем социал-демократических сил.

Зарубежный опыт

Подтверждением сказанного служит мировой опыт. В ряде бывших социалистических стран также произошли рыночные реформы. Но они не привели к тем разрушительным последствиям, что у нас. Там госсобственность не раздавалась задарма “избранному меньшинству”, а плановое регулирование сохранилось в более гибком виде.

В Китае и Вьетнаме, например, действовали постепенно, “держа большое, отпуская малое”, “переходили реку, нащупывая дно”, сочетая социализм с капитализмом. И вот результат: последние десятилетия обе страны показывают рекордные темпы экономического роста, а благосостояние граждан обеих стран неуклонно возрастает. В этих государствах, встроивших ныне в мировую экономику и являющихся членами ВТО, нет кризисов, а по индексам человеческого счастья эти страны выходят на передовые места. Крупные предприниматели Большого и Малого Дракона сколотили свои состояния не на разграблении социалистической собственности, а в поте лица своего, участвуя в преобразовании бывших отсталых аграрных экономик в могущественные индустриальные державы. Китайская экономика, как известно, стала второй экономикой мира и уже наступает на пятки экономическому лидеру планеты – США.

В правительствах этих стран не сыщешь министров, чьи жёны с помощью административного ресурса приносят в бюджет семьи предпринимательские доходы в миллионы долларов. Мздоимство среди чиновников случается, но коррупционеры любого калибра жестоко караются, вплоть до смертной казни.

Подобные же тенденции пробивают себе путь и в других частях Азии, европейских государствах, в ряде стран Латинской Америки.

Бразилия в начале 90-х, почти как нынешняя Россия, пребывала в состоянии уныния и пессимизма, запутавшись в клубке кажущихся тогда неразрешимых трудностей и противоречий. Галопировала инфляция, социальное расслоение зашкаливало. Но усилиями социалистов в лице президента Лулы и сменившей его Русефф страна вырвалась из пут олигархического капитализма и, ступив на путь конвергенции, стала восходящим гигантом XXI века. Основным содержанием политики сделали программы социального развития и модернизация реального сектора. Сегодня бразильская компания “Эмбраер” производит сотни воздушных судов, ворвавшись в тройку крупнейших авиастроителей мира наряду с американским “Боингом” и европейским “Эйрбасом”. Бразильская автомобильная индустрия выпускает в год около 4 миллионов машин. Реальные доходы рабочих и служащих страны увеличиваются, ширится помощь обездоленным. Инфляция и безработица держатся на низком уровне. Обитателей фавел год от года всё меньше. Высокое обложение налогами не смущает крупный бизнес. А средства, которые идут на повышение жизненного уровня бразильцев, расширяют внутренний рынок, создают благоприятные условия для накопления капитала. Кризис стал проверкой на прочность бразильской экономики. В самом тяжёлом 2009 году её ВВП почти не сократился, а в 2010 году уже вырос на 7,5%.

Из уст правых либералов часто слышишь: прежде чем приступать к модернизации, надо искоренить коррупцию. То, что коррупция – зло, это факт. Но там, где имеет место быстрый рост экономики и нет поляризации в распределении доходов, это не так уж страшно. В Индии коррупция традиционна. И тем не менее, найдя свободную нишу в мировой экономике, страна растёт самыми быстрыми после Китая и Вьетнама темпами. Бедность постепенно отступает, а средний класс увеличивается. Немалая заслуга в этом принадлежит

проводящему социал-демократический курс президенту Манмохану Сингху. Между прочим, второе образование он получил в Англии в Кембриджском университете, где его учителями были блистательные учёные, придерживающиеся кейнсианских и марксистских взглядов: Джоан Робинсон, Николас Кандор, Ричард Кан, Морис Добб. А ведь Индия, Китай и Бразилия вместе составляют 40% населения Земли, которое недавно достигло 7,2 млрд человек.

Украинский колокол

Так что же делать? Быстрых и простых решений действительно нет. Как из приготовленной ухи вернуть рыбу в аквариум? Сфабрикованный у нас капитализм не годится. Но и былой социализм не прельщает. Требуется **новое интегральное общество**, представляющее разумный симбиоз привлекательных черт предыдущих формаций. В период перестройки и после неё такие цели не ставились. Не ставятся они и сейчас.

Эти строки пишутся в тревожные дни, когда все говорят об Украине. Уже не в арабских странах, не на Ближнем Востоке, а непосредственно у наших границ развёртывается драма, охватившая братский народ. “Может ли нечто подобное произойти у нас?” – вопрошают многие. “Нет, конечно, такое не случится”, – слышится в ответ. Верен ли он?

Несколько месяцев назад никто бы не поверил в происходящее в соседнем государстве. *Не звонит ли украинский колокол и по тебе?* Ведь олигархат доминирует и в России, где он куда более разветвлён, масштабен и богат. Выручает то, что у нас, в отличие от соседа, имеется пользующийся авторитетом национальный лидер, что до поры до времени сдерживает внутренние антагонизмы. Однако ухудшающаяся социальная обстановка растит гроздь гнева, а порочный экономический курс подогревает температуру, грозя довести её до кипения.

Бюрократическо-олигархическим верхам хотелось бы оставить всё, как есть. Так не бывает и так не будет. Чем-то придётся поступиться. Либо “нежданное” потрясение с непредвиденными и непредсказуемыми последствиями, либо социал-демократические перемены, означающие реальные, научно выверенные шаги по оздоровлению, гармонизации общества. На внешнеполитическом поприще нашему президенту удаётся добиваться успехов, что признаётся в стране и мире. Однако сомнительный экономический курс встречает всё большее недоумение и негодование среди граждан, на что указывают и опросы общественного мнения. Предстоит решить и эту трудную, но чрезвычайно важную внутреннюю задачу. Но для этого придётся, прежде всего, освободиться от балласта псевдолиберальных “специалистов”, оккупировавших экономический блок власти.

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

ДИКОЕ ПОЛЕ

Когда-то предки украинцев заселяли лишь Дикое поле. Оборонялись от крымских татар, нападавших с побережья Чёрного моря, делали набеги на польские города. Ни крупных городов, ни выхода к морю у них не было. Почитайте “Тараса Бульбу”. Государственность им на свою голову сформировала Российская империя. Киево-Могилянскую академию основал молдаванин Могила, первую украинскую “конституцию” написал чех Орлик, теоретиком украинского консерватизма оказался поляк Липинский, а автором лозунга: “Геть від Москви!” – вообще русский Фитилёв-Хвильевой! Можно ли называть украинцами Великих князей Древней Руси Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха? Историк с Украины Андрей Кравец уточнил факты: “Какое отношение к украинцам имеет Иван Франко или Михаил Грушевский? Нравится нам их творчество или нет, вне зависимости от их позиции по “украинскому вопросу”, этнически они были русскими. Поляки и австрийцы не знали никаких украинцев, а сами земли имели... русское название. Достаточно просмотреть географические карты XIX века, чтобы убедиться в этом. На них вы найдёте Галицию, Малую Польшу, Русское Воеводство, Червонную Русь, но Украину найти у вас не получится. Какой народ мог жить в Русском Воеводстве? Поляки, евреи, русские, но никак не украинцы. Либо эти “украинцы” находились в очень глубоком подполье, что об их существовании никто не знал и не ведал... Украинская нация родилась в середине XIX века в Австро-Венгерской империи, с подачи сначала польских, а потом австро-венгерских стратегов. Предками тех, кто считает себя украинцами, являются русские. Некий “дядя” решил, что иметь один народ, проживающий в двух разных империях, опасно для государства, и назвал своих подданных украинцами. Произошло банальное переименование русского населения в украинский народ, случилось то, что сегодня специалисты по рекламе называют *ребрендингом торговой марки*, с формированием новой легенды и визуальных атрибутов *нового продукта*.

Историю Украины можно смело начинать отсчитывать именно с исторических изысканий Михаила Грушевского “История Украины-Руси”, который прекрасно знал о том, что до его фантазий украинской нации не существовало. В противном случае Грушевский в своих трудах никогда бы не делал глупых замечаний о том, что под русскими надо подразумевать украинцев, а под Русью – Украину. Не понял бы в то “тёмное время” никто, о какой Украине и украинском народе идёт речь. Не знали и не ведали о том ничего. Украине всего сто с лишним лет.

И я понимаю: для того чтобы нация состоялась, требуется период воинственного национализма.

Так было и с Финляндией после 1917 года. Так было и с прибалтами, которые сегодня ведут себя уже гораздо спокойнее. Так было и с Польшей. Вообще, я считаю, что именно с Польшей мы наделали много ошибок. Не надо было нашим императорам присоединять к России Царство Польское с миллионами евреев, не надо было и Сталину присоединять к СССР униатско-католическую Западную Украину... И не было бы в России ни еврейского вопроса, ни украинского.

А нынче хочется нашим братьям поскорее почувствовать себя сформировавшейся нацией.

Прочитал на официальном сайте Олега Тягнибока мнение о том, как же сделать Украину – украинской: “Чтобы создать действительно украинскую Украину в городах Востока и Юга, одной лишь люстрации будет мало, надо для этого вообще отменить парламентаризм, запретить ввоз в Украину любой литературы из РФ, запретить печать чего-либо на русском языке, даже букваря, полностью заменить руководящий состав госслужащих, управление образованием... физически ликвидировать всю русскоязычную интеллигенцию...” Тема для обсуждения на этом неонацистском форуме партии “Свобода” называлась: “Чи варто нам відпустити Донбас і Крим?” – “Надо ли нам отпустить Донбасс и Крым?”

Конечно, можно назвать это мнение экстремистским, провокационным, но я говорю не о провокативности, а о сути вопроса, который ставится бандеровцами вполне объективно. Что нужно сделать для того, чтобы, наконец, это искусственное советское псевдогосударство превратить в нормальное региональное национальное государство? Не секрет, что Украину как государство создали русские. Сотни лет существовали южнорусские губернии, и никто из свидомых украинцев никогда не претендовал на них. Ни на Одессу, ни на Екатеринослав, ни на Донбасс...

Может, оставить Украину в её исторических пределах? Оставим украм только Укру?! Помнится, на эту тему я как-то лет десять назад говорил с одним из лидеров УНА-УНСО Дмитрием Корчинским у нас в Москве, в Союзе писателей России. Тягнибоковцы нынче хотя запретить и русский язык, и свести к минимуму русское население Юга и Востока. Я же предлагал другое: вы хотите по-настоящему украинизировать Украину? Тогда бы я на вашем месте сам отказался и от Крыма, и от Донбасса, и от Одессы, от всей Новороссии. Только тогда в течение поколения вы сформируете единое украинское государство, выработаете национальную культуру. Я понимаю вас. Вы не имперский – региональный народ, вам просто не переварить 20 миллионов, да каких там 20 – все 40 миллионов русскоязычных граждан Украины. Значит, так и будете неполноценным, не национальным, лоскутным государством. Значит, либо надо уничтожить русскоязычное население, либо самим, пока не поздно, отказаться от этих территорий. Вроде бы украинские националисты и понимают это, но... жалко отдавать территории, которые они и заполучили-то по дурости самих русских правителей. Украинские националисты вроде бы даже не отрицают, мол, у России мы ничего не захватывали, а если они сами отдали нам и Донбасс, и Галицию, и Крым, и Одессу, зачем же мы от такого богатства отказываться будем?

Подумали бы своей головой! Может, Иосиф Сталин осознанно присоединил к деревенской, глубоко провинциальной украинской Украине Донецко-Криворожскую республику, чтобы русскими рабочими Донбасса и Днепрпетровска русифицировать сознание малороссов? вспомните историю половины XVII века: Киев, Галичина, Запорожская и Турецкая (о которой все нынче тактично умалчивают) Сечи, Крым, а между ними – Дикое поле. вспомните, как начиналась Советская Украина: образовались Одесская республика, Донецко-Криворожская республика со столицей в Харькове, о Крыме вообще никто не помывшлял, Закарпатье и Галичина были в Польше и Чехии. Такой и была нормальная национальная Украина, без всякого выхода к морю. И Запорожская Сечь с морем не граничила. У моря были турки, которых позже разбили русские полководцы и адмиралы: Измаил всё-таки Суворов штурмовал, а не запорожцы, да и море Чёрное осваивали адмиралы Ушаков, Сенявин, Нахимов...

вспомним, что о едином Донецко-Криворожском промышленном регионе заговорили крупные предприниматели Юга России ещё до Октябрьской революции. Долго думали, где размещать столицу: в Екатеринославе (ныне Дне-

пропетровск) или же в Харькове. Сошлись на Харькове. Уже после февральской революции – с 25 апреля по 6 мая 1917 года – в Харькове состоялся 1-й областной съезд советов рабочих депутатов Донецкой и Криворожской областей, на котором завершилось объединение Харьковской и Екатеринославской губерний, Криворожского и Донецкого бассейнов.

Ещё крупнейший южнорусский промышленник Николай фон Дитмар писал 1 августа 1917 года Временному правительству от имени предпринимателей края:

“Вся эта горная и горнозаводская промышленность составляет вовсе не местное краевое, а общее государственное достояние, и ввиду колоссального значения этой промышленности для самого бытия России, конечно, не может быть речи о том, чтобы вся эта промышленность и эта область могла находиться в обладании кого-либо другого, кроме всего народа, и быть в подчинении какой-либо власти, кроме власти всего народа – власти государства. Не может государство и его орган – Правительство – созданную вековыми усилиями и средствами всего народа и самого государства южную горную и горнозаводскую промышленность – основу экономического развития и военной мощи государства – и все вековые труды на заселение и процветание прежде пустынного края взять у всего народа и передать провинциальной автономии и, может быть, даже федерации, основанной на резко выраженном национальном признаке. . .

Надо считать возможным и необходимым вне всяких национальных автономий известную децентрализацию власти и управления, но и с этой точки зрения органы такой местной власти и управления должны быть в Харьковском районе и не могут быть перенесены из Харьковского района в Киевский, ибо одинаково этот перенос мог бы быть сделан, например, в Царицынский или Кавказский район, и с гораздо большим успехом – в Москву”.

Дитмар высказывал мнение крупнейших южнороссийских предпринимательских кругов, они не видели ничего общего у промышленных регионов Юга России с Центральной Украиной: “Весь этот район как в промышленном отношении, так и в географическом и бытовом представляется совершенно отличным от Киевского. Весь этот район имеет своё совершенно самостоятельное первостепенное значение для России, живёт самостоятельною жизнью, и административное подчинение Харьковского района Киевскому району решительно ничем не вызывается, а наоборот, как совершенно не отвечающее жизни, такое искусственное подчинение только осложнит и затруднит всю жизнь района, тем более что это подчинение диктуется вопросами не целесообразности и государственными требованиями, а исключительно национальными притязаниями руководителей украинского движения”.

С этим мнением соглашалось и Временное правительство. Согласно официальному циркуляру Временного правительства от 4 августа 1917 года территория самой автономной к тому времени Украины ограничивалась лишь Киевской, Волынской, Подольской, Полтавской и Черниговской губерниями. . . Три новороссийские (Екатеринославская, Херсонская и Таврическая), Харьковская (Слобожанщина) и частично Черниговская (Северщина) губернии изымались из ведения Центральной Рады. Присоединение их к украинской автономии было возможно лишь при условии, если за это высказается население. Как современно это звучит! Будто и ста лет не прошло. . .

По сути, эту идею признал и видный большевик Артём (Сергеев) в 1918 году. После октября 1917 года вполне легитимный по тем временам орган власти Донецко-Криворожской области – исполком местных советов – принял официальную резолюцию: “Развернуть широкую агитацию за то, чтобы оставить весь Донецко-Криворожский бассейн с Харьковом в составе Российской республики и отнести эту территорию к особой, единой административно-самоуправляемой области”. И уже 27 января 1918 года на 4-м областном съезде была провозглашена Донецкая республика, естественно, в составе России. Жена Артёма позже вспоминала: “Все серьёзные и важные мероприятия Артём обязательно согласовывал с ЦК партии, лично с В. И. Лениным, слово которого для него было законом. Так, например, несколько раз он обсуждал с Владимиром Ильичом вопрос о целесообразности создания Донецко-Криворожской республики в данной ситуации. И когда в феврале 1918 года республика была создана, Ленин горячо приветствовал председателя её совнаркома – Артёма”.

Границы Донецкой республики были определены в официальной ноте Артёма, переданной им руководителям европейских держав накануне вторжения немцев в Харьков: “Что касается границ нашей республики – они... должны быть известны Киевскому правительству. Всего несколько месяцев тому назад Киевская Рада в договоре с князем Львовым и Терещенко установили восточные границы Украины как раз по линии, которая являлась и является западными границами нашей республики. Западные границы Харьковской и Екатеринославской губерний, включая железнодорожную часть Криворожья, Херсонской губернии и уезды Таврической губернии до перешейка всегда были и сейчас являются западными границами нашей республики. Азовское море до Таганрога и границы угольных Советских округов Донской области по линии железной дороги Ростов–Воронеж до станции Лихая, западные границы Воронежской и южные границы Курской губерний замыкают границы нашей республики”.

И даже в 1919 году после самороспуска Донецкой республики под давлением Сталина, вплоть до XII съезда РКП(б) в 1923 году, многие опытные хозяйственники поднимали вопрос об особом статусе Донбасса. Но восторжествовала идеология: решили “разбавить мелкобуржуазную Украину пролетарским элементом Донбасса”. Эта мелкобуржуазная идеология и торжествует сегодня на Украине.

Решительными противниками Донецкой республики, увы, были почти все советские руководители самой Украины. Первый глава Советской Украины Николай Скрыпник писал в статье “Донбасс и Украина” о главной проблеме, как “с помощью рабочего класса, русского по национальности или русифицированного, который презрительно относится порой даже к малейшему намёку на украинский язык и украинскую культуру, – с его помощью и его силами завоевать себе крестьянство и крестьянский пролетариат, по национальному составу украинский...”. Он и был сторонником самой жёсткой украинизации Донбасса: “Для того чтобы осуществить свои классовые, пролетарские, коммунистические задачи, рабочему классу на Украине нужно, обязательно нужно не отождествлять себя с русским языком и с русской культурой, не противопоставлять свою русскую культуру украинской культуре крестьянства, напротив, нужно всемерно идти в этом деле навстречу крестьянству”. Приказано было русским перестать быть русскими.

В советское время о Донецкой республике запрещено было писать и даже упоминать о ней. Тогда вопреки всем сегодняшним заявлениям проводилась всемерная украинизация всей русской Украины, о чём не любят вспоминать и сегодня. Недавно, наконец, вышла первая книга о Донецко–Криворожской республике, очень толково написанная историком Владимиром Корниловым. Она сразу же стала бестселлером не только на Украине, но и в России. Стала не только литературным, но и политическим событием. Книга донецкого политолога, историка и публициста Владимира Корнилова “Донецко–Криворожская республика. Расстрелянная мечта” вышла в издательстве “Фолио”. В ней собраны уникальные, никогда ранее не публиковавшиеся документы и материалы периодической печати времён революции и гражданской войны, обобщены научные труды, ранее известные лишь узкому кругу исследователей. Из неё читатель узнает, каким же образом те земли, которые ныне называются Востоком Украины, стали Украиной.

Так же мало известно и об истории Одесской республики, тоже возникшей в 1918 году. Одесса помнила о своём статусе “вольного города” с 1817 по 1856 годы, когда она жила по правилам “порто-франко”. За это время Одесса стала одним из богатейших городов России. В конце декабря 1917 года она вернула себе статус “вольного города”, а в январе 1918 года большевики вместе с компанией Мишки Япончика свергли власть Центральной рады и объявили о создании Одесской республики. В январе 1918 года дружина Мишки Япончика совместно с большевиками, анархистами и левыми эсерами освободила Одессу от излишней украинизации, заодно уничтожив и картотеку на 16 тысяч одесских уголовников. Одесская советская республика была провозглашена 18 января 1918 года на территории Херсонской и Бессарабской губерний. Обратите внимание: почти все территории нынешней Приднестровской Молдавской республики в 1918 году входили в Одесскую республику!

Я обращаю внимание читателей, что все эти яркие события, выведившие всю Новороссию из состава УНР, ЗУНР и даже Советской Украины, происхо-

дили и в царское время, и при Временном правительстве и Центральной Раде, и в советское время и носили не столько политический, сколько стихийный национальный прорусский характер. И за прошедшие сто лет ничего не изменилось!

Не было и нет никакой единой Украины. Была и есть та самая “Укра”, Запорожская Сечь, которую будто бы заселяли древнейшие античные укры, или нынешние украинцы, и была и есть Новороссия, заселённая исключительно русскими или русскоязычными жителями. Так же плавно и органично к этой Новороссии присоединяется и Приднестровье. Увы, но никогда не смогут сами украинцы, как бы хорошо мы к ним не относились, будучи совсем не имперским народом, переварить русскую имперскую половину. В лучшем случае – будет федеральное государство, состоящее из Малороссии, Новороссии и Крыма, а может, и западенцев. Или же при дальнейшей бандеризации Украины произойдёт мирный или кровавый раздел её, как минимум, на две части – Новороссию и Малороссию. Даже если Россия вновь предаст своих русских братьев, они никогда не смогут сами украинизироваться.

Вполне была бы возможна и жизнеспособна Новороссия, или Донецкая Федеративная республика, включающая Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Луганскую, Харьковскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области, куда вошли бы и Крым, и Приднестровье. Её население составило бы около 20 млн человек. У неё был бы выход к морю, высокоразвитая промышленность, научная и техническая элита. Разделились же мирно чехи и словаки, и не мешают друг другу. Так бы и Украине можно было бы мирно разойтись. Да только кто ей позволит? Ни Европа, ни Америка, ни, увы, Россия.

ИРИНА ГЛЕБОВА

ХАРЬКОВСКАЯ ВЕСНА. ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Ночью под окнами моей квартиры разбивали машину. Это была ночь с 13 на 14 марта. Я проснулась от криков, грохота, звона стекла и сразу подумала: “Началось...” В Киеве давно били, крушили, жгли, стреляли. У нас тоже происходили неприятные события, но всё же Харьков жил, трудился, учился в обычном режиме. Казалось даже: а вдруг нас обойдёт?..

Когда подбежала к окну, увидела с третьего этажа в свете одинокого фонаря во дворе убегающие фигуры – ловкие, в куртках с капюшонами. И услышала голоса – возбуждённые, молодые, почти мальчишеские. Мне стало грустно. Я знала и парня, владельца разбитой машины: на ветровом стекле у неё всегда висела георгиевская ленточка. Узнала и погромщиков – мальчишек из нашего двора, нынешних “майданщиков”. Это были мои друзья. Десять лет назад мы с мужем продали большую квартиру в центре города, помогая дочерям решить жилищный вопрос. Себе купили скромную квартиру в “сталинке” на Московском проспекте. Дом находится в районе завода имени Малышева – того самого, где создавались знаменитые танки Т-34. И жили в нём всегда “малышевцы”: рабочие, инженеры, служащие. Но за годы нашей украинской “незалежности” от сорокатысячного славного предприятия остались лишь стены, работает сейчас там хорошо, если три тысячи людей. Остальные были выброшены на рынок. В прямом смысле: недалеко расположен огромный вещевого рынок. Вот там почти все бывшие малышевцы и трудятся нынче: кто – реализатором, кто – в пошивочных мастерских, кто челночничает, кто на паях завёл “свое дело”. Как ни странно, но подобная работа забирает гораздо больше времени и сил, чем “вкалывание у станка”. И никаких социальных гарантий. Вот родители с раннего утра и до вечера – на рынке, а двора – на улице.

Я сразу подружилась с этими ребятами. Моя собака породы курцхаар красиво ловила тарелку-фрисби на лету, и в первый же день во дворе детвора окружила нас. Было им лет по семь-десять – открытые, весёлые, добрые и привязчивые. Стали приходить ко мне, я их угощала, решала с ними логические задачки, играла в литературные игры. Они даже писали мне рассказы. Очень добрые истории и невероятно безграмотные. Дети ходили в украинские школы, дома говорили по-русски, а писать не умели ни на одном, ни на другом языке – вперемежку шли все буквы и слова. Очень скоро я поняла, что практически все они – из неполных семей, а некоторые вообще живут с дедушками и бабушками.

Детям, подросткам нужна организация, ведь они и сами собираются в компании, группы, команды. Для моего поколения, поколения наших детей открыты были бесплатные спортивные секции, кружки, их объединяли пионерская организация, комсомол. Для мальчишек моего двора всё это заменил фан-клуб “Металлист”: огромный стадион “Металлист” с одноимённой командой от нас совсем недалеко. Все мои юные друзья, подрастая, становились футбольными фанатами. Поначалу мне было забавно слышать, как они, собираясь во дворе, дружно выкрикивают речёвки. Но немного мне понадобилось времени, чтобы понять, что эти стишки полны ненормативной лексики и просто агрессивны. А группы мужающих фанатов становились всё обширнее, всё развязнее. И всё-таки когда уже не мальчики, а парни встречали меня во дворе с тяжёлыми сумками, обязательно забирали их, несли к двери квартиры. Но это – по одному, по два. В своих фан-стаях они преображались. Кануло в небытие время болельщиков, которые на стадионах, “болея” за разные команды, сидели рядом и даже не думали колотить друг друга. Сейчас во время матчей цепи милиции и разные секторы чётко отделяют группы фанатов друг от друга.

Нетрудно было мне узнать, что все наши юные фанаты отираются на харьковском “Майдане”. А кое-кто побывал и пожил и на главном Майдане страны – в Киеве. На вопрос “Почему?” мальчишки, которым минуло уже по 18–20 лет, отвечали: “Они же против ментов!” Да, к милиции у фанатов патологическая ненависть – это я знаю. И потом: на Майдане ходят в масках, касках, с цепями и палками – это так интересно! Военная романтика! Они умом ещё совсем пацаны и поэтому думают, что играют в “войнушку”. Но особенно стало захватывающе, когда евромайдановцы захватили-таки здание областной администрации – бывший обком партии.

Это монументальное шестистажное здание, где в советские годы обитало руководство областного комитета компартии. Здание прекрасно вписывается в ансамбль таких же величественных строений, где расположились Госпром, университет, Военная академия, гостиница “Харьков”, обрамляющих нашу знаменитую площадь Дзержинского (последние 20 лет – майдан Свободы). Именно на это здание указывает рука бронзового Ленина на таком же монументальном, самом большом в Украине памятнике. В день, когда экипированные касками, щитами и дубинками люди в масках вломилась в здание, они сразу же объявили, что будут сносить памятник Ленину. И тут же пригнали на площадь кран. Они чувствовали себя победителями и хозяевами не просто так: в этот день, 22 февраля, в Киеве произошло то, что называется “насилованным захватом власти” или “военным переворотом”.

Мы, харьковчане, оказались к этому не готовы. Ведь с начала года у нас разыгрывался совсем другой сценарий...

В январе уже было ясно, что Майдан в Киеве – не стихийное протестное образование, а хорошо продуманный и организованный акт. И всё больше пугала наглюющая, не скрывающая своей ненависти ко всему русскому, выпущенная в свет бандеровская сила. Молодые ребята, потомки вояк из УНА и ОУН, громили в городах западной Украины здания, дома, памятники. И уже по улицам Киева, Одессы, Чернигова ходили отряды, оружие речёвку “Бандера приїде – порядок наведе! Буде вільна Україна, буде ненька самостійна! Москалів – на ножі!” Вывешивались листовки: “Москалі та жидва, чекайте. Вже скоро!!! Хоч би в крові по коліна, або вільна Україна”. И уже кричали в телевизионные камеры, не скрываясь, что нас вырежут поодиночке, что поставят нас “на коліна”, что мы, не чистокровные украинцы, будем у них слугами.

Вот тогда, в те дни, харьковские руководители стали настоящими лидерами для всей Восточной Украины. В интернете самыми популярными были видеоролики, где губернатор Михаил Добкин смело и резко осаживает самых оголтелых деятелей оппозиции, заявляя, что не будут на наших улицах носить портреты Бандеры и Шухевича, что не позволит он оскорблять наших фронтовиков и трогать наши памятники. А Геннадий Кернес, мэр Харькова, высмеивал перед телекамерой лживых журналистов лживых украинских СМИ. И это были не просто слова: когда в Харькове была направлена из Киева колонна автобусов с боевиками из западных областей, их на подступах встретили и развернули отряды харьковской самообороны, организованные губернатором и мэром. А 1 февраля у нас собрались на съезд делегаты областных организаций Партии регионов – не только востока, но и запада Украины. Это был

праздник. И, между прочим, именно делегаты этого съезда впервые с начала событий на Украине надели георгиевские ленточки, чётко определяя свою идеологию, свои традиции. Те самые ленточки, которые потом носили в Крыму, которые 17 марта в Москве надели все, кто присутствовал на подписании договора о вхождении Крыма в Россию...

Люди поверили, что мы, Восток страны, — сила, что созданный нами “Украинский фронт” сможет противостоять фашистской *навале*. Мы проведём референдум, получим статус федерации для наших русскоязычных областей, станем сами решать, на каком языке разговаривать, каких героев чтить, с кем заключать выгодные экономические союзы. В конце концов, был же прецедент в истории: Донецко-Криворожская советская республика в 1918–1919 годах в составе Украины со столицей в Харькове. Она просуществовала недолго, и её создатель и руководитель Артём был категорически против ликвидации ДКСР. Умный человек был большевик Фёдор Сергеев, носивший партийную кличку Артём, жаль — очень рано погиб... Или был устранён.

И тут приходит на память другой умный человек — харьковчанин Евгений Кушнарёв. Дважды он был мэром Харькова, избирался губернатором, депутатом Верховного Совета Украины. Кушнарёв был яростным противником “оранжевой революции” 2004 года. Ещё тот, первый Майдан он назвал “тщательно подготовленным и великолепно профинансированным государственным переворотом”. Пытаясь остановить *оранжевую напасть*, он стал одним из организаторов Северодонецкого съезда. Там он произнёс речь, которую я хотела бы процитировать полностью. Но ограничусь фрагментом: “Мы хотим жить в государстве, где каждый человек защищён. Защищены его права, его культура, его язык, его история, его традиции и его обычаи. Мы понимаем, что Восток имеет серьёзнейшее отличие от Галичины, мы не навязываем Галичине наш образ жизни, но мы никогда не позволим Галичине учить нас, как нужно жить!.. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами: от Харькова до Киева — 480 километров, а до границы с Россией — 40!”... Десять лет прошло, а как всё актуально сегодня!

Кушнарёв был автором проекта Юго-Восточной Украинской Автономной республики, последовательным сторонником федерализации Украины. И тоже рано погиб: в январе 2007 года был смертельно ранен из огнестрельного оружия во время охоты в лесах Харьковской области. Убийство по неосторожности — таков был официальный вывод. Но харьковчане и сейчас убеждены: Евгений Кушнарёв имел все шансы стать следующим президентом Украины, потому и был убит.

* * *

В ночь с 14 на 15 марта в Харькове гражданское противостояние ступило на порог гражданской войны: бой на улице Рымарской и первые две смерти. Всё началось на площади Дзержинского, у памятника Ленину.

Противостояние начиналось именно у этого памятника. Когда 22 февраля приехал кран, чтобы сдёрнуть с пьедестала восьмиметровую фигуру вождя, харьковчане к этому были готовы. Большая толпа людей с георгиевскими ленточками не позволила сделать то, что сделали с памятником Ленину в Киеве и некоторых других городах. Кран уехал, а вокруг бронзовой фигуры установили решётки заграждения и разбили палаточный лагерь. Каждый день, особенно к вечеру, здесь собиралось множество защитников памятника, на ночь оставались активисты. Февраль, ещё зима, холодно. Через площадь, в тёплом здании бывшего обкома, с комфортом жили захватчики-евромайдановцы. А у памятника топили печки-буржуйки, спали на карематах, кутались в одеяла, куртки, телогрейки. Люди со всего города несли ребятам вещи и одежду, продукты и питьё.

Я не раз в эти последние февральские дни приходила на площадь. На крыльце облминистрации сновали люди в масках и касках — выходили проветриться, поразмахивать чёрно-красными и сине-жёлтыми флагами и вновь возвращались в тёплое здание. Их охранял кордон милиции в несколько рядов. Той самой милиции, которая, по всем законам, должна была бы их выгнать оттуда. Но всё происходило наоборот: в здание не пускали желающих это сделать. Королевство Кривых Зеркал!

Палаточный лагерь у памятника охраняли только его обитатели, над ним развевались украинские, сине-жёлтые флаги. Но был и российский триколор, и флаг Беларуси, и красный советский, и с гербом Харькова. И много было плакатов, в большинстве своём написанных просто от руки: “Защитим Харьков от вандализма и беззакония!”, “Сегодня толпа решает снести памятник, а завтра — твой дом”, “За двуязычие!”, “Харьков — не Киев”, “Осторожно! Фашизм на “ZZвободe”!”... Здесь не было масок и касок.

Мне захотелось сделать снимки, но я не знала, захотят ли ребята попасть в кадр. Спросила у парнишки, как раз подошедшего к решётчатой ограде, он засмеялся:

— Фотографируйте, мы лиц не прячем.

Подошла женщина с сумками, спросила, куда отдать вещи и продукты. Тот же мальчик ответил:

— Вещи я могу взять, а продукты отнесите в ту палатку, там наши медики их проверят. — И объяснил:

— Нам уже передавали отравленную воду и наколотую чем-то колбасу. Теперь всё проверяем.

Я запомнила это юное лицо — большие глаза, тёмные кольца волос, белозубую улыбку... 17 марта в харьковской газете увидела фотографию одного из убитых на Рымарской, и узнала того самого парнишку. Артём Жудов, 19 лет...

К 14 марта много чего произошло в городе, я вернусь потом к тем событиям. Но не было уже в здании обладминистрации захватчиков, убранный был и палаточный городок у памятника Ленину. Однако защитники его, опасаясь всё же покушений, собирались тут вечерами. Я слышала, как молодёжь с добрым юмором говорит: “Пошли к дедушке Воле”. Мы в своё время говорили “дедушка Ленин”, а они — более фамильярно, но и более по-домашнему. Вечером, уже в десятом часу, 14 марта в группу молодых ребят у памятника на скорости въехал автомобиль-пикап тёмно-синего цвета. Кто-то отскочил, кто-то упал, а машина сбила ограду, из открытого окна в людей брызнули газом из баллона и — попытались уехать. Но два парня оказались с мотоциклами, вскочили и погнались за автомобилем. А на асфальте остался сбитый при наезде на ограду номер с заднего бампера. И тут сразу несколько человек узнали машину — та самая! Тот самый синий пикап “Фольксваген”, молодчики из котлорого избили троих активистов нашего митинга за несколько дней до этого, 8 марта. Так получилось, что я видела это своими глазами, и автомобиль тоже.

Митинг уже заканчивался, когда позвонил муж. День был праздничный — всё-таки 8 марта, — но он работал. Сказал мне, что освободился и уже подъезжает. Мы договорились встретиться недалеко от площади, в кафе. Я пошла мимо гостиницы “Харьков” в сторону проспекта Правды. И увидела, как затормозила тёмно-синяя машина, выскочила целая команда парней в масках, с прутьями в руках. Они мгновенно оказались рядом с другой припаркованной машиной и стоящими рядом тремя мужчинами. Я тогда не знала, что эти трое — организаторы митинга, но видела, что на них такие же георгиевские ленточки, как и на моей куртке... В оцепенении я смотрела, как людей избивают, потом раздался выстрел. И сразу же команда в масках запрыгнула в свой пикап, и автомобиль рванул прочь. Отчаянно кричали женщины, от площади бежали люди... Кто-то из окружающих запомнил номерной знак машины, его сообщили милиции. Но, как выяснилось позже, никто даже не искал её. А зачем? И так знали, что это автомобиль людей из “Правого сектора”, а им дозволено всё. Как раз в эти же дни в Киеве вооружённая банда “Правого сектора” захватила банк, покуражилась там, как хотела, а потом в присутствии милиции вышла и удалилась, даже не подумав сдать оружие — автоматы Калашникова...

Прошла неделя, и вот тот самый тёмно-синий автомобиль, с теми же номерами, появился на площади, у памятника Ленину. Мотоциклисты проследили за ним до улицы Рымарской, увидели, как он въехал во двор дома номер 18. Я сама несколько лет жила на этой улице — одной из центральных улиц Харькова, застроенной старинными домами. Жила как раз в доме номер 19 — напротив. И хорошо знаю 18-й дом — двухэтажный особняк с аркой, которая ведёт во внутренний двор. Здесь давно уже располагался офис харьковского отделения общества “Просвита”.

Два слова об этой всеукраинской организации. Она возникла ещё в середине XIX века во Львове. Главная цель – просвещение народа с целью пробуждения национального самосознания. В 1939 году была закрыта, в 1989-м – возродилась. Харьковская “Просвита” поначалу занималась пропагандой украинской литературы, истории. Но в последние годы её покинули многие члены – научные работники, преподаватели, писатели, потому что руководить ею стали “свободовцы” и их молодёжная организация “Патриоты Украины”. А во времена Евромайдана здесь расположился ещё и “Правый сектор”... Вот сюда и примчался автомобиль с нападавшими. От памятника Ленину до Рымарской всего-то – парк Шевченко перебежать. Для крепких парней это минут семь. Что они и сделали после звонка мотоциклистов, да ещё и подкрепление вызвали.

Несколько дней после потрясшего Харьков боя на улице Рымарской наши украинские СМИ рассказывали всей Украине и “доверчивой” Европе, что вооружённые молодчики харьковской самообороны “Оплот” ворвались в здание общества “Просвита”, когда мирные “просвитяне” проводили там своё собрание. (Видимо, в одиннадцатом часу вечера они собрались там почитать вслух стихи!) И что есть раненые и жертвы. Почему-то при этом скромно умалчивая, что двое убитых и около десятка раненых – со стороны нападавших. Харьковчане, между тем, хоронили двоих погибших и знали, что произошло на самом деле. Интервью мэра Харькова Геннадия Кернеса прошло только по местному телеканалу: ещё бы, он ведь рассказал всю правду, тем более что был очевидцем событий.

В здании “Просвиты” и в самом деле собрались, но не “просвитяне”, а бойцы “Правого сектора”. Вооружены были они. И когда осаждающие решили выбить дверь, чтоб добраться до них, из окон второго этажа раздалась автоматные очереди, полетели гранаты и “коктейли Молотова”. В этом штабе был ещё и склад оружия, что показал в дальнейшем обыск. И хотя несколько машин “Скорой помощи” уже увозили раненых (мальчик Артём скончался по пути в больницу), осаждающие не отступили. К ним прибывало подкрепление, было решено не дать боевикам уйти.

В эти дни бывший харьковский губернатор Михаил Добкин находился под домашним арестом в Киеве, мэр Кернес тоже был под домашним арестом, но в Харькове. Их новая власть обвиняла в сепаратизме, собиралась судить. Кернесу сообщили, что на Рымарской идёт бой, и он, преступив запрет, помчался туда. Именно он сумел притушить страсти ребят из самообороны и добиться согласия на переговоры с осажденным “Правым сектором”. По его вызову приехала милиция (до сих пор она просто не вмешивалась в происходящее), и боевики, сложив оружие, вышли с поднятыми руками... По официальным данным, они – 29 человек – находятся в СИЗО, но в городе все знают, что всех их выпустили.

Написала о том, что на Рымарской – первые жертвы противостояния, – и вспомнила. Первая жертва случилась раньше и прошла почти незаметно. 26 февраля в своей квартире была убита Мария Бломериус – одна из самых активных организаторов защиты памятника Ленину. Убита жестоко – многочисленные колото-резанные ранения, – и это даёт повод думать, что не случайно. 65-летняя женщина ещё вместе с Евгением Кушнарёвым создавала молодёжное движение “Вместе – вперёд!”, активно работала в Харьковском отделении Партии регионов. Узнать её адрес было нетрудно, а жила она одна. Уголовное дело об убийстве открыли, но с тех пор – нигде ни слова о следственных действиях... Я не знала Марию Бломериус, но хорошо знала её брата – известного диссидента Генриха Алтуняна, соратника академика Сахарова и генерала Григоренко. В 70-х и 80-х годах он осуждался по политическим статьям, отсидел в лагерях в общей сложности 9 лет. В 90-е годы был народным депутатом Верховного Совета Украины. Генрих Ованесович писал книгу воспоминаний о своей жизни, я её редактировала. Он предлагал мне стать соавтором, я отказалась: идеология разрушителя СССР была мне чужда. Но вообще-то Алтунян был хорошим, весёлым, умным человеком... И вот теперь я думаю: ведь и его лепта есть в том, что происходит сейчас. Раздирая Советский Союз на части, и он, Алтунян, создавал вот это, пронизанное национализмом государство, где убили его сестру, восставшую против национализма. Как всё связано...

Украинские СМИ с самого начала переворота не только нагло ввали, но и разделяли нас, жителей страны. Ребят из городов Востока, которые вынуждены были организовываться в отряды самообороны, защищая нас от нашествия бандеровцев, во всех новостях по всем каналам называли “озброєні звірі”, а майдановцев, превративших центр Киева в горящий ад, — “наші діти”. Мы были сепаратистами, а они — патриотами. Мы, выходящие на митинги с просьбой: “Дайте провести референдум о федерации”, — предатели, *запроданцы*, а их фашистский “Правый сектор”, громящий в Киеве и западных городах магазины и банки — герои. А уж откровенное переверивание всего происходящего стало нормой. 1 марта на площади, которую сейчас харьковчане называют “Свобода имени Дзержинского”, проходил митинг. Очень многолюдный ещё и потому, что была суббота, предпоследний день Масленицы. А Масленицу у нас всегда гуляли на этой площади. После выступления губернатора и мэра, защитников памятника Ленину и военных начался концерт. И тут от здания обл администрации раздались взрывы и выстрелы. Там всё ещё сидели захватчики и не собирались оттуда уходить. Люди от трибуны, среди которых была и я, потянулись туда: интересно же, что эти майдановцы придумали! У милицейского заграждения остановились, снимая происходящее на фотоаппараты и мобильные телефоны. И в это время с крыши здания в нас полетели бутылки с горячей зажигательной смесью, а несколько человек в масках подбежали и через головы милиционеров стали распылять нам в лица газ. Народ взревел: “Да что же это! Сколько можно терпеть!” Шеренга милиции легко пропустила хлынувший к зданию поток...

Воспоминание об освобождении обл администрации — одно из самых эмоциональных для меня за последнее время. Помню всё до мелочей, но расскажу коротко. За двадцать минут наши мужчины голыми руками скрутили вооружённых дубинками, щитами, касками, ножами и баллончиками с газом захватчиков здания. Их было человек сто, они разбежались по всем шести этажам, прятались по кабинетам, но всех выловили. По живому коридору их вели от входа до трибуны. Мы смотрели на них — жалких, перепуганных, закрывающих лица, и я слышала, как женщины и мужчины говорят: “Господи, совсем дети. Давайте их отпустим!” А с крыши здания ребята размахивали флагами России, над входом повесили копию советского знамени Победы.

Многие были в крови — и пленники, и победители, — многих увезли на машинах “Скорой помощи”. И всех задержанных отпустили. Хотя тогда же в здании нашли оружие и ящики с готовыми “коктейлями Молотова”, и большой мешок со шприцами, заполненными “неизвестным веществом”... А вот на тех ребят, которые за минуты сделали то, что не могли власти и органы правопорядка сделать больше недели, на них-то как раз и завели уголовные дела... Но это было позже — тогда же на площади работало несколько групп операторов. В этот день вечером я видела репортаж российского канала НТВ: всё показали так, как происходило на самом деле. Следом я увидела подачу нескольких украинских каналов. И узнала, что в здание администрации, куда пришли на экскурсию безобидные и беззащитные “наші діти”, ворвались вооружённые громилы в российской военной форме, выбрасывали детей из окон, избивали до полусмерти. И российский триколор на крыше установил гражданин России... Да российскими флагами была расцвечена вся площадь — не счастье! И любой парень, держащий такой флаг, мог водрузить его. Кстати, чуть позже эти же ребята поставили рядом и двухцветный флаг Украины, но об этом почему-то никто нигде не говорил. А “рукой Москвы” так запугали наших телезрителей, что даже я попала под “раздачу”. На митинге 8 марта молодая пара с маленьким ребёнком прислушивалась к разговорам группы людей, и вдруг парень обратился ко мне:

— Вы харьковчанка?

— Да, — ответила я, — коренная.

— Не верю! — категорично заявил молодой человек. — Вы говорите не так, как харьковчане! У вас русский выговор. Вы засланы из Москвы!

Да, выдал меня мой литературный русский язык! Я и в самом деле русский писатель, член СП России. Но я так же и член Национального союза пи-

сателей Украины, потому что родилась и всю жизнь живу в Харькове, здесь выходили мои первые книги, практически все мои герои – харьковчане. И я патриот своей страны. Но моё понимание патриотизма как братства славянских народов, памяти о нашей общей великой истории, перспективе только общего будущего – это преступно в нынешней Украине.

* * *

Мои коллеги, харьковские литераторы, с самого начала возникновения Майдана в Киеве тут же превратились в восторженных его сторонников. Если раньше я никогда не обращала внимания, кто на каком языке пишет – большинство из нас дружили с литстудийской молодости, – то сейчас это стало водоразделом. Украинские письменники ходят к памятнику Шевченко на харьковский Евромайдан, русские писатели – на митинги Антимайдана. Правда, среди пишущих на русском языке единомыслия нет: кое-кто явно или скрытно тянется к сторонникам Евросоюза. Зато украинские коллеги – все как один!

Можно было их понять, когда в Киеве всё только начиналось, возникали первые баррикады, напоминающие Майдан “оранжевой революции”. Но когда события начали раскручиваться очень быстро, когда появились фашистские бандеровские лозунги, запылали “коктейли Молотова”, загремели выстрелы и взрывы, как могли поэты и писатели, большую часть своей творческой жизни называвшиеся “советскими” литераторами, не понять того, что происходит, не осудить?.. Поверьте, я знаю, что говорю: ни один пишущий на русском языке поэт не издавал таких откровенно ура-патриотических стихов – о Ленине, партии, советской Родине, фронтовиках, – как украинские поэты моего города. А уж как клеймили фашизм! Теперь же, с начала “майдановской эры”, они тоже пишут патриотические произведения, наполненные расхожими штампами: “мостили трупами путь в светлое завтра”, “нас продали Москве”, “где вечные Соловки”, “против нас – вооружённые ордынцы”, “через УПА прошли миллионы – Героям слава!” и, конечно же, бесконечное упоминание “голодомора”. Всё это, само собой, на украинском языке, я просто перевела, цитируя.

Да, “фактор языка”, как показали сегодняшние события в нашей стране, оказался решающим. Впрочем, я это почувствовала ещё раньше, в 2009 году. Именно тогда я писала об этом одному писателю из Тернополя. Так получилось, что я прочла его книгу, написанную на прекрасном украинском языке, в интересном жанре – дневниковые записи. По собственному желанию я написала статью-рецензию, послала ему вместе со своей книгой “Звезда предвечерняя”. Получила очень тёплый ответ и тоже рецензию на мою книгу. Причём, рецензия начиналась словами: “Вперше за багато років мені захотілося написати відгук на російськомовну книжку, вперше пишу про автора, політичні погляди якого не співпадають з моїми на всі сто відсотків, але мистецьке слово якого мені близьке і зрозуміле, а світовідчуття суголосне з моїм”. Меня не покоробили эти “сто процентов” несопадения политических взглядов, наоборот – порадовали искренностью и откровенностью. Мне показалось, что они – как призыв к диалогу. И я, с ответной искренностью и желанием поделиться своими мыслями, написала ответ. Процитирую два абзаца из него:

“...Да, недаром такие споры, ссоры и непримиримые дебаты идут в нашей стране именно по поводу языка. Это и в самом деле непростой вопрос, и решение его непростое. Скажу откровенно, мне не раз, на протяжении всех лет независимости Украины, приходила мысль: а может, напрасно объединили в 39-м году такие разные части Украины в одну? И истории у нас разные, и менталитет, и герои, и язык. И тяга в разные стороны: у кого – к России, у кого – к Польше, Румынии, Венгрии... Возможно, к сегодняшнему времени мы бы также обрели независимость, но как две отдельные страны. Или даже три. И жили бы, налаживая экономические и культурные связи и не имея друг к другу претензий. А что: вот ведь бывшие Чехословакия и Югославия, как оказалось, были так же искусственно и насильно объединены. Теперь каждая их часть – самостоятельно государство.

Возможно, у вас своё и совершенно иное мнение на этот счёт. Я не претендую на истину, а просто рассуждаю. При этом прекрасно понимаю, что у истории нет сослагательного наклонения: “если бы...” Мы – одна страна. Но противоречия между востоком и западом в некоторых вопросах очень

сильны (не смягчило ли бы их федеративное устройство Украины?). Вот и вы свою рецензию начинаете словами о том, что я, автор книги, на сто процентов не совпадаю с вами по идеологии. Меня эта фраза порадовала. Нет, не смыслом её — он печален, — а тем, как открыто и просто вы об этом говорите. . .”

И что бы вы думали, каков был ответ на мою искренность? Никакого! До этого очень приятно и тепло отвечающий мне тернопольский коллега резко замолчал. Ни слова в ответ. Я, конечно, и тогда поняла, что причина — в моих откровениях, которые, судя по всему, очень ему не понравились. Но насколько — это до меня дошло вот в эти дни. Воистину, “Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись никогда!” Было время, мне казалось, что можно преодолеть разногласия. И писательское Слово в этом поможет. Но всё поворачивается гораздо жёстче, и теперь я в этом сомневаюсь. . .

Особенно когда прочла опубликованное 3 марта “Заявление председателя Национального союза писателей Украины Виктора Баранова”. Начиная он, конечно, с осуждения оккупации Россией Крыма. И дальше (цитирую на украинском языке, поскольку не сомневаюсь, что читатели поймут его): “На цьому тлі викликає щонайменше подив недавній візит до Москви групи українських письменників для чергового обіймання з “єдинокровними братами” під претекстом вшанування 200-річного ювілею Тараса Шевченка. . . У цій ситуації вважаю неприпустимою будь-яку участь української сторони у спільних з Росією ювілейних шевченківських заходах. Росія втратила моральне право долучатися до святого для кожного з нас імені Тараса Шевченка”.

Зато совершенно допустимым руководство НСПУ считает публичное выступление Владимира Яворивского, который много лет руководил украинским Союзом писателей. Депутат нынешней Верховной Рады Украины предложил отменить статью 436-1 УК Украины: “Об ответственности за публичное отрицание, оправдание и пропаганду фашизма”. И это — тот самый украинский советский писатель Владимир Яворивский, который в 1979 году в документальной повести “Вечные Кортелисы” клеймил пособников фашистов последними словами: “Полицаи, вся здешняя сволота, мерзость человеческая, пустились в бандеровские банды. А куда же им от людей честных было деваться?” Вот ещё цитата: Кортелисы “веками шли к воссоединению с братьями-украинцами, к сентябрю 1939 года”. С освободительным приходом Красной армии в этом селе “сразу же создаются органы Советской власти, и впервые за четыре столетия кортелисы посылают детей в украинскую школу. Впервые получают избу-читальню и бесплатный медицинский пункт. . . Впервые бедняки делят между собой помещичью землю. . .” Мне к этому добавить нечего.

Должна откровенно сказать, что в Харькове много сторонников евроинтеграции, а значит — сторонников Майдана. У мужа и дочери большой круг знакомых и коллег среди художников, архитекторов — там таких хватает. Так же, как и среди офисных работников, менеджеров, компьютерных операторов. . . Ну, хочется им в Европу! И потому они упорно отрицают реальность — совершенно очевидные вещи! В стране произошёл захват власти военным образом — это реальность по всем международным и человеческим нормам. “Нет, — отрицают эти умные и образованные люди, — это мирный протест против преступной власти”. В стране царствует жестокая цензура: все СМИ, подконтрольные хозяевам-олигархам, говорят то, что выгодно власти, идут на откровенный обман и подлог — это реальность. “Нет, — возражают они, — у нас свобода слова”. По улицам столицы и других городов ходят вооружённые банды, с которыми никто не борется, они убивают людей, захватывают теперь уже и предприятия, запугивают, бросают в застенки лидеров протестной стороны — это реальность. “Нет, у нас демократия. . .” Этим людям доступны не только официальные СМИ, но и любые сайты Всемирной социальной сети — интернета. Но они почему-то не читают таких высказываний, как вот это — с официального форума главы партии “Свобода” Олега Тягнибока: “Чтобы создать действительную украинскую Украину в городах Востока и Юга, надо вообще отменить парламентаризм. Запретить все политические партии, запретить ввоз в Украину любой литературы из РФ, запретить печатать что-либо на русском языке. . . Физически ликвидировать всю русскоязычную интеллигенцию (быстро, без суда и следствия расстрелять). Казнить всех главарей антиукраинских партий и организаций, не только пророссийских, но и прорумынских, провенгерских, протатарских. . .” Это доступно в интернете. И это о нас, в том числе и о вас, господа русскоязычные интеллигенты-евроинтегранты. . .

23 марта в Харькове, как всегда, на площади Свободы-Дзержинского был большой митинг. Какой по счёту – я уже сбилась, хотя с самого первого прошёл всего месяц. Да, ровно месяц – 23 февраля люди первый раз собрались у памятника Ленину. Начали мы с просьбы о проведении референдума – демократичного волеизъявления огромного количества народа на огромной территории страны. Нам дали его провести? Теперь даже смешно думать, что те, кто пришел к власти в Киеве, могли это сделать. Те, кто сейчас арестовывает и избивает наших лидеров, вооружает бандитов “Правого сектора”, образывая из них теперь уже “законную” Национальную гвардию. Поразителен по циничности сюжет, промелькнувший в украинских новостях: в Киеве банда вооружённых молодчиков избила жителей одного дома. Приехал по вызову заместитель министра МВД, вывел бандитов. Люди спрашивают его: “Их арестовали? Будут судить?” А он, на ходу оглянувшись, бросил: “Будут родные служить”. Ясное дело – чем не “национальные гвардейцы”!

На этом митинге вспоминали, конечно, погибших на Рымарской ребят – большой стенд с их фотографиями стоял у трибуны. И когда прозвучало: “Мы всегда будем помнить наших товарищей, погибших в борьбе с фашизмом”, – у меня по щекам потекли слёзы. Я не плакала, а слёзы катились. Боже мой, кто бы мог такое представить: на нашей земле неделю назад парнишка 19 лет погиб в борьбе с фашизмом!..

Не будет нам ни референдума, ни федерализации. А будет и уже есть героизация Бандеры, вояк УНА, воинов Майдана и “Правого сектора”, отмена праздника Победы. А в дальнейшем – полное изъятие русского языка из вузов, школ и, думаю, даже детских садиков. Базы НАТО на наших территориях, полное отсутствие промышленности, урезание пенсий, двукратное повышение квартплаты... Мы так соперничали Крыму и откровенно радовались, что у них всё получилось. Они шли до конца, и их поддерживала Россия, теперь они – часть её. А у нас – ощущение того, что мы в своей стране чужие. Мы ещё ходим на митинги, вот и на последнем, 23 марта, решено все разрозненные силы сопротивления объединить в одну партию. Приняли резолюцию-ультиматум к городским и областным властям: провести 27 апреля региональный референдум... Мне горько слышать упреки в сторону харьковчан: вот, мол, вы не можете себя защитить, бороться, заставить с собой считаться. Нет, мы многое делаем – то, что возможно. Но ведь мы – мирные, гражданские люди, у нас нет оружия, нет воинских формирований, нет наглости, беспредела. Так же, как у наших единомышленников из Донбасса и Луганска, хотя они и активнее, и многочисленнее, но в том же беззащитном положении. И всё сильнее ощущение того, что нас бросили...

Сейчас у нас, в Украине, наверное, у каждого есть свой прогноз на будущее. Есть и у меня. Но я не стану его озвучивать: возможно, это просто смесь из желаний и надежд, страха и разочарования. Я лучше приведу цитату из очень мне понравившейся книги “Мечеть Парижской Богородицы” Елены Чудиновой. Давно знаю, что лучшие предсказатели будущего – это писатели-фантасты. Лучше всяких политологов, астрологов, экстрасенсов...

“Наособицу стоит среди исламских стран Турция, так и не пожелавшая изменить свой традиционный статус светского государства. Что, конечно, не помешало ей на правах сильного вспомнить о старом договоре с царской Россией и преспокойно откусить у Украины Крым. Ну да, от хохлов сейчас только беззубый не кусает. На русских территориях протекторат, там войска. И какая-то дикая Сечь посреди XXI столетия на незалежных территориях. Рисовать карту бесполезно, власть меняется с христианской на мусульманскую и наоборот что ни день. Не то что в каждом городе, в каждом селе. Впрочем, внешне сразу и не скажешь, на чьей улице праздник: странная привычка у хохлов – воевали с ляхами, походили на ляхов, теперь от мусульман не отличишь, разгуливают в банданах, бороды поотпускали. Электричество дают раз в месяц, в городах, понятно. В сёлах нету даже керосина. Куда умней оказались в своё время белорусы, вовремя вошедшие в состав России”...

Остросюжетный роман-прогноз “Мечеть Парижской Богородицы” написан в стиле “антиутопия”, события в нём происходят в 2048 году. Издана книга в 2005-м... Да, немного ошиблась писательница в субъекте отторжения Крыма, но главное точно предсказала: не быть Крыму украинским. И не мчится ли Украина семимильными шагами к тому самому будущему – к дикой Сечи посреди XXI столетия на незалежных территориях? Или к чему-нибудь похуже...

ЯКОВ АЛЕКСЕЙЧИК

АТАКА НА РЕЙХСТАГ У РЯБОГО МОСТА

Вечная слава белорусским партизанам!

28 июня 1941 года – седьмой день Великой Отечественной – для многих из тех, кто пишет и читает о той ужасной войне, является, прежде всего, днём, когда гитлеровцы ворвались в белорусскую столицу – город Минск. Этим подчёркивается и стремительность немецкого продвижения на восток, и трагичность ситуации, в которой оказалась Красная Армия, и растерянность советского политического и военного руководства, и в целом неготовность к той беде, которая нагрянула на Советский Союз.

Само суждение, что Минск пал на исходе первой же недели вторжения, стало чем-то вроде печати, “заверяющей” всю сумму промахов в предвоенной политике Советского Союза, особенно Иосифа Сталина и его ближайшего окружения, и даже акцентирующей внимание на том, что она – та политика – состояла из одних промахов. Встречаются утверждения, что лишь после сдачи Минска “Сталин очнулся от иллюзий”, и до него наконец-то дошло, что это никакая не провокация, а грянула война, которую он считал отодвинутой. Фраза о том, что Минск пал уже на седьмой день войны, сама по себе настолько тяжела по своему эмоциональному наполнению, что в её тени осталось многое из того, что происходило тогда же. И не только то, что в Минск оккупанты вступили отнюдь не парадным маршем (если уж зашёл о том разговор, советская гвардия родилась как раз в боях за белорусскую столицу: 100-я и 161-я стрелковые дивизии, показавшие образцы стойкости в боях с частями вермахта на подступах к Минску, стали 1-й и 4-й гвардейскими. – **Прим. авт.**). Городской легендой стала реальная история о том, как одиночный танк Т-28, экипажем которого командовал майор Васечкин, пытался прорваться к своим, двигаясь по главным улицам уже оккупированного города. Не прорвался, однако в самом центре белорусской столицы успел уничтожить девять вражеских танков, полтора десятка автомашин, три артиллерийских батареи, расчёты которых пребывали в полном расслаблении в городском парке.

Но 28 июня 1941 года произошло ещё одно событие, которое стало своеобразным “звонком” для пришельцев. Правда, случилось оно не в Минске, и поначалу незваные “гости” не придали ему должного значения. А это тоже был бой: механизированный взвод разведки 293-й немецкой пехотной дивизии у Рябого моста через речку Ясельда на тракте, который ведёт из Пинска на север к трассе Брест-Москва, потерял один танк и несколько человек пленными, ещё два танка повернули назад. Разумеется, для дивизии это были не Бог весть какие потери, однако сразу после того боя из уст одного из пленён-

ных немецких офицеров прозвучали слова, обозначившие необычный характер начавшегося противоборства. Он громко возмущался, что его берут в плен какие-то цивилизные люди, не имеющие на это права. Тот офицер, можно не сомневаться, был уверен, что случилось какое-то недоразумение, ему не приходило в голову задуматься: с кем отныне придётся иметь дело миллионам его соотечественников и союзников, начавшим “Дранг нах Остен”. Все они ещё не в состоянии были уразуметь, что на сей раз направились не туда. Брестская крепость, продолжавшая сражаться уже за их спиной, им казалась случаем из ряда вон выходящим. Оккупантам ещё предстояло расширить лоб у Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Курска с Белгородом, дабы убедиться, что любая дорога и переправа даже через малую речку в Белоруссии, на Украине, на Смоленщине, Псковщине, Брянщине на каждом их шагу может стать и со временем станет своеобразным Рябым мостом, к которому не так просто водрузиться. И лишь тогда некоторые из них, да и то далеко не все, стали осознавать, что здесь пришельцам противостоит не только армия, а то, на чём зиждется и войско, и флот, и государство, — народ.

Это был первый бой первого партизанского отряда, созданного уже 22 июня 1941 года В. З. Коржом. В “первый набор” Василий Захарович включил шестьдесят человек. Двое из них стали Героями Советского Союза, отряд со временем вырос в Пинское партизанское соединение, равное дивизии. Как потом выяснилось, бой, состоявшийся 28 июня, был **первым партизанским боем во время Великой Отечественной войны** и одновременно отправной точкой в весьма важном процессе, который развернулся во всенародное сопротивление оккупантам.

Почему именно В. З. Корж в первые же часы войны начал создавать партизанский отряд? Почему такая идея пришла в голову ему, заведующему финансовым сектором Пинского обкома партии, а не главному партийному руководителю Пинщины? Прямо скажем, он в этом деле разбирался лучше. Во-первых, в двадцатые годы партизанил в отряде К. П. Орловского на территории, отторгнутой по Рижскому договору от Белоруссии в пользу Польши. Во-вторых, перед войной проходил специальную подготовку. В середине тридцатых годов в той части Белоруссии, которая была Советской, предпринимались серьёзные меры к тому, чтобы в случае новой агрессии на оккупированных противником пространствах развернулось партизанское движение. Было обучено шесть специальных отрядов по 300 человек в каждом, в тайники заложено более тысячи пулемётов, несколько десятков тысяч винтовок, соответствующие запасы патронов, гранат, взрывчатки. В военных условиях каждому из тех отрядов предстояло превратиться в базу для развёртывания уже десятков формирований подобного типа. В. З. Корж был командиром одного из них. В-третьих, он прошёл проверку своего прежнего опыта и новых познаний в ходе гражданской войны в Испании. Правда, к концу тридцатых политика, связанная с подготовкой к войне, изменилась, специальные отряды и тайные базы были ликвидированы, а кадры, особенно руководящие, в значительной части репрессированы. Некоторые источники утверждают, что уцелели лишь те, кто выполнял задания за рубежом, — К. П. Орловский, С. А. Ваупшасов и В. З. Корж. Однако то, что во время войны каждый из этой тройки стал крупным партизанским командиром, говорит о том, что готовили их основательно.

Но и в этом случае неизбежен вопрос: а достаточно ли специальных познаний одного или нескольких человек, пусть и очень талантливых, даже специальных отрядов, чтобы поднять чуть ли не весь народ? Или нужны были более существенные обстоятельства? Скорее всего, нужны. И Василий Захарович Корж, приступая к созданию своего отряда, исходил из уверенности, что будет поддержан большой массой людей, а его убеждение базировалось на многих факторах. Он хорошо знал настроения земляков. Притом не только в родной деревне и её окрестностях. За четыре года партизанских действий в составе отряда К. П. Орловского побывал в разных местностях и смог лично убедиться, чем на самом деле дышит основная масса народа, когда речь идёт о борьбе с оккупантами. И уже тогда чётко усвоил, что для партизанского движения на оккупированной врагом территории нужно довольно много условий, но главное состоит в том, что оно жизнеспособно и эффективно лишь тогда, когда имеет широкую поддержку населения. Иначе, пусть бы те отряды были руководимы хоть из московского ОГПУ, хоть из генерального штаба

Красной Армии, польская полиция и жандармерия разделились бы с ними в короткое время.

У белорусского писателя Владимира Короткевича есть повесть “Ладья отчаяния”, главный герой которой — Гервасий Выливаха — руководствовался правилом: даже если на меня нападут впятером, ни на минуту не задумаюсь, употребить мне зубы или нет. Уже июнь-июль 1941 года показали, что людей, готовых драться в любых ситуациях на тех территориях, где появились гитлеровцы, было много, и они способны были на недюжинные поступки. В первые же дни оккупации в деревне Трилиски Ивановского района на Брестчине был арестован и отправлен в пинскую жандармерию бывший член Компартии Западной Белоруссии С. Е. Балюк — таких немцы “зачищали” немедленно. Однако Степан Еремеевич сумел повернуть судьбу так, что не только избежал смерти, но и взорвал ту самую жандармерию. Да, поначалу помог случай. Когда в жандармерии ни у кого из obsługi не получилось отремонтировать сложный замок, а потому она вынуждена была искать специалистов среди заключённых, он справился с этой задачей, и ему “в хозяйственных целях” была сохранена жизнь. Затем он повёл себя так, чтобы не вызвать ни капли подозрений, и через некоторое время получил определённую свободу передвижения. Остальное для опытного подпольщика стало “делом техники”: связаться с партизанами, получить задание, перевезти тол в буханках хлеба, испечённых женой. Вспомнить это в данном случае важно ещё и потому, что бывшие члены Компартии Западной Белоруссии сыграли весьма большую роль в развёртывании партизанского движения: не растеряли связи, пароли, явки, которые не успели устареть. Высоко ценил таких людей и В. З. Корж. Они составляли его ближайшее и весьма доверенное окружение и были для отряда глазами и ушами.

А в Белоруссии к началу Великой Отечественной войны жило много людей, знавших, что такое конспирация, и имевших опыт ведения партизанских действий. Это те, что в 1918 году дрались сначала с немцами, захватившими почти всю белорусскую и украинскую территорию после Брестского мира, а потом сменившими их поляками, армии которых тоже дошли почти до Днепра и Западной Двины. К августу 1918 года они очистили обширнейший район белорусского и украинского Полесья от немцев, а к октябрю партизанские силы юга Беларуси и севера Украины насчитывали уже до ста тысяч человек и взяли под контроль всю железнодорожную линию от украинских Сарн до белорусских Ганцевичей — несколько сот километров. Они даже назначали своих комендантов на каждую станцию, зачастую прямо диктовали свою волю немецким воинским командирам, а те, уходя, в целости и сохранности передавали вокзалы, депо, склады, как это было в Лунинце в начале 1919 года. Памятна была и “Рудобельская республика” — так в 1919–1920 годах называлась территория, состоящая из Рудобельской волости Бобруйского уезда и ряда волостей Мозырского и Речицкого уездов, на которой на протяжении всего периода оккупации Беларуси войсками Германии и Польши сохранялась Советская власть. Карательные экспедиции немцев не дали эффекта, наоборот, партизаны вошли в Бобруйск и помешали им вывезти награбленное имущество.

Ещё жарче народное сопротивление вспыхнуло тогда, когда на смену немцам пришли польские оккупанты. Только в окрестностях Слуцка действовало около тысячи партизан, в бобруйском, пинском регионах отряды насчитывали по 500–700 человек. На Минщине партизаны вели бои с регулярными частями 17-й польской дивизии, специально снятой с фронта, выводили из строя железнодорожные линии Минск–Вильно, Минск–Барановичи, Минск–Жлобин, Минск–Борисов. Крестьянин В. И. Талаш в деревне Новосёлки около Петрикова в нынешней Гомельской области организовал отряд, объединивший 300 его земляков, и выбил белополяков из родной деревни, захватив при этом значительные трофеи. На берегу Припяти теперь стоит памятник тому деду Талашу, награждённому орденом Красного Знамени и ставшему героем повести “Трясина” классика белорусской литературы Якуба Коласа. Партизаны Великой Отечественной войны воспитывались уже и на эпизодах этой повести. Любопытно в жизни этого человека и то, что во время коллективизации он отказался вступить в колхоз, а с началом новой войны, имея уже почти сто лет от роду, снова ушёл в партизаны. В 1943 году на специальном самолёте сей в прямом смысле слова драгоценный “реликт партизанского движения” был вывезен в Москву. Его водили на встречи в москов-

ские трудовые коллективы, воинские части, где он рассказывал о действиях партизан в обеих войнах. После войны вернулся в родную деревню Новосёлки, умер в возрасте 102-х лет. Он навсегда стал одним из символов белорусского сопротивления иноземным захватчикам. В 2011 году на “Беларусьфильме” была снята кинолента “Талаш”. Она, правда, встретила острое неприятие польской прессы, ведь в нём польские солдаты показаны отнюдь не освободителями белорусов.

А о накале антипольского сопротивления уже после присоединения западной половины белорусских земель к Речи Посполитой говорит то, что только в 1922 году, как признавал польский премьер Грабский на одном из заседаний сейма, партизаны провели 878 операций. Они выставляли ультиматумы самому коменданту Речи Посполитой маршалу Юзефу Пилсудскому, обращались в Лигу Наций, в 1924 году отряд Кирилла Орловского остановил около Лунинца поезд Полесского воеводы М. Довнаровича, обезоружил охрану, а самого воеводу заставил по телеграфу оповестить Варшаву о том, что он покидает свой пост.

Разумеется, столь упорное сопротивление германским и польским войскам возникло не на пустом месте. Есть много оснований подчеркнуть, что история партизанского движения на пространствах нынешней Белоруссии, как и России, насчитывает много веков. Население этих земель никогда не было покладистым по отношению к оккупантам, историки отмечают, что во время вторжения иностранных армий крестьяне всегда создавали отряды для защиты своих жизней и имущества, нанесения урона пришельцам, и наиболее крупные вехи такого сопротивления даже в самых отчаянных условиях видны очень чётко. Например, подвиг Евпатия Коловрата. Этот рязанский боярин и воевода в 1237 году, когда татаро-монголы ворвались в пределы Руси, находился в Чернигове, где собрал дружину в 1700 человек – ничтожное число по сравнению с ордынцами – и ударил по их тылам, хотя вряд ли его кто-то упрекнул бы, если бы он ушёл, скажем, в Новгород. Коловрат и его дружинники дрались столь отчаянно, что ханы вынуждены были признать: “Таких удалцов и резвцов не видали, ибо это люди крылатые и не имеющие страха смерти!”

В войне с Наполеоном, подчёркивал в книге “Память о легендах” белорусский исследователь Константин Тарасов, “в историю народного сопротивления захватчикам вошли действия отрядов, созданных крестьянами деревень Староселье, Есьманы, Мажаны, Клевки в Борисовском уезде на Минщине, Тростенце в Игуменском уезде, Жарки на Полотчине. Врага топили в реках, отмечал автор, убивали кольями, как это случилось в Могилёве. Селяне, вооружённые ружьями, становились партизанами и превращались в грозную военную силу. Так, 12-тысячный французский гарнизон был буквально заперт в Витебске партизанами, которые осадили город, и для его спасения император вынужден был выслать войска. А героические легенды в трудное время тоже становятся оружием, не зря же говорят, что нынешний человек – это одновременно и человек, живший 300, 500, 800 лет назад. В феврале 1943 года во время операции против соединения Коржа, в которой гитлеровцы задействовали двадцать тысяч военных, каратели приказали крестьянам – братьям Ивану и Михаилу Цуба – вести их в расположение партизан. Земляки партизанского командира завели немцев в болото у реки Лань, где те и погибли от мороза и пуль подоспевших народных мстителей. Братьям поставлен памятник, их родная деревня Новины теперь называется Цубы. Трудно поверить, что они, совершая свой подвиг, не знали легенды об Иване Сусанине и о том, что он сделал.

Однако эти вехи народного сопротивления иностранной оккупации обозначают ещё один контекст, который не только подчёркивает давность такого сопротивления, но и показывает, как вместе с характером войн менялись его формы, способы, движущие силы. Как отмечает белорусский историк Александр Гронский, сам термин “партизан” появился на переломе восемнадцатого и девятнадцатого веков, сейчас даже идёт полемика о его происхождении. Одна из статей Гронского, опубликованных в Минске в журнале “Беларуская думка”, так и называется: “Война за термины”. В ней он пишет: “Участник Отечественной войны 1812 года, идеолог и предводитель партизанского движения русский поэт Денис Давыдов называл партизанами только военнслужащих регулярной армии, действовавших в тылу наполеоновских войск. ...В отряде Давыдова были гусары, драгуны, егеря и артиллерия. Соответст-

венно, партизанские действия — это лишь те, которые вели армейские летучие отряды. Крестьянские отряды, которые начали появляться в 1812 году, в то время к партизанским не относили. Их называли по-разному — кордоны, ополчения и т. д.” Разумеется, вряд ли от этого было легче солдатам Наполеона, но такое понимание термина и образа действий сохранялись до Первой мировой войны. Тогда в окрестностях Пинска ещё “по-старому” партизанил Борис Анненков, ставший потом войсковым атаманом Сибирского казачества, теперь больше известный жестокостью по отношению к сторонникам Советской власти во время гражданской войны, а перед этим, когда противостояние на русско-германском фронте стало позиционным, казаки, которыми он командовал, пользуясь “дырками” в линиях траншей из-за болотистой местности, прорывались в немецкие тылы, некоторое время там куролесили и возвращались к своим. И куролесили эффективно: Анненков был награждён пятью орденами и золотым Георгиевским оружием. Вполне возможно, что известно это было и партизанавшему в тех же местах В. З. Коржу, чему могла способствовать и людская молва, и специальные курсы, в ходе которых история партизанского движения вряд ли была обойдена вниманием.

Смена принадлежности термина “партизан” была обусловлена изменением характера войн. Чем многочисленнее становились колонны вооружённых ратей, марширующие по дорогам и время от времени останавливающиеся на широких полях, чтобы померяться силами с противником, тем меньше деревень, сёл, местечек и городов оставалось не задетыми и не вовлечёнными в этот процесс. Одновременно всё больше бед претерпевали их обитатели, которым всё чаще приходилось браться за колья, вилы, сабли с мушкетами, если таковые находились, чтобы защитить своё имущество и безопасность семей. А к XX веку дело дошло до того, что войска начали двигаться не колоннами, а сплошной линией, захватывая или сметая всё на своём пути. Возрастали и поражающие возможности оружия. Число жертв среди мирных граждан стало превышать армейские потери. Невоюющему населению оставаться в стороне было уже невозможно, надо было подаваться в эвакуацию или принимать порядок вещей, принесённый оккупантами, и население поняло, что его спасение не только в людях, облачённых в военную форму, но и в их собственных руках.

Способствовало рождению подобного вывода и то, что военные, привыкшие действовать по команде, не в упрёк будь им это сказано, не всегда проявляли инициативу, оказавшись без команд и командиров. И если в прежние времена активность гражданских в войне ограничивалась тем, что они помогали военным, то новые условия заставили их брать всю инициативу на себя, самим делать ставку на те или иные политические силы и, одновременно, на оружие, особенно в ситуациях, когда и власть стремительно менялась, как это было после Первой мировой: немцы, поляки, местные и пришлые банды... Конечно, приведённая схема упрощена, однако в общих чертах ситуация развивалась именно таким путём: народ приходил к выводу, что спасение погибающих в условиях оккупации — дело рук самих погибающих.

Способствовало исходу “армейского наполнения” из понятия “партизан” и то, что в условиях сплошных фронтовых линий почти до нуля снизилась возможность проникновения регулярных частей в тылы противника для нанесения ударов по флангам, арьергардам, коммуникациям, складам. Главной силой сопротивления становилось вооружённое гражданское население. Александр Гронский цитирует соответствующие статьи в первом и втором изданиях Большой советской энциклопедии. Если в выпуске 1939 года партизанские действия трактовались как совместная “активность армейских отрядов и мирных жителей в тылу противника”, то во втором, послевоенном, партизанами названы “участники народной войны, лица, добровольно взявшиеся за оружие и ведущие боевые действия против вторгшегося иноземного захватчика или внутренней контрреволюции, но не входящие в состав регулярных вооружённых сил”.

Можно с большой долей уверенности предположить, что первыми к осознанию необходимости нового характера сопротивления врагу в его тылах пришли не теоретики. Василий Захарович Корж, несомненно, относился к числу тех, кто ясно ощущал, в какую сторону меняется ситуация. Как и Сидор Артёмьевич Ковпак, командовавший партизанским отрядом на Украине ещё в годы гражданской войны, Минай Филиппович Шмырёв — Батяка Минай, создавший первый партизанский отряд на Витебщине. И, как вскоре выясни-

лось, не только они. В те же первые дни войны в Старосельском сельсовете Жабинковского района – на полтора километра западнее Пинска, почти у самого Бреста – дал о себе знать партизанский отряд, созданный председателем сельсовета Михаилом Никитичем Чернаком из местных жителей и пограничников, которыми командовал лейтенант Сергей Шиканов. М. Н. Чернак в 1942 году погиб, отряд был назван его именем и тоже внёс весомый вклад в борьбу с гитлеровцами на Брестчине. А к концу июня 1941 года на оккупированной территории Беларуси действовало уже четыре партизанских отряда, хотя шла лишь первая неделя войны, ещё не поступали никакие “команды сверху”. ЦК Компартии Белоруссии свою директиву № 2 “О развёртывании партизанской войны в тылу врага” принял только 1 июля. В июле таких отрядов стало 35, в августе – 61, отмечает белорусский историк А. А. Коваленя. Уже в июле-августе 1941 года гитлеровцы вынуждены были начать против партизан первую карательную операцию “Припятские болота”, которая проводилась на территории Брестской, Пинской, Минской и Полесской областей.

После той директивы ЦК партийные комитеты активизировали создание новых отрядов. Тот же Пинский обком партии к середине июля сформировал их более полутора десятков. Правда, не всем им удалось выполнить поставленные задачи – нанести урон противнику, а самим выжить. Притом не все из прекративших своё существование отрядов были разбиты. Одни погибли, как ганцевичский, а также столинский, в котором воевал и секретарь обкома П. Г. Шаповалов. Другие, исчерпав боезапас, двинулись к фронту. Третьи были рассеяны и “залегли на дно”, как минимум, до весны. Четвёртые из-за внутренних разногласий – были и такие – вовсе не смогли приступить к боевой работе.

Сказались и иные причины, состоявшие в том, что не у всех были одинаковые представления о способах борьбы с агрессором. Вряд ли будет ошибкой отметить, что и большинство тех, кто был включён в те отряды и даже командовал ими, поначалу имело довольно “зелёное” представление о партизанской борьбе, особенно о её тонкостях, о том, чем она отличается от фронтовых действий. Чаще всего такого понимания не было, более того, поначалу не очень-то и стремились это усвоить, так как мало кто предполагал, что война будет продолжительной и кровопролитной, потребует особой мобилизации и особого напряжения. В. З. Коржу тоже настойчиво не рекомендовали называть свой отряд партизанским: какие там партизаны, если фашисты вскоре будут изгнаны за Буг, откуда заявились! Первый секретарь Пинского обкома партии Авксентий Малахович Минченко, к которому Корж обратился уже утром 22 июня, после некоторых раздумий согласие на формирование отряда дал, но настоятельно советовал называть его “истребительным”. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что так же, как и Минченко, даже потом, когда немцы уже оккупировали и Пинск, и Минск, размышляли многие местные руководители, даже командиры уже созданных отрядов. Мол, надо продержаться недельки две-три, в меру сил помочь Красной Армии, наводя шорох в прифронтовых вражеских тылах, а вскоре всё вернётся “на круги своя”.

Надежды на скоротечность конфликта жили и в широких массах населения. Как вспоминал потом Народный архитектор СССР Г. В. Заборский, главный автор памятника советским воинам и партизанам на площади Победы в Минске, поначалу он полагал, что попросту не успеет повоювать: пока снимут бронь, уберут другие формальности... Потому не создавались специальные базы, не закладывались тайники с оружием, боеприпасами, продовольствием, средствами связи, о чём впоследствии, конечно же, сожалели. В. З. Корж жаловался, что, кроме военкомата, при организации отряда ему не пособили ни отделы НКВД и НКГБ, ни командиры расквартированных в Пинске воинских частей, лишь командующий Пинской речной военной флотилией контр-адмирал Д. Д. Рогачёв выделил несколько ящиков динамита.

Были и иного рода соображения. Как высказался один из бойцов отряда В. З. Коржа – недавний ответственный административный работник, – он уходит за линию фронта потому, что является командиром запаса, в Красной Армии он командовал бы батальоном, как минимум, ротой, а здесь вынужден быть рядовым. Ничто человеческое никому не было чуждо даже в той ситуации. От В. З. Коржа, хотя он брал не всех, кто оказался в поле зрения, ушло более половины первого состава. Объясняли своё решение и тем, что одни-

ми винтовками против танков и артиллерии воевать невозможно, мол, что такое несколько десятков человек на фоне потоков оккупантов, движущихся по всем дорогам. Как признавались сами ветераны, чувство несоизмеримости сил в самом деле сильно действовало на психику. Для каждого из оставшихся для борьбы в тылу врага такой выбор был драмой, в которой каждый одновременно был и автором, и героем, и жертвой.

В. З. Корж переживал, пытался объяснить, но особо не удерживал никого. Он стоял на том, что оставаться на войну в тылу врага должен лишь тот, кто чётко осознал, на что идёт. Колеблющихся называл “хнытиками” — такой у него термин получился из слов “хныкать” и “ныть”. Сорвался лишь раз, когда командир отряда, созданного в соседнем районе, недавний начальник отдела НКВД Сахаров, с которым Василий Захарович условился о совместных действиях, через пару дней заявил, что тоже уводит своих бойцов к фронту, а Коржу оставляет тех, кто из местных жителей. “Почему не сказал в райкоме, что у тебя кишка тонка, что не выдюжишь? — вспылил тогда Корж. — На тебя возлагали надежды. . .” Можно предположить, что не способствовало боевитости уходящего отряда как раз то, что он состоял в основном из сотрудников милиции и местных отделов безопасности, а они не исключали, что могут не получить поддержки сельчан, поскольку ещё недавно, случалось, появлялись в деревнях не с приятными новостями.

Однако были и иные причины для стремления к фронту, притом даже более существенные. В регулярной армии, как известно, бойцу выдадут оружие, патроны, обмундирование, обувь, накормят, позаботятся о смене белья, о бане, а в случае ранения направят в санбат, госпиталь. Действует почта, которая обеспечивает более или менее регулярную связь с домом. А главное, у тех, кто на фронте — в составе роты, батальона, полка, — есть уверенность, что справа и слева воюет такая же рота, батальон, полк, что за спиной тоже свои, что в ходе боя подоспеет пополнение, будет артиллерийская, авиационная поддержка. В партизанском же отряде, которому суждено базироваться в глубоком лесу или перемещаться из леса в лес, дабы не засекли и не обложили, обо всём надо было заботиться самим, фронт окружает его со всех сторон, флангов и тыла попросту нет, рассчитывать надо только на себя и в бою, и во время переходов. И не исключено, что погибнут все — из отряда, из взвода, из разведгруппы, посланной на задание, — и никто не пособит, поскольку пособить в силу обстоятельств некому. Можно утонуть в речке, пробираясь по тонкому льду, провалиться в трясины на болоте, умереть от раны или истощения, не сумев доползти до своих. Иными словами, не исключена ситуация, что “никто не узнает, где могилка твоя”. Если такая и будет, ибо партизанские косточки могут остаться истлевать среди топей... Такая “перспектива” тоже удручала, не зря же говорится, что на миру и смерть красна, а оставаясь в тылу врага, каждый обрекал себя на возможное забвение. Особенно на первом этапе партизанского движения.

Способствовали тому и меры, предпринимаемые самими партизанами для конспирации. С этой целью менялись фамилии, изобретались легенды, чтобы не поставить под угрозу родственников, нередко проживавших на оккупированной территории, возможно, в не столь уж удалённой от расположения отряда деревне. В. З. Корж на время войны стал Комаровым, а отправляя на “Большую землю” будущего Героя Советского Союза Веру Захаровну Хоружую, настойчиво ввнушал ей, что никакого Коржа нет, есть Комаров, а та — тоже опытная подпольщица, отсидевшая несколько лет в польской тюрьме, — с пониманием отвечала ему, что если немцы узнают настоящую фамилию партизанского командира, то от Коржей в его родной деревне “и крошек не останется”. И в течение всей войны не только партизаны, но и всё окрестное население звали его Комаровым. Потому-то в 1944 году, когда с фронтом, гнавшим гитлеровцев на запад, вернулись на белорусскую землю дочери Василия Захаровича Ольга и Зинаида, воевавшие в Красной Армии, о своём отце они не смогли услышать ничего, хотя их части двигались и по тем самым местам, где действовали отряды Пинского партизанского соединения. В деревнях они спрашивали о Корже, однако получали ответ, что “в наших краях партизанами руководил Комаров”. Младшая, Зинаида, впервые услышала о папе уже на территории Венгрии, когда по радио прозвучало сообщение, что партизанскому командиру Василию Захаровичу Коржу присвоено звание Героя Советского Союза.

Но всё это было потом. До этого надо было дожить и довоевать. А в сорок первом и Коржу, и тем, кто ему поверил, предстояло уходить туда, где почтальон не мог «сойти с ума, разыскивая нас», поскольку почтальона не было, да они и сами не всегда могли знать, где в данный момент находятся. В то же время каждому требовалось не только железно усвоить, что на кон ставится собственная жизнь, но и весьма многое освоить, дабы, как минимум, она продлилась подольше, а как максимум – победить. То, что партизан должен был уметь, перечислил один из бойцов первого набора созданного В. З. Коржом отряда Эдуард Болеславович Нордман. Он, в 1941 году работник Пинского райкома комсомола, был принят в отряд рядовым бойцом, участвовал в подрыве десятка вражеских эшелонов, возглавлял группы разведчиков в партизанских рейдах, был помощником комиссара отряда и бригады по комсомолу, исполнял обязанности комиссара отряда, после войны дослужился до генерал-майора госбезопасности. Будучи пенсионером, живя уже в Москве, положил много сил на создание мемориала памяти боевых товарищей, который теперь стоит в центре Пинска. А перед тем, как уйти в мир иной, подготовил книгу под красноречивым названием «Не стреляйте в партизан...» Вот пункты, напоминающие, что партизаны для успешных действий в тылу врага должны были уметь.

Во-первых, партизану предстояло стать разведчиком: и на местности хорошо ориентироваться, и следы читать, и маскироваться уметь так, чтобы вовремя стать незаметным, ведь поле видит, а лес слышит. Ему пришлось освоить и технологию создания конспиративной сети в населённых пунктах, особенно в тех, где размещались немецкие и полицейские гарнизоны, приёмы тайной почты, условные знаки. А это – искусство, которому в других ситуациях учат многие годы в специальных заведениях.

Во-вторых, надо было стать хорошим пехотинцем, готовым к длительным переходам, к рытью окопов, траншей, быстрому сооружению укрепленных огневых точек, иметь навыки ведения боя в составе подразделения и в одиночку, в атаке и в обороне.

В-третьих, стать сапёром-минёром, притом не только уметь пользоваться готовыми взрывными устройствами, но изготавливать их самому. Теперь уже вряд ли кто скажет, из скольких бомб и снарядов партизаны выплавили, выковыряли тол, чтобы было с чем ходить на ту же «железку».

В-четвёртых, стать медбратом, ведь помощь друг другу во время ранений и болезней они оказывали сами, особенно на первых порах, когда в отрядах почти не было ни врачей, ни санитаров.

В-пятых, он должен был быть готов делиться последним. Не раз, пишет Э. Б. Нордман, «особенно в первые месяцы, нам приходилось выкладывать на общий «кон» весь наличный хлеб, резать его на примерно равные куски. Затем один отворачивался, другой брал кусок и спрашивал: «Кому?» Тот отвечал: «Лифантьеву, Комарову, Нордману...» Всем выделялось поровну – и рядовому, и командиру. А далее – самое важное: «нас такая уравниловка только сплачивала», потому что «между теми, кто в минуты тяжелейших испытаний, после трудного боя или перехода делится единственным сухарём, складываются особые отношения».

Добавим, в-шестых, что партизанам предстояло стать сноровистыми строителями, способными с помощью пилы, топора да лопаты соорудить землянки-баракы для размещения сотен вооружённых людей – ведь были отряды, насчитывающие до 600 человек и более. Нужны были и помещения для оружейных мастерских, складов боеприпасов, кухонь. И обязательно – бани. Как вспоминал командир 752-го партизанского отряда, выросшего в 1-ю Бобруйскую партизанскую бригаду, Герой Советского Союза Виктор Ильич Ливенцев, не лекарства, которые не всегда удавалось найти, а гигиена была основным средством, гарантировавшим сохранение здоровья народных мстителей и обитателей размещавшихся рядом с боевыми подразделениями семейных лагерей. Этот нюанс важно подчеркнуть ещё и потому, что в современных – уже постсоветских – фильмах о той войне партизаны и партизанки зачастую изображаются грязными, опустившимися людьми, которым не приходится в голову умыться, искупаться даже в тех случаях, когда их стоянка находится на берегу реки или озера. Более того, если судить по таким лентам, то чем выше был партизан в партизанской табели о рангах, тем неопрятнее он выглядел. Приходилось видеть телефильм, в котором да-

же в партизанских госпиталях все изображены грязными – и те, что лечатся, и те, кто лечит.

На самом деле и ветераны, и исследователи партизанского движения однозначно отмечают, что в отрядах, бригадах, полках с санитарией было всё в порядке, потому и не было зафиксировано самого страшного – эпидемий, хотя в деревнях, оставленных оккупантами без всякого медицинского наблюдения, тиф был частым гостем. Отмечал эту особенность в своих воспоминаниях “Незабываемое” и К. Т. Мазуров, имя которого и сейчас почитается в Беларуси. С 1956-го по 1965 год он был руководителем республики, затем в течение тринадцати лет – первым заместителем председателя Совета Министров СССР, а во время войны многие месяцы провёл на оккупированной гитлеровцами территории в Брестской, Пинской, Минской, Полесской, Гомельской областях в качестве представителя Центрального штаба партизанского движения и ЦК белорусского комсомола. Притом он участвовал и в атаках на немецкие и полицейские гарнизоны, и в подрывах мостов, чем снискал непоколебимый авторитет себе и много плюсов добавил к авторитету главному партизанскому и комсомольскому штабам. Да, констатировал он, люди в отрядах болели простудами, некоторых мучили желудочные болезни, например, язва, были такие, что от недостатка витаминов страдали “куриной слепотой”, чего не избежал и сам Мазуров, “но тиф не был допущен к нашим стоянкам”, другие инфекционные заболевания тоже “в партизанских формированиях были редкостью”. Им преградило дорогу именно то, что партизанские стоянки функционировали как полнокровные жилые комплексы, а с образованием партизанских зон, охватывающих сотни населённых пунктов, за чистоту бороться было уже легче, поскольку в обеспечении гигиены лесных бойцов участвовало и гражданское население этих деревень с их домашними банями. Но было и взаимодействие обратного порядка. По архивным данным, только в третьем квартале 1943 года медиками партизанской бригады имени Молотова, действовавшей в Ивановском и Дрогичинском районах Брестской области, “было обслужено 1188 человек гражданского населения”, что создавало среди этого же населения “огромный авторитет бригаде и вообще партизанскому движению”.

Красноречивые сведения на сей счёт содержит и хранящийся в Национальном архиве Беларуси отчёт А. Е. Клещёва, который в 1943 году возглавлял Пинский подпольный обком партии и в отсутствие В. З. Коржа, вызванного в Москву, командовал Пинским партизанским соединением: “Немцы писали, что партизаны живут, как первобытные люди. Но в тылу противника партизаны сумели построить рациональный быт. В каждом отряде была баня, и один раз в десять дней каждый боец в ней мылся и менял бельё. В отрядах были парикмахерские, сапожные и портняжные мастерские, мельницы, кузницы, молотилки, кожевенные мастерские, мастерские для выделки валенок, которые обслуживали и партизан, и население. В бригаде имени Кирова было организовано колбасное производство, где вырабатывалось несколько тонн сухой колбасы в месяц, которая выдавалась бойцам для далёких походов”.

В-седьмых, каждому из партизан предстояло стать агитатором и пропагандистом, а “надо было уметь разговаривать со старыми и молодыми, с мужчинами и женщинами, благосклонно к нам настроенными и не очень”, – подчёркивал Э. Б. Нордман, притом в общении с населением предстояло быть людьми оптимистичными, ибо “что это за агитатор, если от него на версту несёт унынием”. Агитировали ведь не только листовками, газетами, хотя их распространению тоже уделяли большое внимание. В одном из отчётов о деятельности уже упомянутой бригады имени Молотова отмечается комсомолка Анна Тарасенко, которая за три месяца подготовила 17 тысяч экземпляров листовок, сводок Своинформбюро, обращений к населению, а также машинистка Екатерина Тимашук, которая “за зиму отпечатала на машинке более 22 тысяч экземпляров...” Проводились даже концерты коллективов партизанской художественной самодеятельности – действовал такой и в бригаде имени Молотова. Но наиболее доходчивым было слово в откровенной беседе, пусть не всегда лицеприятной. Потому с первых недель партизанской войны Корж “не упускал случая, когда можно было всем отрядом открыто пройти по деревне, остановиться, не спеша побеседовать, не отказываясь от приглашения позавтракать или пообедать”. Вот одна из его записей в той самой записной книжке, найденной в подбитом немецком танке ещё в первом бою: “20.08.1941. Я почувствовал, что последние три дня наше легальное появле-

ние в деревнях и разговор со всеми и некоторыми языкастыми в отдельности давал большую пользу в нашу сторону”. Языкастые, несомненно, были, ведь совсем недавно все представители власти твердили, что если придётся воевать, то только на вражеской территории. “9.09.1941. Утром вышли из хутора Стеблевичи и демонстративно прошли через всю деревню. С многими говорили, позавтракали в нескольких дворах”, и уже “само присутствие партизанского отряда в районе поднимало дух населения”. В докладной записке Центральному штабу партизанского движения тоже констатировал: “Наш открытый поход по деревням и рассказ правды населению сделал много полезного для партизан, подрывал и опрокидывал то влияние полиции и немцев на население, которое они создавали... Одновременно наше быстрое и умелое маневрирование создавало у населения впечатление о множестве партизанских отрядов...”

И, наконец, партизану нужно было уметь пользоваться самыми разными видами оружия. Из-за фронта разного рода стволы стали более или менее регулярно подбрасывать только в 1943 году, а до этого в атаку ходили и нападения отбивали тем, что не Бог подаст, так враг оставит: местный полицай, которого немцы вооружали, как правило, трофейными винтовками – польскими, французскими, бельгийскими, английскими, а также немец, словак, румын, мадьяр и даже французы, целый полк которых в эсэсовской форме действовал в Могилёвской области, о чём подробно рассказал О. И. Бэйда в своей книге “Французский легион на службе Гитлеру. 1941–1944”. Народные мстители справились и с этой задачей. Разумеется, им в том помогли оказавшиеся в окружении бойцы и офицеры Красной Армии, которых в партизанских рядах в Белоруссии по итоговому счёту было около 11 процентов, констатировал руководитель ЦШПД П. К. Пономаренко. Роль они сыграли весьма важную, возглавив роты, штабы в отрядах, отряды, обучая вчерашних гражданских, нередко едва достигших совершеннолетия, ружейным приёмам, минному делу, атакам, оборонительным действиям. В Пинском партизанском соединении из окруженцев и военнопленных были пять из семи комбригов, а также две трети командиров отрядов, рот, взводов. В свою очередь, многие из них дождались весны 1942 года, чтобы уйти к партизанам, именно в местных семьях под видом родственников или наёмных работников. Да и тех, которые сразу стали создавать свои лагеря в лесах, харчами обеспечивали тоже сельские жители. Взаимопонимание, проявившееся уже на самом начальном этапе войны, стало одним из главных условий, способствовавших превращению сопротивления в тылу врага во всенародное.

Суммируя сказанное, надо подчеркнуть, что почти каждому партизану предстояло быть бойцом многопрофильным. Уже в победоносном 1944 году у Василия Захаровича Коржа состоялась беседа с командиром 23-й стрелковой дивизии Красной Армии, которому он выделял проводников и два отряда своих бойцов, чтобы перерезать дорогу Поречье–Пинск и зайти в тыл противнику. После той операции, сообщает его биограф Николай Смирнов, фронтовой комдив не только поблагодарил, но сказал весьма лестные слова:

“А молодцы ваши партизаны... Так хорошо ориентируются на местности и, главное, быстро перемещаются. На врага внезапно, как снег на голову, сваливаются. Хорошие разведчики и хорошие бойцы”.

В. З. Корж суммировал:

– Позади такая война... Научились наци хлопцы *побеждать не числом, а умением!*

Но, повторимся, до этого надо было ещё дожить и довоевать в весьма непростых условиях. Теперь известно, что на фронте пребывание на боевых позициях засчитывалось вдвойне – месяц, год за два, командирам штрафных подразделений – даже за шесть. А чего стоили год, два, тем более три в партизанском отряде?!.. Видимо, сами партизаны этот вопрос себе вряд ли задавали. Однако факт, что людей, готовых и способных вынести такую нагрузку, нашлось очень много, остаётся очевидным, хотя и без споров между ними не обходилось. И, пожалуй, наиболее дискуссионным был вопрос не только о том, где предпочтительнее воевать, а и как воевать. Особенно актуальным был он на первом этапе войны, ведь если была полная ясность в том, что драться надо, не всем и не сразу удалось определиться, какой именно должна быть драка с врагом в его тылу. И проблема заключалась не только в том, что у вчерашних гражданских не хватало опыта боевых действий, что нередко

приводило к печальным последствиям. В Национальном архиве Беларуси есть документ, в котором рассказывается, что бойцы одного из отрядов, действовавших в Столинском районе, отправляясь на задание, сложили своё оружие на подводы, а сами шли рядом, даже не выслав вперед дозорных. Наткнувшись на немцев, разбежались. Но понимание, что правило “не зевай” надо блюсти в полной мере, приходило быстро, однако потребовалось более длительное время, чтобы суровые реалии подсказали нечто более существенное: драться надо не любой ценой.

При неравенстве сил стать павшим не представляло особого труда. Значит, каждый партизанский удар, налёт, засаду нужно было готовить так, чтобы они стали победными, каждая операция должна была быть похожа на разящий бросок кобры, всякий раз надо было появиться там, где не ждут, стремительно ударить и исчезнуть, раствориться, вновь ударить и исчезнуть уже в другом месте. Вот суждения из книги “Не стреляйте в партизан...”: “Крупных боёв мы, разумеется, не вели. Для этого у отряда не было ни оружия, ни боеприпасов. Каждый патрон был на счету. Но Корж постоянно устраивал засады на одиночные автомашины и мотоциклистов. 22 июля сделали очередную засаду на дороге. Было убито четыре гитлеровца, ехавших на мотоциклах. Среди них – один офицер. Мотоциклы сожгли, оружие забрали. А 5 августа на тракте между местечком Ленин и райцентром Житковичи уничтожили пятнадцать немцев, в том числе пять офицеров. Корж тогда подобрал очень удобное место для обстрела. Но колонну грузовых автомашин пропустили. Немцы ехали беспечно. Многие раздеты до пояса. Играли на губных гармошках. Самодовольные, весёлые. Руки наши чесались: ударить бы! Но нас было в 15–20 раз меньше. И ни одного пулемёта.

Через час появилась большая одиночная автомашина (как оказалось – штабная) в сопровождении двух мотоциклов. Корж бросил гранату и ударил из автомата по кабине. По этому сигналу открыли огонь из винтовок и мы. Достались нам богатые по тому времени трофеи – оружие, патроны, гранаты, штабные карты, несколько плащ-накидок. Автомобиль и два мотоцикла сожгли, забрали 12 винтовок и несколько пистолетов... Эта операция для нас была очень важной. Не столько в смысле трофеев, сколько в смысле поднятия боевого духа. Потому что провели её “очень чисто”, как выражался Корж, без единого выстрела со стороны немцев”. Та “удачная операция, проведённая 5 августа, показала, что наша даже немногочисленная боевая единица способна бороться, что мы обязательно будем сражаться, потому что дух наш крепок. Этот дух был главной нашей опорой и единственной мотивацией”. И “на первом этапе мы старались нещадно жалить, жалить, жалить. Но с обязательным точным расчётом сил и возможностей. Мы ставили своей целью выиграть каждый свой бой. В противном случае предпочитали в драку не ввязываться. И это был правильный подход”.

И ещё один вывод тоже созрел довольно быстро. Боевая практика показала, что “излишняя концентрация партизанских сил в одном месте, в одной боевой единице – ошибочна. Особенно ошибочна она была в самом начале нашего движения. Именно по этой причине, я считаю, погиб в сентябре 1941 года столинский партизанский отряд, в котором базировался и подпольный обком партии. Тогда, по неопытности, думалось, что чем нас больше в одном формировании, тем лучше для нас. Оказалось – для врага. Ему ничего не стоило подтянуть хорошо организованные, обеспеченные техникой, потому лёгкие на подъём регулярные части, окружить и...” Ведь большое партизанское формирование тоже становилось менее подвижным и, конечно же, не так уж незаметным для нежелательного глаза. Не случайно в своих листовках, изданных якобы от имени советского командования, гитлеровцы призывали: “Объединяйтесь в крупные соединения! Нечего проводить мелкие бои, они ничего не дают... Поможем Красной Армии по-крупному!” Уже после войны вывод, тогда “наощупь” сделанный партизанами, подтвердили западные военные аналитики Диксон и Гелбруни: “Советские партизаны доказали, что тысяча отрядов по пятьдесят человек лучше, чем пятьдесят отрядов по тысяче”.

В своей книге Э. Б. Нордман приводит ещё один пример, красноречиво рисующий особенность логики сопротивления в тылу врага. В 1943 году он некоторое время был комиссаром в отряде, который, вырвавшись из блокады, оказался в подчинении командования другого соединения и сразу же получил

приказ атаковать гарнизон в деревне Посто́лы. Молодой комиссар отказался “визировать” приказ, а партизанский порядок требовал этого, притом отказался после того, как командир отряда капитан Баранов дал привычный для офицера ответ “Есть!” В штабе соединения состоялась резкая перепалка с угрозой расстрела, но приказ всё-таки был отменён. Уже после войны, вспоминая о том случае, Э. Б. Нордман рассуждал: “Почему Баранов ответил: “Есть!”? Этот ответ вытекал из ментальности строевого офицера: приказ не обсуждается и должен быть выполнен любой ценой. Почему я сказал: “Нет!”? Потому что любая цена нас не могла устроить. Это мне продиктовал опыт полторалетних партизанских действий. На той войне мы вели разные бои. Были и стремительные атаки, и позиционное противостояние, чаще всего характерное для обороны. Бывало, что противоборство длилось неделями. Но это уже стало возможным тогда, когда партизанские зоны занимали многие тысячи квадратных километров, а партизанские отряды и бригады насчитывали десятки тысяч хорошо вооружённых бойцов”. На первом же этапе исходили из того, образно рассуждал Эдуард Болеславович, что дубиной, какой бы большой она ни была, уничтожить блох в доме невозможно. Тактика “блохи и кобры”, применяемая партизанами в 1941 году, оправдала себя в полной мере.

Однако сказанное не означает, что тогда каждый командир предпочитал действовать только на свой страх и риск. Уже в феврале и марте 1942 года отряд В. З. Коржа с несколькими такими же формированиями Минщины провёл рейд по восьми районам, который имел весьма важный эффект: опережавшая его молва утверждала, что движется чуть ли не дивизия. Весна 1942 стала во многом переломной, ибо возобновили боевую работу те, кто пережил зиму, в уже действующие и новые отряды массово хлынули стар и млад из числа тех, кто воочию увидел, что несёт “новый порядок”. Появились диверсионные и разведывательные группы из-за фронта. Стала налаживаться связь с Москвой. Напряжение борьбы нарастало. Но условия, в которых она велась, были всё-таки разными даже на территории Беларуси.

Несколько лет назад автор этих строк, работая в издательстве “Беларусь”, знакомился с рукописью воспоминаний ветерана-журналиста, которого забрасывали в тыл готовить материалы о народных мстителях Витебщины. В ней были и страницы, рассказывающие о том, как в деревню в партизанской зоне прибыли... грузовики из-за фронта с возвращающимися из госпиталей партизанами и бойцами, направленными в тыл гитлеровцев с “Большой земли”, а также с оружием, боеприпасами, взрывчаткой. Расскажи такую историю кому-нибудь из пинских, брестских партизан, тот может заявить, что это фантазия, но историки знают, что с начала февраля и почти до конца сентября 1942 года существовали Витебские или Суражские ворота – так назывался сорокакилометровый фронтовой пролом. Как свидетельствуют энциклопедии, “прорыв линии фронта возник в результате действий 4-й ударной армии Калининского фронта в ходе Торопецко-Холмской операции 1942 года и освобождения прифронтовых районов партизанскими отрядами М. Ф. Бирюлина, М. И. Дьячкова, М. Ф. Шмырёва и Я. З. Захарова, С. Т. Воронова, В. В. Стрелкова”. Подступы к “воротам” удерживали части 4-й ударной армии и 1-я Белорусская и 2-я Белорусская имени П. К. Пономаренко партизанские бригады”. Через ту дыру шло активное движение в обе стороны. Но ни о каких грузовиках из-за фронта не могли мечтать народные мстители других белорусских регионов, В. З. Корж даже собственную постоянную радиосвязь с Москвой заимел только в 1943 году. Тем не менее, даже в весьма удалённых от фронта местностях, даже на территориях, жители которых в составе СССР прожили менее двух лет, сопротивление получило огромный размах. Значит, не “рука Москвы” вызывала его к жизни, хотя она и способствовала этому.

Сказывались на методах партизанской борьбы и природные особенности территорий. В малолесной Украине многим командирам предпочтительнее были масштабные рейды. На них делали ставку В. С. Ковпак и сменивший его П. П. Вершигора, который даже критиковал В. З. Коржа, что тот при каждом отряде держал отряд семейный, а в деревнях – заставы и комендатуры, которые обеспечивали взаимосвязь поселян с партизанами – с местными и приходящими. В. З. Корж отвечал, что тот не понял белорусской специфики. Вёл дискуссию с В. З. Коржом в книге “Война в тылу врага” и Г. М. Линьков – командир диверсионной группы, заброшенной из-за фронта. И ему не нравился “колхозный способ” деятельности местных народных мстителей – именно

так он называл наличие семейных лагерей под защитой боевых. В. З. Корж отвечал и ему: делая упор только на диверсионную работу, забываешь о таких формах партизанской борьбы, как «разгром гарнизонов врага, создание освобождённых районов, защита населения от уничтожения, разграбления, от угона в немецкое рабство, срыв экономических мероприятий фашистов, систематическая массово-политическая работа среди населения оккупированных районов, отвоёвывание этих районов у врага, отвлечение войск противника от действий на фронте...» Разделить отряд на множество групп, разослать их с взрывчаткой в разных направлениях и ждать их возвращения в глубоко законспирированном месте – малая часть дела, такие группы не способны даже обеспечивать себя продовольствием, потому вынуждены были кормиться за счёт населения. Да и сосредоточиться сугубо на диверсиях спецотряд смог лишь потому, что район почти полностью контролировался партизанами. В таких условиях чрезмерные конспиративные усилия у местных партизан вызвали удивление.

Через много лет, скорее всего, не зная об этом споре, В. З. Коржа поддержал П. А. Судоплатов, в годы войны руководивший четвёртым управлением НКВД и державший в своих руках многие нити подпольной борьбы на оккупированных территориях. В книге «Разные дни войны и дипломатии. 1941» он зафиксировал красноречивый случай: «В самом начале июля 1941 года был отдан приказ наркома обороны о выброске на парашютах несколькими эшелонами в тыл врага 204-й воздушно-десантной бригады в районе Любань, Волосовичи в Белоруссии для изоляции и уничтожения подвижных соединений противника. Это свидетельствует о том, что уже в первые дни войны мы пытались путём диверсий нанести урон тылу немцев, в частности, уничтожить склады с горючим, инфраструктуру снабжения моторизованных группировок, чтобы облегчить положение наших войск, находящихся в районе Бобруйска, где складывалась очень напряжённая обстановка. К сожалению, эти действия не увенчались успехом. Для нас это был наглядный урок, насколько необходимо при десантировании специальных групп в тыл противника подготовить условия, обеспечивающие их безопасность и боеспособность». Такие условия, отмечал Э. Б. Нордман, «для специальных отрядов из-за фронта создавали мы – местные партизаны. Встречали их на своих партизанских аэродромах, расквартировывали, обеспечивали нужной информацией, местными разведчиками и проводниками, когда была необходимость, укрепляли своими бойцами». Без партизанских зон «спецотряды, бойцы которых не были знакомы с местностью и не имели связей среди местного населения, просто не смогли бы действовать. Никакие спецназы не способны на то, на что способны так называемые «домашние партизаны», везде имеющие свои глаза, уши и припрятанное оружие». Так точки над «i» расставляла сама война.

К. Т. Мазуров позднее вспоминал, что только «в Брестской области в семейных лагерях было сосредоточено 35 тысяч мирных жителей, действовало 19 школ». В белорусских лесистых условиях специфика борьбы в тылу врага состояла, прежде всего, в том, что упор делался на установление контроля над значительными территориями. Впрочем, в смоленских, брянских, псковских тоже. На завершающем этапе войны партизанское командование, подпольные райкомы партии регулировали не только боевую деятельность народных мстителей, но и гражданскую жизнь местных поселенцев, к примеру, посевную, уборочную кампании. В архивах полно данных о том, сколько посеяно, прополото, убрано конкретными отрядами. В отчёте Пинского подпольного обкома партии о работе с 1 июня по 1 сентября 1943 года сказано: «Партизанские отряды оказывают помощь пострадавшим крестьянам. Бригада имени Кирова выдала крестьянам 26 коров, 125 пудов хлеба, девять пудов соли. Во всех отрядах построены конные мельницы, которыми пользуется население. Отряд имени Чкалова бригады «Советская Белоруссия» отстроил и пустил в ход паровую мельницу для окрестных деревень. Во время уборки урожая партизанские отряды выделяли группы вооружённых бойцов для помощи крестьянам и охраны». У кого-то теперь может возникнуть вопрос, откуда у них могли взяться запасы зерна, те же коровы, поскольку животноводческих комплексов в лесах они не содержали. Эти ресурсы попадали в партизанские руки после нападения на гарнизоны, имения, базы, спиртзаводы, эшелоны, железнодорожные станции.

Партизаны помогали, в первую очередь, безлошадным семьям, вдовам, семьям фронтовиков, отмечал Э. Б. Нордман. В сводке «о весенне-посевной

кампании отряда имени Димитрова” говорится, что на 28 мая 1944 года силами отряда засеяно 40,6 гектара. На счету отряда имени Кирова на 25 мая – 2,3 посеянного овса, 2,5 ячменя, 3,9 гречихи, 1,2 проса, 6,6 посаженного картофеля. Бойцы отряда имени Гастелло сеяли морковь, свеклу, огурцы, тыкву. Сводки, направляемые в подпольные райкомы, подписывались командирами и комиссарами отрядов. В отчёте Пинского обкома есть не менее важная фраза: “Крестьяне жгут мосты, рвут связь, водят группы подрывников, осуществляют 30 процентов разведки”, – ведь многие операции против захватчиков требовали не только динамита, патронов, винтовок, автоматов, а и живого труда с лопатой, ломом, пилой, топором в руках. Вот характерные пункты из отчётов Ивановского райкома комсомола: молодёжью деревни Калилы перекопана дорога Мотоль–Ополь, сделаны завалы на дороге Новошицы–Дружиловичи, парнями деревни Березляны “завалена дорога с Янова до дер. Староселье” – ноябрь 1943 года. Из отчёта за февраль 1944 года: “завалили дорогу с деревни Вулька, до деревни Боровая 3,5 километра”, “по дороге на Застружье–Новолучки развалили два моста”, подпольная группа деревни Вулька Достоевская разобрала “узкоколейную железную дорогу от дер. Вульки до дер. Боровой на 4 километра”. Сельская молодёжь занималась и ещё одной опасной работой: доставляла партизанам неразорвавшиеся авиабомбы, из которых потом выплавляли тол. Только в ноябре 1943 года юноши деревни Березляны привезли в один из отрядов двенадцать бомб, среди которых была и стокилограммовая.

Регулировались партизанским командованием и другие аспекты жизни. В Национальном архиве Республики Беларусь хранится приказ гражданскому населению, которое находилось в зоне контроля партизан бригады имени В. М. Молотова: “За последнее время среди гражданского населения распространилось и укрепилось так называемое самогонное производство. Как следствие этого появилось массовое уничтожение хлеба, так необходимого самому населению. Почти все случаи безобразий среди мирного населения, между мирными гражданами и партизанами происходят на почве употребления самогона. Также зарегистрированы случаи преднамеренного, с известными целями, спаивания партизан немецкими прислужниками.

На основании изложенного приказываю:

1. Выгон самогона на территории влияния партизан с 25 января 1943 года категорически запретить.

2. К гражданам, уличенным в снабжении партизан самогоном, будут применяться самые строгие меры по законам военного времени, вплоть до расстрела.

3. Проведение в жизнь настоящего приказа возложить на начальников застав.

4. Приказ довести до сведения всего мирного населения на территории влияния партизан не позднее 25 января 1943 года”.

Ивановский подпольный райком партии в своем отчёте о работе в мае-июле 1943 года сообщал: “73 деревни полностью освоены партизанами, во многих избраны народом представители Советской власти. Около года немцы на этой территории не были ни одного разу”. И чем обширнее партизанская зона, тем больше документов, подтверждающих, что её командование занималось отнюдь не только боевыми делами.

О самих же боевых делах лучше всего сказать словами тех, против кого партизаны сражались. Известный гитлеровский полководец Хейнц Гудериан: “По мере того, как война принимала затяжной характер, а бои на фронте становились всё более упорными, партизанская война стала настоящим бичом, сильно влияя на моральный дух фронтовых солдат”. Йозеф Геббельс пишет в своём дневнике: “6 марта 1942 года. В донесении СД сообщается о положении в оккупированной России, оно ещё более неустойчиво, чем все предполагали. Опасность со стороны партизан растёт с каждой неделей. Партизаны безраздельно господствуют над обширными территориями оккупированной России...” Начальник военных сообщений группы армий “Центр” Исмер – в донесении № 1671/42 от 29.08.42 года: “...вся железнодорожная сеть в тылу группы армий “Центр” между Брестом и фронтом подвергается систематическим нападениям в широком масштабе. Усиление нападений в треугольниках Невель–Полоцк–Витебск и Витебск–Орша–Смоленск превратило эти дороги в зону военных действий. В результате стало невозможным регулярное движение на основной железнодорожной артерии фронта”.

Газета “Берлинер берзенцайтунг” за 24 июля 1943 года: “Самое большое впечатление на нас произвёл образ машиниста, ведущего длинный состав с людьми и ценными грузами... Он ведёт свой состав через сумрак ночи, и никто не знает, что ждёт машиниста и его поезд в эту ночь. Эта поездка может окончиться смертью. Каждая поездка ведёт в неизвестность, и среди тех, кто обслуживает поезда германских дорог на Востоке, нет ни одного, кто днём или ночью не пережил таких приключений, какие обычно бывают уделом солдата, сражающегося на фронте. Среди них, пожалуй, нет ни одного, чей паровоз не был бы обстрелян на полном ходу из засады... ни одного, кто не мог бы рассказать о том, что испытывает человек, когда внезапно раздаётся взрыв, разрушающий полотно и с грохотом срывающий с рельсов полдюжины вагонов”. Начальник тылового района группы армий “Центр” генерал пехоты Шенкендорф в донесении главному командованию 20 сентября 1942 года: “За период с 24 августа по 17 сентября вместо 672 составов проследовало 343 состава, то есть вместо 28 составов, которые должны проходить ежедневно, следовало только по 14,3 состава в день... Причина: возросшие диверсии на ж. д. линиях... Наступило время, когда истощение армейских запасов, в связи с недостаточным подвозом, оказывает непосредственное воздействие на армии”. Немецкий историк Гёрлиц в книге “Вторая мировая война”: “В Ленинградской области партизанская деятельность временами была столь сильной, что командующий группой армий “Север” фельдмаршал фон Лееб вынужден был прекратить свои поездки на фронт”. Вот так-то.

К концу 1943 года лесные бойцы контролировали 60 процентов территории Белоруссии. Партизанские зоны превращались в партизанские края – как и в Смоленской, Калининской, Орловской, Брянской, Псковской, Новгородской областях. Жирную черту под процессом, начавшимся боем у Рыбого моста, подвёл немецкий аналитик Г. Теске: “Первая битва, которую проиграл вермахт во Второй мировой войне, была битва против советских партизан зимой 1941–1942 годов. Затем последовали дальнейшие поражения в этой борьбе... В основном они состояли в том, что с самого начала инициатива находилась у партизан и осталась у них до конца войны”.

О том, насколько движение сопротивления в гитлеровском тылу выросло и окрепло за годы войны, ярко свидетельствует оборона Днепровско-Бугского канала, который проходит по югу Брестчины, соединяя бассейны Западного Буга и Припяти, впадающей в Днепр. В феврале-марте 1944 года он стал линией сплошных боёв. Канал активно использовался гитлеровцами для транспортировки военных грузов с первых дней войны. Только боевых катеров в Пинск и дальше на Припять по нему прошло около двух сотен. Есть данные, что в 1942 году по каналу перевезено до 200 тысяч тонн военного снаряжения и припасов. Партизанские нападения на гидроузлы начались ещё в 1942-м, а в начале 1943-го диверсионные группы отрядов имени Лазо, имени Кутузова, имени Суворова разрушили восемь гидроузлов, и почти полтора десятка немецких судов оказались запертыми в Пинске. Однако в начале 1944 года в районе канала возникла новая ситуация. Южный фланг Второго Белорусского фронта продвинулся на запад столь далеко, что его части оказались за плечами у партизан Пинского и Брестского соединений. Приходилось читать, что маршал Рокоссовский предлагал из этого подбрюшья нанести мощный удар в направлении Кёнигсберга и отсечь все гитлеровские войска на территориях, которые они оккупировали, от рейха. В серьёзную степени способствовало возникновению этого замысла и то, что регион буквально кишел партизанами. Только в названных соединениях насчитывалось примерно 25 тысяч человек, а это две дивизии бойцов, получивших такой уникальный опыт борьбы с врагом, которого не было даже у фронтовиков. Но и немцы слепцами не были, и чтобы не дать партизанам соединиться с фронтовыми частями, не допустить их совместных действий, они решили “зачистить” регион, восстановить судоходство по каналу, а заодно обезопасить железнодорожные и шоссейные коммуникации от Лунинца до Бреста. На это были брошены немецкая 23-я пехотная, 8-я мадьярская дивизии, а затем части 113-й дивизии СС и кавалерийский полк власовцев. Однако в 1944 году партизаны были уже не те, что в начале войны. Они взорвали мосты, паромы, соорудили многочисленные дзоты, вырыли сеть траншей, создали минные поля. Для обороны канала была образована специальная группировка, насчитывавшая шесть тысяч бойцов. Линия боёв растянулась на 60 километров, и дли-

лись они сорок дней. В некоторых местах гитлеровцам удалось форсировать канал, углубиться в партизанскую оборону, однако решить свои задачи им не удалось.

Весьма образно зафиксировала это народная память. На острие удара уже за каналом и по мере удаления от него были расположены три небольшие деревни: Колено, Волосани и Цыцки. Так вот, местные жители с улыбкой подчёркивали, что во время того наступления оккупанты “добрались только до Колена”. В последний день марта 1944 года Пинская партизанская бригада и бригада имени Молотова были выведены в расположение советских войск. С собой они увели 15 тысяч местных жителей. Остальные продолжали драться в тылу противника. А вышедшим бригадам командование 47-й армии выделило участки на линии фронта. Почти трёхлетние стычки с оккупантами, рейды по их тылам, блокадные сражения дали партизанам такую выучку и опыт, что они уже могли вести бои бок о бок с армейскими частями.

О том, что народные мстители сыграли весьма важную роль в стратегических раскладах Великой Отечественной войны, свидетельствуют данные германского генерального штаба, согласно которым на 1 октября 1943 года в Белоруссии борьбой с лесными бойцами, охраной важных объектов и так называемым умиротворением было занято 14 немецких, 9 венгерских, 3 румынских, 2 словацкие дивизии, а также румынский 3-й горнострелковый корпус. Плюс охранные, полицейские, жандармские формирования, айнзатц-группы. Весьма красноречив и такой пример: в ночь на 20 июня 1944 года партизаны перебили 40775 рельсов на транспортных линиях Брест-Минск-Орша, Брест-Лунинец, что парализовало тыл противника перед началом операции “Багратион”. О том же говорит и награждение командующего партизанским соединением Полоцко-Лепельской зоны В. Е. Лобанка не только Звездой Героя Советского Союза, но полководческим орденом Суворова первой степени.

По данным историков, с июня 1941-го по июль 1944 года партизаны Белоруссии, которых к концу войны насчитывалось 375 тысяч, убили и ранили свыше полумиллиона гитлеровских солдат и офицеров и их союзников. Это хороший показатель даже для профессиональной армии. По невозвратным потерям соотношение составило 2,5 : 1 в пользу партизан. Они разгромили 948 гарнизонов, комендатур, штабов врага, уничтожили 939 складов, подорвали 11 воинских эшелонов, 18 тысяч автомашин, 1355 танков и бронемашин, 819 железнодорожных мостов. Во время Второй мировой войны во всём Третьем рейхе дважды объявлялся траур. Первый раз к нему понудили бойцы Красной Армии, разбив гитлеровцев под Сталинградом, второй “повод” в сентябре 1943 года дали белорусские подпольщики и партизаны, взорвав в Минске нацистского гауляйтера Вильгельма Кубе в его собственной постели.

Немецкий генерал-полковник Л. Рендулич писал, что результаты партизанского движения в СССР надо оценивать не только по людским и материальным потерям, но и по тому “колоссальному воздействию, которое оно оказало на фронтовые войска”. Ещё более определённо в книге “Дом, построенный на песке” выразился английский историк Г. Рейтлинджер: “Действительные размеры территории, которую немцы когда-либо контролировали, были столь малы, а объём деятельности гражданских оккупационных властей был столь незначителен, что настоящую историю страны в период германской оккупации надо искать в анналах партизанской войны, главным театром которой Белоруссия оставалась в течение всего периода германской оккупации”.

К этим словам надо добавить ещё несколько выводов: во-первых, не менее колоссальное воздействие партизанское движение оказало на тех, кто в нём участвовал, а также на их детей и внуков. В сознании ветеранов Великой Отечественной и послевоенных поколений прочно закрепилась поговорка: “Молчит, как партизан на допросе!” Не в упрёк никому будь сказано, но ни в одной армии мира солдаты не удостоились такой чести. Впрочем, партизаны в плен предпочитали не сдаваться. В Минске ныне живущим об этом напоминает памятник четырнадцатилетнему Герою Советского Союза Марату Казею, который, попав в западню и уничтожив из автомата в ближнем бою полтора десятка оккупантов и полицейских, когда закончились патроны, подпустил их к себе и взорвал гранату, “забрав” с собой ещё несколько врагов. И подобных подвигов было много. На кладбище моей родной деревни Переспа в Дрогичинском районе покоится её уроженец Яков Поклад. Оказавшись примерно в такой же ситуации, что и Марат Казей, он загнал в патронник сво-

ей винтовки последний заряд, снял сапог, приставил ствол под подбородок и пальцем ноги нажал на спуск. И не приходилось слышать от кого-либо из земляков, что он поступил неправильно.

Во-вторых, Великая Отечественная война и партизанское движение сыграли огромную роль в сплочении белорусского народа, бывшего до этого разделённым. Западные белорусы, жившие почти два десятилетия под властью Речи Посполитой и подвергавшиеся соответствующей идеологической обработке, тем не менее, в сентябре 1939 года встретили бойцов Красной Армии, как братьев, после гитлеровского нападения приняли в свои семьи тех, кто попал в окружение, бежал из плена, затем закрепили это родство совместной борьбой против оккупантов в лесных отрядах.

В-третьих, даже те, кто не находит сил, чтобы выцедить доброе слово по адресу партизан, вынуждены признать, что в ходе Великой Отечественной войны и партизанской борьбы состоялась «легитимация Беларуси как правового субъекта мирового сообщества, формальным закреплением которого стало членство в ООН – да ещё в статусе одного из основателей». Добавим, что титул «республика-партизанка» стал на многие десятилетия лавровым венком Белоруссии, о чём знали далеко за её пределами, а в ней самой помнили, что его добывали сыновья и дочери многих народов. В том же Пинском партизанском соединении одной бригадой командовал русский Михаил Иванович Герасимов, другой – грузин Иван Георгиевич Шубитидзе, бригадой имени Сталина в Брестском соединении – армянин Сумбат Хачатурович Арзуманян.

В исторической литературе немало суждений о том, какое же фронтовое сражение стало переломным в большой войне: поражение немцев под Москвой, Сталинградом или Курском, какое из них символизировало начало перелома, а какое закрепление. В любом случае это был перелом для гитлеровцев; для тех, кто развернул борьбу с врагом в его тылу, подобный вопрос и не вставал. Уже то, что свои записи в трофейной записной книжке, которая теперь является экспонатом Национального архива Республики Беларусь, Василий Захарович Корж начал с любимой песни «На закате ходит парень мимо дома моего...», свидетельствует, что сомнений в победе у него не было. Однако этот разговор не о том, кто внёс больший вклад в Победу. Победа – общее достояние. Речь о другом: бой с разведзвездом 293-й дивизии вермахта по своей сути стал атакой на рейхстаг, ибо был для гитлеровцев серьёзным знаком того, что на сей раз они не туда сунулись. У поэта Арсения Тарковского, который теперь меньше известен, чем его сын-кинорежиссёр Андрей, есть такие строки, написанные им в то время, когда он был капитаном-окопником:

*Мы намертво знаем, за что умираем:
Мы землю родную у вас отбираем...*

Партизаны на всех советских территориях, оказавшихся под оккупацией в ту войну, точно знали, за что дерутся. Политическое руководство их движением из Москвы, конечно же, наличествовало, но всё же люди, взявшиеся за оружие во вражеском тылу, исходили не только из коммунистических убеждений. Ведь счёт добровольцев шёл на миллионы, даже политзаключенные в массовом порядке заявляли о желании пойти на фронт. Кстати, отец Марата Казея, бывший балтийский матрос, погиб во время довоенных репрессий, тем не менее, семья его с первых дней войны включилась в подпольную борьбу. Мать Марата гитлеровцы повесили в Минске, сестра Ариадна была в партизанском отряде, потеряла в результате обморожения обе ноги, после войны учительствовала и стала Героем Социалистического Труда. Есть основания сказать, что основная масса людей руководствовалась весьма важным суждением, которое сформулировал поэт Дмитрий Кедрин:

*Да, страна наша не была раем:
Нас к земле прибывало дождём.
Но когда мы её потеряем,
Мы милей ничего не найдём!*

На этом можно было бы поставить точку. Но нельзя. Война, к сожалению, для партизан не закончилась, как ни странно, даже в республике-партизан-

ке. В некоторых печатных изданиях, но чаще всего в электронной прессе регулярно появляются выпады в адрес народных мстителей. Дескать, партизанское движение было искусственно поднято Москвой, хотя почему в таком случае настырная Москва не смогла того же сделать в Латвии или Эстонии?!.. Многие факты переставляются с ног на голову с упором на “чрезмерные действия партизан”. В частности, что во время штурма полицейского гарнизона в деревне Дражно в Стародорожском районе погибли не только полицейские, но и некоторые члены их семей. Но при этом умалчивается о том, что тот гарнизон был самым крупным в районе, насчитывавшем несколько сотен пожелавших служить “новому порядку”, а все, кто не согласился вступить в полицию, были просто изгнаны из деревни; что это был один из самых зверствующих гарнизонов, что его “бойцы” уничтожили еврейское гетто в Старых Дорогах – более двух тысяч узников – и вернулись “к месту дислокации” в сопровождении длинного обоза с награбленным имуществом. И нет свидетельства, что кто-то из жён или детей тех полицейских отказался принять кровавые “подарки”. Точно так же те, кто напоминает, что в деревне Налибоки в Столбцовском районе в ходе партизанской операции погибло более сотни её жителей, не говорят о том, что убитые входили в состав подразделения польской Армии Крайовой, были вооружены гитлеровцами для противодействия советским партизанам и во время переговоров отказались присоединиться к борьбе против оккупантов.

Не менее упорно муссируются и факты недостойного поведения отдельных партизан в небоевых ситуациях, что тоже, к сожалению, случалось. Однако опять-таки игнорируется то, что эти эпизоды получали соответствующую оценку командования бригад и отрядов. В. З. Корж весной 1942 года приказал перед строем расстрелять бойца, на которого пожаловался крестьянин деревни Гречановичи, что тот разорил улей на его пасеке: “Ты порушил не улей, а доверие к партизанам!” Осенью 1943 года в деревне Одрыжин Ивановского района нетрезвый партизан отряда имени Лазо по неосторожности убил девушку. По решению партизанского суда, утверждённому командиром и комиссаром бригады, он был расстрелян на глазах у сельчан. И, конечно же, не принимаются во внимание действия ложных партизанских отрядов, которые в массовом порядке формировались гитлеровскими спецслужбами. На вопрос о том, сколько их было на самом деле, могут ответить только архивы тех спецслужб, современные же исследователи упоминают только разоблачённые формирования такого рода. Профессор Э. Г. Иоффе в книге “Абвер, полиция безопасности и СД, тайная полевая полиция, отдел Иностранных армий “Восток” в западных областях СССР. Стратегия и тактика. 1939–1941” напоминает, что только партизаны Д. Н. Медведева, действовавшие на стыке белорусских и украинских земель, ликвидировали три подобных отряда в районе Хотимска, партизаны А. Н. Сабурова – отряд в районе Мозыря. Ещё три лжеотряда действовали вдоль железнодорожной линии Минск–Барановичи, в 1942 году несколько подобных групп СД создало в Могилёвской области в рамках операции “Лесные бегуны”. Такое же формирование было создано в Смоленске и на автомобилях перебросено в район действий 1-й Белорусской партизанской бригады на Витебщине. Те отряды разоблачались довольно быстро настоящими партизанами, но успевали подпортить им репутацию. Использовали подобный метод и бандеровцы. Наткнувшись на одну из таких групп, погибли секретарь Пинского подпольного обкома комсомола Шая Беркович и депутат Верховного Совета БССР Владимир Немытов, воевавший в отряде имени Лазо. В форме красноармейцев зачастую предпочитали действовать и отряды польской Армии Крайовой, которые в той войне тоже решали отнюдь не белорусские вопросы и не скрывали своего враждебного отношения к белорусам в любом их облике, даже в полицейской форме.

В таком случае неизбежен вопрос: почему для кого-то стала возможной такая “перестановка акцентов”? Вопрос сам по себе неприятен, однако неприятен и ответ на него: в ту войну в оккупированной Белоруссии были не только партизаны, но и полицаи. Многие из них, пойдя в услужение гитлеровцам, спасли свою шкуру, но понесли куда более страшную кару, поскольку заплатили потерей чести, и даже там, где нашли убежище, не смеют рассказать о своих “подвигах”. Моральную плату за это платят и будут платить их дети, внуки и правнуки, так как и они не могут похвастаться такими отцами, дедками и прадедами. Героиня повести Василя Быкова “Знак беды” Степанида, разговаривая со знакомым полицаем о его детях, подвела выразительную

черту: “Они же тебя всю жизнь будут проклинать... Лучше б ты умер для них...” К нашему времени уже выросли их дети, внуки, даже правнуки, но Степанида всё-таки ошибалась, полагая, что все они будут стыдиться своих предков-полицаев. Белорусский историк Александр Коваленя пришёл к выводу, что “сегодня к распространению лживой информации активно подключились потомки тех, кто в годы войны сражался на стороне нацистской Германии”.

А ещё подобные действия вписываются в антисоветизм, ставший модным на постсоветском пространстве, и вспыхнули им многие даже из тех, кто при социализме отнюдь не бедствовал. Белорусских антисоветчиков весьма точно описал в своём блоге известный в республике литератор Адам Глобус, которого, кстати, тоже трудно назвать русофилом. В его характеристике не упоминается партизанское движение, однако она заслуживает того, чтобы привести её полностью, ибо проливает свет и на эту тему: “АНТИСОВЕТСКИЙ БЕЛОРУС. Вокруг него полно совков. Ты можешь их и не заметить, а он видит их везде. Они для него враги, с которыми надо бороться, драться до смерти, воевать до полной и окончательной победы. Антисоветский белорус агрессивен. Он – боец. Современная Беларусь для него – совковая, советская, мерзостная. Свои заработки антисоветский белорус считает в долларах и евро, а не в белорусских рублях. Эти рубли для него “зайцы”, “белки”, “тысячи”. (Помните, на белорусских купюрах, имевших хождение в республике в середине 90-х годов, были изображены различные представители местной фауны, и даже тогдашний белорусский премьер В. Ф. Кебич называл их “зверинцем”. – **Прим. авт.**) Белорусский паспорт он не любит, ибо на нём маловыразительный герб, похожий, как он говорит, на коровяк, который на деревенской дороге оставляет корова. Государственный флаг он воспринимает как пейзаж с пожаром на болоте. “Болото” – его любимое слово, которое зачастую применяется ко всему современному белорусскому. Университет – болото. Академия – болото. Правительство – болото, как и парламент, как и все движения и партии. Антисоветский белорус – одиночка. Он, чаще всего, происходит из коммунистических и комсомольских кругов. Своих бывших товарищей и друзей он называет “коммуяками”, “коммунистами”, “коммунобольшевиками”. “Коммуняка только и смутряет, чтобы что-нибудь скоммуниздить (читай – украсть)!” – как мантру повторяет и повторяет антисоветский белорус. Он любит демонстрировать свою веру в Бога. Большинство антисоветских белорусов – католики и греко-католики. Православных среди них мало, поскольку антирусскость в антисоветском белорусе занимает важную и определяющую часть. Так же, как и в Бога, антисоветский белорус верит во всемогущество КГБ. Он верит, что “гебисты” всё обо всех знают. Он верит, что они и подобные им виноваты во всех несчастиях и бедствиях белорусов. Если бы не “гебьё”, наша бы сторонка зацвела бы всеми красками, что есть на белом свете. Поддержки антисоветский белорус ищет в США, Чехии, Швеции. Он полагает, что возьмёт в какой-либо Германии деньги, создаст боевые отряды и совершит революцию, как когда-то совершил Ленин. Антисоветского белоруса не смущает тот факт, что Ленин, как и Колас и Купала (классики белорусской литературы. – **Прим. авт.**), был советским”.

В этой характеристике Адам Глобус назвал то, что предпочитает не выпячивать большинство активистов подчёркнуто национального фланга – их антирусскость. А она на этом фланге играет роль определяющую, её знаменем стала всячески раздуваемая ностальгия по “Великому княжеству Литовскому и Речи Посполитой обоих народов”, в которую то княжество входило. Московия для них или враг, уничтоживший “процветающую Речь Посполитую”, или дикарь, которому образованные подданные ВКЛ и Речи Посполитой старались придать цивилизованный облик. Даже на довольно высоком официальном уровне иногда звучат утверждения, что если бы не Самуил Гаврилович Петровский-Ситнянович, ныне известный как Симеон Полоцкий – поэт, драматург, переводчик, астролог при дворе царя Алексея Михайловича, то Александра Пушкина Россия не имела бы. Приходилось читать, что русские и жён своих держали бы взаперти, не знали бы иностранных языков, кабы сей монах не создал в Москве Славяно-греко-латинскую академию. Спрашивается, а почему он не затеял ту академию в Полоцке, почему в родном ему городе не стал готовить “пушкинородящую” почву, а остался в Москве, приехав туда за вещами умершего полоцкого архимандрита Игнатия?.. Ужель сребролюбие стало причиной? Как писал академик Александр Панченко, в Москве “у нище-

го белоруса завелись слуги, собственный выезд... столько всякого добра, что Симеону отвели погреб в стене Китай-города. И денег у него было в достатке, несколько мешков в монастырском подвале, он их и не трогал, так что мешки погнили". Однако надо сказать, что отрабатывал он их старательно. К свидетельству ученика Симеона Сильвестра Медведева о том, что почерк у него "зело бе мелок и ум писист", можно смело добавить, что с Симеоном вряд ли кто-нибудь мог сравниться в "высокой словесности", адресованной государю. В стихотворении "От избытка сердца уста глаголят", написанном в честь рождения царевича Фёдора, рифмованные строки он выстроил в виде сердца. А чего стоят "Метры на пришествие во град отчистый Полоцк Пресветлого Благодетельного и Христоролюбивого Государя и Великого Князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белья России самодержцы... в лето от создания мира 7164, а от воплощения Божьего Слова 1656 месяца июля, 5 дня:

*Радуйтесь, граждане, сынове востока,
Се даде вам Бог царя в вере без порока...
Жий, другий Константине, второй Владимиру,
Разширь православную во всех краях веру.*

Но были слова и посильнее. В своей "Истории Петра" А. С. Пушкин засвидетельствовал: именно Симеон Полоцкий предсказал, что "по явившейся близ Марса пресветлой звезде он ясно видел и как бы в книге читал, что зачатый в утробе царицы Наталии Кирилловны сын его (царя) назовётся Петром и будет таким героем, что в славе с ним никто из современников сравниться не может".

Однако всё меркнет в сравнении с тем, о чём недавно заявила одна из молодых представительниц белорусской литературы. Оказывается, и нынешний русский язык "Московия заимствовала... вместе с угнанными из Полоцка и других городов многочисленными мастерами и ремесленниками, вместе с трудолюбивыми и образованными крестьянами". Только после этого "завоеватели, говорившие на татарских, угро-финских и ещё бог знает каких наречиях, со временем полностью освоили язык и стали называть его своим, русским"! Большинство читающих, разумеется, воспринимает подобные "откровения" с юмором, особенно после того, как их "просветили", что "достижения" украинцев ещё больше: они построили в Египте пирамиды, создали санскрит, дали миру Гомера, которого на самом деле звали батькой Кимером, а также Александра Македонского, Зевса, Будду... Тем не менее, подобные голоса, случается, звучат и в белорусских СМИ.

На прилавках книжных магазинов, притом на самых видных местах, полно книг, рассказывающих о том, что вся белорусская история — это войны с Россией, а в тех книгах — сожаление о том, что Ольгерд не смог отобрать Кремль у Дмитрия Донского, и радость, что Константин Острожский пятьсот лет назад во главе польско-литовских войск разбил русскую армию у Орши. Героями борьбы за белорусскую независимость называются все, кто противостоял русским, — от руководителей польских восстаний Тадеуша Костюшко и Константина Калиновского до атамана Булак-Балаховича, воевавшего сначала за красных, потом за белых, затем за поляков, которого и маршал Пилсудский называл бандитом. Даже те аналитики, которые вслед за американским учёным Тимоти Снайдером вынуждены признавать, что белорусская нация и государство родились именно в контексте Российской империи и СССР, к нынешней России поворачиваются спиной, болея той же ностальгией по "Великому княжеству" и утерянному шляхетству.

Разумеется, это тема для отдельного разговора, но обойти её нельзя, ибо такие стенания во многом объясняют взгляд и на партизанское движение в ходе Великой Отечественной войны. А взгляд этот — откровенно высокомерный — одновременно и антирусский, и антибелорусский. Не секрет, что многовековая уния Великого княжества Литовского с королевством Польским, начатая в конце четырнадцатого столетия, одной из главных целей имела ополчение русского боярства и всего населения, оказавшегося в пределах ВКЛ и Речи Посполитой, их отказ от языка, православной веры и своей культуры. И многие пошли на это. В таком случае резонно сказать, что если в народе живы были гены Ивана Сусанина и тех, кто запер наполеоновских сол-

дат в Витебске, то никуда они не делись и у потомков бояр, перекарасившихся в шляхтичей и живших, как подчёркивает гродненский историк Валерий Черепица, “не ради Иисуса, а ради хлеба куса”. А прозелиты, как известно, больше всего ненавидят как раз то, от чего отвернулись. Адам Глобус не случайно упомянул, что среди антисоветских белорусов преобладают католики и греко-католики, то есть униаты. Антисоветскость у них вытекает из антирусскости, и всё, к чему имела хоть какое-то касательство Москва, трактуется как нечто неприемлемое. Относится это и к партизанскому движению.

В нынешней Белоруссии нередко звучат высокомерные утверждения, что поскольку шляхта не принимала участия в формировании белорусского этноса, то он вырос из крестьянства и потому не способен на самостоятельные действия. Мол, “процессы этнической консолидации белорусов происходили на социальном дне (деревня, плебейская часть местечек и городов), где по определению не было места хоть каким-нибудь элитам, а значит, и высокой, благородной, аристократичной духом Беларуси”, той Беларуси, в которой “не было и не могло быть места Мицкевичу”. Речь идёт об Адаме Мицкевиче, который “всю жизнь только и делал, что переводил Беларусь на польский язык”. На такой почве философ, называющий себя фаталистом, когда заговаривает о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, тоже заявляет, что сама “идея борьбы с немецко-фашистскими захватчиками вообще не белорусского происхождения, ибо в проекции на белорусов она не имеет исторически подтвержденного генезиса”. В книге “Код отсутствия” он утверждает, что белорусский народ на такое попросту не способен, поскольку, мол, последние поползновения к сопротивлению на его землях были связаны с “остатками традиции шляхетских вольностей” и стали не по силам “уже полностью **плебейской** белорусской нации”. Более того, пишет сей высочайший автор, “массовый героизм народа — оксюморон (форма, не соответствующая содержанию, например, горячий лёд. — **Прим. авт.**). Если бы это явление существовало взаправду, а не было только риторической фигурой идеологической начинки, так народы уже давно дотла повыбивали один другого”.

Но разве не исчезли десятки и сотни народов с лица земли именно потому, что более сильный не желал присутствия рядом с собой слабого, а у того не хватило сил или воли к сопротивлению? Сколько таких “подвигов” числится за Чингисханом, Карлом Великим, рыцарями с изображением креста на белом плаще? Куда подевались прусы-славяне, полабцы, бодричи, лютичи, брежане, поморяне, явтяги, печенеги, половцы?.. Так ли уж случайно многие историки называют Европу кладбищем народов?

Не менее странно и его заявление о том, что “массовый героизм — куда более опасное явление, чем отсутствие героизма вообще”, потому “каждое проявление массового героизма должно рассматриваться как симптом смертельной болезни, за которым — потеря народом важнейшего из инстинктов — инстинкта самосохранения”. Однако при таком понимании самосохранения отец может не спасать своих детей в случае беды, пояснив, что для него дороже его собственная жизнь и безопасность. Настаивая на том, что белорусы веками привыкли “жить под кем-то”, что идею сопротивления гитлеровцам нашему народу навязали “чёртовы москали”, сами, дескать, не приученные терпеть никаких оккупантов, что инспирированная Москвой “партизанка” подтолкнула “самых белорусов к несвойственной им, ненужной и, в конце концов, пагубной борьбе с оккупацией”, такие авторы оставляют в стороне и то, что в соответствии с гитлеровскими предначертаниями — план “Ост” — **белорусам вообще не было предусмотрено никакого места на земле. Три четверти их должно было исчезнуть физически, четверть предполагалось онемечить, то есть уничтожить духовно.** На всё отводилось только тридцать лет, и теперь могло уже не быть и тех, кто пишет оскорбления по адресу партизан.

Но главное — неослужетство пытается внушать белорусам, что их участь — оставаться лакеями, потому что среди них не может быть героев. И главным пространством идеологической борьбы стала история. Белорусам усиленно пытаются написать новую, отличающуюся от той, в которой они совершали геройские поступки как в боях, так и в мирном строительстве. Партизанское движение — одна из делянок такой борьбы. Тех, кто жаждет переделать прошлое, не так уж и много, они сами вынуждены признать, что “страна Беларусь уже полностью живёт без нас — национально ангажированных”, но они очень настырны. Спорить с ними бесполезно, они признают два вида мнений:

своё – правильное и остальные – ошибочные. Но война главные акценты расставила: партизан – это народный мститель, упорно боровшийся против иноземного порабощения, в первую очередь, плечом к плечу с русскими. Как сказал в телефильме “Биохимия предательства” Александр Шолохов – нынешний руководитель музея-заповедника М. А. Шолохова в донской станице Вёшенская: по главному счёту это была война между русскими и немцами. Не все знали и уточняли, что вместе с немцами пришли на нашу землю и венгры, и румыны, и словаки, и французы, и датчане, и голландцы, и хорваты, и итальянцы, и испанцы – для народа каждый из них был тоже немцем. А потом каждый, кто шёл к ним в услужение по идеологическим соображениям или же надевал чужой мундир ради спасения собственной шкуры, тоже становился немцем. Точнее, гитлеровцем, что ещё позорнее, ведь сами немцы их своими не считали, поручая им наиболее грязную работу.

А НАШИ, которых ждали, были, прежде всего, русскими. И никого это не оскорбляло. Маршал Баграмян вряд ли собирался обидеть соотечественников или представителей других народов, когда требовал, чтобы в прибывающем на фронт пополнении русские составляли не менее половины. И не случайно после Победы на всех территориях огромной страны дети несколько десятилетий затевали военные игры именно в “русских и немцев” – устами ребёнка глаголет истина!

Страшным было напряжение в той войне? Ужасными были потери? Достойным ответом на сентенции “о пагубной борьбе с оккупантом”, провоцирующей “неплановую” жестокость немцев”, является суждение польского историка Збигнева Залусского, который, говоря о варшавских повстанцах, подчеркнул, что **борьба с врагом в безвыходной ситуации – плохой выход, но любой иной был бы ещё хуже.** С этим, добавил он, согласилось большинство польского народа, однозначно одобрив тех, кто не отринул крови, проявив готовность ради Отчизны “выцедить её и из груди и из песни” – именно так сказал о повстанцах и его единомышленник, выдающийся польский поэт Владислав Броневский. А полицией в народном сознании остаётся бобиком (пёсиком), спасавшим свою шкуру. И такое определение полностью соответствует мировой традиции: в древней Греции людей, потерявших честь, называли псоподобными. Вспомните “Илиаду” Гомера. Кому-то не нравится? Так ведь – кто за что боролся!

АЛЕКСАНДР ВОДОЛАГИН

ГЕНИЙ НЕПРЕКЛОННОЙ ВОЛИ

(К 200-летию М. А. Бакунина)

*Воля — вот что составляет
главную сущность человека...*

Михаил Бакунин

Незадолго до срыва в безумие Фридрих Ницше сформулировал свое понимание участи гения, вступившего на путь духовной самореализации в условиях всевластия посредственности. Вот один из набросков этого понимания: «В войне против великих людей есть много смысла. Они опасны, они капризны, они исключительны, они порывисты — и довольно сильны, чтобы угрожать тому, что закладывалось и строилось так долго, это люди-вопросительные знаки, поставленные после предметов нерушимой веры. Надо не только безопасно разрядить эту взрывчатку, но и *предотвратить* её образование и накопление, если только возможно: вот что рекомендует инстинкт цивилизованного общества»¹. Одним из таких великих людей, несомненно, был и Михаил Александрович Бакунин — «фантастическое порождение русского барства»², «решительный гегелианец»³, идеолог русского бунта, пророк анархокоммунизма, призывавший к разрушению любой социальной формы, ущемляющей свободу воли и таким образом препятствующей становлению самостоятельной, полноценной личности. *Вопросительные знаки*, поставленные им полтора столетия назад «после предметов нерушимой веры» — материального благополучия и социального статуса индивида, брака и семьи, государства и Церкви, — по-прежнему остаются выражениями характерного для русского нестяжателя-духовидца своемыслия в сочетании с *непрерывным исканием Бога*⁴ — вплоть до открытия Его для себя в революции. Война против Бакунина, начавшаяся в 1844 году, когда он узнал о том, что был лишен дворянского титула и заочно приговорен в России к каторжным работам, продолжалась и весь следующий век. Нужно сказать, что и в наше время Бакунин все ещё остается «блуждающей кометой»⁵ русского космоса, взрывоопасным мыслителем современности, внушающим страх этаким, апологетам «дурного государства»⁶. История о том, как некогда его друзья и противники пытались «безопасно разрядить эту взрывчатку», и любопытна, и поучительна⁷.

Дружба с Н. В. Станкевичем совпала для Бакунина со счастливейшей порой его жизни, временем духовного пробуждения и самоопределения, поис-

ВОДОЛАГИН Александр Валерьевич — доктор философ. наук, профессор. Член Союза писателей России. Автор книг «Метафизическая ось евразийства» (в соавт. 1994), «Метафизика воли» (2012), «Собирание духа. Пути и беспутство русской мысли» (2013), сборника рассказов «Оливема» (2000), романа «Ворох, или играющий с огнём» (2010 — Литературная премия имени Н. В. Гоголя).

ка “целостного мировоззрения” и осознания своего призвания⁸. Они познакомились в марте 1835 года в Москве, когда семья Бакуниных гостила у своих родственников Бееров. Особенно сильное впечатление на Станкевича произвели “ангельские лица” сестер Мишеля – Любви, Татьяны и Варвары. В один только день общения с этими “прекрасными созданиями божьими” он пережил “тысячи разных ощущений”⁹. “Семейство Бакуниных – идеал семейства, – писал Станкевич своему другу Я. М. Неверову, – следовательно, можешь представить, как оно должно действовать на душу, которая не чужда искры божьей! Нам надо ездить туда исправляться...”¹⁰ В октябре того же 1835 года Станкевич впервые гостит в родовом имении Бакуниных Прямухине. Они целыми днями просиживают с Мишелем над текстами Канта – “с трубками в зубах и горячими планами на будущее”. Им кажется, что они выбрали “одну дорогу”¹¹. Станкевич подсказывает 21-летнему офицеру-артиллеристу, кого и как читать для того, чтобы разобраться в себе, обрести “цель жизни”, осознать своё человеческое достоинство и назначение. В списке Станкевича, помимо кантовской “Критики чистого разума”¹², произведения Фихте, Шеллинга, Гегеля, Шекспира и Гофмана. Попавший под его влияние Мишель выходит в отставку (1835) в чине прапорщика и с жадностью погружается в изучение германской философии, ища в ней, как учил Станкевич, “душевного возрождения” и спасения от вселенной тоски, от состояний “нравственной апатии и слабости”, столь хорошо известных *русским мальчикам*, вступившим на путь *радикальной индивидуализации*¹³. Некоторое время новообращенный адепт *гегелизма* соглашается быть ведомым, хотя во внутрисемейной жизни уже начинает претендовать на доминирование и в своей *борьбе за признание* разрушает столь ценную Станкевичем атмосферу бакунинского “семейного счастья”: авторитет отца Александра Михайловича (*мудрого старца*, как звал его Белинский) оказывается подорванным, сестры выходят из-под авторитарного контроля матери – Варвары Александровны – и подчиняются воле юного “пастыря” Мишеля, страстно проповедующего главную идею своего кумира – Станкевича: “Жизнь есть самонаслаждение любви”¹⁴, которая невозможна без самоотречения, без “самоабвения для других”¹⁵. Тем временем его мать со слезами жалуется, что он “лишил её и Александра Михайловича *любви дочерей*”¹⁶. В письме к одной из них – своей предполагаемой невесте Любви Бакуниной¹⁷ – Станкевич подсмеивался над другом: “Мишель сказывал мне, что он писал в Прямухину очень много наставлений: у этого человека страсть всех учить. Недавно он сбил с пути Лангера, славного музыканта, и заставил его читать Фихте... Каково покажется?”¹⁸

Между тем, ещё одному ученику Станкевича – Виссариону Белинскому – уже не до смеха. Переживший в августе 1836 года¹⁹ преображение в прямухинской “святой и таинственной атмосфере”²⁰, влюбившийся в другую сестру Бакунина – Александру, – Белинский изнемогает под “тяжким игом” бакунинского *магнетического* авторитета²¹, признавая, однако, духовное превосходство “львообразного” Мишеля, этого “непризванного воспитателя женщин”²². “Кстати о Прямухине, – писал Виссарион ему из Пятигорска 16 августа 1837 года. – Ты говоришь, что однажды тебе удалось пробудить меня от моего постыдного усыпления и указать мне на новый для меня мир идеи; правда, я этого никогда не забуду – ты много, много сделал для меня. Но не новыми утешительными идеями, а тем, что вызвал меня в Прямухину – воскресил ты меня... Прямухинская гармония не помогла тебе в моём пробуждении, но была его главной причиной”²³. Наблюдение верное. Именно прямухинское “дворянское гнездо” второй половины 1830-х годов стало *подлинным местом рождения* феноменологии русского духа²⁴, наброски которой мы находим, в частности, в переписке Белинского с Бакуниным, вслед за Станкевичем прошедшим “суровый искус Гегелевой логики”²⁵. Их письма-диссертации – свидетельства экстазов времени, пережитых русскими *гегелятами* в жару нескончаемых ночных споров о смысле и ценности тех жизненных опытов, через которые проходит “маленькое я” профана на пути к духовному пробуждению и превращению в средоточие “абсолютной жизни”, в орудие *провидения* или *фатума*²⁶. Дружба и любовь были для них испытаниями важнейшими. Увоенные в кружке Станкевича привычки протоколировать свои “ощущения и ощущенияница”²⁷, с “прекраснодушным энтузиазмом” исповедоваться друг перед другом, доходя до крайности *самоунижения*, признаваться в собственных *падениях* и обвинять в изменах “прекрасному и высокому” своего ближнего,

объясняя всё и вся в терминах гегелевской “Феноменологии духа”, создавали напряжение между друзьями, омрачая их отношения взаимными упреками, подозрениями, ревностью, “личной враждебностью” и даже ненавистью. И все это – в сочетании с муками совести. После отъезда Станкевича в августе 1837 года в Европу участники кружка разбредаются по своим углам. Белинский признаётся Бакунину в том, что “от души рад, что нет уже этого кружка, в котором много было прекрасного, но мало прочного; в котором несколько человек взаимно делали счастье друг друга и взаимно мучили друг друга”²⁸. Невзирая на это, Мишель наращивает свою активность, направленную на создание новой “религиозно-нравственной общины”, в состав которой (помимо обожаемых сестер и братьев Бакуниных, Константина, Натали и Александрины Беер) в 1840 году ненадолго входит новоявленный гегельянец Иван Тургенев. Встреча со Станкевичем и знакомство с Бакуниным стали для него важнейшими событиями жизни, экзистенциальная значимость которых была приоткрыта им в его первом романе “Рудин” (1955). Погружение же в необычную духовную атмосферу Прямухина обогатило его “наблюдающий разум” новыми опытами, без которых вряд ли возникли бы чарующие образы “тургеневских девушек”²⁹ – сестер Бакуниных и их подруг: Натали и Александрины Беер.

Смерть Станкевича в июне 1840 года подействовала на его друзей и единомышленников отрезвляюще: на какое-то время они забыли о взаимных обидах и “жестоких ссорах”, объединенные благодарным припоминанием об их *общем искупителе* (так называл Станкевича Михаил Бакунин). “Боже мой! Кто ждал этого? – писал Белинский В. П. Боткину 12 августа 1840 года, сообщая другу о смерти их общего кумира. – Не был ли бы, напротив, каждый из нас убеждён в невозможности такой развязки столь богатой, столь чудной жизни? Да, каждому из нас казалось невозможным, чтобы смерть осмелилась подойти безвременно к такой божественной личности и обратить её в ничтожество... Он живёт, скажешь ты, в памяти друзей, в сердцах, в которых он раздувал и поддерживал искры божественной любви. Так долго ли проживут эти друзья, долго ли пробьются эти сердца? Увы! Ни вера, ни знание, ни жизнь, ни талант, ни гений не бессмертны! Бессмертна одна смерть: её колоссальный, победоносный образ гордо возвышается на престоле из костей человеческих и смеётся над надеждами, любовью, стремлениями!..”³⁰ После пережитого потрясения Белинский до конца своих дней сохранил мрачное, близкое к *отчаянию* умонастроение, характерное для *несчастливого сознания* – этого “движения бесконечной тоски” – *сознания собственного ничтожества*, которое “находит себя только *вождедеющим и работающим*”³¹, не испытывая радости ни от обладания вождеделенным объектом, ни от собственного “скудного действования”.

Иначе воспринял смерть Станкевича Бакунин, уже прошедший в своём духовном развитии ступень несчастного сознания, связанную с переживанием *скорби* о своём *конечном* бытии в богооставленном мире. “Я не знаю, как, но его смерть не угнетает меня, – писал он в августе 1840 года любимой сестре Татьяне, – напротив, она внушает мне возвышенную веру и крепость. Его бессмертный дух парит над нами – он передал нам священное значение и неизмеримо глубокий смысл своей жизни – как бы единую цель, к которой мы все теперь должны стремиться”³². Смерть, по его словам, имеет “святое, великое, прекрасное значение”³³, так как, разрушая индивидуальность, способствует рождению личности – неразрушимой духовной монады: “смерть есть жизнь жизни”³⁴, прорыв из времени в вечность. Слова, свидетельствующие о том, что к 26-ти годам Мишель уже стал *дваждырождённым*, то есть пережил то преобразование в Духе, на которое его ориентировал Станкевич. Уже тогда в нём проглядывало *жуткое соединение аскета и “солдата Духа*”³⁵. Ещё в апреле 1836 года, в период интенсивного изучения текстов Фихте, он писал сестре Татьяне: “Я не создан для жизни внешней, для внешнего счастья, и я его не желаю. Я доволен своей судьбой. Вся жизнь моя сосредоточена внутри меня... теперь я имею почти неограниченную веру в мою силу воли”³⁶. Тогда же он отказался от выгодного брака и банального “семейного счастья”, от предначертанной отцом служебной карьеры и связанного с ней мирского благополучия. Он занялся переводом практически никому не нужных в России наставлений Фихте о “блаженной жизни”³⁷, зарабатывая себе на пропитание частными уроками, обедая по субботам у приятельницы Чаадаева Е. Г. Левашовой, а по воскресеньям – у Аксаковых. Константин Аксаков,

с которым он сошёлся в кружке Станкевича, вспоминал, что тогда Мишель по-настоящему занимала одна только *чистая мысль*. Уточним: мысль о Боге, являющем свою сокровенную сущность религиозному сознанию *посвященного*. Чтение им в это время мистической литературы косвенно подтверждает тот факт, что “крестоносец молодой”, как звал его К. С. Аксаков, вступил на путь *гносиса* — “блуждающего искания истины” (Гегель), которое окончилось для него роковой встречей с Арнольдом Руге (1841), разрывом с православной *внутрисемейной религиозностью* рода Бакуниных и вступлением в 1845 году в масонскую ложу Великого Востока Италии³⁸. Заметим, между прочим, что ни “тёмные стороны” его характера (о них Бакунин сам говорил открыто: “Во мне сидел бес разрушения... ”³⁹), ни опасные заблуждения в *неистовых поисках самого себя* не дают оснований для исключения его из сонма *лучших людей* России, ибо, как говорил Гегель, не результат есть действительное целое, но результат вместе со своим становлением⁴⁰. Думается, что даже в своих еретических, с точки зрения церковной ортодоксии, утверждениях 1860–1870-х годов Бакунин, позиционируя себя в качестве материалиста и атеиста, остался верным ультимативной установке своей юности: “Нужно жить и дышать только для Абсолюта... ” Став, казалось бы, законченным нигилистом⁴¹, он, тем не менее, сохранил веру в Бога⁴², правда, воспринимаемого лишь в одном его аспекте — как *чудовищная мощь негативного*⁴³, то есть опять-таки по-гегелевски. Именно в этом своём негативном качестве “Бог философов” совершает своё триумфальное шествие в мире, используя для осуществления “абсолютной идеи” свободы *великих людей* с присущей им *волей к мощи, захваченных творческой страстью к разрушению*. Кто знает — может быть, уже в конце 1830-х годов в гегелевской “Философии истории” Мишель вычитал *логику своей судьбы* и, бросившись в “волны действительности”, неуклонно ей следовал и в рискованных политических авантюрах, и в тюремных мытарствах, и в борьбе с засильем *марксидов-русофобов* в Интернационале? Оценивая масштаб его личности, Герцен говорил: Бакунин — “одна из тех индивидуальностей, мимо которых не проходит ни современный мир, ни история”, человек, способный увлекать массы и потрясать судьбы народов⁴⁴. “Таких людей нельзя просто сдать в архив — и забыть ”⁴⁵.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Ницше Ф. Полн. собр. соч. в тринадцати томах. Т. 13. Черновики и наброски 1888–1889 годов. М., 2006. С. 439.

² Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 54.

³ Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. Женева, 1896. С. 557.

⁴ Воля как духовная сущность обнаруживает себя, согласно Якобу Бёме, в захватывающем человека *непрерывном искании Бога* (подробнее см.: Водолангин А. В. Метафизика воли. М., 2012. С. 138–142).

⁵ Одно из определений, данных Бакунину Белинским.

⁶ Термин “дурное государство” (*schlechter Staat*) Гегель использовал для обозначения такой политической формы, которая создаётся не для осуществления свободы воли, а для её подавления, что предполагает использование как материальных средств принуждения и насилия, так и психолого-идеологических, символических воздействий.

⁷ Для усмирения *активного нигилиста* Бакунина использовались и грубые (тюремное заточение, заковывание в цепи и т. п.), и тонкие методы психического насилия. Последние применял, например, император Николай I, навязавший узнику Алексеевского равелина роль кающегося грешника, блудного сына, исповедующегося перед своим “духовным отцом” — императором. Бакунин принял предложенную ему ненавистной властью роль не потому, что сломался: он рассчитывал на замену тюремного заключения ссылкой как на возможность побега, то есть и в заточении упорно следовал избранной им в юности жизненной стратегии борьбы за реализацию своего “абсолютного права” — права на свободное действие и самоопределение вопреки давлению обстоятельств и каких-либо авторитетов. Примечательно то, что русский путь к “новой благодати” безгосударственного существования (= коммунизма) лежал, согласно Бакунину, через эпоху “сильной диктаторской власти”, занимающейся “возвышением и просвещением народных масс”, так что его философия анархии была не столь проста, как она

- представлялась его философски неискушённым критикам, и вполне могла конкурировать с утопическим учением Маркса о “диктатуре пролетариата”. Прав был Александр Блок, назвавший Бакунина одним из замечательнейших *распутий русской жизни*: “Только крайний забулдыга мог так шутить и играть с огнём” (Блок А. Соч. в двух томах. Т. 2. М., 1955. С. 49). “Займём огня у Бакунина!” (Там же. С. 51).
- ⁸ “Встреча со Станкевичем была для меня спасительна; она составляет эпоху, решительный перелом в моей жизни”, — писал Бакунин сестре Варваре 15 марта 1840 года — за три месяца до смерти друга (Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. Т. 2. Гегелианский период 1837–1840. М., 1934. С. 386.)
- ⁹ Станкевич Н. В. Избранное. М., 1982. С. 119.
- ¹⁰ Там же. С. 144.
- ¹¹ Там же. С. 127.
- ¹² В конце 1835 года Станкевич передал Бакунину свой экземпляр “Критики чистого разума”. Незадолго до встречи со Станкевичем Бакунин успел прочитать работы русских шеллингианцев — А. И. Галича и Д. М. Велланского. С самим Шеллингом он познакомился осенью 1841 года в Берлине, поражённый “неизмеримой глубиной жизни” и творческого мышления философа.
- ¹³ В России “борьба за индивидуальность” приняла форму беспощадного к обычаям и привычкам повседневной жизни *нигилизма*, впервые исследованного И. С. Тургеневым (Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1988. С. 283). Впрочем, Тургенев и сам был “одним из величайших нигилистов” (Герцен А. И. Соч. в восьми томах. Т. 8. М., 1975. С. 319).
- ¹⁴ Там же. С. 149.
- ¹⁵ Там же. С. 145.
- ¹⁶ Белинский В. Г. Собр. соч. в девяти томах. Т. 9. Письма 1829–1848 годов. М., 1982. С. 191.
- ¹⁷ Об умершей Л. А. Бакуниной, так и не узнавшей о том, что Станкевич решил отказаться от брака с ней, Белинский писал Бакунину в октябре 1838 года: “У тебя четыре сестры; все они или каждая из них представляет собою *особное* прекрасное явление, но одна отделилась от всех и отделилась резко. Это та, которой уже нет и которую вы все так справедливо называете *святою*. Она пользовалась блаженством жизни, как своею собственностью...” (Белинский В. Г. С. 199). *Русский Гамлет* Станкевич пережил свою *Офелию* всего на два года.
- ¹⁸ Станкевич Н. В. Избранное. С. 163.
- ¹⁹ Белинский прожил в Прямухине по приглашению Бакунина 4 месяца — с августа по ноябрь 1836 года — и часто потом вспоминал об этом благодатном времени как о пребывании в раю, тосковал о “потерянном рае”.
- ²⁰ Белинский В. Г. С. 210.
- ²¹ Там же. С. 204, 319.
- ²² Там же. С. 319. Известно, что юный Бакунин охотно взял на себя роль “советника по всем интимным делам” в ходе бурного романа Станкевича с экзальтированной Натали Беер. Отголоски этого эпизода — в тургеневском “Рудине”. Интересно, что в этом имени главного персонажа тургеневского романа зашифрованы некоторые особенности внешнего облика и психического склада Бакунина (См.: Водолагин А. Зарницы русского нигилизма. *Несчастное сознание* в прозе И. С. Тургенева. // Литературная газета, 2014, № 10).
- ²³ Там же. С. 76. “До знакомства с Бакуниным Белинский считал себя шеллингианцем” (Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина. Из истории русского романтизма. М., 1915. С. 238).
- ²⁴ Подробнее о феноменологии русского духа см.: Водолагин А. В. Собрание духа. Пути и беспутство русской мысли. Саарбрюкен, 2013. С. 32–50.
- ²⁵ Герцен А. И. Соч. в девяти томах. М., 1956. Т. 5. С. 13. Бакунинское “внимание в Гегеля” началось в июле 1837 года (Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина. С. 402, 701).
- ²⁶ Белинский В. Г. С. 198.
- ²⁷ Там же. С. 498.
- ²⁸ Там же. С. 346.
- ²⁹ Помимо прямого нравственного влияния Бакунина, его сторонники оказывались во власти созданной им в Прямухине духовной атмосферы, которую отчасти воспроизвёл в своих романах И. С. Тургенев. “Он вселил высшие идеалы и показал нам, что такое русская женщина, — вспоминал о Тургеневе П. А. Кропоткин, —

- какие сокровища таятся в её сердце и уме и чем она может быть как вдохновительница мужчины. Он нас научил, как лучшие люди относятся к женщинам и как они любят” (Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1988. С. 397).
- ³⁰ Там же. С. 389.
- ³¹ Hege l G. W. F. Phänomenologie des Geistes. Nach dem Texte der Originalausgabe. Berlin, 1975. S. 165.
- ³² Корнилов А. А. Годы странствий Михаила Бакунина. Л. – М., 1925. С. 16–17.
- ³³ Там же. С. 151.
- ³⁴ Там же. С. 104.
- ³⁵ Чижевский Д. И. Гегель в России. СПб, 2007. С. 105. *Синтетичность* Бакунина “как-то дразнит наши половинчатые, расколотые души”, – признавал Александр Блок (Блок А. Т. 2. С. 51).
- ³⁶ Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина. С. 217–218. Пройдя в своём духовном развитии ступень раздвоенного, несчастного сознания, застающего себя только вожделем и работающим и практикующим отношением “себялюбивого разрушения” к предмету своего вождения, Михаил Бакунин возвысился до открытия в себе “всеобщего Я”, субъекта “разумного самосознания”, знающего о своей “абсолютной свободе” и готового к бунту против любой социальной формы, ограничивающей или подавляющей таковую. Согласно “бакунинскому Гегелю” (Герцен), эта ступень духовности связана с отрицанием личности своей “непосредственности”, “чувством ничтожности себялюбия” и признанием “абсолютной самостоятельности” другой личности, на что было не способно “вождеющее самосознание” несчастного эгоцентриста. Далее этой стадии духовного развития Бакунин не продвинулся. Неожиданно приостановив своё восхождение к сияющей вершине “абсолютного знания”, наш *решительный гегелианец* ринулся в пучину действительной жизни, пытаясь вполне по-донкихотски навязать ей “закон совершенный, закон свободы”. В то время как Белинский всё ещё хлопотал о счастье, Мишель уверял друзей: “Я не хочу счастья, не думаю о счастье, – дела, дела строгого, святого дела хочу я” (Корнилов А. А. Годы странствий Михаила Бакунина. С. 172).
- ³⁷ Первый труд Бакунина – перевод лекций Фихте о назначении учёного – был опубликован в журнале “Телескоп” в 1835 году, первая самостоятельная философская статья “Гимназические речи Гегеля. Предисловие переводчика” появилась в 1838 году в “Московском наблюдателе”. “Впрочем, главная сила Бакунина, – полагал П. А. Кропоткин, – была не в его писаниях. Она была в его личном влиянии на людей. Она сделала Белинского тем, чем он стал для России: типом неподкупного революционера, социалиста и нигилиста, который воплотился впоследствии в нашей чудной молодёжи семидесятых годов” (Кропоткин П. Анархия, её философия и идеал. Воспоминания о Бакунина. М., 1906. С. 61). О влиянии Бакунина на формирование “искажённого фаталистического гегелианства Белинского” говорил С. А. Венгер (Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина. С. 451). Герцен в “Былом и думах” описывал “бесконечные толки о феноменологии” – “знаменитые всеобщие бдения Бакунина с Хомяковым у Чаадаева, у Елагиной о том же Гегеле” (Герцен А. И. Соч. в девяти томах. Т. 5. М., 1956. С. 449).
- ³⁸ Серков А. И. Русское масонство. 1731–2000. Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 81; Платонов О. А. Криминальная история масонства. 1731–2004 гг. М., 2005. С. 116.
- ³⁹ Дюкло Ж. Бакунин и Маркс. Тень и свет. М., 1975. С. 419. Некоторые черты Бакунина, одержимого “бесом разрушения”, отражены в Ставрогине (Левцкий С. А. Очерки по истории русской философии. М., 1996. С. 100).
- ⁴⁰ Hege l G. W. F. Phänomenologie des Geistes. S. 11.
- ⁴¹ Уже в 1848 году Бакунин, по мнению Герцена, был “вполне нигилист” (Герцен А. И. Соч. в восьми томах. Т. 8. М., 1975. С. 319). В юности же он склонялся к “религиозному имманентизму” (Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1. Париж, 1989. С. 254).
- ⁴² Вспоминая о своей последней встрече с Бакуниным в Лондоне в 1862 году, Тургенев утверждал, что тот всё ещё верил и в Бога, и в личное бессмертие.
- ⁴³ Подробнее об этом: Водолагин А. В. Философия революционного террора. // Национальные интересы, 2008, № 2. С. 40–44. Бакунин был одним из немногих русских, кто, по словам Герцена, действительно пережил гегелевскую “Феноменологию духа” и до конца жизни практически следовал выраженному в ней пониманию Абсолюта.
- ⁴⁴ Герцен А. И. Соч. в девяти томах. Т. 5. С. 575, 576.
- ⁴⁵ Там же. С. 579.

“БЕЗ “НАШЕГО СОВРЕМЕННОКА” Я РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НЕ МЫСЛЮ”

Так уж складывается, что письма читателей, приходящие в редакцию журнала, в массе своей обращены к нашему главному редактору, поэту, писателю и публицисту Станиславу Юрьевичу Куняеву. С искренним восхищением и любовью, что сквозит в каждом письме, читатели делятся с ним самым насущным. Разбирают его книги, рассказывают о своих радостях и бедах, причём тон читательских писем очень доверительный, почти домашний. Чувствуется, что Станислав Юрьевич для них не чужой, а родной человек, с которым можно быть вполне откровенным и вести душевную беседу. Даже о таких проблемах, как опасность аварий на атомных станциях, читатели пишут в наш журнал, пишут, когда не могут достучаться до Правительства и Президента. Что ж, глубоко ценим такое искреннее и душевное отношение россиян к нам — скромным работникам русской литературы. Высшая благодарность для нас — вот эти слова из одного письма: “Без “Нашего современника” я русской литературы не мыслю”. И что к этому можно ещё добавить?..

“ЕСТЬ У ВАС ДАР...”

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Хочу поблагодарить за присланную Вами книгу “Любовь, исполненная зла” (“В борьбе неравной двух сердец”). Книга эта мне очень близка. Сейчас в Смоленске рядом с моим домом восстанавливают три монастыря. В один из них, основанный в XVII веке, я постоянно хожу. Вопросы “человек и Бог”, “литература и Бог” возникают перед исповедью всегда и заставляют уже многие годы серьёзно пересматривать и себя, и своё отношение к главным вопросам бытия и, конечно же, литературы. Одним из таких важных и своевременных разговоров о человеке, литературе и Боге стала для меня Ваша книга. Книга взвешенная, продуманная, глубокая, выстраданная и очень своевременная.

Есть у Вас дар и в стихах, и в публицистике, и в литературоведческих работах поднимать главные вопросы, которые задаёт время, и находить ответы на них. Так и ваша “Любовь, исполненная зла” далеко выходит за рамки исследования о поэзии Серебряного века. Это, прежде всего, книга о человеческой душе, о тех огромных опасностях, которые влекут за собой, казалось бы, маленькие человеческие слабости: гордыня, самолюбие, желание денег и славы; это книга и о неправильном мировоззрении, которое часто порождается литературным ремеслом. “Человек — существо невидимое”, — говорил Василий Великий. Этим желанием сделать невидимого человека видимым, психологизмом, порождённым практикой постоянной исповеди и присущим русской культуре девятнадцатого века, утерянным, увы, веком двадцатым, — этим и замечательно Ваше исследование. Речь в Вашей книге — о любом человеке любого времени, и, конечно же, — о нашем современном повседневном лите-

ратурном бытии. Кто из нас, сталкиваясь с талантливыми и вдохновенными братьями по перу, не приходил в ужас от тщеславия, самолюбования, славолубия, гордыни и других пороков, которые характерны практически для всех писателей; кто не наблюдал, как от похвал, успехов, порой совсем незначительных, в мгновение ока рушатся человеческие судьбы, а крушения государств, народов, цивилизаций становятся последствием падения нравов, о чём Вы, Станислав Юрьевич, совершенно точно пишете.

Потому и не удивилась я тому, что свои размышления вы начали с судьбы Людмилы Дербиной – поэтессы, посчитавшей, что владеет Божиим даром, а данный ей небольшой талант – равным огромному таланту Рубцова, и павшей жертвой ревности и собственного славолубия. А о том, что любил Рубцов не так и не так с себя спрашивал, не подумалось ей. Вот привело её тщеславие к огромной беде и великой трагедии, причин которых Дербина так и не поняла и справиться с которыми не может. Всё те же грехи и тёмные силы влекут её по свету, и освободиться от них она не в состоянии. Страшная судьба! Страшная кара, но судить её, конечно, не нам.

Что касается Дербиной как верной ученицы Ахматовой... Когда-то в юности я переболела и Цветаевой, и Ахматовой, и другими поэтами Серебряного века. О нравах их в те времена писали мало, поэтому многое воспринималось по-другому. Потом меня опять потянуло к золоту русской классики, многое пересмотрела коренным образом, хотя лучшие стихотворения поэтов того времени люблю до сих пор (А. Блок, С. Есенин – это, конечно же, совсем другой разговор). Вспоминая себя молодой, не могу не согласиться с Вами: мировоззрение поэтов Серебряного века действительно “хмелит”, кружит голову и способствует возрастанию той творческой гордыни, через которую в молодом возрасте в разной мере проходят все поэты. Но ведь можно учиться и другому: высокой культуре стиха, требовательности к себе, точности слова, точности детали... У Ахматовой – кротости, о которой вспоминали все. Вот училась бы Дербина кротости – не овладел бы ею в роковую минуту гнев. Училась бы у Цветаевой щедрому приятию собратьев по цеху – не овладели бы душой её ревности и зависть. Что брать у учителя, чему учиться, конечно, во многом зависит от ученика. Я прекрасно понимаю, что судить Дербину нельзя: “...яко посреде хожу сетей многих...” (И. Дамаскин). Да и заплатила она страшно. И так же страшно заплатили все поэты Серебряного века. Но что мы все, не поборовшие страстей, можем понять в себе и в роде человеческом, если даже причиной страшного предательства Иуды было лишь сребролюбие (грех, так присущий нашему нечистоплотному времени, когда на наших глазах разворовали целую страну – СССР).

Огорчила меня одна небольшая деталь: Светлану Кузнецову Вы почему-то отнесли к верным ученицам Ахматовой. Мне кажется, что к зрелой Кузнецовой, которая смогла выйти к серьёзным гражданским темам (“Русский венок”, “В деревне Кудяево клуб” и т. д.) и стать большим поэтом, это всё же не относится. На мой взгляд, она поэт самостоятельный. Да и сама С. Кузнецова относилась к Ахматовой спокойно, по-настоящему ценила только несколько стихотворений молодой А. А. Но для Вашей книги в целом это, безусловно, частность.

Возник у меня один серьёзный вопрос: надо ли общечеловеческие проблемы разделять на “мужские” и “женские”? История “Нашего современника” упрямо свидетельствует: сколько талантливых женщин Вы открыли, опубликовали как редактор журнала: К. Мяло, Н. Нарочницкую, М. Струкову и ещё многих и многих, и никто из них в журнале никогда не чувствовал ущемления по поводу своего пола, ибо спрашивали Вы со всех только качество текста!

О проблемах и нравах отпавшего от Бога Серебряного века поговаривали давно, многие факты были известны, и всё же до Вашей книги настоящего, серьёзного исследования, по сути, не было. И очень интересный материал, собранный Вами воедино, и внимательное прочтение всем известных стихотворений, приведшее к неожиданным выводам, и размышления над историей Серебряного века с позиций Православия рождает очень сильное психологическое воздействие. И приводят к главному, для чего писалась эта книга, – к очищению (имею в виду не языческий катарсис, а христианский кэносис). Вот и я: после прочтения Вашей книги сделала то, для чего эта книга писалась: пошла в церковь и покаялась в том, что когда-то в юности, не владея всей нужной информацией, преклонялась перед поэтами Серебряного века.

Простой русский батюшка, за которым я не раз замечала дар прозорливости, в ответ на мой рассказ об их содомизме, наркомании и блуде твёрдо сказал: “Они страшно грешили и страшно ошибались, но люди всё равно хорошие”. Сразу вспомнила роман “Пирамида” Л. Леонова, в котором главная героиня на руинах страны и судьбы говорит: “Мир всё равно хороший!” Вспомнила и Ваши слова о том, что никаким порокам Образа Божьего в поэтах Серебряного века затмить не удалось.

По многим причинам сложилось так, что в русской поэзии талант и христианское мировоззрение соединялись не всегда. Конечно, и Пушкин, и Вяземский, и Лермонтов, и Тютчев, и Есенин, и Клюев, и Гумилёв, и многие, многие другие оставили великие (или просто замечательные) образцы христианской лирики (замечу, что христианская поэзия, конечно, шире чисто внешних представлений о ней), но чаще всего христианские темы поднимали поэты либо второго, либо третьего уровня – шедеврами литературы их произведения не становились. Европа дала великолепные образцы христианской поэзии, но, на мой взгляд, у русских поэтов куда более внутренний и глубокий подход к этой теме – совсем другая традиция. Вот и думается: воспользоваться бы русской поэзии двухтысячелетним опытом христианских подвижников, опытом лучших русских и опытом лучших европейских поэтов, и опытом русской народной лирики и дать для тысячелетней христианской страны действительно важный плод – православную поэзию. Это и было бы ответом и Серебряному веку, и либералам всех мастей.

Юрий Кузнецов хотел восполнить эту пустоту в поэтическом пространстве, но во многом не успел. А во многом нынешние поэты, независимо от их творческого уровня, не готовы к этому: не прошли мы дорогой покаяния, не избыли страстей. С одной стороны: “кто исповедует меня перед людьми...”, с другой – большие вопросы.

Станислав Юрьевич! Хочу поблагодарить Вас за добрые слова, которые Вы написали о моей книге. Для меня Ваша оценка как поэта и критика очень важна. Это – огромная поддержка. Думаю, что после Вашего отзыва и жить, и писать будет намного легче. Спасибо и за замечания – я с ними абсолютно согласна: и книга моя могла бы быть потоньше, и о проблемах безбожия и веры в Советскую эпоху в предисловии можно было бы сказать более точно. Огромное спасибо и за постоянную поддержку: за публикации и литературную премию – высокую оценку моего труда. Для меня это тем более важно, что без “Нашего современника” я русской литературы не мыслю.

С уважением
Наталья Николаевна Егорова
г. Смоленск

“СПАСИБО ЗА СЛУЖЕНИЕ ИСТИНЕ!”

Здравствуйте, дорогой Станислав Юрьевич!

Не перестаю восхищаться Вашим трудолюбием и мужеством открыто отстаивать Правду, умением быть глубокомысленным и при этом доступным для полного восприятия Вашей аргументации, в каком бы жанре Вы ни работали. Я бесконечно благодарна Вам за поистине царский подарок – Вашу книгу “Любовь, исполненная зла”! Прочитала её на одном дыхании. Мне максимально близки Ваши взгляды, ведь мы оба получили достойное воспитание в нашей комсомольской юности, предпочитаем “копать глубоко” и всесторонне анализировать факты. Вы не просто расширили журнальный вариант “В борьбе неравной двух сердец”, но создали интереснейшее, уникальное пособие для любознательных читателей всех возрастов, а особенно для юношества, которое сейчас, в начале XXI века больше времени проводит в интернете и в массе своей деградирует. С прискорбием констатирую, что раздробление Советского Союза и Союза писателей СССР породило цепную реакцию саморазрушения и в творческой среде. Однако мы живём и трудимся. У нас сейчас в регионе Кавминвод действуют 12 литературных объединений, куда ходят разные люди, но оптимизм внушают мне те, кто не утратил самоцензуру, кто слу-

жит Разуму, а не Маммоне, трудится во имя светлых идеалов. Книжный рынок изобилует новинками, зачастую поражающими своей несостоятельностью, но в предисловиях уважаемые “мэтры” не скупятся на похвалы богатому или влиятельному графоману.

Я пришла в литературу в начале 70-х годов прошлого века уже со своим устоявшимся видением мира и критериями в области культуры. Многому научилась в литобъединении при газете “Кавказская здравница”, часто выступала на творческих вечерах в городской библиотеке им. М. Горького и на ежегодных Днях поэзии. Я думаю, Вы поймёте, что моё увлечение литературой не случайно и не случайна моя глубокая и искренняя любовь к журналу “Наш современник”. Станислав Юрьевич, Вы правы: “Судить людей искусства с высот совести и морали – задача неблагоприятная. Они сами ответственны за выбор своей судьбы”. Но кто-то должен встать на защиту справедливости, и я на свои средства раз в год выпускаю сборники своих критических статей, и своим “героям” и читающим людям их дарю, а уж “сарафанное радио” работает на мою популярность. В 2013 году в Пятигорске вышел сборник, куда (без купюр!) включены восемь моих критических статей с библиографией. Уверена, что писателю негоже вводить в заблуждение своих читателей.

Станислав Юрьевич, моё мнение о поэтах Серебряного века и “шестидесятниках” совпадает с Вашим мнением. Я провожу чёткую грань между Верой и религией, личностью и талантом, ханжеством и распутием. Вы приводите номер удостоверения сотрудника ВЧК Лили Брик, а я допускаю, что и Маяковский был завербован, и отнюдь не любовь держала его на поводке. В книге Фёдора Раззакова и Михаила Крыжановского “Владимир Высоцкий – супер-агент КГБ” (Тверь, 2012) весьма убедительно доказывается, что Высоцкий был “внедрён” в западный истеблишмент под видом “гонимого советскими властями барда” и, как и Евтушенко, “крышевался” органами госбезопасности. А кто сейчас стоит за имитацией их исключительности в мире литературы? Ответ можно найти в книгах писателя и публициста, зав. кафедрой Военной академии Генерального штаба ВО РФ, полковника Грачёвой Татьяны Васильевны.

Среди литераторов суждения о творчестве Беллы Ахмадулиной диаметрально противоположны. Вы цитируете отзыв Анны Ахматовой о ней. А разве не иронично звучат слова Владимира Солоухина: “Она чудовищно талантлива. Однако когда прочитаешь все её стихи, ощущаешь себя в комнате, увешанной драгоценными произведениями искусства... но без окон”? Форма без содержания мертва. Зато бальзамом легли на мою душу Ваши слова о Пушкине: “Инстинкт совести всегда спасал Пушкина от соблазна выбрать какой-либо простой и удобный, понятный для общественного мнения вариант толкования истории. Он никогда не хотел и не умел потрафить вкусам моды, желанию толпы, диктату сильных мира сего”. Мне приятно отметить, что и Вы таковы в своём творчестве! Я женщина, и следовать Вашему примеру мне гораздо труднее, но моя мама была терской казачкой, и честь для меня – главное, а слава и почести – второстепенны.

Спасибо Вам, Станислав Юрьевич, за книгу, за служение Истине, за то, что следуете вечному делу русского поэта: быть самим собой.

С искренним уважением
Галина Шевченко
г. Пятигорск

РОССИЯ ПОД УГРОЗОЙ РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Пишет Вам кандидат технических наук Леонид Алексеевич Коробов. В сентябре прошлого года я и мой коллега Алексей Остапович Шерник обратились с открытым письмом к Президенту и Правительству РФ, а также в “Росатом” по поводу опасности массового радиоактивного загрязнения из-за несовершенства защитных оболочек (ЗО) существующих ныне атомных электростанций. Направляем такое письмо и в редакцию Вашего журнала, с целью привлечь внимание широкой общественности к этой острой проблеме.

На атомных электростанциях (АЭС) с реакторами мощностью 1000 МВт, запроектированных до 1990 года, защитные оболочки (ЗО) потеряли функциональную пригодность, и при авариях на АЭС может произойти выброс радиации и заражение больших территорий России и других государств. Радиация распространится по миру. Пострадают тысячи и тысячи людей. Таких ЗО, как известно, построено порядка 50 штук.

В течение трёх лет безрезультатно совершаются попытки ряда учёных и научных организаций добиться обследования, усиления или консервации этих сооружений. Эти вопросы неоднократно обсуждались в разных учреждениях, направлены письма в Правительство РФ на имя Д. О. Рогозина. Сегодня Госстрой СССР закрыт, ведущие научно-исследовательские институты (НИИ) находятся в состоянии агонии, Правительство РФ не может провести дополнительную независимую экспертизу и направляет материалы в организацию “Росатом” с поручением провести совещание и дать ответы на поднимаемые вопросы. “Росатом” даёт отписки, дело (увы!) потонуло в бумагах.

Что представляют собой аварийные ЗО и почему они могут разрушиться? Краткие пояснения. Первая промышленная АЭС мощностью 5 МВт запущена 27 июня 1954 года в СССР в г. Обнинске Калужской области, дальше мощность и количество АЭС быстро росли. Уже в 1988 году в мире существовало 428 блоков АЭС общей мощностью 309,6 ГВт, мощность реактора достигла 1600 МВт. Быстрое развитие новой техники сопровождалось и грозными авариями: 28 марта 1979 года – авария на АЭС в Гаррисберге (США), в апреле 1985-го – на Чернобыльской АЭС, в марте 2011-го – на японской АЭС “Фукусима-1”. По нашему мнению, в России надвигается серия аварий на АЭС с реакторами ВВЭР-1000. В материалах, опубликованных на сайте общественной организации “Беллона”, в статье “Германия закрывает свои АЭС, ищет место для отходов и требует реформы МАГАТЭ”, сказано: “Россия – первый кандидат на повторение “Фукусимы-1”. Этому утверждению, к сожалению, соответствуют и материалы настоящего письма и ряда писем в Правительство РФ.

Рассматриваемые отечественные ЗО АЭС представляют собой преднапряжённые железобетонные сооружения в виде цилиндра, сопряжённого с полгим куполом и днищем, с высотой около 70 м и внутренним диаметром 45 м. Под днищем расположен цокольный этаж. Толщина стен цилиндра – 120 см, купола – 100 см. С внутренней стороны цилиндр, купол и днище имеют облицовку из листовой стали с толщиной листа порядка 8 мм. Облицовка предназначена для того, чтобы удерживать радиоактивные выбросы внутри ЗО в любых ситуациях. Конструкции преднапрягаются канатами из высокопрочной арматуры с расчётным усилием 1000 тнс. Канаты размещаются в полиэтиленовых трубах диаметром 225–260 мм, имеют длину между анкерами порядка 110 м и не имеют сцепления с бетоном. Они располагаются в трёх слоях по толщине оболочки, расстояние между канатами в среднем слое в два раза меньше, чем в крайних слоях. Имеется ряд причин низкой надёжности рассматриваемых сооружений.

Первая причина заключается в высокой чувствительности защитной конструкции к колебаниям предварительного напряжения, при уменьшении которого происходит разрушение герметичной стальной облицовки.

При большой аварии на АЭС с разрывом первого контура на внутренние поверхности ЗО действует давление пароводяной смеси, которое с небольшим коэффициентом запаса при проектировании принималось равным $4,15 \text{ кг/см}^2$. При таком давлении кольцевая сила растяжения, приходящаяся на 1 погонный метр вертикального сечения ЗО, равна 933,76 тнс. Силы, воспринимаемые герметичной облицовкой и конструктивной арматурой, равны 335,48 тнс, или только 35,93% кольцевого усилия. То есть сооружение может выполнять свои защитные функции только при строгом соблюдении режима преднапряжения и допустимого развития трещин. При нарушении этого баланса разрушается облицовка, сооружение становится негерметичным, и радиоактивная среда выходит из ЗО. Обязательные требования к строгому соответствию между величиной предварительного напряжения бетона сооружения и допустимым раскрытием в нём трещин на отечественных ЗО АЭС рассматриваемого типа грубо нарушаются, что ведёт к авариям на АЭС.

В 1994 году при плановом обследовании ЗО установили, что предварительно напряжённые канаты, рассчитанные на усилия в 1000 тнс, имели потери преднапряжения, значительно превышавшие предусмотренные проектом.

Эти потери преднапряжения были вызваны обжатием бетона вдоль каната его местным давлением. Они оказались значительными, но при проектировании не учитывались. Поэтому при подтягивании канатов для ликвидации потерь, значительно превышавших проектные, в них начали обрываться проволоки. Приняли решение канаты не подтягивать. Факт снижения преднапряжения скрыли. До сегодняшнего дня ЗО работают с уровнем преднапряжения, сниженным по сравнению с проектом на 30%.

В случае аварии на АЭС с разрывом первого контура от внутреннего давления разрушится конструктивная арматура и герметичная стальная облицовка, и радиоактивная среда выйдет за пределы ЗО. Поскольку нет гарантии, что первый контур каким-либо способом не будет разрушен, то **Россия сегодня живёт под постоянной угрозой сильнейшего радиоактивного заражения.** При аварии на Калининской АЭС в силу розы ветров радиоактивные осадки быстро окажутся над Москвой. Решение об эксплуатации АЭС с таким отклонением от проекта является крупнейшим преступлением руководства “Росатома” перед населением России и других стран.

Существуют и другие причины низкой надёжности ЗО. Так, при проведении предпускового испытания внутренним аварийным давлением установили, что фактическое напряжённо-деформированное состояние (НДС) ЗО не соответствовало принятому в проекте. То есть проект этих ЗО выполнен в уровне научных представлений первой половины прошлого столетия, которые недооценивали целый ряд конструктивных особенностей таких сооружений. Не учитывались концентрации напряжений около деформативных полиэтиленовых каналобразователей, не учитывалось местное давление прядей на бетон и потери в них усилий, связанные с этим давлением, не учитывали перераспределение усилий в элементах облицовки при местном продавливании бетона и т. д. Результаты несоответствия “положили под сукно”.

Теория, учитывающая очень сложное распределение напрягаемой арматуры, идущей по встречным спиральям в трёх сечениях по толщине стены ЗО в деформативных каналобразователях из полиэтилена, к моменту проектирования и строительства таких ЗО АЭС была не разработана. Это привело к целому ряду существенных отступлений в проекте в части напряжённо-деформированного состояния по сравнению с действительным. В расчётах ВолгГАСУ, выполненных по различным теориям прочности, рассмотрен вопрос возможного выдавливания слоя бетона между герметичной стальной облицовкой и ближайшими к ней преднапряжёнными канатами. При этом подтверждены выводы о выдавливании бетона. После дискуссий пришли к выводу, что расчёты МКЭ, выполненные ВолгГАСУ и АЭП, дали различные результаты и требуют доработки в части уточнения учёта длительности действия нагрузки в течение 40–60 лет и др. РААСН взялся разработать уточнённую теорию. Под знаком “секретности” работы затормозили.

Другими словами: **эксплуатируется ответственнойшее сооружение, в котором принята система преднапряжения не обеспечивает надёжную работу сооружения** в части защиты окружающего пространства от радиоактивного загрязнения, в котором нет чётких представлений в части распределения усилий и которое до сего времени в этой части остаётся неизученным.

Таким образом, надёжность ЗО не обеспечена, так как при её проектировании не учитывали влияние целого ряда конструктивных особенностей сооружения: преднапряжённой арматурой выдавливается слой бетона между герметичной облицовкой и преднапряжённой прядью, при этом происходит перераспределение усилий между бетоном и элементами облицовки и вероятное разрушение облицовки. При снижении преднапряжения конструктивная арматура и облицовка не могут выдержать усилий от внутреннего аварийного давления. Преднапряжённая арматура уже потеряла 30% расчётных усилий, и потери преднапряжения продолжаются. Так как пряди обрываются, снизили уровень преднапряжения до 70% от проектной величины. Но в этом случае при большой аварии с разрывом первого контура разрушится герметичная облицовка!

Рассмотрение недостаточной надёжности защитных оболочек АЭС длится третий календарный год. Вопрос изложен в монографии кандидатов технических наук Л. А. Коробова, А. Ф. Жаркова, А. О. Шерника “Исследование железобетонных защитных оболочек АЭС. Предупреждение о возможных авариях на АЭС России”. Затем он был рассмотрен на конструкторской секции

НТС НИИЖБ им. А. А. Гвоздева. Учёные НИИЖБ поддержали выводы о необходимости незамедлительного обследования и усиления или консервации рассматриваемого типа ЗО. Далее он полгода рассматривался на заседаниях в Российской академии по архитектуре и строительным наукам (РААСН). Учёные РААСН также поддержали позицию о необходимости обследования таких оболочек, разработки современной теории их расчёта и рекомендаций по их усилению.

Чтобы перевести научные дискуссии в практическое русло обследования ЗО, разработки теории и рекомендаций по их усилению, пришлось неоднократно обращаться в Правительство РФ на имя Д. О. Рогозина.

Рассмотрение идёт по отлаженной схеме. Пишется письмо в Правительство РФ Д. О. Рогозину, канцелярия с сопроводительным письмом директора Департамента оборонной промышленности пересылает материалы в “Росатом” с поручением рассмотреть и ответить на поставленные вопросы.

Собирается совещание, участники зачитывают свои заготовки, которые из раза в раз повторяют позиции тех или иных организаций “Росатома”, руководители совещания пишут ответ в Правительство. В ответах обнаруживаются факты безграмотности и обмана: то сотрудники не понимают элементарных вопросов особенностей работы железобетонных конструкций с преднапряжённой арматурой, которая не имеет сцепления с бетоном, то они неправильно излагают особенности работы герметичной стальной облицовки и т. д. В Правительство пишется новое письмо, и всё повторяется, всё идёт по отработанному кругу.

Таких обращений было много, и по ряду из них проведены совещания “Росатома” или “Гостехнадзора”. **Из раза в раз вхолостую “прокручивается” через правительство ответственный вопрос по безопасности эксплуатации АЭС**, и невольно возникает мысль: а нет ли сбоя в канцелярии вице-преьера, поскольку ранее был установлен факт, когда письмо, направленное учёному в РААСН, не доходило до него...

С уважением:

**Леонид Алексеевич Коробов, кандидат технических наук,
ведущий научный сотрудник НИИЖБ им. А. А. Гвоздева**
**Алексей Остапович Шерник, кандидат технических наук,
эксперт по несущим ж/б конструкциям**
г. Москва

РУССКИЕ В АМЕРИКЕ

Многоуважаемый Станислав Юрьевич!

Решила написать Вам в эти трудно переживаемые дни, связанные с Русским Крымом. В 1956 году Хрущёв “подарил” Русский Крым Украине, убажывая своё “окружение”. В Нью-Йорке я была хорошо знакома с его внуком, тоже Никитой Сергеевичем, который заболел у меня на глазах какой-то непонятной болезнью кожи. Видно, побочный эффект от местных лекарств. Он очень переживал развод с женой, принимал успокаивающие... Никита вернулся в Россию лечиться натуральными средствами, но потом мне сообщили, что он умер. До его смерти я с ним обсуждала крымский вопрос.

Хочу заметить, что несправедливости в Америке — выше головы, особенно по отношению к русским. К нам относятся очень плохо: зажимают во всём, обман на каждом шагу снизу доверху. Законы не защищают пострадавших, говорят: “Если ты обманул, то ты умный, а если тебя обманули, то ты дурак”, — и смеются, и угрожают. Вот такая “свобода” в США.

Каждый день переживаешь, когда ребёнка отправляешь в школу. Алёша уже в 10-м классе, а порядки в американских школах, да и в обществе — известные... Народ здесь вооружается — об этом всё время передают по ТВ. Предлагают даже вооружить учителей. Я думаю: неужели революция надвигается на Америку, а власти хотят озлобленность народа перевести на Россию,

особенно в связи с событиями на Украине? Угрозы в сторону русских не прекращаются. Хотя убрать Путина... В своей многотомной книге я пишу обо всей истории Крыма, о его главном строителе – русском князе Потёмкине – и о том, какое покровительство оказывала ему Екатерина Вторая. Хотелось ответить на все вопросы по истории России и СССР. Получается восьмитомник, более пяти тысяч страниц. Здесь распространяют “произведение по русской истории” Новодворской. У меня уши вянут, когда я слушаю её. Я решила написать русскую историю, основываясь на культуре, промышленности и быте. Мне удалось выстроить подробную цепочку исторических событий с 800-го до 2012 года. Писала о Ленинградской блокаде. Моя мама, бабушка и шестилетний Владик жили тогда в Ленинграде, буквально в нескольких кварталах от тех мест, где находился Ваш отец. Я внесла в свою книгу и Ваш рассказ об отце. Это место в старом Петрограде ещё до 1919 года называлось Коломна. Мои предки жили в ней, и моё детство прошло там. Я много пишу о Коломне: как она строилась, о её архитектуре, кто жил в ней и, в частности, о А. С. Пушкине и о своих предках. Мои предки Бахтины были дружны с Пушкиными. Надеюсь, что моя многотрудная работа – я её делаю уже с 2007 года – не останется без внимания.

Желаю Вам крепкого здоровья, творческих успехов и долгих лет жизни. Всегда интересно читать Ваши книги. Спасибо Вам за русскость!

С уважением
Нина Васильевна Бахтина,
русская писательница, живущая в США

“ОЧЕНЬ МНОГИЕ ПИСАТЕЛИ С ВАМИ СОЛИДАРНЫ”

Здравствуйтесь, дорогой Станислав Юрьевич!

Хочу поблагодарить Вас за книгу “Любовь, исполненная зла”. Теперь книгу читают в очередь мои знакомые поэты и просто читатели, которые с мозгами. Книга нарасхват, хотя чтение с горчинкой, потому как Серебряный век в СМИ за постсоветский период превознесён едва ли не выше Золотого – Пушкинского – века русской поэзии. И тут заключительный аккорд Вашей книги о Пушкине просто поражает многих, потому как всё познаётся в сравнении. У меня с Серебряным веком отношения сложные, видимо, родственные. Когда-то я, по молодости, была просто заморожена стихотворением И. Анненского про звезду, с которой не надо света. Была в нём какая-то тайна, видимо, это во многом и притягивает, пока ты молод и бродишь в потёмках, почти наощупь пролагая свой путь в жизни и в литературе. Пока не видно солнца... А потом вдруг, где-то лет пять назад я как очулась, когда это стихотворение мне снова попало на глаза и я его перечитала: а ведь Свет – это одно из имён Бога, это Христос-Логос-Свет! И что это за звезда такая, с которой не надо Света? И тут уже неважно, пятиконечная ли она или шести-конечная, но звезда, по определению, не вправе отрицать Свет. Ибо и она сама – творение Света, часть созданного Богом Космоса. Не случайно всех этих наших голосистых попсовиков и попсовичек звёздами нарекли, или они сами себя так называли? Думали, что вознесут себя, но в итоге просто разоблачили. Ясно же видно теперь, куда эти “звёзды, боящиеся света”, идут сами и пытаются вести других.

Георгий Свиридов не зря как-то уронил: “Какие же это звёзды? Звёзды светят без электричества...” Да и электричество, как считал Блок, и я с ним согласна (а ведь Блок – едва ли не самое гениальное порождение Серебряного века, хотя и не вполне укладывается в его прокрустово ложе), электричество – это мёртвый свет. В отличие от света настоящего, солнечного. Но, видимо, людям в молодости надо пройти искушение мраком, чтобы понять, где Свет. Хотя сам Блок считал, что лучше наоборот: “Познай, где свет. Поймёшь, где тьма”. Но у каждого, видимо, получается по-своему. Я и по молодости как-то “параллельно” относилась ко всем этим серебряным идолам: Кузмину, Брюсову, Адамовичу и пр. Я любила (и продолжаю любить!) Блока, нравилась мне Ахматова, очень жаль было Цветаеву. Им довелось жить в су-

меречное время, и сами они, даже такие талантливые, поневоле были и порождением, и заложниками этого века. Не потому ли они интуитивно спасались Пушкиным, любовью к нему?.. И ничего не изменилось: Пушкин как был, так и остался, похоже, единственным и последним спасением и духовно-нравственным и эстетическим прибежищем русского человека. Он поучал нас, не поучая, и потому в нём при желании и умении слышать все мы можем найти ответы на все наши вопросы – и литературные, и жизненные, и идейные. Так что дискуссия “Классика и мы”, которую когда-то Вы подняли, продолжается. И она вечна – по определению, пока есть свет и мрак.

Против классики в постсоветское время была новейшими идеологами выставлена сумеречь Серебряного века. Между тем, для лучших “серебряных” поэтов никогда не стоял вопрос о том, лучше ли они Пушкина. Уж они-то (Блок, Цветаева, Ахматова) знали, что такого никогда быть не может, никогда серебро не станет равно ЗОЛОТУ!

С годами я открыла для себя Ахматову ещё и как мать великого этнолога Льва Гумилёва! Пусть она не была заботливой матерью, но она дала ему жизнь. И, как знать, может, именно это внутреннее идеологическое неприятие позиции матери и помогло стать Льву Николаевичу тем, кем он стал, и сделать для России то, что он сделал. Гениальный сын своих родителей, на котором природа не только *не отдохнула*, но произвела всё с точностью наоборот... Только ради того, чтобы подарить миру такого сына, стоило родиться на свет! Но, пожалуй, надо было ещё стать замечательной поэтессой...

Много чего хотелось бы сказать, простите за сбивчивость. Не буду отнимать у Вас время! Желаю Вам крепкого здоровья, по возможности беречь себя (хотя Вы этого никогда не делали, но всё-таки!), желаю вдохновения и удачи! Я много слышана о Вашем выступлении на съезде в Калуге. И готова подписаться под всем, что Вы сказали. И поверьте, очень-очень многие писатели, особенно в провинции, с Вами солидарны. Людей, способных на поступок, в литературе всегда было до обидного мало, может, потому и теперь такая жизнь настала – и в литературе, и в России! Самые лучшие пожелания и мой привет Сергею Станиславовичу!

**Диана Кан
г. Москва**

“СПАСИБО ЗА ВАШ ПОДВИГ РЕДАКТОРА!”

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Читаю первый номер “Нашего современника” за четырнадцатый год и снова, в который уж раз, восхищаюсь, особенно поэзией и публицистикой журнала. Давно собирался написать Вам, выразить великую благодарность за журнал, ставший духовной опорой на тех развалинах, где мы живём с девяностых. Да всё как-то стеснялся отнимать время занятого человека. А теперь повод подвернулся, кстати, юбилейный в некотором роде: вспомнил, что “Наш современник” читать начал регулярно и, как говорится, “от корки до корки” с девяносто четвёртого года. До этого – выборочно, отдельных авторов, отдельные статьи. По природе моей профессии и службы читаю и другие журналы, так что есть с чем сравнивать, и, надеюсь, имею право судить более или менее профессионально.

Спасибо вам за В. Кожина и А. Казинцева (собирается ли он продолжить свой цикл “Восстание масс” – теперь уже на украинском материале?), И. Шафаревича и С. Кара-Мурзу, М. Делягина и М. Назарова, за нашего Якова Алексейчика! Спасибо за В. Верстакова и Н. Мирошниченко, М. Струкову, И. Тюленева и А. Штырова, за “Поэтическую мозаику” в первом номере. Спасибо за В. Белова и В. Личутина, В. Распутина и Б. Можаяева, за А. Воронцова и С. Михеенкова, А. Убогого (но только не за Робинзона его!) и В. Щепоткина, за не обойдённых, правда, доселе и вниманием нашей “прогрессивной общественности” Захара Прилепина и Александра Проханова.

А за ваш подвиг редактора, поэта и публициста – низкий поклон! Извините, но Вы, должно быть, даже не представляете себе, что наделали своими

книгами: “Сергей Есенин”, “Поэзия. Судьба. Россия”, “Шляхта и мы”, “Жрецы и жертвы холокоста”, “В борьбе неравной двух сердец”, достойно продолжив дело, начатое В. Кожинным в 1981 году! А теперь ещё и “Дневник...”.

Специально хочу отметить, что именно “Наш современник” познакомил более широкий, нежели только читатели исторических монографий, круг людей с немедленной и убийственно-точной реакцией Сталина на фултонскую речь Черчилля, предвеляя публикацию дневника Дж. Стайнбека о его поездке в СССР. Мои студенты-историки слышали и знают об этой речи, а как отреагировал ведущий лидер антигитлеровской коалиции на неё – лишь пожимали плечами.

Наконец-то публично уличены во лжи напёрсточники от публицистики “рукопожатых”, внедривших когда-то в обыденное сознание якобы ленинскую цитату о кухарке, которая “должна управлять государством”. Они приписали Ленину эту мысль, выдернув из контекста и убрав всего одно слово: “учиться”. И потом уже власть ёрничали, особенно во всяких телепрограммах, по поводу этой якобы цитаты.

А теперь открою мотивационный подтекст моего письма: дерзаю дать Вам совет как редактору. Вы, разумеется, понимаете, что идёт информационная война; а в ней выигрывает тот, кто первым бросит семена в почву обыденного сознания, как правило, девственного в смысле критического восприятия полученной информации. Вы имели возможность не однажды убедиться, как умеют наши либеральные СМИ, телевидение особенно, не “замечать” юбилей общепризнанных деятелей русской культуры и литературы (Твардовский, Белов, Распутин, да и Ваш тоже – ближайшие тому примеры) или весьма специфически их подавать публике. И наоборот: поднимать на уровень национального достояния двусмысленные шуточки одесского балаганного шута.

Я говорю о необходимости “упреждающего удара” в публицистике и в литературной критике вашего журнала. А совет мой вот в чём заключается. 2014 год – юбилейный для выдающегося классика русской литературы Леонида Леонова – 115 лет со дня рождения (апрель) и почти рядом – 20-летие со дня его кончины (август). Не следует ли редакции “запустить проект”, посвящённый памяти и творчеству этого Прометея русской словесности XX века? Ведь отечественное “леоноведение” пока ещё количественно и качественно не адекватно его творческому наследию. А “известный историк” русской литературы Д. Быков (или как его там?) разместил во “всемирной паутине” статью “Леонид Леонов как певец Апокалипсиса”, в которой бросил комок грязи на гроб патриарха. А попутно и “Нашему современнику” “простил” многие его “грехи” за публикацию “Пирамиды”. Русскоязычное литературоведение уже запустило пробный шар: дескать, как отреагируют?..

Уверен, что на этот проект откликнутся многие филологи, особенно из российских провинциальных университетов, да и не только российских – недостатка материалов не будет. Да и автор этого совета готов, извините за нескромность, внести свою лепту в его реализацию. Поскольку имею с 2004 года несколько статей по творчеству Леонова, опубликованных в сборниках “Культура и письменность славянского мира”, издаваемых в Смоленском университете, в научном журнале “Диалог. Карнавал. Хронотоп”, в “Вестнике Витебского университета”.

С уважением
Виктор Викторович Здольников
г. Витебск, Беларусь

“ЗАЩИЩАТЬ И ПОДНИМАТЬ ВСЮ СОВРЕМЕННУЮ РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ”

Уважаемая редакция!

Всегда с удовольствием читаю ваш журнал. “Наш современник”, по моему мнению, является единственным в настоящее время массовым литературно-художественным журналом в России. Да простят меня редакции иных “толстых” журналов, что ещё сохранились с советских времён, но они во многом

уже превратились в маргинальные издания с очень невеликой аудиторией читателей. А вот “Наш современник” сохраняет за собой статус общественной трибуны России, о чём говорит и ваша художественная и политическая позиция, направленная, как мне кажется, на освещение актуальных тем жизни народа России в её самых разных аспектах.

Публицистика “Нашего современника” давно снискала себе заслуженную славу, в большой степени связанную, несомненно, с творческой энергией ведущего современного российского публициста Александра Ивановича Казинцева. А публицистика журнала – всегда острая, всегда актуальная! – тянет за собой, как паровоз (да позволено мне будет такое сравнение!) и художественные жанры журнала, заставляя их встраиваться в колею, в хорошем смысле слова, “почвеннического”, а значит, национального, народного, русского по своей глубинной сути направления вашего издания.

Разумеется, поэзия “Нашего современника” всегда на высоте, и это не удивительно, зная, что главным редактором журнала уже четверть века является выдающийся русский поэт Станислав Юрьевич Куняев, а его творчество – это ведь целая эпоха в русской поэзии переломного времени! А сейчас Куняев, после издания его книг о “жрецах” холокоста, о поэзии Серебряного века и многих других литературоведческих и политологических исследований, стал совестью русской литературы, как бы выпренокно это ни звучало. Это сейчас ясно уже многим! И не удивительно, что в ваш журнал идёт такой поток писем читателей, и он, похоже, увеличивается, как я замечаю. Вы раньше только в двух номерах (майском и сентябрьском) публиковали подборки писем читателей, а теперь публикуете их почти в каждом номере! Это говорит о многом. Не думаю, что другие журналы могут похвастаться таким пристальным и живым вниманием читателей.

Особо хотел бы выделить мартовский номер “Нашего современника” за этот год. Нет большого секрета в том, что мартовский номер всегда посвящён женщинам – нашим прекрасным русским женщинам, как персонажам художественных произведений, опубликованных в этом номере, так и женщинам-авторам, и мартовский номер, как я заметил, всегда широко открывает для них свои двери. Когда раскрываешь (всегда с волнением!) заветную обложку журнала, то, конечно, прежде всего, обращаешь внимание на поэзию. Слава Богу, поэтическое слово на Руси не утратило своего духовного значения и по сию пору! И у вашего журнала хорошая традиция – открывать номер стихами. Конечно, мартовский номер открывается строчками Эльвиры Куклиной – поэтессы из Нижнего Новгорода:

*...Люблю читать старинные тома,
Что прадедом моим любимы были.
Поверьте мне, я просто без ума
От аромата славной книжной пыли.*

Покуда сильно на Руси книжное (и журнальное!) слово, русский дух ещё не погиб. Но, конечно, мартовский номер – юбилейный. Это юбилей замечательнейшего, величайшего по своей человеческой и творческой сущности нашего прозаика Юрия Васильевича Бондарева. Говорить об этом легендарном человеке и творце надо много, очень много – и всего не скажешь. Но разве мы все не росли на его “Горячем снеге”? Разве Бондарев с его бескомпромиссной прозой не остаётся и по сей день для нас идеальным примером воина, писателя, человека?.. Очень радостно, что и в свои 90 лет он продолжает творить, и журнал “Наш современник” – это и его журнал, а вот и новые произведения юбиляра – его “Мгновения”. Короткие рассказы, лаконичные точные зарисовки людей, характеров, ситуаций... Большая жизнь стоит за этими мгновениями, большая и необычная судьба незаурядного человека и удивительного, вдумчивого художника. И в основе всего – поиск истины как основа творческого метода писателя. “Истину ищут сознательно и подсознательно, но зачастую не находят её до конца жизни. Может быть, действительно, её поиск – это выбор между Богом и сатаной? Или между добром и злом?..” – размышляет писатель, но мы-то знаем, что свою Истину он нашёл и проверил её всей своей жизнью.

Как хорошо, что ваш журнал уделяет так много внимания молодым! Вот и в мартовском номере открытие: молодой, но уже, как видно, созревший та-

лант – 27-летняя девушка Елена Тулушева со своими рассказами, особенно выделяется её рассказ “Слава”. По сути, это современная российская трагедия. Молодой человек, видимо, чуть помоложе самой рассказчицы, сильный, здоровый, учившийся когда-то в Суворовском училище, превращается в скинхеда. . . Автор рассказа хорошо знает этих людей, она – социальный психолог, успевшая поработать даже в Штатах, в неблагополучных районах Лос-Анджелеса, повидавшая там много всякого. . . и вернувшаяся в Россию, чтобы работать здесь, приносить пользу своему Отечеству. А у нас, в нашем Отечестве, – ох, как неблагополучно, особенно в среде молодёжи! Бездуховность, цинизм, пренебрежение человеческим достоинством, культивируемое современной псевдокультурой, превращают вот таких мальчиков, как герой рассказа, в подобие зверя, чего, собственно, всегда и добивались фашисты. Это ведь Геббельс говаривал, имея в виду современную ему немецкую молодёжь: “Я хочу видеть на их лицах волчий оскал!” И герой рассказа Тулушевой – это и есть волк, бродящий со сворой таких же, как он, волчат по задворкам большого города, всаживающий свою финку во всякого, кто по каким-то причинам не понравится ему. И тут возникает вопрос: а чем же привлекателен для нашей молодёжи экстремизм?.. И ответ находится: взращивая культ силы и вседозволенности, он даёт юнцам ощущение ложной свободы, ощущение превосходства над другими людьми – и это очень заманчивая приманка. Но кончается всё плохо. Совершивший преступление герой рассказа Тулушевой, когда за ним приходит полиция, юлит, мечется по своей комнате, выбрасывает в окно экстремистскую литературу, в том числе книгу “великого диктатора” (можно догадаться, что это “Майн кампф” Гитлера), а потом, раздавленный страхом, сидя уже в отделении, всё надеется, что его не уличат, что всё ему сойдёт с рук. . . Не сходит. И хотя в рассказе суд приговаривает его лишь к условному сроку, можно догадаться, что недолго ему гулять на свободе, ведь он уже неисправим: людоедская идеология намертво застряла в его каменной башке! Рассказ читается на одном дыхании и производит неизгладимое впечатление. Если молодая писательница начинает свой путь в литературу с такой сильной вещи, то чего же можно ожидать от неё в дальнейшем?.. А открыл сей талант для журнала и для всех нас – его читателей, – судя по вступительной статье, Александр Иванович Казинцев, который дал автору весьма лестную характеристику.

Также обратил я внимание в мартовском номере на рассказы Натальи Романовой, прекрасной рассказчицы. Особенно меня взволновала её небольшая новелла “Свадебный костюм” – история из предвоенной жизни. Перед самым началом Великой Отечественной войны покупают молодому деревенскому парню его родичи новенький костюм – для тогдашней небогатой деревни немислимая ценность. Да вот только не даёт мать своему сыну его носить: а вдруг до свадьбы испортит! Хвалится костюмом перед всей деревней, показывает его, как заморскую диковину, а сыну носить не даёт. А тут война. . . И погибает её сыночек Лёшка студёной и кровавой осенью 1941 года под Москвой. И остаётся мать с ненадёванным костюмом одна, как с иконой. . . Но проходит война, возвращаются в село парни, кто уцелел, собираются играть свадьбы. . . и тут костюм погибшего Алексея становится на всю деревню единственным свадебным костюмом, который приносит столько счастья в разорённую послевоенную жизнь. Честно скажу: рассказ выжимает слезу и многому учит. Вот почитал бы этот рассказ тот доморощенный фашист Слава, персонаж Елены Тулушевой, может, задумался бы. . . Это ведь не книга “великого диктатора”, это посильнее будет!

Таков журнал “Наш современник” – блистательная поэзия, сильная проза. . . А статья Ксении Мяло о событиях на Украине – умная, аналитически острая. А отрывок из только ещё готовящийся к печати книги бывшего генерального прокурора Юрия Скуратова “Убить дракона”, где с фактами в руках раскрывается вся нечистая подноготная ельцинского режима, едва не увлётшего нашу страну в пропасть. . . Да всего и не перечислишь! Но хочется закончить своё письмо словами нашего исторического писателя Анатолия Парпары из его исследования “Державные строители России”, также опубликованного на страницах мартовского номера журнала и посвящённого событиям XIV века: “Москва превращалась в боевую силу, готовую защищать не только себя, но и все русские земли. . .”. Не так ли и журнал писателей России “Наш современник” фактически сейчас, в нынешней нашей словесности является той бо-

евои силой, что работает не только ради себя, но защищает и поднимает всю современную русскую литературу. Остаётся только добавить: “Так держать!”

С уважением

И. С. Славин, литератор
г. Москва

**“ОТГОЛОСКИ МНОГИХ СВОИХ МЫСЛЕЙ Я НАХОДИЛА...
НА СТРАНИЦАХ “НАШЕГО СОВРЕМЕННОКА””**

Уважаемый Станислав Юрьевич, здравствуйте!

Ваша книга была неожиданным подарком! Спасибо огромное! Я читала её в журнальном варианте “Нашего (МОЕГО!) современника”. Сейчас, после получения, я опять прочитала её. Знаете, ещё до первого чтения книги многие стихотворения поэтов Серебряного века (не все, конечно) были мне неинтересны, просто не брали за душу, я чувствовала сердцем определённый подвох, несмотря на немалый опыт преподавания литературы (или благодаря ему?). Не всегда могла понять: почему же так?.. Люди восхищаются, а я, учитель словесности, – нет. А теперь всё стало на свои места! Ребятам интересно на уроке, когда учителю интересно, когда учитель сам горит чувствами и переполнен мыслями, которыми хочется поделиться. Невозможно говорить о стихотворении в отрыве от самого поэта, в отрыве от его жизненной позиции. Этим объясняется многое. Спасибо за книгу, она помогла разобраться. Мне удалось прочитать “Музыка как судьба” Г. Свиридова. А Вашу “Жрецы и жертвы холокоста” – в журнале. Отголоски многих своих мыслей я находила в этих книгах, да и на страницах “Нашего современника”. Этим они мне ценны и дороги! Низкий Вам поклон за то, что такая литература есть, а значит, есть надежда на возрождение наше и на силы жить. Вывод просится сам: пора говорить о пересмотре программных произведений в школьном курсе литературы в 11-м классе!

Еще раз спасибо Вам!

Ирина Евгеньевна Чумакова,
учитель русского языка и литературы
г. Калуга

“ВЫШЛИТЕ КНИГУ СТАНИСЛАВА КУНЯЕВА...”

Уважаемая редакция журнала “Наш современник”!

Примите огромную благодарность от меня и моих друзей за Ваш труд! С удовольствием читаю Ваш журнал, когда подходит моя очередь на него в единственной библиотеке нашего городка в Беларуси. В нескольких номерах журнала прочла отрывки из книги Станислава Куняева “Жрецы и жертвы холокоста”, и многое в этих исследованиях стало для меня открытием, темой для обсуждений и споров.

Мне и моим друзьям уже за 70, большую часть жизни прожили в Советском Союзе. Болезненно пережили распад страны. Интересуемся политической жизнью не только Беларуси, но и других братских республик.

Заранее буду Вам благодарна, если Вы вышлете мне наложенным платежом книгу Станислава Куняева “Жрецы и жертвы холокоста”.

Мargarита Петровна Мармыш
г. Жлобин Гомельской области,
Беларусь

“ВЫ НЕ ПОЗВОЛЯТЕ РУХНУТЬ РОССИИ...”

Здравствуйте, уважаемый Станислав Юрьевич!

Штудируя первый новогодний выпуск журнала, я вновь испытываю чувство гордости и уверенности в том, что Россия благодаря таким людям, как Вы, отстоит свою сермяжную правду! Очень хороши стихи Валентины Сидоренко и Николая Беседина. Хороша “Рукопись” Андрея Убогого, она своей содержательностью как-то укрепила во мне жизненную уверенность, так нужную мне в мои преклонные лета. Восхитил меня Захар Прилепин: как он мощно и компетентно, с настоящей русской весёлой злостью громит всех этих либералов!..

Вообще во всех номерах журнала, как правило, не встретишь пустого или некомпетентного материала. Я отметил для себя Вашу фразу: “Может быть, это последняя моя книга. Писать становится всё труднее”... Не верю! У Вас же громадный творческий и жизненный потенциал, а это обрекает человека на громадную жизненную энергию и своей устремлённостью не даёт ему стареть! И, кроме того, Вы же понимаете, что своей деятельностью Вы не позволяете рухнуть России, её культуре и правдивости в освещении истории нашего Отечества. Не примите это за комплимент!

Будьте здоровы и долгих Вам творческих лет с теми же бойцовскими качествами, которые Вы несли и несёте на благо нашей Родины.

С уважением и надеждой, Ваш

Виктор Долбёжкин

с. Ягельбицы Валдайского района Новгородской обл.

ПОЭТ ИЛИ ГРАЖДАНИН?

Уважаемый редакция!

Читая книгу Станислава Куняева “Любовь, исполненная зла...”, начинаешь понимать, что “серебряность” трагического, разломного периода – это только внешнее гальваническое покрытие, придающее притягательный блеск, но скрывающее траченное ржавчиной подспудное духовное упадничество, богоборчество, разрушение семейных традиций, наркоманию, педерастию, идеализируемую суицидальность, которые ни в какой стране цивилизованного мира, ни в какие времена не могли стать символами национальной идеи.

Понятно, что пристальное рассмотрение обратной стороны этой “серебряной медали” встретило немало противников, брызжущих ядовитой слюной и орущих о неприкосновенности святынь, о кощунственном посягательстве на тайну личной жизни поэтических творцов прошлого.

Станислав Куняев, казалось бы, не открыл ничего нового в жизнеописании “героев” своей книги, тем более что многие их литературные и бытовые “подвиги” в той или иной степени освещены в воспоминаниях современников. К тому же большинство фигурантов не только не скрывали, но, эпатируя публику, демонстративно выпячивали свои пристрастия и наклонности.

Заслуга Станислава Куняева в том, что он выстроил разрозненные факты в единую систему, и благодаря его замечательной работе стало ещё более понятно истинное значение Серебряного века для отечественной культуры того времени и наших дней. Надо ли говорить о горестных приметах нынешней жизни в лице исторического инфантилизма, масштабной наркомании, проституции, настойчиво навязываемых россиянам однополюх “отношений”, культа наживы и насилия, отсутствия духовных ориентиров...

Автор книги “Любовь, исполненная зла...” будто сделал рентгенограмму ярких представителей Серебряного века и вручил читателю образец, можно сказать, эталон общественной, гражданской ответственности поэта за изречённые им слова.

Необходимо отметить, что Станислав Куняев с достоинством и тактом, не подвергая сомнению одарённость героев своего исследования, с уважением относится к их творчеству, к их отдельным произведениям. Рассуждая о зна-

чении их творчества, автор мастерски препарировывает опухоли дьявольских теорий “чистого” искусства заметной части нынешних творцов, продолжающих и в наше время лукавое дело “серебрения”.

И тем, к каким гибельным результатам приводит это лукавое дело, Станислав Юрьевич в столь небольшой по объёму книге смог убедительно и щедро поделиться со своими читателями.

На новом изломе отечественной истории, благодаря книге “Любовь, исполненная зла...”, вспомнились слова Н. А. Некрасова из стихотворения “Поэт и гражданин”:

*Ах, будет с нас купцов, кадетов,
Мещан, чиновников, дворян,
Довольно даже нам поэтов,
Но нужно, нужно нам граждáн!*

Материальный достаток, благополучие людей – цели, достойные развития любого государства. Но они убийственны без духовного осмысления отечественной истории, современного мира и своего места в нём, без патриотизма и истинной Веры. В этом контексте неоспоримо значение честной и неравнодушной книги Станислава Юрьевича Куняева, за которую ему должны быть благодарны истинные патриоты Отечества.

**Владимир Лях,
сельский учитель, директор школы
п. Нижнепопов Ростовской обл.**

“ЖДУ ВАШЕЙ СТАТЬИ...”

Уважаемый Александр Иванович!

В связи с событиями на Украине, с нетерпением жду Вашей статьи с анализом происходящего там. Слово истинного патриота России, способного без лишних эмоций сказать всю правду о том, как сегодняшняя ситуация повлияет на будущее страны, увидеть события в развитии, проанализировать происходящее во всей его сложности и противоречивости, как умеете делать только Вы, – это так важно для читателей!

Не дать утонуть людям в море противоречивой информации и оценках из разных секторов политического истеблишмента – это почти невыполнимая задача. И всё-таки, хотя “поезд упирается в тупик”, движение к правде не останавливать.

С сердечным приветом
**Ольга Свердлова
г. Москва**

“ЗОЛОТАЯ СОТНЯ” ИДЁТ В ШКОЛУ?

Уважаемая редакция!

С идеей создания “золотой сотни” – списка произведений для обязательного внеклассного чтения в школе – выступил В. В. Путин во время своей предвыборной кампании. Он предложил сформировать список из 100 книг, которые должен прочитать каждый школьник, чтобы считаться образованным человеком. Речь шла о гармоничном развитии поликультурной общности, которая, прежде всего, опирается на российскую культуру и историю, на тип идентичности. Это означает, что должны сохраняться традиции национальной русской культуры и литературы. Однако в школах русская литература всё больше уступает место зарубежной: так, их соотношение в 6–7 классах школы примерно поровну, а в восьмых классах **7 российских к 23 произведе-**

ниям зарубежной литературы. Как это соотносится с российской идентичностью?.. И вот теперь новая напасть: в школу пришёл дополнительный список литературы, изучив который можно считаться образованным человеком. Как его увязать с обязательной программой и списком для внеклассного чтения, утверждёнными Минобрнауки?

Чиновники от образования бросились исполнять приказ. Однако забыли соразмерить: будет ли новый список произведений соответствовать закону об образовании? Или соответствовать теперь не обязательно?.. Интернет-голосование организовал Санкт-Петербургский государственный университет. В регионах страны прошли опросы, на основе которых был сформирован список из 200 книг. Итоги голосования проанализировала экспертная рабочая группа, куда вошли представители Российской академии наук, Российской академии образования, Минкультуры, Минрегиона России, представители СМИ, общественных и религиозных организаций. Обработав результаты опроса, эксперты создали общероссийский список, в который вошло 100 книг для обязательного внеклассного чтения.

Тройку лидирующих произведений возглавил роман И. Ильфа и Е. Петрова “Двенадцать стульев”. На втором месте – повесть “А зори здесь тихие” Б. Васильева. Третье место по количеству голосов занял роман В. Каверина “Два капитана”. В двадцатку рекомендуемых к прочтению книг вошли роман Льва Толстого “Анна Каренина”, повесть А. Гайдара “Чук и Гек”, роман “Белая гвардия” М. Булгакова, произведения братьев Стругацких, К. Булычева, стихотворения В. Высоцкого, роман Ф. М. Достоевского “Идиот”, повесть Н. В. Гоголя “Вий”.

Итоги интернет-голосования подведены, и Минобрнауки России опубликовал свой список из 100 книг, который был принят к обязательному исполнению. В основном, это произведения, которые могут осмыслить только старшеклассники. И тут началась полная неразбериха: как исполнять? Куда исчезли русские классики: Гоголь, Бунин, Алексей Толстой? В каком классе средней школы изучать произведения из этого списка? Когда изучать, если дополнительных учебных часов не предусмотрено? Взмолились педагоги, просят пощадить, ведь в старших классах на двух уроках литературы в неделю они едва успевают выполнять обязательную программу: изучать всю литературу XX века. Когда же изучать дополнительную? Разве “скоком-боком” привьёшь школьникам любовь к чтению? Есть большой риск получить обратный эффект. Озабоченность педагогов вызывает и слияние предметов “Русский язык” и “Литература” и появление нового предмета “Словесность”. Над чем работать: над ошибками или над литературными образами?

Схватились за голову депутаты Государственной Думы, члены Общественной палаты РФ. Но претензии предъявлять оказалось некому: Минобрнауки России отрекается: не писали мы, мол, никого списка, а составляли всем миром. Возмутились журналисты, писатели: “золотая сотня” оказалась вовсе не золотой – в списке отсутствуют Александр Куприн, Николай Лесков, Иван Тургенев, а ведь это классики русской литературы XIX века, носители чистого литературного языка! Из современных авторов: В. Распутин представлен одним произведением, а А. Солженицын – двумя. Зато в него включён В. Пелевин, пропагандирующий наркотики и нецензурную брань, вместо А. П. Чехова – Л. Улицкая с пропагандой секса и эмиграции из России. Вызвал бурю негодования В. Маканин, озабоченный пылкой страстью, странным образом вспыхнувшей у русского офицера к пленному чеченскому мальчику. В довершение ко всему захватывающий рассказ любителя натурализма А. Эппеля, автора “Кастрировать кастрюльца”, в данном случае – его подробные наблюдения за случкой кроликов. **И это лучшие шедевры современной русской литературы?..** Неужели надо ещё добавить мусора в и без того замусоренные головы наших детей?

Глава комиссии Общественной палаты по культуре заявил, что “произведения Улицкой и Пелевина создают ощущение ненависти к стране, в которой они живут. Такое впечатление, что это просто бред наркомана в угаре. И какое отношение они имеют к школьному образованию? Совершенно никакого. Улицкая и Пелевин – это неотъемлемый атрибут того образа жизни, против которого мы все боремся: наркотики, аборт, “бери от жизни всё!” Всё это пропаганда разврата, фактически деградации нашей молодёжи. Менять Лескова и Куприна на Пелевина и Улицкую – это кощунство”.

Понятно, что авторы списка, включая скандально известных авторов, заигрывают с молодёжью в угоду возрастным интересам. В то время как в школе следует изучать произведения авторов, которые требуют разъяснения, толкования, глубокого осмысления, наталкивают на размышления о месте человека в обществе. Школа должна прививать детям культуру, расширять кругозор, формировать высокие нравственные качества: честь, достоинство личности, любовь к своему Отечеству.

А почему бы детям не почитать повесть А. Н. Толстого “Детство Никиты”, которую автор посвятил своему сыну Никите? Какой понятный детям, чистый русский язык! И сразу рождается образ любимого в семье благовоспитанного ребёнка, спокойного, уравновешенного, любящего всё вокруг, открытого миру, любознательного и жизнерадостного. Эта повесть рождает в душе юного читателя самые светлые мысли о жизни. Такая литература прививает любовь к своей семье, к стране. Именно эти цели должны преследовать школа.

Возникает вопрос: по какому принципу отбирались произведения для обязательного внеклассного чтения? По всей видимости, никакого принципа нет. В интернет-голосовании участвовали все, кто хотел. Участники голосования вряд ли были знакомы с возрастными психологическими особенностями школьников. Не были учтены и требования законодательства в области образования. Образовательный стандарт определяет уровень государственных гарантий прав граждан на образование. Стандарт по литературе обязан защищать права учеников, являющихся законными наследниками русской культуры, на глубокое и основательное изучение в школе этого предмета.

Читать, конечно, надо, и много. Но из-за нехватки времени учителя литературы зачастую идут по упрощённому пути, пересказывая содержание произведения. Но даже очень хороший пересказ не может заменить самого художественного слова. **“Без чтения нет настоящего образования, — говорил своему сыну А. И. Герцен, — нет и не может быть ни вкуса, ни многосторонней шири понимания”.** Конечно, неторопливое вдумчивое чтение, без принуждения, с дополнениями и объяснениями педагога приносит больше пользы, чем поверхностный обзор произведений.

Помимо скандальной современности в списке есть и другая крайность: многочисленные эпосы народов России, знание которых, быть может, и нужно в отдельных регионах, но вовсе не для всех. К примеру, кабардинские и балкарские сказания о богатырях-нартах, эпосы “Алпамыш”, “Джан Гар”, “Калевала”, “Кёр-оглы”, “Манас”, “Олонхо” и т. д. В глубине души возникает вопрос: для чего в список включено столько произведений малых народов России и бывшего СССР?. А для того, чтобы соблюсти политкорректность! Ведь Россия даёт приют всем желающим. В русских школах в последние годы стало много иностранных детей, а также детей многочисленных народов России. Чтобы никого не обидеть, не ущемить их национальные интересы, создаётся абстрактное представление о литературе. И всё же правильнее было бы познакомить этих детей с русской культурой, с русским языком, русской литературой, чтобы им легче было адаптироваться в российском обществе!

Вот так целенаправленно формируются “усреднённые” дети мира, вытравливается патриотизм. Постепенно **убирается всё, что напоминает школьнику, что он русский**, ведь вокруг него так много нерусских! А. С. Пушкин, *над вымыслом слезами обливаясь*, сопереживает своим героям, затрагивает тонкие струны души читателя. Ничего этого теперь не требуется: ни тонкости души, ни духовности, которой богата русская культура. А ведь невозможно воспитать человека без понимания чувства Родины! **Может быть, всё-таки следует научить детей чтить и помнить свои глубокие исторические и культурные корни?**

В США существует подобный обязательный список литературы, **но не для детей, а для взрослых**, чтобы каждый госслужащий представлял себе страну, в которой он живёт, её историю, культуру. В этом есть рациональное зерно, ведь США — страна эмигрантов. И со школьными программами там всё в порядке: американская школа национально неоднородна, но дети воспитываются как единая американская нация, самая сильная в мире, самая безупречная, им прививается чувство гордости тем, что они принадлежат к этой нации. Но наш список литературы составлен не для взрослых, а для детей.

Школа призвана побудить школьников к осмыслению ценностей того общества, в котором они живут, научить обсуждать проблемы, дать посыл к раз-

мышлениям о том, как они сами будут строить свою жизнь. Именно для этого в школьной программе и существует предмет “Литература”. Название предмета не отражает его сути. “Литера” – это “буква”. Но литература – это не набор букв, это Слово: “В начале было СЛОВО...” Литература – это мысли и чувства людей, живших до нас, и эти мысли и чувства не потеряли своей актуальности и по сей день. Даже спустя столетия они находят отклик в душах наших современников. Почему? Потому что остаются **вечными общечеловеческие ценности: любовь, дружба, долг, честь, достоинство, верность, красота, семейные традиции** – всё это волнует людей во все времена. Опыт предшествующих поколений тем и ценен, что есть возможность осмыслить, сравнить и составить собственное суждение.

Именно принцип преемственности поколений должен лечь в основу познания русской литературы.

Обсуждая ситуацию со списком литературы и выступая против слияния двух разных предметов – русского языка и литературы, – педагоги, кроме того, настаивают на реорганизации Единого государственного экзамена с целью **выведения из ЕГЭ предмета “Литература”**, где знания оцениваются баллами. Тестирование по истории России и по литературе убивают нравственную сторону образования. Учителя считают необходимым поддержать **не балльную оценку знаний по этим предметам, а творческие сочинения**, а также вернуться к обязательному выпускному экзамену по литературе. И в прошлом учебном году после долгого перерыва выпускники вновь писали сочинения. Но вот что удивительно: сочинения один к одному походили друг на друга! Педагогам теперь предстоит кропотливо прививать детям потерянный навык: уметь письменно излагать свои мысли, тогда пропадёт желание списывать чужие мысли под копирку из интернета.

Перекосы в осмыслении уникальности русской классической литературы коснулись не только школы, но и театральной сцены. Вызывает сожаление не только упрощённая, но и искажённая современная постановка оперы “Евгений Онегин” в Большом театре. Оказывается, сегодня стало возможным уродовать русскую классику: так, например, зрители с изумлением увидели мамашу сестёр Лариных, которая напилась и повалилась на стол, не подавая признаков жизни; сёстры Ларины, Татьяна и Ольга, в подпитии разодрались и таскали друг друга за волосы; Онегин с Ленским тоже дрались и катались по сцене... Это, так сказать, творческие поиски постановщика! Какое убогое представление мы создаём о себе и о творчестве А. С. Пушкина в глазах зарубежного зрителя! Или новая экранизация “Анны Карениной”, снятая в США: в фильме, недавно привезённом российскому зрителю, американская Анна, злобно визжащая и брызгающая слюной, постоянно терроризирует мужа, закатывает бесконечные истерики любовнику и полфильма занимается с ним сексом. Главная исполнительница роли Анны К. Найтли заявила, что она так и не поняла: почему Анна бросилась под поезд? “Муж есть, любовник есть, что ещё ей надо?” – удивлялась актриса. Когда-то весь мир восторгался корректной постановкой советского фильма, в котором любовь показана по-толстовски достойно. Бедный Лев Николаевич! Его всегда волновали глубокие человеческие переживания, но, увидев новую Анну, писатель возненавидел бы свою любимую героиню! Впрочем, это уже не его героиня...

К всеобщей радости, под давлением общественности, Общественной палаты, педагогических коллективов, литераторов Минобразование, наконец, взяло на себя ответственность и подкорректировало список дополнительной литературы. Тогда для чего же так “много шума из ничего”? Зачем всю страну переполошили? Убраны Эппель, Маканин, но остался Пелевин. Вместо Улицкой появилась Т. Толстая?! Литература на этот раз подобрана более удобоваримая, но и данный список требует доработки, поскольку в обсуждении должны принять участие не только литераторы, но и детские врачи, школьные психологи. А также следует поставить вопрос: **что даёт каждое из предложенных произведений уму и сердцу ребёнка? Чем наполнится душа ребёнка? Повышается ли его нравственный и образовательный уровень?**

А на школу надвигается ещё одна “золотая сотня”, на этот раз художественных фильмов. Список, предложенный Союзом кинематографистов, экспертами из гуманитарных НИИ: НИИ киноискусства, С-Петербургского государственного университета кино и телевидения, Российского института культурологии, института истории искусств – утверждён Минобрнауки России.

При своей большой загруженности школьники теперь обязаны будут оставаться после уроков для обязательного просмотра фильмов. А как работать с этими фильмами: включить кнопку и выключить? Или всё-таки обсуждать? Примут ли в этом участие режиссёры, актёры, сценаристы? Или всё ляжет на плечи неподготовленной на этот счёт учительницы? Зачем обязательны к просмотру фильмы, которые часто “крутят” по телевизору? Их дети знают наизусть. Есть фильмы хорошие, познавательные, но где кино о взаимоотношении человека и природы, людей и животных, например: “Дерсу Узала”? Или “Белый Бим – Чёрное Ухо”? Каждый из них заменит сотни фильмов и уроков нравственного воспитания. Конечно, куда же нашим детям без “порнухи”? – К просмотру обязательна и “Маленькая Вера”! Немало фильмов предложено тяжёлых даже для восприятия взрослых: драматичных, депрессивных, требующих серьёзной душевной работы и духовной зрелости, которой дети ещё не накопили. Замечательные фильмы для взрослых из жизни заключённых могут быть приняты равнодушно, например, “Калина красная”, ведь у детей нет тюремного опыта, им не понять щемящую грусть по поводу возвращения на свободу. Интересно, насколько повышают образовательный уровень ребёнка фильмы Н. Михалкова “Утомлённые солнцем” и А. Кончаловского “История Аси Клячиной, которая любила да не вышла замуж”?

Нужно воспитывать в ребёнке доброту, сострадательность и душевность, и не только: необходим ум и юмор. А для этого неплохо бы включить в список рекомендованных к просмотру фильмов мультфильмы и игровые сказки. Нужно показывать и исторические фильмы в сопровождении квалифицированного комментария. Режиссёр В. Абдрашитов считает, что всё это опять “пахнет компанейщиной, а должна быть серьёзная забота о детях”. И опять не учтены возрастные психологические особенности школьников, которые являются законными наследниками русской национальной культуры. Вот такое “золотое” недетское кино пришло в наши школы.

Учебный год в разгаре. И создается ощущение, что над школой нависли грозные тучи, она замерла, будто перед надвигающейся бурей. Раскат грома, молния, и с прохудившегося неба вместе с ливнем падают бюрократические отчёты, новые стандарты, программы, дополнительные списки и... “золотые сотни”.

Мы часто задаём себе вопрос, что такое ученик: сосуд или факел? И отвечаем: конечно, факел. Семья и школа должны зажечь неугасимый факел, пробудить души, сердца детей к познанию, к творчеству, к полёту мысли. Но если сосуд пуст, то и зажигать нечего. Будущее России зависит от того, чем мы наполним этот хрупкий сосуд.

Ящик Пандоры открыт, и по всей стране, подражая Западу, стремительно понеслись “золотые сотни” – долларовых миллиардеров России, толстосумов каждого региона, самых деловых предпринимателей. В “Православный набат” бьёт ещё одна возродившаяся “сотня” – “чёрная”, – она борется за возрождение самодержавной монархии.

Когда-то Пётр I мечтал: была бы только Россия Великая! Ему с гордостью вторил соратник его Прокопович: “Вся Европа смотрит на Россию и любит-ся”. Теперь уже не любит-ся. Год от года государствообразующая нация, будто парализованная, теряет одну позицию за другой. Россия утрачивает свою самобытность. **Если так пойдёт дело, то дети скоро забудут свои корни, традиции, национальную культуру.** И даже не будут знать, что надо гордиться своей Родиной. И “золотые сотни” к этому приложили руку.

Думается, прежде чем идти на непродуманные преобразования, нашим реформаторам надо было чётко определиться с идеей: какую цель ставит перед собой российское общество в области образования и воспитания школьников? Какова логика преподавания литературы в школе? Какого читателя мы хотим сформировать? В данном случае, была поставлена задача: выпустить из школы образованного человека (в области литературы). А что это означает? Это человек просвещённый, культурный, знающий лучшие образцы мировой литературы, что, безусловно, неплохо и что давно делается в наших школах, и при этом знающий историю и культуру своей страны. Думается, что это отвечает целям школьного образования. Воспроизводство национальной культуры – вот обязанность системы образования. Тогда, может, и не надо было “городить огород”: стандарты (программы) давно уже отвечают современным требованиям образования, их нужно только подработать.

А ведь когда-то у России учились широте образования, фундаментальности и гуманитарности. Россия веками создавала свою систему образования с учётом логики преподавания. В русских школах детям открывали красоту и богатство русского языка. Теперь, благодаря непродуманным и бесконечным реформам, в системе образования господствует “поруха”. Всё это незамедлительно ударило по образованию и воспитанию подростков. **Сломать веками наработанные традиции русской школы оказалось просто, а сохранить лучшее и создать новое – не хватает умения.**

Как всегда, чиновники, желая угодить властям, перестарались. Мы в очередной раз слепили пирог из чужого теста и испекли его по чужим рецептам. И теперь корчимся от несварения желудка. Срисовали картинку с Запада, но она оказалась непригодной для страны с многовековой культурой. Как говорится: *“Хотели, как лучше, а получилось, как всегда”*.

**Наталья Морсова,
член Международного Союза славянских журналистов
Москва**

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Мы хотим рассказать Вам о наших читателях Юрии Григорьевиче Тимкевиче и Евгении Алексеевиче Приходько, которые на протяжении многих лет приходят в нашу Центральную библиотеку города Горячий Ключ, чтобы первыми получить новые выпуски Вашего журнала. Они преданно ждут каждый номер, засыпая библиотекарей звонками: “Не пришёл ли “Наш современник”?” И едва ли не экзаменуют нас, библиотекарей, потом расспрашивая: “Какая публикация вам понравилась в последнем “Нашем современнике”?” И попробуй тут не ответить!

Сейчас мы готовимся к проведению Всероссийской акции “Библионочь-2014” и хотим поздравить этих читателей не только от себя, но и от Вашего имени. Им будет очень приятно получить благодарственные письма “За верность журналу” на Вашем редакционном бланке и с Вашей подписью.

Надеемся, что Вы поддержите нашу идею.

**Директор МБУК “ЦБС”
МО г. Горячий Ключ
Барышева Юлия Викторовна**

ВЯЧЕСЛАВ ЛЮТЫЙ

МАТЬ-И-МАЧЕХА

Город в поэзии Дианы Кан

*Станьте вы, горы, по-старому...
Стих о Егории Храбром*

*На родину, которой одиноко,
Спешу я, под собой не чуя ног.
Диана Кан*

Мать-и-мачеха — многолетняя трава с яркими жёлтыми цветами и большими листьями, одна сторона которых пушистая, кажушаяся тёплой при прикосновении к руке, к лицу (мать!), другая — гладкая, холодная (мачеха!).

Толковый словарь русского языка

В современной русской поэзии пространство города неуклонно расширяется. В отличие от более консервативной деревни, город проявляет себя в культуре, ломая традиции прошлых веков и утверждая собственный закон, который при всех его просвещенческих достоинствах может быть поименован как “антитрадиция”.

Вместе с тем, город — главнейшее звено государства, и это нужно воспринимать как задачу, обязанность, социально-культурную функцию, которую необходимо не только исполнять, но и в полной мере ей соответствовать.

В поэзии городская лирика в последние годы ушла в интеллектуализм, накопление бытовых примет частной жизни, в отчаяние одинокой души — и, по существу, в изгнание любящего сердца из пределов дисгармоничной реальности. О важнейшей заботе города, призванной объединить малые и дальние земли, расширить местные пространства до границ “земли русской”, в поэзии речь идёт довольно редко и, как правило, вполне декларативно. Словно бы ушло ощущение просторов необъятной родины и возобладало своего рода местничество, которое, перефразируя историческую терминологию, можно назвать “патриотической раздробленностью”.

В отличие от города, неотделимого от собственного имени, деревня во многом лишена тщеславного “яканья” и в значительно большей степени мо-

жет восприниматься как малая часть родной земли и её полноправный представитель, ведущий — в песне ли, в стихотворении — речь не “о себе любимом”, но о корне народном, который пронизывает русскую почву от севера до юга и от востока до запада.

“Деревенская” и “городская” современная отечественная поэзия соседствуют друг с другом, но их приметы совершенно не сливаются, не переплетаются тематически и пейзажно, нравственно и социально. Город увлечён деструкцией современного сознания, деревня всё более отдаляется от государственной риторики и погружается в самую себя. Психологические пограничные линии, отделяющие горожанина от деревенского жителя, становятся всё более жёсткими. Они могут восприниматься как духовные трещины русской цивилизации, как симптом разрушения общей нравственной традиции и как знак возможной гибели русского мира. В этих обстоятельствах на художника ложится бремя метафизической ответственности за развитие событий. Он может и должен сдерживать разрушительные процессы, будто обручем, стягивая своим талантом города и веси, воспринимая родину как единую и неделимую, как пространство, в котором вся душа его изначально растворена.

В этом контексте поэзия Дианы Кан предстаёт как явление уникальное. Практически все её стихотворения связаны с русскими просторами. Реки, леса, поля, горы, монастыри, посёлки, большие и малые города, столицы — над всем этим многообразием будто парит взор автора, опускаясь, подобно птице, в своё гнездо и осваивая окрестности. Однако города в стихотворениях Кан показаны не только ярко, выразительно — их облик обладает собственными духовными характеристиками, социальными повадками, душевными пристрастиями. Используя олицетворение, поэтесса наделяет город узнаваемыми человеческими чертами и создаёт портрет поразительной психологической глубины. В памяти читателя такой образ остаётся как живая фигура, отчётливая и незабываемая. Наряду с реальными людьми, “живые города” участвуют в житейских коллизиях и совершают поступки, которые отражаются в зеркалах истории и мифа. Лирическая героиня беседует с городами порой очень жёстко, иногда — сочувственно, прощая им прошлые личные обиды.

Стихотворений, связанных с темой города, у Дианы Кан около трех десятков. В них соединены *пядь земли* и государство, чувство почвы и *звание столицы*. Связывает стихи в одну тематическую линию, главным образом, биография автора. Маленький провинциальный азиатский город, где прошли её детство и юность; Оренбург, окрашенный впечатлениями молодости; Москва — как литературный мегаполис, место учёбы и творческого взросления; Самара, где окреп талант, появилась семья; Санкт-Петербург — как старый имперский центр на карте России...

Маленькие города уже укладом своим склоняют жителей к трезвости ума, житейскому рационализму. В провинции героиня “научилась терпению и мужеству”, “научилась не петь, не упрямиться и не видеть несбыточных снов...”. Однако здесь мечта укрыта от постороннего взгляда во внутреннем мире юного сердца: “в тридевятом — моем! — королевстве / так высоко плывут облака”. А в отсутствие снежной белизны, которая сойдёт весной, “ничего не останется в этом городе душных ветров” — ничего, что хоть как-то похоже на идеал.

Спустя годы она возвращается сюда и, словно пытаюсь преодолеть барьер прошедших лет, переодевается “в штопаное штапельное платье, <...> что хранится в ларенском комодке”: “южный город на семи ветрах, принимай меня в свои объятия!..”. Однако слияния давней юности и настоящего времени не происходит, поскольку началась совсем иная жизнь, для которой теплота, братство утратили прежнее значение: отвергнуто “всё, что в нашей молодости было, где братались русский и узбек, отворяя голубые жилы”. “Статный и везучий”, по нынешним временам родной когда-то город отделяет себя от героини, вцепившись “в подол яростной верблюжьей колючкой”, напоминающей пограничную проволоку. Упрекая его в отчуждении и жадности, в забвении давнего единения, лирическая героиня говорит от лица щедрого на труд и дружбу русского человека. И здесь — не упрёк узбеку, а самоопределение автора.

Приехавшая “гостьей в детство”, она чувствует себя лишней в распорядке, который продиктован простыми бытовыми заботами. Тем не менее, в них есть небесная ширь и высота: в зоне прямого доступа, чтобы можно было, попросту говоря, дотянуться рукой. “В узеньких арыках весела вода” — это образ

животворящей влаги, хранительницы жизни, что так свойственно засушливому востоку. Но также и образ скромной колыбели будущего художника, у которого потом всё станет другим – и широта, и высь, и духовное чадородие...

В маленьком городке как-то странно соседствуют замкнутость – и готовность довериться приехавшему. Здесь есть терпение, необходимое для “примерки” пришлого к себе и себя – к пришлому.

*Захудалое чахлое деревце —
Дочь скупых каракумских пустынь —
Здесь джида со мной ягодой делится,
Руку робкую тянет полынью.*

У Дианы Кан внутреннее отношение к городу охватывает почти всегда целый спектр чувств. Творческое одиночество художника, погружённого в житейские заботы, обычные для глубинки, проговаривается с несомненной горечью. Простые люди – жители этих мест – упоминаются всегда с добротой. И, словно воспаряя над скромным поселением, поэтесса с удивительной нежностью пишет:

*Городок обетованный!
Пусть тебя на карте нет,
Здесь восходит несказанный
Победительный рассвет.*

Она уподобляет горстку домов и улочек ребёнку: “ты по-детски сладко спишь”; “ты обиженно бормочешь, разметавшийся во сне”; “не затепливай окошки – подрастёшь, авось, во сне”. Торжество рассвета становится и образом раскрывшегося таланта поэтессы, и знаком возрождения России через провинцию: “здесь восходит”!..

Примечательно, что многие стихотворения Кан имеют, казалось бы, локальную привязку к местности и событиям, негромкое звучание. Но с течением времени её творчество наполняется невероятным множеством примет, укрепляется художественная толща созданного автором. И эти отдельные конкретные штрихи и детали приоткрывают свое отвлечённое значение – символическое. В них будто возникает какая-то новая прозрачность и мелодичность, слова стихотворения обретают надмирное эхо, одновременно сохраняя связь с земным, реальным и дорогим миром. Стихи словно становятся на своё место в расширившейся поэтической вселенной, обретая объём, в котором каждое стихотворение может существовать без утеснения другими.

В стихах Дианы Кан слово “родина” соединено с городом Оренбургом, где произошло её рождение как русской поэтессы. Заметим, узбекский Термез, где она появилась на свет, практически никогда не сочетается с этим корневым понятием, но упоминается в стихах как место, где прошли её детство и юность. С Оренбургом связаны многие коллизии стихотворений Кан, в центре которых – её литературное становление, взаимоотношения с творческой средой, восприятие своего рода “повадки” города, его пейзажи, любовь, боль. Как правило, оренбургские строки у Кан – возвращение в прошлое, воспоминание, в котором всё, что было прежде, предстаёт в кристальном виде. Упрёк и сердечность звучат здесь почти одновременно, как в семье, когда доброды сменяется обидой, однако родной круг не разрывается:

*На родину, которая до срока
Сказала мне: “Вот Бог, а вот — порог!..”,
На родину, которой одиноко,
Спешу я, под собой не чуя ног.*

*Туда, где сладковозвучнее сирены
Те, кто мне был когда-то в душу вхож...
Где друг мой Хомутов с лицом гиены
Все точит на меня свой ржавый нож.*

*Туда, где я сама всему виною,
Но где ещё душа моя светла.*

*Где под степной ковыльною звездою
Я не умела долго помнить зла.*

*Туда, где, не нашедши оправданья,
Слезою вспять седой Яик течёт...
Где над могилой мамы — звёзд мерцанье...
Всё остальное, право же, не в счёт.*

Будучи часто жёсткой в своих оценках, героиня стихотворений Кан, в конечном счёте, всегда оказывается участливой и отзывчивой. Подобно матери, она как бы “удочеряет-усыновляет” своих прежних соперников и даже, условно говоря, “старших братьев” и “сестёр”. Так бывает в лихолетье, когда дети остаются одни и кто-то из них принимает на себя бремя общих забот.

Это скрытое, по штрихам только угадываемое “материнство” — существеннейшая черта поздней лирики поэтессы (“самое женское в мире занятие — хлебные крошки сметать со стола”; “детские слёзы в подол собирать”). Оно объёмлет собою и суровые замечания, и ласку обиженному или маленькому (теперь уже “маленькому” — в сравнении с нею).

Лирическая героиня стремится покинуть олицетворённую малую родину — “город степной на полынном просторе”, — но при этом заботливо беспокоится:

*Не слишком ли быстро, однако, бегу?..
А вдруг ты однажды меня не догонишь —
На льду оскользнёшься, увязнешь в снегу,
Пургой захлебнёшься, бураном застонешь?..*

Мотив “ухода-возвращения” распространён в городской лирике поэтов, покинувших отчий дом в деревне. У Кан знакомая тема развивается совершенно иначе: героиня оставляет “точку на карте” и уходит в огромные пределы страны — всей русской земли, не боясь потеряться в многолюдье и просторе. Потому что её внутренний, “экзистенциальный” рост уже не только равен “величине-высоте” города, но и превышает его: героиня жалеет свой прежний городской мир, который прославили её стихи. В свою очередь, тот сетует на неё, почти зеркально повторяя прошлое, когда юная поэтесса с горечью предьявляла ему свои упреки.

В оренбургских стихах Кан почти всегда обращается к родным местам не иначе, как “мой город”, и жалеет его, как живое, страдающее существо, затхатое в пыточных раскалённых клещах “меж пошлым хамством и надменным ханством”. Эти два ненавидистных обстоятельства терзают отчий край из года в год, из века в век. Художник, не отрекаясь от горьких слов, “обнимает” родину своей затаённой любовью, растроганно говорит о ростках чистоты и искренности, которые видны в детях нового времени, продолжающих традиции “эпохи верности старинной”:

*Неплюевский кадетский корпус.
Весна. Присяга. Оренбург.*

*...Пусть честь, и доблесть, и победа
Ведут по жизни сыновей,
И чепчики взмывают в небо
Искристой стайкой голубей.*

*Где светом радужным лучится
Душа воскресшая Христа...
Она, святая голубица,
Как Русь цветущая, чиста!*

Тут и достоинство кадетов, и чистота девичества (“восторженный девичий возглас”), и скрытая мысль о хрустальных точках в пространстве России, в которых сохранена в качестве духовного идеала Святая Русь. Причём высота этого древнего русского понятия непререкаема и сопоставима с Христовой

истиной (“душа воскресшего Христа, <...>как Русь цветущая, чиста”). А процветание родины напрямую связано с её “воскрешением”, когда всё низкое в её облике будет отринуто и избыто.

Оренбург для Дианы Кан стал слепком с облика современной России. Детали этих мест вошли в душу автора одновременно с первыми стихами, накрепко связав её с той пядью земли, от которой началось глубокое, непрерывное вращение поэтессы в русскую культурную и духовную почву.

Она постоянно ведёт беседу со своим городом:

- “мой город степной на полянном просторе”;
- “мой город – мой данник и кровник, и брат”;
- “увы, мой город”;
- “мой город, как ты без меня”;
- “мой Оренбург, ну, в чём ты виноват?..”

Перед нами – отношения близкие, когда стойкая душа способна преодолеть ссору и восстановить разорванные связи посредством собственной воли. В данном случае – воли художественной.

У Дианы Кан образ города всегда подразумевает его обитателей, хотя порой замещает их, отодвигая на второй, общий план, и “очеловечивается”, вбирая в себя многие частные черты характеров своих обитателей. Сравнительно редко город превращается в отчетливые декорации, на фоне которых разыгрываются человеческие коллизии.

*Осенний выбор невелик...
Кто там лицом к стеклу приник,
Расплющив нос курносый?
Неужто это наша дочь
Наивно хочет нам помочь,
С окна стирая слёзы?*

*Она глядит, а мы идём...
Вон мама под руку с дождём,
В обнимку с ветром — папа.
И ветер, папин друг, вот-вот,
Сорвавши с папы, унесёт
Единственную шляпу.*

*Сорвёт с озябшей мамы шаль
(А маме шаль ничуть не жаль!)
И унесёт на небо.
А поутру её вернёт,
И шаль на город упадёт
Пушистым первым снегом.*

Перед читателем – камерная картина. Как правило, Кан стремится к сценам протяжённым, многофигурным, разнонаправленным – по авторским акцентам, попутным репликам. Для неё важно ощущение большого пространства, из которого она может приходить в пространство малое и обживать его. Такое возвратное движение позволяет поэтессе сопрягать объективное и личное и воспринимать родную землю во всей её широте и узнаваемой конкретности.

В стихотворениях Дианы Кан самых разных лет то явно, то исподволь звучит тема первородства. Для нынешнего времени, когда рынок стремится представить нравственный закон как что-то умозрительное и искусственное, такое внимание поэтессы к понятию библейскому оказывается и охранительным по отношению к своей земле, и, в какой-то степени, наступательным – в координатах духа. По существу, эта тема связана с непрерывностью жизни, её смыслом и системой ценностей.

*В междуречье Самарки и Сока,
Своевольем своим знаменит,
Закалённый ветрами с востока,
Избоцась, гордый город стоит.*

*Задохнувшись в пути от удушья —
Так спешили! — Самарка и Сок,
Прибывшие из Оренбуржья,
Вопрошают: “Ну, как ты, сынок?..”.*

*Мрачно буркнет: “А вы что-то долго.
Да к тому ж обмельчали вконец...
Полноводная тетушка Волга
Мне отныне и мать, и отец.*

*Нет реки знаменитее Волги!
Рядом с ней буду я на виду.
И в предания, и в каталоги
Гордым городом волжским войду...”*

*Молча слушали горькие речи
Сок с Самаркою... В чём их вина?
Междуречье, моё междуречье:
Меж речами царит тишина.*

*Ну, а город у Волги склонится...
Сколь таких по Руси у неё,
Что родством достославным гордится,
Позабыв первородство своё.*

*Что с того, что давно он не молод?
Своевольем своим знаменит,
Талым снегом умывшийся город,
Что у пристани волжской стоит.*

*Герб с козлом поместивши на знамя,
Европейские шпильки вознёс.
Азиатски горит куполами —
Тяжело удержаться от слёз!*

Перед читателем разворачивается сюжет почти житейский:

- отец-мать спешили к сыну;
- сын упрекнул их и отрёкся от родной крови;
- сын избрал в родители влиятельную фигуру;
- отец-мать онемели от печали;
- сын со временем постарел и отказался от вчерашней значительной родни;
- сын старается “прилепиться” к новой знатной персоне;
- у сына приметы прожитой жизни комичны и нелепы.

На примере действующих лиц автор практически показал картину современной России, пренебрегающей собственными корнями и достоинством, кланяющейся западному респектабельному миру. Свободно написанная история склоняется к народной сказке. И это приметы сознательно выбранной интонации, определённо сплетающейся с притчей, имеющей универсальное смысловое поле. Стихотворение геополитического ракурса, изображённого простыми средствами. Поэтому поэтическое письмо Кан здесь заслуживает более пристального внимания.

Уже в самом начале сюжета поэтесса в четырёх строках представляет читателю характеристики города:

- географическую (“в междуречье Самарки и Сока”);
- историческую (“закалённый ветрами с востока”);
- по репутации (“своевольем своим знаменит”);
- по реальному нраву (“избочась, гордый город стоит”).

“Избочась” — чрезвычайно важная реальная черта города, отчасти показывающая и рассказчика, его угол зрения. Не отказываясь от собственного видения, Кан соединяет личное с общим, тем самым объективируя картину и олицетворенного героя.

С теплотой воплощены в стихотворении образы рек Самарки и Сока. Будто оправдывая свою фамилию* и биографию, поэтесса представляет их, “прибравших из Оренбуржья”, в виде хлопотливых любящих родителей, старомодных и простосердечных, потрясённых отречением сына (“задохнувшись в пути от удушья – так спешили!”, “ну, как ты, сынок?”, “молча слушали горькие речи”, “в чём их вина?”).

В момент отказа потомка от кровных уз материнства и отцовства в первый раз звучит подчёркнуто собственный голос автора: “Междуречье моё, междуречье: меж речами царит тишина”. В этом приглушённом вздохе – молчание, павшее на землю после отречения сына от родителей; нравственное “отсутствие” родового звена-города в пространстве между реками; порушенное чувство преемственности поколений – беда сегодняшней России.

Впоследствии город, взявший себе родство “достославное”, но не получивший предполагаемых выгод – “талым снегом умывшийся”, – начал приглядываться к иным вельможным именам – будто продолжая прежние отречение и утверждая собственное “своеволие”: “европейские шпигели вознёс” – “азиатски горит куполами”. И заключительная строка автора – “тяжело удержаться от слёз”, – как будто продиктованная взглядом на слепящие “купола”, на самом деле говорит о горьком смехе сквозь слёзы: и от глупого, самочинного совмещения Запада с Востоком, и от глубокой печали, отсылающей современника к ветхозаветному рассказу о том, как первородство поменяли на чечевичную похлебку.

Похожие отношения складываются у Кан и с Москвой. Находя совершенно безжалостные слова, характеризующие столицу, забывшую о собственном высоком предназначении, автор подчас адресует ей и сердечные строки. Это разговор на равных.

Способность Дианы Кан говорить о большом и малом содержательно позволяет ей охватывать самые разные стороны реальности. Вместе с тем, в её стихах совершенно отсутствует избыточность деталей, что для многих современных авторов оказывается творческим тупиком, когда, по народной поговорке, “за деревьями леса не видно”. И почти всегда личное отношение к предмету, событию, человеку в поэзии Кан выходит за рамки частного и становится художественным обобщением, в котором присутствует и автор, и какая-то высшая гармония: “Пускай я лгу... Но этот стих / правдивей моего дыханья”.

С пережжённой в душе отчаянностью лирическая героиня говорит о столице, жестокой к “приблудно-беспортошным”: “таких, как я, <...>смеясь, прицельно бьющая с носка”. В её словах – горечь душевно сильного художника из провинции, израненного в столкновениях с антагонистами – носителями московского гонора. В стихотворном изображении первопрестольная выглядит как хищная территория, именуемая, однако, “мать Москва”. В свою очередь, старый имперский центр – “батяня добрый Питер” – предстаёт в виде неуклюжего подвыпившего разбойничка (“хоть все бока поободрал-повытер”). Грубоватый папаша, который и прибить может для порядка, для воспитания почтения – “так это ж ты совсем не по злобе!..”

Примечательно, что мать-Москва тут как не родная, будто мачеха – рациональная и чёрствая. Питер и простоват, и недалёк, но ему – “от всей Руси земной поклон”. Тогда как о нынешней столице поэт роняет, словно сквозь сжатые зубы: “а всё же хороша ты”, – будто подчёркивая своего рода особенную красоту зла её, душепагубную прелесть этого города.

В этой семье Самара – золовка, красующаяся собой, усвоившая все порочные “столичные науки” – “лупить с носка, чужие драть бока, с наскока двери открывать без стука”. Однако упрёк лирической героини Самаре иного толка:

*Бравируя своей столичной спесью,
Не убоявшись Бога и греха,
Ты к малым городам своим и весям,
Как мачеха, надменна и глуха.*

* Кан – древнее обозначение реки, широко распространённое в Южной Азии. Например, река Абакан.

Самара оказывается очень похожей на Москву своим женским началом, нереализованным в должной полноте и доброте. И потому-то для Самары героиня находит слова беспощадные:

*Раскрашенная вся и расписная,
Как шлюха, от бровей и до пупа...
Да что сказать? Столица запасная,
Как девка загулявшая, глупа.*

В стихотворении заметен отголосок сказочного сюжета о глупом отце, злой мачехе и тщеславной мачехиной дочке (несмотря на то, что золовка, по старой родовой росписи, – сестра мужа или жена сына). Главной положительной фигурой в подобном несчастливом семейном кругу становится *идеальный* образ столицы. Он сияет в надмирном пространстве, но в действительности – увы! – только контрастно подсвечивает эгоизм и тщеславие современных российских “центров”, на деле предавших свое предназначение: столицы – быть матерью городов русских, а запасной столицы – их родной сестрой.

В сознании героини Оренбург и Самара постоянно спорят, обладая собственными изысками и достоинствами. Точно так же вступают в противоречие Москва и Питер – столица и провинция. В фокусе судьбы поэтессы пространства, в которых ей довелось вступать в борения, сосредоточены в этих четырёх городах. Южный, азиатский Термез, где прошло её детство, оказывается за пределами координат, в которых мыслится родина, лишь приметы прошлого иной раз заденут сердце. Но небольшие городки, станционные поселки, как и скромные реки, во множестве текущие по русской земле, принимают от героини сочувствие и нежность. Они покорны, лишены глупого чванства и живут своей незаметной жизнью, которая становится фундаментом исторического существования России (“девочка со станции Налейка”; “чудная станция с названьем Пачелма”).

Вместе с тем, в стихах Кан противостоят Оренбург и Самара соединены с реками, на которых они стоят.

*Внимает Волге — хороша! —
Седой Урал-соседушко...
Пусть вечно длится, не спеша,
Их ладная беседашка.*

Урал и Волга – союзники героини, они принимают её в свои объятия, в своё мистическое тело: “Я вброд Урал переходила, переплывала Волгу всласть”, тогда как города исторгают её, будто занозу: “Ждут – не дождутся, что уеду... Спасибо, вслух не говорят!”.

“Самость” Самары отзывается и в речках-воложках, претендующих на звание главного истока великой реки. Но здесь поэтическая интонация теплеет и приобретает материнские оттенки, а образ автора почти совпадает с образом “Волги – матушки родной”:

*Ах, эти воложки! Галдят,
Стекая прямо с небушка.
Живой водицею поят
Самарский скусный хлебушко.*

*Одна другую вразной
Перекричать стараются...
И с Волгой — матушкой родной —
В объятиях сливаются.*

У реки есть течение, её состояния переменны, реки протяжённые и в пространстве, и во времени. Тогда как города локальны и эгоистичны по своей сути. Героиня дышит воздухом всего огромного российского пространства, вдыхая его невероятную массу и выдыхая, будто возвращая её земле и воде. И потому в городе ей тесно – здесь дыхание затруднено. Поэзия Кан определённо отличается широтой пространств, в которых автор не гостит, а живёт. “Я в реке живу, а не купаюсь”, – говорит она в раннем стихотворении от ли-

ца русалки, существа, обитающего в воде. И это расширяет читательское понимание её лирической героини как существа земли: не стихии, но бескрайнего мира, в котором есть место и почве, и влаге речной. В отличие от города, граница которого заметна не только физически, но и духовно.

Развивая образ своеобразной Самары, Кан уходит от жёсткой инвективы и насыщает стихотворную речь мягкой иронией: “все у Самары — самое”; “в Самаре и скворец свистит громче, чем соловушка”. А затем ведёт беседу с неласковым городом совсем уж по-житейски:

*Поговорим, родимая, “за жись”...
Ну, что опять насупилась, Самара?
Мирись-мирись и больше не дерись!*

Детская присказка подчёркивает горькую память, смячённую добросердечностью героини. С печалью говорит она об “огненных зачистках” старой “деревянной лепоты”, о новорусских домах, напоминающих “кичливо вставленные зубы”. И замечательно точно роняет “очеловеченные” слова в адрес города-антагониста: “Всё молодисься?..”

Олицетворение Самары в образе собеседницы с неровным характером даёт возможность Кан произнести скрытое глубоко в душе:

*Мне не за что любить тебя, Самара!
А вот, поди ж ты — всё-таки люблю!*

И возникает абрис фигур двух соперниц, одна к другой нетерпимых, но на мгновение чуть приобнявшихся и уронивших горькую слезу. В этом, очень женском, стихотворении поэтесса сознательно предстаёт героиней с земной биографией: она словно подводит черту под частными коллизиями, отделяя их от духовного противоборства. И город теряет свою непомерную гордыню и обретает домашнее тепло и красоту: “твои поныне несравненны стати / и улочек пленителен изгиб”; “прильнешь к ногам то сквером, то бульваром”...

Иначе взаимоотношения художника и города предстают в сфере духа. Косная среда отторгает свободное парение мысли и слова, поэт здесь напоминает нищего изгоя. И всё же в нём живут чувство собственного предназначения и способность не потеряться в земном распорядке:

*Эх, дородна матушка Самара!
Здесь в чести купеческий уют.
Матушке Самаре я не пара.
Нищим здесь, увы, не подают.*

*Для меня ты и такая — праздник!
За тебя — хоть в омут, хоть в огонь.
Серебрят мороз — седой проказник —
Мне мою разверстую ладонь.*

*Прячься за вуаль от взоров шальных...
Бог с тобою! Я не жду чудес,
Кутаясь в морозный полушалок
Выцветших простуженных небес.*

*Не вступлю с тобою в поединок...
Господи тебя благослови!
Служат мне подошвами ботинок
Мостовые стёртые твои!*

Тут отчётлив мессианский акцент, когда странник — пророк или певец — незаметен для всех окружающих, но и неподвластен им. Он способен видеть мир почти с высоты небес, тогда как его босая стопа через стёртую уличную брусчатку словно соединяется с родной землёй. В душе у него нет *соревновательности* по отношению к городу: “кто — кого?”. И его песня проникнута душевной щедростью и глубокой печалью.

Исчезает узкий, местный предмет спора, преобразаясь в мифологический и творческий, и Самара через свои предместья поэтически соединяется

с остальным земным пространством – традиционным, спокойным, по-семейному уютным.

*Судьбы драгоценный подарок —
Усталая Волга... За ней
Мерцает ночная Самара,
Как горсть самоцветных камней.*

*...Под пенье дремучей калитки,
Смиря душевную дрожь,
Беспечным младенцем с улыбкой
Небесной дремоты вдохнёшь.*

*Тот путь, что тобою был пройден,
Стал Млечным Путём, говорят...
А взгляд черноглазых смородин
Не есть ли твой истинный взгляд?..*

Жёсткость многих строк Дианы Кан сочетается с мягкостью и примирением, которые адресованы тому же поэтическому персонажу. В отличие от живых литературных фигур, художественные характеристики которых почти графичны, разговор автора с городом обретает палитру самых разных оттенков. Он часто возобновляется, отталкиваясь от однажды обозначенной позиции, и не продолжает прежнюю поэтическую мысль одномерно, что во многих *почвенных* стихах сегодня стало, увы, дурным кликушеским правилом, но придаёт ранее сказанному объём – исторический, нравственный, личностный. Таковы в её творчестве темы Оренбурга и Самары, провинции и столицы.

Отзываясь о Москве конца 80-х годов почти с нежностью, Кан связывает образ весенней столицы с пробуждением собственного поэтического дара. Столица тех лет ещё хранила очарование своих маленьких улиц и отблески прежней доблести, давней святости, хотя уже близилась обманное перестроенное времена, а за ними – подлость и бесчеловечность 90-х. Но уже тогда в студентке, с восторгом взиравшей на цветущую возле университета майскую сирень, начало оформляться духовное правило, которое в более поздние годы оказалось своего рода императивом стихотворений Дианы Кан: “Сквозь смуту, морок, маяту / цвести победным пятицветьем”.

Жизнелюбие позволяет не вычёркивать из списков живых всякого оступившегося, упавшего в грязь и низость человека. Точно так же город, особенно если он – первопрестольная столица России, пусть и забывшая о собственном долге перед землёй русской и её народом.

Олицетворение городов и весей, окружающего пространства, рек, явлений – любимый поэтический приём Кан, которым она пользуется виртуозно. Однако подобное мастерство никогда не лежит на поверхности – оно спрята­но внутрь “художественного организма” стихотворения и подтверждено естественной авторской интонацией, в которой печаль и сочувствие пере­кликаются с гневом и негодованием.

Примечательно, что тот порок, в который “упала” столица, соединен с чужаками – “залётными князьями”. Низкопоклонство, доступность, беспамятство сердцевины страны фактически отодвигают как лишнее и незначительное всю почву – русскую землю, которая, собственно, и произвела на свет Москву. Отречение от своего рода здесь показано почти яростно, что особенно заметно в сравнении с сюжетом стихотворения о гордом городе “в междуречье Самарки и Сока”.

Обезумевшая, изо дня в день пирующая столица контрастно сопоставляется с “глубинкой” (“трудись, родная, дотемна”). У Кан “глубинка” – “русская”; “родная”; терпеливая (“крепись!”). В ней видится некий духовный базальт, на котором стоит российское государство. Называя её русской и родной, поэтесса неявно обращается к первородству. Чувству, которое нуждается в утверждении и уважении, даётся единственно возможное имя.

Привычной задачей провинции издавна считалось сохранять связь с почвой и нравственный закон. Столица же призвана была быть центром государства и опекать провинцию. Свой родовой долг “глубинка” исполняет – где лучше, где хуже. Древняя же Москва ныне от своего державного назначения

почти отреклась, хотя и в ней ещё остаются точки жизни и духа, однако они почти подпольны и факультативны. Не случайно Кан говорит о себе:

*Я — подданная русских захолустий
И тем права пред Богом и людьми.
И приступаю провинциальной грусти
Моя любовь к Отечеству сродни.*

*...Лицо слезой кровавой уываю,
Впадая временами в забытьё...
Но ни на что вовек не променяю
Божественное подданство своё.*

Её упрёк первопрестольной: “Когда я из глубинной дали / клянусь тебе, моя Москва” — содержит властное требование хранить прошлое и вести родовую нить в будущее, то есть исполнять предназначение. К слову, “предназначение” — одно из самых существенных понятий для Кан:

*Услышь! Но снова вранья стая
Обсела сорок сороков.
Услышь, оглохшая от грая,
Меня на рубеже веков.*

Подобные слова несутся к столице со всех концов отчей земли. “Сорвётся стаяй соколиной <...> / призыв о доблести былинной / с воспламенённых уст”, — уточним: уже не поэтессы, а проникновенного русского певца, образ которого угадывается в духовном абрисе женского лица автора.

Перед нами — “не стон, не всхлип и не рыданье, / не о пощаде жалкий торг”, что закономерно могло бы исходить от провинции, униженной и ограбленной городом нуворишей. Но она перефразирует наставление гениального полководца А. В. Суворова: “Я — русская! Какой восторг!..” По статусу, его должна была бы озвучить или хотя бы понимать о себе “моя Москва”.

Это “из-под сердца восклицанье”, произнесённое поэтессой с азиатским разрезом глаз, свидетельствует о многом: о единстве русской континентальной земли, о соседстве и сотрудничестве в России многих культур; наконец, о самоопределении души и сердца Дианы Кан как художника.

Её стихотворения о городах отличаются стилевым разнообразием и лёгкостью речи, в которой содержатся смыслы важнейшие, как правило, литературой проговариваемые весьма невнятно. Прозрачность личностной позиции, эмоциональная широта и нравственная определённости позволяют автору поддерживать редкую по искренности интонацию, которую узнаёт и ценит тонкий, умный читатель. К тому же её строки почти всегда диалогичны, что по нынешним временам — свойство нечастое. Оно сообщает стихам подлинный литературный демократизм.

Поэзия Дианы Кан неуклонно расширяет собственное художественное пространство и свободу, становится несомненным литературным явлением, возможно, уникальным для нашего времени.

ВИКТОР ХРУЛЁВ

РОМАН “ВОР”
В ДУХОВНОЙ БИОГРАФИИ
ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА

(диалог с писателем)

*...Книга — это, прежде всего,
отчёт о прошедших
у вас процессах мышления.*

Л. Леонов

Роман находился в поле зрения Л. Леонова всю его творческую жизнь. В прижизненном издании указаны 5 этапов работы над произведением: 1927, 1959, 1982, 1990, 1993¹. Между первым и окончательным вариантом прошло 66 лет. Роман фактически стал экраном, на котором отразились веши духовной биографии автора, изменения его идейных позиций и миропонимания.

Первая редакция романа опубликована в 1927 году. В 1959 году Л. Леонов создал вторую редакцию, принципиально отличную от прежней. Затем неоднократно вносил правку в текст обновлённого романа перед очередным изданием. В 1990 году он написал “ключевой эпилог”, в котором предельно ужесточил отношение к своим героям и, прежде всего, к Векшину и Доломановой.

У современных читателей и поклонников таланта Л. Леонова неизбежно возникают вопросы:

Чем вызвана столь длительная правка романа?

Что побудило писателя в 1990 году создать новый эпилог?

И как он соотносён с самим романом и его героями?

1. Две редакции

Первая редакция романа (1927) отражала романтический пафос писателя, его непримиримость к мещанству как социально-психологической силе, способной погасить любые порывы к обновлению. Даже через два года после написания романа, в 1929 году Леонов решительно заявил: “Считаю мещанство самой злой и не преодоленной покуда опасностью”². Писатель видел, что

¹ См.: Леонид Леонов. Вор: Роман. М., “Голос”, 1994. С. 666. Ссылки на это издание даны в тексте в скобках с указанием страницы.

² Леонов Леонид. Собр. соч. в 10-ти томах. М., 1984. Т. X. С. 10. Далее ссылки на это издание даны в тексте в скобках, с указанием тома римской цифрой и страницы — арабской.

“нынешняя отрасль его, прокалённая огнём революции, хитра, предприимчива и мстительна” (X, 10), отмечал жизнеспособность этого явления, умение приспособиваться к любым общественным условиям³.

Роман “Вор” соответствовал представлениям автора середины 20-х годов. Характерно, что тема ограниченности Векшина, его неразвитости ещё не занимала писателя. Главным в герое было бунтарство, обида за растоптанные революционные идеалы. Векшин – максималист, видит перерождение былых сподвижников и торжество мещанства. Он вступает в поединок с миром собственничества, бунтует примитивно, в пределах тех возможностей, которыми располагает, но его протест содержит защиту идеалов революции. Этот романтический порыв героя, искренность убеждений составляли основу его характера и поведения⁴.

Через 30 лет после развенчания культа личности Сталина Леонов смог отразить новые грани революционных событий и практики построения социализма: насилие над людьми, вседозволенность, нетерпимость к инакомыслящим. Революция предстала жестоким экспериментом с безмерными жертвами и утратами. На первое место теперь писатель ставит проблему культуры, отсутствие которой порождает безответственность и жестокость. В “железности” Векшина (II редакция), в его бесчувственности он видит истоки катастрофических событий в России XX века.

Во второй редакции романа Векшин – выразитель революционной морали и её жертва. В изображении героя акцент сделан на его прямолинейности, вытекающей из неразвитости и самоуверенности. Правда, и здесь Векшин неоднозначен; в нём есть то, что привлекало к нему и раньше: личная честность, щепетильность в отношениях. Но писатель сбрасывает своего героя с пьедестала, лишает многих качеств, которые привлекали к нему раньше.

Развенчание Митьки Векшина (особенно в правке 1982 года) доведено до предельно допустимой черты, за которой может начаться крушение художественного образа⁵. Кульминацией падения героя становится месть Саньки Бабкина бывшему кумиру и наделение Доломановой дурной болезнью, которая сжигает её “синим огоньком” (III, 599). Сложность ситуации, однако, состоит в том, что прежний Векшин не изживается и не преодолевается новым обликом, а существует как бы внутри него, просвечивает сквозь нового Векшина как память о его человеческой притягательности. В результате герой не достигает той силы и цельности воздействия, которыми он обладал в первой редакции. Конечно, роман стал глубже и масштабнее, он обогащён раздумьями о судьбе России и народа, о роли культуры в революционном процессе, осуждён авторскими сентенциями.

В дальнейшем Леонов не ограничился радикальной переделкой романа и вносил в него дополнительную правку в издания 80-х годов, ужесточая своё отношение к главным героям⁶. Однако и этого писателю показалось недостаточно. В 1990 году он пишет новый эпилог романа. В это время уже был готов основной текст “Пирамиды”, и автор продолжал усложнять его содержание многочисленными вставками. Новый эпилог создавался с высоты сознания “Пирамиды” и тех трагических предчувствий, которые открылись Леонову в процессе работы над последним произведением.

Итоговые воззрения проявились в том, как представлен финал Дмитрия Векшина, Маши Доломановой и других персонажей “Вора”. В изображении их писатель исходил не столько из логики характеров героев, сколько из обобщений истории России XX века и краха советской системы. В новом эпилоге

³ Правда, в этой мимикрии содержится не только консерватизм, но и естественная защита частной жизни от насилия государства, потребность выжить в экстремальных условиях. В более широком плане данная мимикрия – это самозащита жизни от радикальных перестроек и ломок, предпочтение эволюции и стабильности революционной динамике и стихийности. Однако эта грань явления, которое определялось понятием “мещанство”, в то время не могла привлечь внимание молодого писателя.

⁴ В данном случае нет необходимости давать подробный сопоставительный анализ двух редакций, тем более что он представлен в леоноведении обстоятельно. Нас интересует общая эволюция авторского отношения к героям: Векшину и Доломановой.

⁵ См. об этом в нашей монографии: “Мысль и слово Леонида Леонова”. Саратов, Изд-во Саратовского университета, 1989. С. 76–92.

⁶ Вторая редакция романа “Вор” цитируется по изданию 1982 года, вошедшему в Собрание сочинений в десяти томах (1981–1984).

развенчиваются любые иллюзии, срываются с героев все и всяческие маски. Теперь Векшин не только отвергнут, он растоптан и сведён до уровня “пахана” воровской шайки. Такое низвержение персонажа рождало опасность упрощения, вызывало противоречие между текстом романа и эпилогом.

Во-первых, это противоречие между философско-этической ролью, которая была возложена на Векшина как знаковую фигуру эпохи, и низвержением его до уровня заурядного урки. По своему значению в сюжете романа криминальная жизнь Векшина служит условной средой, в которой писателю легче и безопаснее было выразить своё отношение к революции и её последствиям. Если же признать Векшина только реальным вором, то перед нами должен быть криминальный роман, а не философско-психологический.

Во-вторых, это противоречие между стремлением автора окончательно дискредитировать героя и невозможностью однозначного истолкования образа. В романе есть совет сочинителю Фирсову: “Чтоб Векшина написать, должен ты в него сам по макушку влезть, а из этой одежды, поверь, чистым не вылезешь. Ведь не чернилами, поди, оно пишется-то...” (III, 393). Несмотря на жёсткое давление автора, Векшин сохраняет определённый потенциал, не позволяющий окончательно порушить его.

В-третьих, новый эпилог, отличающийся пристрастностью автора, расходится с содержанием романа и опротестовывается им как несоответствующий его пафосу. Чтобы подвести читателя к новому эпилогу, автор изменяет конец последней главы. Так, вторая редакция “Вора” завершается рассказом Фирсова о путешествии героя в трансибирскую даль и возможности его обновления. Автор даёт к этой сцене свой комментарий: “Однако всё это следует оставить на совести всеведущего сочинителя Фирсова” (III, 589). И ставит под сомнение подобный конец.

В итоговом варианте романа, изданном в 1994 году, этот комментарий заменён на более жёсткий вариант. “Весь этот покаянный вояж во спасение души был изготовлен Фирсовым ввиду тогдашней обязательности благополучного финала, а на деле совсем иная социальная перековка предстояла его падшему герою впереди” (658). Теперь он язвительен, даже жёлчен. Но одновременно и прямолинейен в своих определениях: “падший герой”, “вояж во спасение души”, “социальная перековка”. Автор как бы оправдывается за прошлый вариант и одновременно предваряет новый эпилог романа, где станет судьёй своего героя.

2. Новый эпилог (1990)

Структурно прежний эпилог (II редакция издания 1982 года), занимающий 11 страниц текста, состоял из двух главок, разделённых поровну. Состав главок таков:



Фактически обе главки выстроены по одному принципу: небольшое вступление, затем основная часть, развёртывающая тему. Такое построение создало естественность и эпическую протяжённость повествования, возможность дать объективное изображение событий.

Влияние автора-повествователя здесь сглажено. Автор предпочитает быть нейтральным свидетелем происходящего, и это вызывает впечатление достоверности и полноты изображения. Более того, создаёт ощущение глубины и неоднозначности отношений героев. И хотя в эпилоге они исчерпаны,

но сохраняются в памяти и переживаниях, оставляют в душе каждого свой неповторимый след. Это “свечение” оттенков, не уместающихся во внешних действиях, свойственно роману в целом. К сожалению, в новом эпилоге оно потеряно. Пристрастность и публицистическая язвительность автора вытеснили лёгкость и изящество повествования, опростили его палитру.

Центральное место в прежнем эпилоге занимала критическая статья о повести Фирсова, натолкнувшая автора на “глубокие и весьма плодотворные раздумья” (III, 590). Статья эта – литературная мистификация, своего рода авторецензия. Она написана от лица талантливого критика, ревностного поборника социалистического переустройства, у которого идея, однако, не заслоняет трезвого понимания происходящего. В статье подчёркивается, что “фирсовский герой был задуман не обыкновенным жиганом, так сказать, на переломе двух эпох, а скорее в лирическом ключе, даже со склонностью к отвлечённому размышлению” (III, 591). Более того, в мировой литературе он должен был войти в “галерею самодеятельных мыслителей со дна и каторги” (III, 591), стать “философом из отечественных шниферов” (III, 591).

Иначе говоря, основу романа составляет философско-этический аспект революции и её гуманизма. Как совместить идею радикального обновления жизни и накопленную культуру, волю и созерцательность, стабильность и динамику развития? Как совместить право революции на классовое насилие и идею самоценности человеческой жизни? Право государства на жизнь своего подданного и право человека самому определять свою судьбу? Митька Векшин оказывается в центре поставленных проблем; на примере его судьбы решаются важнейшие вопросы сущности революции в России, её истоков и перспектив.

Эта рецензия выполнена в блистательной манере писателя, окрашена иронией, за которой скрываются глубокие суждения, метафорические образы, точно и ёмко характеризующие двойственность его позиции. Противоречивость отношения автора к революционным процессам состояла в том, что он хотел совместить идею самоценности человеческой жизни с её правом на революционное обновление. Поэтому человечность Векшина уживается с признанием неизбежности классового подхода к развитию личности. Но насилие ведёт к нравственному опустошению, разрушению личности.

Другая проблема – соотношение революционной ломки и накопленной культуры, необходимость овладения духовными ценностями прошлого, обретения жизненной мудрости, предполагающей отказ от максимализма, ложных иллюзий и нереальных амбиций. Эта двойственность позиции автора и отражена в рецензии на повесть Фирсова:

“Ему, с одной стороны, вроде и по душе великое учение современности, преобразующее его прекрасную, но отсталую родину, лишь благодаря революции не расколотую всякими трехнедельными удальцами; ему вроде и нравится всемирно-освободительное значение, какое отныне для всех подневольных народов приобретает трудовая деятельность его народа... кажется, доступная его пониманию и новая наша человечность в рамках железной необходимости – пока не разгонится до прямолинейного, всё ускоряющегося движения социалистический процесс... Ему принадлежит также весьма запомнившийся нам тезис, что “лишь по устройению земного тыла Человек вырвется в гордый простор Океана, без чего не стоило питекантропам начинать эту стотысячелетнюю бузу под названием шестивековзвёзд” (III, 593).

А с другой стороны, нас тревожит возникающая временами у Фирсова тяга к рассмотрению теневых сторон человеческого существования, к псевдотрагической тематике разочарований, неосуществлённых замыслов и умственных катастроф, – опасная пристальность к развенчанным видениям прошлого, самая его любознательность к людской боли, как будто и она, память о ней, а не только всепроницающая мечта скрепляет опыт мира... В целом воспринимаемая положительно восходящая мечта скрепляет опыт мира... В целом воспринимаемая положительно восходящая мечта скрепляет опыт мира, автор то и дело воздыхает по непроглядной и прохладной мгле, в которой когда-то начинались скитанья человеческого духа. Вследствие этой незавершённости мышления и рождаются у автора такие... откровения вроде того, что – “всякая великая истина начинается с ереси” или что “становление нового героя в искусстве возможно лишь через трагическое...” (III, 593).

Читая эту рецензию, будто видишь самого автора, слышишь его мысли, высказанные почти такими же словами в статьях, его образность, испове-

дальность тона, лишь слегка обрамлённые видимостью критика-демагога. Он передоверяет свои сомнения рецензенту и бесстрашно открывает неоднозначность отношения к революционным методам. Однако в 90-е годы сам факт признания в симпатиях к революционным идеям представлялся писателю недопустимым, и он полностью снимает его в окончательной редакции.

В новом эпилоге Леонов не только изъял рецензию, но и безжалостно раскритиковал её как “интимную бормотню” (661). Писатель объясняет, что “посчитал разумным убрать из самокритической статейки <...> кое-какие назидательные откровения, наглядно раскрывающие его душевное смятение той поры” (661). Автор решительно отделяет себя, человека 90-х годов, от того, кем он был в конце 50-х. Возраст и опыт жизни развеивают его надежды на возможность социального равенства и духовного обновления человека.

3. Пристрастность автора

По объёму новый эпилог стал короче (7,5 страницы вместо 11), исчезло деление на 2 части. Структура его также изменена. Авторский комментарий повести Фирсова расширен до 2,5 страницы. Критическая статья удалена и заменена объяснением причин её изъятия. Эпизод визита Доломановой сокращён до 4,5 страниц. Но главное – новый эпилог наполнен другим пафосом и выполнен в иной тональности, нежели прежний и сам роман.

С первых же строк бросается в глаза язвительное обличение героя. Автор не скупится на характеристику среды, в которой оказался Векшин: “ютившаяся на окраине подпольным, ночным промыслом промышлявшая шпана” (659), “блатная маскировка” (659), “у блатных” (666). Условность этой среды и принадлежности к ней героя теперь сменяется серьёзным его обличением.

Ещё более резко с самого начала характеризуется Векшин: “обречённый стать пасынком эпохи” (659), “неистовый бунтарь, оскользнувшийся на сложном историческом маневре” (659), “перерождение основного героя” (659), “стремительное векшинское паденье” (659).

Автор словно не доверяет читателю, и сам стремится сокрушить образ, созданный в романе, насаждает одно негативно-эмоциональное определение на другое: “фатальное, напропалую, скольжение на дно” (660), “в запойном одиночестве” (660), “опуститься в пучину” (660).

Изображение Векшина подменяется прямым осуждением его, размышлением о его участии с высоты иного времени и исторического сознания. Это смещение в ракурсе и “наступательная” позиция невольно вызывают сопротивление. Автор сообщает о бесславном конце своего героя: “... слух прошёл, будто молодые урки единственно за надменность чуть не зарезали его, старика, у него же на хазе” (663–664).

В тексте эпилога появляется не свойственная роману публицистичность, демонстрация смелости в характеристике того времени: “в искусственном климате осуществляемой утопии” (659), “в преддверье золотого века” (639), “в условиях нового режима” (660). Но наибольшую пристрастность автор проявил по отношению к Доломановой. Завершённый 30 лет назад образ подвергся деформации чужеродной сути героини и её роли в романе. В прежнем эпилоге Доломанова является на квартиру сочинителя как “необыкновенная гостья” (III, 596) из другого мира: “Праздничная и яркая, почти неприличная для коммунальной квартиры, Доломанова стояла на пороге, распространяя вокруг себя знакомые шорохи, отсвет тревоги, запах неуловимых духов” (III, 596).

Перед нами почти романтический образ “Незнакомки” А. Блока. Но вот писатель переходит к психологическому портрету героини, и первое впечатление дополняется новыми оттенками. Доломанова ещё сохранила прежнюю власть и снисходительную издёвку над своим окружением. Но уже прорывается сквозь эту маску облик падшей женщины, прошедшей через нравственное разрушение: “И вот перед ним сидела иная, бывалая и грешная, с таким каторжным адом в душе Манька Вьюга, что и лучику давнего кудемского полдня не под силу стало пробиться сквозь непогоду её опустошённых глаз” (III, 599).

В сцене разговора Фирсова с Доломановой писатель вводит детали, дискредитирующие былой ореол героини, то впечатление, которое она произвела в начале встречи: “с неожиданной хрипотцой и как бы сверху посо-

ветовала она” (III, 599), “зловеще погрозились Вьюга, кидая под стул окурок” (III, 599).

Отчуждённость Фирсова от своей бывшей героини, нежелание его “раскрывать перед такую свою новую привязанность” (III, 600) показывают, что отношения персонажа и автора исчерпаны. Однако в последнем абзаце писатель делает сильный и точный мазок. Прежние оценки смягчаются лирическим побуждением Фирсова, когда он провожает Доломанову: “С раздвоенным чувством сочинитель проводил её глазами до угла и вдруг, как ей исчезнуть, шагнул вослед раз и другой со странным и тоскливым сожаленьем — то ли удостовериться в чём-то, то ли запомнить ноздрями навеки её пропадающие духи...” (III, 600).

В новом эпилоге Леонов нарушает принятую условность, низводит героиню до полной аналогии её со средой. Теперь Доломанова предстаёт не гордой и насмешливой, а жалкой, заискивающей перед сочинителем. Писатель до предела использует возможности криминального материала для дискредитации героини. Прежде всего, Доломанова появляется в квартире Фирсова внезапно и беззвучно, так что у него даже возникает недоумение, “как постороннее лицо без звонка и стука, с отмычкой, что ли, проникло... сквозь запертую дверь” (662). Описание её поведения, внешности и одежды направлено на то, чтобы подчеркнуть униженное состояние, свести героиню до уровня банальной преступницы, прошедшей через тюремные испытания. “...Немолодая и мучительно незнакомая женщина в фетровой бывшей шляпке, залихватски сдвинутой на бочок, в короткой, с буфами на рукавах старомодной жакетке и в длинной, из жёсткой казенной ткани юбке полутюремного образца” (662). Писатель утрачивает чувство меры и вкуса, наслаивая одно эмоционально-негативное определение на другое.

Создаётся впечатление, что автор мстит самому себе за то, что позволил когда-то создать образ Маши Доломановой, возвысить её, а затем превратить в королеву воровского мира. Он опрощает поведение героини, её манеру и речь, вводит не свойственные ей просторечные формы: “нагляделася” (663), “хотелося” (663), “распознавши” (663) — и одновременно побуждает её говорить сложными книжными оборотами: “Я к тому, что участником вступая в тёмную команду своих книжных персонажей, ты вообще навлекал на себя риск худой развязки” (663). Одновременно автор наделяет её знаковыми атрибутами криминальной среды, обращает внимание “на золотой зубок во рту, признак благоденствия у блатных” (666), указывает на гадкую болезнь её, не позволяющую занять место на диване “из опасения запачкать собою семейную вещь” (662).

Кажется, дальше этого низвержения уже нельзя ничего придумать. “Разрушительный” арсенал использован сполна. Однако, совершая экзекуцию над героями романа, писатель невольно дискредитирует и себя, обнажает нежелание сохранить доверие к созданным образам.

В ситуации с новым эпилогом произошло смещение художественного мира и достоверности уголовной среды, смещение, которое разрушает поэтический мир, но взамен не предлагает ничего равноценного. И причина этого, прежде всего, в желании поставить последнюю точку в долгих раздумьях об истоках и природе русской революции и в условиях 90-х годов отмежеваться от своих прошлых увлечений и надежды на социалистические идеалы, заявить об этом публично через ключевую правку эпилога романа. Но эта правка оказывается не слишком удачным вторжением писателя в роман.

4. Рядом с писателем

Автору статьи довелось быть помощником Л. Леонова в 1990 году при написании нового эпилога “Вора” от первой строки до последней. В процессе его подготовки прихотилось быть не только техническим исполнителем и собеседником писателя, но и оппонентом его художественных решений.

Как-то в начале работы Леонид Максимович заметил: “Мне нужен мужской взгляд, — и, помолчав, добавил: — Без скидок”. Я понял это признание как потребность в объективной оценке, не находящейся в зависимости от его статуса классика. Не могу судить, насколько мог подойти ему в этом плане и оправдал ли надежды. Леонов отличался высокой требовательностью к себе и имел право ожидать от своих помощников адекватной ответственности и полной отдачи.

В это время я подготовил к защите в МГУ докторскую диссертацию по теме “Художественное мышление Леонида Леонова”, в Саратове вышла монография “Мысль и слово Леонида Леонова”. У меня уже имелось определённое представление о его творчестве, которое не могли изменить ни знакомство с автором, ни участие в работе над романом “Пирамида” в 1991/1992 годах. Они могли что-то добавить, расширить представление о личности автора, открыть новую человеческую или бытовую сторону его жизни, но не могли поколебать того, что сложилось из текстового анализа его книг. Автор как сознание, претворенное в творчестве, важнее и истиннее любых других форм проявления его личности.

Более того, мне казалось, что исследователь может знать духовную суть писателя лучше, чем он сам, поскольку имеет дело с сокровенным продуктом его деятельности, видит его поэтическую систему объективно и беспристрастно. Мне представлялось, что литературовед способен открыть художнику какие-то грани его природы, на которые он мог и не обратить внимания или не придать им того значения, которое они приобретают в его произведениях.

Однажды я заметил Леонову, что он *ироник по сути*, что у него ирония – качество диалектического ума, а не разрушительная насмешка над бренностью бытия, что он язвителен, жёлчен, но не жёсток в своей иронии и лишь изредка допускает оскал ожесточения и бунта. Это суждение озадачило писателя. После некоторого молчания он заметил: “Вы знаете, никогда не задумывался над этим... *Ироник?*”. Мне показалось, что Леонов был заинтересован таким соотношением. Впоследствии он несколько раз возвращался к высказанному суждению, как бы стремясь изнутри выверить его справедливость и взглянуть на себя в этом новом ракурсе, чтобы решить, можно ли признать эту мысль как некую данность его личности.

Привожу эту деталь как пример того расхождения, неадекватности восприятия, которое возникает у писателя и исследователя и которое может стать поводом для результативного диалога, увеличивающего взаимное понимание. Разумеется, если оно необходимо или плодотворно для творческой работы. Писатель может многое не знать о собственном поэтическом мире или природе своего таланта. Больше или меньше знание этого вряд ли скажется на его произведениях. И суждения исследователя не играют существенной роли в самопознании художника. Напротив, всё, что писатель говорит о себе как о мастере: о построении сюжета, разработке характеров, об индивидуальных приёмах – имеет важное значение, так как позволяет взглянуть на творчество художника изнутри.

Леонов хотел видеть в своём помощнике не только технического исполнителя, но и собеседника, на котором мог бы выверять прочность своих позиций, точность поставленных акцентов. Он нуждался во вдумчивом соучастнике, способном ставить острые вопросы. Подчас он как бы специально задавал их. “Скажите честно, что Вы думаете об этом?”, “Вы не стали ненавидеть меня за это?”, “Мне нравится, а Вам нет. Почему?” Такие вопросы требовали предельно искренних ответов, и писатель взвешивал их и находил серьёзные аргументы, отстаивающие правоту его взглядов.

Думаю, что Леонов ждал от своих помощников некоего импульса, поддержки, которая должна была подпитывать и укреплять его веру в то, что он движется в перспективном направлении. Более того, в самом рабочем общении изо дня в день в течение длительного времени происходило неизбежное приобщение к творческому процессу, его мукам, напряжению, отчаянию, рождалась внутренняя солидарность с писателем. Но это приобщение не означало растворение в мысли художника или подчинённость его воле. По мере работы неизбежно возникал и внутренний диалог с автором, не исключающий, а допускающий принципиальное несогласие с его творческой волей.

При всём уважении к классику русской литературы XX века, при всем внимании к его суждениям и замечаниям, образ писателя, сложившийся у меня из его книг, оказывался определяющим, служил опорой и отправной точкой в наших отношениях. Я исходил из него и тогда, когда видел, что автор решительно меняет эпилог романа “Вор” и перестраивает его так, что он уже отрывается от романа и становится самостоятельным приложением. В этом плане показательно большое интервью Леонова, специально посвящённое эволюции авторского отношения к героям романа. Только значимость этой темы для писателя побудила его изменить своему правилу и разрешить записать весь разговор на магнитофон.

В то же время он предупредил, что до тех пор, пока роман не выйдет из печати и не появится в продаже, мы не вправе ссылаться на текст нового эпилога, говорить о нём или дать кому-то понять, что знаем его содержание. Вся информация о новом эпилоге должна исходить от автора. И это требование было неукоснительно выполнено в интервью. Все отсылки к новому эпилогу даны со слов автора, а собеседник писателя предстаёт читателем, ещё не знакомым с текстом нового эпилога и оперирующим эпилогом II редакции “Вора”, опубликованным в III томе последнего 10-томного собрания сочинений писателя (1981–1984).

5. Интервью с Л. М. Леоновым 1 февраля 1990 года

– Леонид Максимович! Тема нашего разговора намечена заранее: **“Творческая судьба романа “Вор”**. Исследователи считают, что в Вашей прозе это наиболее глубокое и цельное произведение. Его отличает прозорливость мысли, внутренняя свобода, виртуозность формы. Однако роман обновляется до сих пор. Известны две разные его редакции (1927 и 1959). Затем продолжалась правка текста для каждого издания в Собрании сочинений (1961, 1970, 1982). И сейчас к отдельному изданию “Вора” вы готовите качественно новый эпилог. Возникают естественные вопросы: чем это вызвано? Почему роман “Вор” сопровождает всю Вашу творческую жизнь: с 1925 года по нынешний день?

– Роман “Вор” был начат в 1925 году и закончен приблизительно в 1927-м. Этот роман написан особым образом: его редакции – это не варианты, а постепенные фазы созерцания одного и того же явления. В конце романа, который печатается сейчас в новой редакции, будут указаны даты: 1927, 1959, 1982 и 1990. Четыре фазы. Роман должен читаться и восприниматься одновременно во всех этих фазах. Кто-то писал, что книга не должна исправляться художником после её создания. Она должна иметь одну постоянную редакцию. Я согласен с этим, но в данном случае мне это не удалось. Явления так быстро меняются, в том числе и революция! Многое выглядит миражно: движется стихийно, как облака в небе, которые ходят то на рояль, то на стадо овец. Одно явление предстает в разных формах.

В ряде вещей у меня есть странно предсказанные прогнозы будущего. Их можно заметить, если вчитываться в произведения. Мне говорили, что один из зарубежных критиков... увидел в изложении “Легенды о Калафате” несколько скептическое отношение автора к современности. Это не скептическое отношение, это предсказание. В 1916 году был сделан набросок “Легенды”, а в окончательном виде “Легенда о Калафате” созрела в 1925 году, когда писался “Вор”. Я даже сам не понимаю, почему я взял тогда в качестве героя вора. Это было подсознательно...

В новой редакции 1990 года в эпилоге прямо сказано, что для задуманной операции наилучшим материалом представлялась подпольная... шпана как среда более гибкая для всякого рода остросюжетных комбинаций... В первом варианте Векшин был представлен хоть и романтическим героем, но уже тогда, при этой романтике отношений, замечена была его неразвитость. Скажем, разговаривает он с Анатолием Арапатским в пивной о человеке и затем хватает его за ухо, за нос, тащит вон, издевается над ним за то, что тот не вовремя употребил слово “революция”: за пивом о революции не говорят. Казалось бы, такая требовательность... И вместе с тем, такое хамское отношение к Саньке Велосипеду – своему бывшему ординарцу и его жене, к Балуевой (он живёт за её счёт и называет её хлеб “пищей, бывшей в употреблении”).

Векшин испортил жизнь Маше Долмановой; по его вине она заболела дурной болезнью... Всё это есть уже в первой редакции.

Роман получил хорошие сертификаты. И хотя была рапповская брань, положительные отзывы дали Горький, Воронский. Постепенно у меня стали брать другие вещи... За 30 лет, что отделяют I редакцию от II, выяснились те стороны нашей действительности, о которых мы не знали. В то время они ещё не были обозначены. Это правда о коллективизации и социализации, о разгроме белых, о жестокости к репрессированным и т. д. Но не эти непосредственные причины повлияли на меня, а всё вместе... Изменился политичес-

кий климат эпохи, изменился тонус жизни. Показатели климата стали иными. И тогда зародилась другая редакция.

В ней и в последующих изданиях уже говорилось, что Векшин не пошёл к лесорубам — это была версия Фирсова... Лесорубы были применены автором как “поцелуй в диафрагму”, как счастливый конец. Это требовалось тогда и воспринималось как нормальное явление. Иначе мне бы не дали закончить роман. И кара могла быть свирепой и жестокой. Я избежал этой кары не потому, что закрыл свой слух и глаза. У меня было тайное чувство: нужно сохранить себя для темы, которая нарастала во мне и стала смыслом сегодняшней работы. Эта тема в уме уже с 1939 года, когда роман был задуман, и до сего дня, уже 51 год. Я до сих пор болею ею, она меня не покидает. Литераторы и критики думают, что я замолчал, но эта тема до сих пор на столе, и каждый день я диктую кусочки её.

Итак, *Happy end* в “Воре” стал углубляться. В романе скажется отношение публики и окружающего мира к Векшину. Я повторил дважды одну сцену. В первой редакции, когда упала шляпа Векшина, вся публика, которая сидела и делала вид, что ничего не замечает, бросилась поднимать её. Гипноз личности внушал преклонение перед Векшиным. В последней редакции деталь со шляпой повторяется. Но теперь с ней обошлись жестоко, гадко, с вызовом Векшину, и он уже не мог остановить их своим величием. Всё шло к окончательному развенчанию персонажа. Почему он удостоен такой участи? Почему автору потребовалось планомерное и публичное развенчание бывшего комиссара на глазах у публики?

В окончательной редакции в эпилоге сказано, что автор отправился на Благушу не только в поисках сюжета, но и в поисках более гибких и удобных для автора остросюжетных комбинаций. С воров я могу делать всё... Я попытался сказать об этом ещё в “Половчанских садах”. Но актёры запротестовали: почему такая пессимистическая история, она позорит их клан и т. д. Ситуация с воров давала простор для остросюжетных операций. “Легенда о Калафате” уже вошла в “Барсуки”, и роман был издан. За “Вора” я сел спустя 2–5 года после “Легенды”, которая закончена была в 1922 году. Всё это время продолжалось какое-то внутреннее видение, вызревала внутренняя линия.

В *andante* к этому можно привести такой случай. После публикации “Мироздания по Дымкову” один очень почтенный автор прислал мне свой труд объёмом в 273 страницы, где комментировал мой фрагмент в очень лестных выражениях. Этот труд у меня лежит, и я до сих пор не понимаю, почему он так высоко оценил его. Я очень жёстко отношусь к себе, и самую злую сатиру на себя мог бы написать сам; но я кормлюсь от этого дела и не могу разоблачить самого себя. Поэтому не обольщаюсь ни этими, ни другими суждениями в мой адрес.

Горький однажды написал мне в письме: “Вы разыгрываете тему природы, как Бах...” и т. д. Чтобы делать такие сравнения, должно пройти ещё 200 лет, и тогда будет видно, вспомнят о тебе потомки или нет. Я объясняю эти высказывания другими причинами, свойственными моему возрасту. Когда старый писатель видит, что молодой литератор ещё в полном соку, а он уже чахнет, возникает внутренняя неуверенность в себе, недооценка собственной значимости. Горький был большим художником, и его умаление самого себя несправедливо. Особенно неверна та фраза, которую он сказал мне на прогулке в лимонной роще в Сорренто. Я не привожу её никогда. Помню, сказал её однажды А. И. Овчаренко, когда он пристал ко мне, но вслух её повторять не хочу. Я не воспринимаю её всерьёз. Поэтому мне непонятна усиленная похвала по поводу “Мироздания...”; оно создано клочковато, из всех отвлечённых рассуждений, которые будут в новом романе.

Занятно, что когда Тулкин приехал ко мне, и в разговоре я упомянул о московском резиденте ада Сатаницком и его шайке, занимающейся разложением культуры России, и назвал учеников Сатаницкого, то он сказал: “Ну, да, понимаю. Это эволюция Грацианского и его спутников”. Я не видел этого раньше, но тут уловил, что, наверное, это действительно так. Видимо, есть общая линия зрелости у литератора в середине его пути, которая проходит стадийно и вызывает другие... У каждого автора, мало-мальски стоящего, по-видимому, должен быть закон, по которому все вещи писателя являются набросками и темами к его главной книге. Есть такая главная книга, которая высветит самого себя. Плохо это или нет, но это решит его судьбу: стоит он

чего-нибудь или не стоит. Это последний дебют, концовка. В этом плане судьба Векшина – это развитие дальнейших суждений, внутренних раздумий автора об эпохе. Поэтому в заключительной главе эпилога, которую я закончил три дня назад и отдал в набор, сказано откровенно: Векшин принадлежит к числу азартных честолобцев, проигравших Россию в очко у зелёного стола мирового господства. А так как роман о московском дне жизни пишет Фирсов, а в романе есть ещё один сочинитель, который пишет о том же самом, а в том романе действует свой Фирсов и т. д., то это положение зеркально отражается во всех сочинениях. Раньше вторая редакция кончалась эпилогом (в I ред<акции> его не было), который намечал новую сюжетную линию Векшина. Она вызвала разные толкования и версии будущего развития героя. Исследователи вправе рассмотреть все редакции романа как литературный опыт, как телескопическое наблюдение четырёх глаз-камер за одним и тем же героем...

Векшин не был задуман жиганом. У него были критические и гуманистические раздумья. Но как случилось, что он так бесславно кончил? В старых эпилогах была сцена о том, как Маша Долманова – бывший персонаж Фирсова – приходит проститься с автором. Это переделано. Раньше она оставалась королевой, хотя в ней и проступало что-то зловещее. Теперь она приходит в старомодной жакетке, в юбке тюремного образца, постаревшая, гаснущая. Ей можно надеяться только на койку в общезитии для страдальца. И она говорит о Митьке: “Ему бы после того случая с офицером не в лесорубы, а в монахи записаться надо...” Сегодня процесс, начавшийся тогда, приходит к финалу. Мы видим, что делается в мире, как быстро происходит молекулярный распад того, что строилось 70 лет. Сегодняшняя реальность совпадает с тем, что было предвидено ещё в “Калафате”.

В эволюции “Вора” мы видим ретроспекцию движущихся персонажей, где все условия заданы изначально. Я не имел права менять сюжет, но я имел право менять эпилог. Все данные для развенчания Векшина были заданы в I редакции. Зло Векшина в отношении Саньки Бабкина, Балуховой и Маши Долмановой... – всё это было сказано уже тогда, но теперь я поднёс лупу и через увеличительное стекло рассмотрел главные узлы романа. Как мне это удалось, я не знаю, откровенно говоря, не читал вторично романа. После первой корректуры жена не давала мне читать... Она знала, что я сразу начну жестоко править... Сейчас у меня более устоявшийся взгляд на это дело. Замысел может оставаться прежним, но технологическая часть работы меняется. Если вас может заинтересовать эволюция героя на фоне эпохи, если эта тема в Ваших глазах заслуживает внимания, то придёт бдительно посмотреть все варианты, особенно концовки. Я ни в коей мере не связываю эту тему, но я подумал, что рассмотрение её может оказаться любопытным в тех концептах, о которых я говорю. Судьба Векшина в контексте эпохи многое открывает в нашем сегодняшнем положении.

– **Года три назад на конференции в МГУ я задал вопрос М. Бабовичу и Л. Ершову: “Нужно ли соглашаться с писателем в такой решительной дискредитации Векшина?” Мне кажется, уже в редакции 1982 года возникает противоречие между Векшиным, который держит на себе груз философских проблем, и низвержением его до уровня пахана.**

– Не пахана даже, а барыги. Пахан – не то слово.

– **До тех пор, пока Векшин был жертвой исторического развития, он мог быть эпицентром вопросов, но на уровне заурядного вора он утрачивает философский смысл. Нет ли здесь противоречия героя и авторской воли?**

– Каким образом произошло, что когда Сулов умер, он оставил 1 млн 400 тыс. рублей наследства? Говорили, что у Гришина громадные деньги в швейцарском банке. У Чаушеску оказался миллиард в швейцарских банках. За Живковым тоже числятся нехорошие дела. Почему они все чувствуют себя узурпаторами? Почему они чувствуют, что придёт день, когда надо расплачиваться, и потому копят деньги на чёрный день? Дворец Чаушеску полон сокровищ, картин, мебели, обставлен так, как не было это у Николая II. Чем вызван их страх перед будущим? Ощущением непрочности системы, к которой они принадлежат. Они сами в неё не верят. Не зря же Ленин уже в конце 1923 года сказал секретарше, что мы провалились. Но Сталин ещё 70 лет тянул эту гемофилию русского народа. Кровь наша текла в Анголе, Мозамбике, в Эфиопии, на Кубе, в Никарагуа, в Камбодже, Бирме и Таиланде. В Бирме

Хрущёв построил гостиницу, стадион и др. за 40 млн долларов. В Непале мы строили дороги. Почему нужно было русским рабочим строить дороги в Непале, почему в Алжире русские саперы разбирали минные поля? Почему довлеет ощущение непрочности нашего пути? Поэтому под поверхностью Векшина-комиссара находится какая-то другая фигура, свойственная, может быть, вообще человеку. Возьмите лагерную жизнь Архипелага... Русские конвоиры, русские начальники лагерей, а какие зверства творились! Откуда эта жестокость под прикрытием якобы гуманитарной идеи? Она не гуманитарна, потому что утопична. Она была создана на неизмеримо меньшем количестве координат, чем строится нормальная жизнь, структура рабочего человека. Эта идея построена на желудке и пищеварении человека, а не на его потенции, сердце и нравственности. Без Христа! В чём дело? Что происходит с нами? Если вы зададите этот вопрос самому себе, я не знаю, что вы ответите, согласитесь со мной или нет. Если не согласитесь, то нужно считать, что автор недостаточно убедительно рассмотрел своего героя. Но роман до сих пор читается, и в продаже книг моих нет.

– **Мне кажется, что опрощение Векшина в романе снижает его философский смысл. Я не хочу лукавить перед Вами, говорить не то, что думаю сейчас. Мое субъективное мнение таково: “снижение” Векшина дошло до предела, и если его продолжать дальше, роман не выдержит. Он сломается.**

– Вы помните эпизод, когда Маша Доломанова говорит, что Митька докатился до ямки после ночной расправы. Это убийство произошло без церемоний старинного поединка. В новой редакции Доломанова говорит: “Ему бы после того случая не в лесорубы, а в монахи записаться...” А он дошёл до того, что молодые урки у него же на квартире втихую зарезали его – барыгу и паука. Вот концовка Векшина. Жестокая концовка! Но по всему, что исторически содеяно им, он этого заслуживает.

– **Не будет ли это художественно проигрышный вариант, подобно тому, как у Горького есть вариант конца, где на Клима Самгина наступают, говоря: “Уйди, гадина” и т. д.? Но Горький не включил этот прямой линейный вариант в окончательный текст.**

– Историческая расправа всегда бывает жестокой.

– **Но возникает вопрос о художественной целесообразности такой расправы.**

– Нет, я не вижу возможности оставить Векшина в живых. Для чего? Что он будет делать?

– **Но ведь он должен решать проблему, как жить дальше. Он уже исчерпал себя на прежнем пути. Я понимаю редакцию романа 1982 года так, что Векшин исчерпал своё прежнее состояние и подведён к тому, чтобы искать выход из тупика.**

– Выхода нет и не может быть для него! Есть для Сталина выход? В чём? Даже зададим себе такой проблематичный в историческом плане вопрос: для Ленина есть ли выход, если в 1923 году он заявил, что мы провалились? С согласия Ленина убивают царя. Нужно ли было делать это? Согласие он дал и ушёл с голосования. Сказал: “Да, да, да, я понимаю”. Но внутренне сознавал ошибочность этого решения. В акте расправы Векшина над офицером есть та же бесчеловечность, что и в убийстве Николая II и его семьи. Даже детали общие. Сейчас известны новые подробности о расстреле царя. Там сказано, что когда расстреляли всех и стали грузить на носилки, одна из царевен (она уже прострелена была) поднялась и закрыла лицо руками. И тогда солдат (Ермаков) проколол её несколько раз штыком на носилках. Это страшное убийство! На этом фоне эпохи поразительна судьба Чаушеску. В последние годы он вызывал недовольство народа и был расстрелян. Но судили его неприглядно. Чаушеску говорил, что он ответствен только пред народом и народным собранием... Я не знаю, как поставить вопрос для разрешения проблемы. Я не вижу оснований для литературной пощады Векшина. Весь опыт нынешней утопии и её доктрины подводит меня к суду над Векшиным. Маркс писал, кажется, Плеханову, что его доктрина не приложима к России.

Вы представить себе не можете, какой была Россия! Два сибирских уезда поставляли сливочное масло на всю Европу. С серпом, на Сивке-Бурке мы кормили хлебом пол-Европы! Какая была громадная Россия! Я помню прежнюю Россию, помню, каким был крестьянский уклад, как мы встречали пра-

здники, как жили люди. Я писал “Барсуки” по своим воспоминаниям. На лето нас увозили в деревню к дяде в село Полухино Псковской губернии. Я недавно съездил туда (снимали фильм обо мне) и ужаснулся. Поля зарастают берёзкой, кустарником. Сорняки вот такого роста. А раньше здесь рожь стояла. Вот такая! А у немцев в колонии (там поселения были) рожь вот такая была! В селе устраивали ярмарки, свадьбы – и какие! А теперь я приехал в деревню – ни одного дома. Вышел на горку, смотрю: Белянки было село – нету, Кобелево – село рядом – нету, Алтухово – нету. Посмотрел вокруг – пустой горизонт. Ничего нет. Ближайшая деревня – совхоз в 12 километрах. Для того чтобы здесь сеять, нужно или возить каждый день автобусом бригаду рабочих, или строить избы, а избы из чего строить? И кто их будет строить?! Колодцев нет. Их надо копать. Дикая страна стала. Пустыня. С кого спрашивать? И какую придумать кару за весь этот разор? Покачать головой: “Ай-ай-ай”, – и дать 15 суток милицейских улиц подметать?

Мы проиграли России у зелёного стола мирового господства!.. Я не решаю историю и не берусь писать её: я слишком мало знаю для этого. Новая редакция “Вора” – это попытка при помощи того инструмента, которым я располагаю (кустарного инструмента), вывести заключение. Всякий мало-мальски мыслящий человек пытается понять, что же происходит на свете... Хонеккер, конечно, не был хапугой. Он был честный человек, сталинист, в Москве жил при Сталине и уже арестован был, в тюрьму отправлен и осуждён. История жестока. Вчера один болгарин рассказывал мне по телефону, что он видел в Бухаресте не только расстрелы, но и виселицы, на которых вешали коммунистов. Это мартиролог. Какая ненависть к доктрине и её представителям! Взрыв обнажает суть... И что в наше время я могу сделать с Векшиным? Пустить его в лесорубы?

– Но ведь Векшин находится в том историческом мышлении, он не может перескочить к нам, в сегодня. Он на том историческом уровне должен решать эту проблему.

– Когда Векшин брался за решение проблемы, он должен был понимать, за что он берётся!.. И что произошло в результате его деятельности... В 1915 году был призван работников второго разряда на войну. Пошли мужики ростом под дверь, с могучими руками, громадные, русые, с голубыми глазами, с бородами, и их – 500 тысяч сразу – переломали, перерубили на Высотских лесах в Софроновской армии. А я был мальчишкой пятнадцати лет, закрылся в уборной во дворе и плакал. Даже я понимал, что такое 500 тысяч! Вот какие мужики были. Опора России. А сейчас во что это выродилось!.. Где мужики? Получилось, что голову отрубили – интеллигенцию. Ноги Антею, которыми он касался земли, отрубили. Осталось туловище с руками. (Это говорю не я, это говорил академик Кольцов – генетик, именем которого сейчас назван институт.) Сейчас туловище руками машет, старается, но головы нет. Отсюда разброс мнений и полная неясность...

Я боюсь, я со страхом думаю (притом я понимаю, насколько недостаточно моё суждение сегодня), что когда молодёжь придёт к власти на местах, начнёт делать деньги, осуществлять прагматические установки, начнётся всеобщее ожесточение... Наша интеллигенция вся выбита, умные люди вынуждены бежать за границу, у нас некому думать. Мы не можем найти выход из положения. Все говорят разные вещи. И полная неизвестность впереди. Как здесь поступать? Где взять ответы? А ведь на этого молодого человека на местах ляжет транспорт, больницы, торговля, дороги, которых нет, поля и разрушенное земледелие. И мужика нет! Арендаторам и кооператорам уже сыплют битое стекло в сено, сжигают их коровники и т. д. Кто будет спасать Россию? Ведь если опять начнётся гонение на интеллигенцию, она сбежит в Америку. Всё молодое сословие, лишённое патриотических чувств, готово бросить всё к чёртовой матери... Я в прошлый раз говорил Вам, как решалась эта проблема в пьесах: в “Нашествии”, в “Метели”... Я спрашивал в них, как мне поступать, если Отечество стреляет мне в грудь. Во время войны надо было оставаться на месте: нельзя бросать Родину. А если нет войны (и жить невозможно), я должен сказать: я уйду от них. Всякий молодой человек, у которого есть талант, уйдёт туда. Он будет пользоваться уважением, обретёт достоинство. А здесь он труп. Мы катастрофически падаем. Это очень сложные моменты. Я не ставлю их как обвинительные пункты; это – контекст, над которым приходится думать. М. Горький как-то назвал меня лучшим сюжетчи-

ком в Советском Союзе. Я сюжетчик и ищу сюжетно, как вывернуться нам из этого тупика...

– **Вы не видите для себя в Векшине никаких положительных качеств?**

– Он мне ничего не показал.

– **Не видите ничего?**

– Нет. Он был комиссаром. Этих комиссаров я видел и на уровне таких, как Ворошилов и Пятаков... Они казнили людей за неверие в силы рабочего класса, выгоняли из партии, расстреливали. За слово “патриотизм”, “Родина” сажали. Когда я писал “Дорогу на Океан”, у меня была там фраза: “прелести нашей русской зимы”. Я отложил перо и 15 минут думал, можно ли говорить слово “русский” или нет. Что с нами сделали! Когда “Русский лес” вышел, в Союзе писателей с помощью К. Паустовского учинили судилище и три дня ругали роман. В ЦГАЛИ есть стенограмма заседания со всей этой бранью. Я туда не ходил, но на последнем решил оказать честь, пришёл и сидел, как на казни, на лобном месте. А потом через три дня звонит один товарищ и говорит: “Ты же умный человек. За каким чёртом ты назвал “Русский лес”! Сказал бы “Лес” или “Гибель леса”. При чем тут “русский”! Зачем гусей дразнить?” Вот такие вещи происходили. Поэтому я должен волей-неволей обдумывать свои слова. Я помню статью Сосновского (партийного критика) в “Труде”. Смысл её таков: поработали мы над тобой, Расеюшка, положили тебя в гроб, наконец-то ты нам досталась... А какие слова произнёс Каганович, когда взрывал Собор? Их невозможно произнести. Немыслимо. Как же можно после всего этого простить Векшина? Куда он может податься?

Есть такой писатель Дудочкин, Пётр Петрович. Маленький литератор, честный, хороший старик. Живёт он в Твери (нынешний Калинин), книжка у него вышла. Это было, рассказывал он мне, лет 8 назад. Пошёл он в обком подарить её секретарю обкома. Тот принял его:

– Садись.

– Я вот книжечку написал. Здесь надпись для Вас.

Тот посмотрел и сказал:

– Много загреб?

Разговор с литератором! Николай I мог ли так говорить с Пушкиным? “Много загреб!”... Я помню, что мне говорил однажды Еголин в пьяном виде... А незадолго до смерти мне позвонил Завадский и сказал: “Л. М.! Я сейчас читаю стенограмму партсъезда...”

– **Какого партсъезда?**

– Когда били наших попутчиков, нашёлся человек, который написал, что попутчики разные бывают, оттенки у них разные и нельзя всех грести под одну лопату. И Киршон, заместитель Авербаха по РАППу, выступал на этом съезде и сказал: “Вот! С нас требуют ещё оттенки. А, по-моему, чем рассматривать оттенки, лучше их поставить к стенке...”. Овации, гром! Как оправдать такие вещи! Они и довели Россию до такого состояния. Ведь мы сейчас накануне рабства стоим. Тракторов не хватает, лошадей нет. У нас некому телегу построить. Хомут некому связать. А Вы знаете, что такое хомут? Это сложное архитектурное произведение, такое сложное, что, Боже мой, как надо учиться, чтобы суконце сложить, чтобы не терло шею... Хомут – сооружение, которое отшлифовывалось тысячелетиями. Как восстановить опыт человека? С какого конца подходить? Как Дух Божий вложить в этого покойника! Сложно, очень сложно. Отсюда и осуждение Векшина.

– **Значит, проблема в том, насколько органична революция историческому развитию русского народа. Если органична, тогда многое можно ещё как-то простить и решать дальше. А если нет...**

– Менделеев пророчил, что к концу XX века русская нация вырастет до 500 миллионов. А что говорил Столыпин!.. Сейчас на компьютерах просчитали, что было бы с Россией без революции... Как быстро мы шли в гору. И что у нас сейчас? Ничего! Нам нечего есть. И что будет завтра – неизвестно. Вот сейчас случилась в Англии беда. Страшный ураган. 1 миллиард 100 тысяч убытка. 500 тысяч домов остались без света. Мосты закрыты. Парламентарии собрались, пошёл дождь, крышу сорвало, полетели куски цемента и т. д. Количество жертв не учтено. И до сих пор молчат. Однажды только обмолвились, что ввиду того, что при непогоде повредилась антенна, передача на этой волне может быть с дефектами, и, на всякий случай, переключи-

читесь на другую волну. А в печати молчат о беде! Значит, уверены: поправят — и всё будет в порядке... А у нас что творится сегодня?... Вызываю водопроводчика: он полчасика крутится у крана и уходит обратно: ничего не может сделать. А если у нас взорвут воду! На улицах будет седьмой век! У нас сейчас режут по ночам, разбой... Мы до сих пор не осознали нашего трагического положения. Сегодня необходимо думать во всю силу... Наша эпоха готовит нам жестокие сюрпризы.

— **А как быть с Агеем Столяровым? Ведь он надламывается от насилия войны. Он не имеет никакого отношения к революции.**

— Да, Агей — сломленный человек. Он научился легко убивать... В Братиславе мне рассказывали, что после войны начался большой разбой. Люди приучились легко убивать. Всаживаешь пулю, человек падает и умирает. Началось массовое привыкание к разбою. Потом в Югославии Тито ввёл на рынках в некоторых городах публичное повешение. Сразу как рукой сняло... Из атмосферы насилия вышел такой продукт, как Агей. Он живёт в тёмной комнате. Не может видеть света. Это для Вашего раздумья. Мне интересно, к какому заключению Вы придёте.

— **А другие персонажи в последней редакции “Вора” не меняются?**

— Судьба Манюкина, кажется, меняется. Но я не помню в деталях. После написания романа я его не перечитывал.

— **С Манюкиным Вы сделали странную вещь. Возникла амбивалентная ситуация. То ли он вернулся живым, избежав смерти, то ли он вернулся мёртвым... Это условный приём, своеобразная игра с читателем?**

— Эти игровые вещи у меня везде есть. В новом романе они будут сложнее. Там будет совершенно иное построение действительности.

— **Это объясняется сюжетными задачами? Интригой?**

— Нет, не интригой. Это объясняется тем, что материал сегодня расплывчат, неопределён, его не схватишь. Он ускользает, меняется на глазах. Нет слов, которыми можно охватить действительность. Чтобы передать её, нужны условные формы, близкие не то чтобы драматургии абсурда, но допускающие вторые планы, когда можно предположить разные истолкования.

— **Мне кажется, что в “Воре” использована своеобразная игра с читателем. Вначале делается один вариант происходящего, затем оказывается, что эта версия Фирсова, и далее следует авторский вариант. Но чаще всего он художественно беднее, ограниченнее, хотя и реалистичнее. Мне кажется, Вы оставляете читателю право из двух предложенных вариантов выбрать свой или создать из них третий?**

— Вообще говоря, искусство автора в значительной степени зависит от того, сумеет ли он привлечь в сообщники читателя. Если это так, то автор может быть скуп на слова, может обрисовать только координаты явления, а читатель допишет остальное. Может быть, этим объясняется могущество наших предков, о которых я сказал: “Мы не можем знать, кто в наших креслах сидел раньше”. И когда мы думаем о стариках прошлого века, то, Боже мой, как они умели это делать!

— **Это игровое начало сознательно планируется или возникает независимо от Вас?**

— Оно происходит не только сознательно; сама технология писательства требует этого от меня. Я сегодня диктовал одно место. Там есть персонаж, с которым я разговариваю. И вдруг он странным образом произносит одну фразу. Я думаю, откуда она у него взялась? Я даже подозреваю, откуда он это знает. И подозрение это очень нехорошее: а вдруг я разговариваю с самим собой? И мой персонаж высказывает мои собственные суждения. Такая деаура расширяет перспективу. Снимая лишнюю стену, я хочу взглянуть на то, что таится там. Необходимо уплотнять повествование. У меня в пьесах герои даже не здороваются. Мне не хватает времени, чтобы они здоровались. Плотность сюжета требует, чтобы в приветствии или в пустяшном разговоре я успел рассказать, какие у них отношения внутри, что они за люди. Я могу привести пример блестящей экспозиции в пьесе Гоголя “Ревизор”:

“— Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор.

— Как ревизор? Как ревизор?..”

Это гениально! И ревизор гениален, и игроки!

– Я встретил мнение одного критика. Он считает, что Грацианский и Вихров – ипостаси одного образа, одной души автора, что автор персонифицировал разные грани своего “Я”.

– Я боюсь комментировать это. Я не знаю. Когда автора спрашивают, как он делал произведение, и он частично рассказывает, то он всегда высказывает только концепцию, общий замысел. Он делает общий вывод из того, что он создал. Он вам рассказывает не причины, а своё личное мнение... Художник представляет Вам кусок материала. А что там внутри, вскрывайте сами, делайте выводы. Я весь в вашем распоряжении. Вы вправе написать обо мне любое мнение...

– Меня интересует взгляд писателя изнутри, то, как Вы сами это видите.

– Я думаю, что, в конечном итоге, всё это маски автора...

Возможные маски автора... А то, что варится там, внутри... Чёрт знает, что там варится. В котле этом...

– Вы сказали, что могли бы написать самую злую статью о том, как происходит творчество...

– Нет, не творчество, а о себе самом.

– Я так понял, что “из какого сора / растут стихи...”?

– Нет, о себе самом, потому что настоящий автор пишет не для читателя. Единственный подвиг такой – это подвиг Достоевского, который писал для читателя, потому что надо было жить. Это ущемляло его гениальность, мешало кое-что довести до высшего совершенства. Достоевский – абсолютно гениальный человек... Автор пишет всегда для себя. Он делает отчёт самому себе. Когда кустарь работает на публику, он знает, что публика сожрёт все. Ей и Зощенко нравится, и другие авторы: Сельвинский, Гладков и др. Покупают книжки, читают. Но когда автор пишет для себя, он знает, как надо писать. И если он – понимающий человек, он сознает, что чистый лист бумаги – потенциально гениальное произведение. Исписанный лист бумаги есть испорченный лист, потому что всегда можно сделать лучше. Даже у Пушкина можно найти неточности:

*И он мне грудь рассёк мечом
И сердце трепетное вынул,
И уголь, пылающий огнём,
Во грудь отверзтую водвинул.*

Слово “грудь” употреблено два раза. А этого можно было избежать. Пушкин мог бы сказать: “И он меня рассёк мечом, / И сердце трепетное вынул...” В этом случае повтора нет. Но Пушкин этого не сделал. Это субъективное замечание о том, как можно придираться к художнику. А ведь “Пророк” – это ювелирная пушкинская работа. Божественная. А какая гениальность заключена в “Пророке”! “Духовной жаждою томим, / В пустыне мрачной я влачился...” Ох, как здорово! С захлёбкой даже. Кажется, хочется сказать: “Полдневной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился”. Но Пушкин пишет иначе: “Духовной жаждою томим...” Мощно сказано. И это слово: “Влачился...”. Как ёмко и точно!

Достоевский любил прийти в аудиторию и читать стихи. Как-то в МГУ я сказал, что есть понятие “покойник”, которое можно обозначить разными словами: мертвец, утопленник, усопший... Ещё как-то. Но есть слово “труп”. Слово полицейское, грубое. Труп – почти разложившееся тело. Его даже Божьим словом не воскресишь. Когда Толстой говорит “Живой труп” – это ужасное название. Так написать Толстой мог только в конце, когда пропадает нюх. Пушкин это слово употребил иначе: “Как труп, в пустыне я лежал...” Это ниже “до”. А дальше:

И Бога глас ко мне воззвал:

И верхнее “до”:

*Встань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.*

Как гениально! Нельзя представить большую степень падения: рассечён, как труп, и Бог говорит: “Восстань, пророк, и виждь, и внемли”. Аж до мурашек здорово! Да...

— **Леонид Максимович! Я всё же не могу согласиться с вашей оценкой Векшина. Ведь он неоднозначен. Даже “железность” его неоднозначна. В ней есть бесчувствие и одновременно сопротивление мещанству, быту.**

— Что подкупает в Векшине — это необходимая телесная обстановка. Возможность понять его... Мне рассказывали, что когда Берия расстреливали, он сапоги лизал и умолял оставить его в живых. Тут тоже можно вникнуть и найти объяснение. Всё было... Я помню, с каким отрицанием относились к Николаю II, когда революция была, он арестовывал и т. д. Всё понятно. Мы так воспитаны были. Длительная полутораветковая подготовка была подложена под это отношение. Умная, хитрая подготовка. Рассказывают, что при расстреле в нижней части стены было больше пропущенных пуль, чем в верхней. Значит, они уже лежали, а по ним ещё палили и палили... Когда привели Николая II и объявили, что сейчас приговор будет приведён в исполнение, все достали револьверы, и он от первого выстрела в грудь упал на нары. От первого выстрела. На глазах отца застрелили четырех дочерей и большого сына, которого несли на руках. Всё это по-человечески жалко. После этого рассказа я увидел удивительный сон (не буду рассказывать). Войдите в положение отца. Можно понять и пожалеть. И Векшин сделан из человеческого материала, из мякоти и тела. И когда он жестоко убил офицера, мы не принимаем этого. Но Фирсов в авторецензии критически относится к себе и осуждает свою двойственность. Там сказано: “Вы, Фирсов, шли в светлое будущее пятками вперёд, а смотрели назад, на покидаемое навеки, и шепотку его, как ладанку, пытались унести с собой”. Он осуждает нерешительность Фирсова. Он говорит: “Вы описали расправу Векшина над офицером как убийство, тогда как это был нормальный акт классовой борьбы в наше время”. Вот так взять и разрубить человека! Так убивали многих. Десять тысяч казаков поставили к стенке и расстреляли из пулемётов... О, Господи! Тяжкие грехи наши. Боже мой!

— **Но возникает вопрос, как же выходить из этой ситуации, где опора и надежда?**

— Я не знаю, как Вы к этому относитесь, я недавно написал маленькое словцо в “Литературную Россию”. Там сказано было, что единственное слово, которое может вдохновить нас на титанический подвиг воскрешения Родины и Отчизны, — это слово Россия. Хватит ли этого чудодейственного слова, чтобы воодушевить уже апатичное тулово с руками, без головы и без ног... Оно способно даже и воскресить. И ещё второе слово — “Бог”.

— **Вы говорили его прошлый раз. После нашего разговора я принимал экзамен у студентов 5-го курса разных национальностей (русские, татары, башкиры) и у многих спрашивал: “В чём Вы видите выход из тупика? Верите ли Вы, что религия может вернуть нравственность?” Они считают, что в этическом плане религия важна. Но в принципе она не принесёт спасения.**

— Видите ли, в чём дело... Я говорил ещё 20 лет назад, что начало XXI века будет озарено громадным возрождением религии. И я ошибся. Это началось раньше. Мы ещё не дозрели до конца. Мы не дозрели до кондиций, на которых надо проявлять христианское милосердие для Запада. Но мы дозреем до этого. Вот мы сейчас с Вами разговариваем, чаёк будем пить и т. д., но мы дозреем до того конца, когда небо с овчинку покажется. И тогда волей-неволей воскликнешь: “Господи!..” Кресло будет в Бога верить, портфель будет в Бога верить! Где найти выход, если всё нельзя?

— **Вы это слово “Бог” в заметке не написали? Его изначально не было в тексте?**

— Нет, не писал. Это скромное, интимное слово, его ещё рано говорить.

— **По-моему, обращение к Нему превратилось в скоропалительный отчаянный шаг.**

— Видите ли, как в природе есть самоочищение, так и в обществе, и в человеке эта потребность неуничтожима.

Слышится голос:

— Чай готов.

— Сейчас идём.

6. Фетишизация персонажа

Обстоятельный разговор с Леоновым завершён. Писатель раскрыл итоговые представления о своём романе и судьбе героя. Он подвёл черту под многолетними творческими исканиями, охарактеризовал трагизм национальной истории и вину тех, кто “проиграл Россию в очко у зелёного стола мирового господства”.

И всё же аргументы писателя не развеяли сомнений, не убедили меня в правоте авторской интерпретации героя. Из интервью видно, что Векшин, предстающий в сознании Леонова, не согласуется с персонажем романа, который живёт своей жизнью, не зависимой от автора. В 1990-е годы писатель увидел в нём универсальный образ, ответственный за все испытания, которые выпали на долю России в XX веке. В его трактовке Векшин – знак беды, знак национальной катастрофы, источник прошлых и грядущих ошибок. Однако подобная мифологизация образа вряд ли корректна и справедлива.

Как социально-исторический тип 1920-х годов, Дмитрий Векшин несёт на себе печать тяжёлого наследия: недостаток культуры, самонадеянность, неразвитость самосознания. И это делает его знаковой фигурой, отражающей противоречия того времени и способы борьбы за преобразование России. Но и при всех своих характерных недостатках он не может нести ответственность за идеологию революции и социализма, за всё то, что происходило позднее, в 30–80-е годы. Подобная фетишизация персонажа могла сложиться в сознании автора, но уже вне романа и помимо его конкретного содержания.

Почему так произошло? Объяснение этому найти можно. Центральная тема Леонова – судьба России и революции. Она проходит сквозь всё творчество писателя как внутренняя боль за положение народа, как ощущение того, что путь революции может обернуться крушением страны. В конце 80-х годов, когда надежды писателя на будущее России угасали, он выразил итоговые суждения через Векшина, который стал средоточием авторской позиции, героем, отвечающим за всё.

Характерно, что в “Пирамиде” при изображении Сталина писатель не допустил упрощения образа вождя и его роли как государственника, не возложил ответственность на него за крушение великой державы. Леонов попытался понять философию, стратегию и логику политического поведения руководителя страны накануне мировой войны. А теперь Векшин должен держать ответ за все беды... Герой “Вора” ввергнут в революционное насилие не по своей воле, а в силу обстоятельств. И он не только инструмент политических идей, но и жертва “несбыточных людских мечтаний” (661), которые питали миллионы простых людей России. И когда новым эпилогом Векшин низводится до уровня пахана и урки, он вообще лишается права отвечать за прошлое.

В диалоге писателя и исследователя последнее слово всегда остается за художником. Он автор поэтической реальности, хозяин своих творческих решений. Его воля священна для всех. Исследователь же – только интерпретатор, смотрящий на произведение художника со стороны. Однако всегда незримо присутствует и третья сторона – читатель, который не зависим и который вправе не знать всех сложностей авторской эволюции. Его отношение будет определяться тем, насколько верно отражены проблемы, волнующие современников, настолько глубоко и точно раскрыты характеры и логика их поведения. Наконец, насколько выдержан стиль произведения, тот поэтический тон, который пронизывает его от начала и до конца. И невольно вспоминается отзыв И. Бунина о рассказе К. Паустовского “Корчма на Брагинке”. В открытке, посланной советскому писателю в 1947 году, говорилось: “Дорогой собрат, я прочёл Ваш рассказ “Корчма на Брагинке” и хочу Вам сказать о той редкой радости, которую испытал я: если исключить последнюю фразу этого рассказа (“под занавес”), он принадлежит к наилучшим рассказам русской литературы. Привет, всего доброго! 15. IX. 47. Ив. Бунин”⁷.

И. Бунин с его взыскательностью и чувством слова увидел искусственность в дежурной оптимистической фразе, которая нарушала общий тон рассказа. Эпилог “Вора” – это не одна строчка рассказа, а ключевая вставка в давно написанный роман. Способна ли она принципиально изменить сложившиеся образы героев, развернуть их в том направлении, которое возник-

⁷ Цитирую по: Литературное наследство. Т. 84. Иван Бунин. Кн. 2. М., 1973. С. 495.

ло через 30 лет, воспримет ли читатель новый ракурс как естественное продолжение романа? На этот вопрос может ответить лишь время. Сам Леонов надеялся, что читатель поймёт его правильно и примет новый эпилог как итоговую волю автора⁸. Но оправдаются ли надежды писателя? И есть ли для этого необходимые основания?

Роман «Вор» (II ред.) при всех последующих изменениях после 1959 года всё же сохранил цельность и законченность. Новый эпилог 1990 года явился актом авторского вторжения в прежний текст. Вполне возможно, что читатель просто отстранит эпилог от романа и отнесётся к нему, как к добавлению, возникшему за пределами самого произведения.

Недоверие автора к созданному произведению, неудовлетворённость собой и потребность досказать нечто новое, кажущееся теперь самым значимым и окончательным, естественны для художника. Они служат побудительным мотивом творчества. Но перестройка готового произведения чревата серьёзными осложнениями. Прежняя поэзия произведения может оказаться под ударом, а новый поворот – несоразмерным созданному творению.

Призрак высшего совершенства всегда витает над художником. Он является его болью и радостью, служит силой, побуждающей к творчеству, к бесконечной переделке уже готового произведения. Но созданное и отпущенное на волю творение уже не принадлежит автору. Оно живёт своей жизнью, над которой он не властен. И эту поэтическую реальность невозможно вернуть на рабочий стол для дополнительного исправления.

⁸ Л. Леонов отвергал любую возможность упоминания о прежнем эпилоге (в примечании или авторском пояснении).

ВЛАДИМИР ДЕСЯТНИКОВ

заслуженный деятель искусств России

О “ПИРАМИДЕ” Л. М. ЛЕОНОВА

Пирамида как емкий символ созидания – на века и даже тысячелетия – впервые встречается в декабре 1927 года в письме Леонида Леонова из СССР в Италию Максиму Горькому:

“Я всё больше (хотя и с запозданием) прихожу к мысли, что теперь время работы с большой буквы. Работать надо, делать вещи, пирамиды (выделено мной. – **Вл. Д.**), мосты и всё прочее, что может поглотить у человечества скопившуюся силу. России пора перестать страдать и ныть, а нужно жить, дышать и работать много и метко”. Сам он в то время “без отрыва сидел за столом, по-азиатски, по 12 часов в день – работал”.

Шесть орденов Ленина заработал от Советского правительства Л. М. Леонов. Ни у кого из писателей не было столько высших наград, даже у генералиссимуса И. В. Сталина и маршала Г. К. Жукова было меньше орденов Ленина, чем у Л. М. Леонова. Но, наверное, также ни у кого из писателей не было и шести выписанных ордеров на арест, как у Леонова. Слава Богу, Сталин понимал, кто такой Леонов, и не позволил его арестовать. Леонид Максимович не раз мне говорил, что именно Горький в его присутствии отрекомендовал в 1931 году Сталину: дескать, этот молодой человек “без сомнения, является одной из самых больших надежд русской литературы”. Словом, выдал охранную грамоту на всю жизнь.

Могу назвать имена тех, дело которых, по слову Горького, продолжал Леонов: Пушкин, Грибоедов, Гоголь, Достоевский, Тургенев, Толстой. Всё это так, но ведь после ухода Горького для писателей жизнь круто изменилась.

“Сам себе станешь партией”, – писал о себе изрядно политизированный, воевавший с Папой Римским, императором, чванливой знатью великий Данте Алигьери. И ещё процитирую классика:

*Для лучших вод подъямля парус ныне,
Мой гений вновь стремится свою ладью,
Блуждавшую в столь яростной пучине...*

Божественная комедия. Чистилище.
Песнь первая.

Это я к тому, что всё больше и больше утверждаюсь в давней мысли: Л. М. Леонов в своей “Пирамиде” спустя шесть с лишним веков после Данте развернул не что иное, как русские Ад и Чистилище в их советском варианте, и всё в одной книге. Леоновское творение – это опрокинутая вниз пира-

мида — преисподняя, спускающаяся уступами в бездну. А что касемо Рая, то он, известное дело, в перспективе и на небесах.

Задуманный Леоновым роман мыслился как рубеж, и по предчувствию, — может быть, даже последний.

*Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу...*

Божественная комедия. Ад.
Песнь первая.

Весной 1300 года, когда Данте приступил к своей “Комедии” (позднее названной Божественной), ему было тридцать пять лет. Леонову, начавшему свой роман (позднее названный им “Пирамидой”) в 1940 году, немногим больше — сорок один. Оба были гонимы. Данте ещё смог уехать из родной Флоренции; Леонову после Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) о “клеветнической” пьесе “Метель” оставалось только сухари сушить да чёрного ворона ждать, ложась спать не раздеваясь. Думаю, что “лес” Леонова был намного сумрачней Дантова.

И у Пушкина, и у Гоголя были дантовские реминисценции. Так что ничего случайного нет и в том, что советский писатель Леонов, читая “Божественную комедию”, делал свои заметки на полях, и строгий профильный портрет Данте в шкафу за стеклом был как раз напротив его рабочего стола. О многом говорящая деталь. Кстати, в одном из писем Горькому Леонов вовсе не случайно заметил: “Есть особая <...> литературная философия людей, явлений, событий”. И далее в этом “величественном ряду” первым назван Данте.

Уже после войны Леонов побывал в качестве корреспондента “Правды” в Германии, неподалеку от Гамбурга, в Люнебурге, на процессе над палачами местной фабрики смерти — концлагеря. “Ализариновые чернила и человеческая речь бессмысленны передать длительное ощущение душевной отравленности, полученное нами при посещении этого места, — свидетельствует Леонов. — Сам Дант не рассказал бы больше, если бы его послали бы сюда корреспондентом”.

Эпоха, в которую жил автор “Божественной комедии”, несмотря ни на что, сулила человечеству во всех смыслах Возрождение. А на рубеже третьего тысячелетия, суммируя деяния тех, о ком Горький когда-то пафосно говорил, дескать, “человек — это звучит гордо”, Леонов горестно итожит: “Близ есмь при дверех”.

И, наконец, ещё одна деталь: язык древних римлян, язык Вергилия Леонид Максимович любил всю жизнь. В качестве языкового тренинга он мог полатыни назвать все деревья, кустарники, травы и цветы, посаженные им в своём переделкинском саду.

И опять же, осталась позади поездка в Италию, когда роман был уже на рабочем столе, отодвинув всякую другую работу. Гуляя по Флоренции (вслед за Гоголем, когда он работал над “Мёртвыми душами”), Леонов прикидывал на свой лад дантовские коллизии, причудливо проросшие шесть веков спустя после “Божественной комедии” в России.

Командировочный (так у Леонова. — **Вл. Д.**) ангел Дымков, спустившийся с эмпиреев на грешную землю в районе подмосковного Старо-Феодосеевского кладбища, нашёл-таки свою Беатриче в лице поповской дочки Дуни (по слову Леонова, малость чокнутой). Она и стала подружкой прищельца из космоса, его поводырём. Не хуже, чем дантовский Вергилий, провела она Дымкова по вздыбленной социалистической стройкой русской земле.

Когда досужие литературоведы, и не только в России, наберутся терпения и внимательно прочтут “Пирамиду”, они по достоинству оценят полувековой труд Л. М. Леонова. Только пусть сильно не смущают их еретические размышления главного героя романа о. Матвея Лоскутова (по существу, распопа, по Аввакуму Петрову). У него их столько и такой глубины, что даже Данте с его неканоническими завихрениями почесал бы в затылке.

Да и как было о. Матвею не сбиться с пути Истины, когда рядом на страницах романа действует не кто иной, как главный искуситель нас, смертных, корифей всех наук — сам дьявол в образе профессора с говорящей фамилией Шатаницкий? Что ни говори, а роман Леонова закручен, как ни у кого из

писателей всей советской эпохи. Недаром же ясновидящая болгарка Ванга предрекала Леонову мировую славу. А вот Нобелевский комитет ничтоже сумняшеся три раза заворачивал кандидатуру Леонова. Не иначе как в пику Советской России!

Прихожу я однажды к Леониду Максимовичу, а он, весь взъерошенный, прямо с порога:

– Могу ли я обидеть Бога?

– ???

– Пусть Он сотрёт тогда меня без остатка, – еле сдерживаясь от клоко-чущих в душе терзаний, выпалил Леонов.

Я знал, что Леонид Максимович ставит точку в “Пирамиде”, оглашая свою, земную версию так смело им прочитанного апокрифа Еноха, “который объясняет ущербность человеческой природы слиянием обоюдо несовместимых сущностей – духа и глины”.

Леонов – писатель сложный, предпочитавший арифметике линейной композиции романа “извлечение квадратного корня из минус единицы”.

“Пирамида” давалась ему непросто. “Если поэт хочет быть настоящим художником, он должен творить мифы, а не рассуждения”, – считал Платон. Леонов и творил мифы, но, конечно же, с учётом трагической судьбы автора “Мёртвых душ”. Гоголь задумал свою поэму трехчастной, как и у Данте: “Ад”, “Чистилище”, “Рай”. “Мёртвые души” (души умерших – “Ад”) – гениальное творение. Не сведя концы с концами, духовно и физически надорвавшись, Гоголь сжёг второй том. Говоря словами В. О. Ключевского, писатель проник в те глубины жизни, “заглянуть в которые – высшее торжество человеческого прозрения, но из которых нельзя выйти здоровым”. Потому и одолел Гоголя нечистый. За помощью к духовному врачу о. Матфею Константиновскому Николай Васильевич обратился слишком поздно. Да и не всё под силу священнику, тем более заштатному, каким и является главный герой романа Леонова “Пирамида”.

Можно ли сомневаться, что из всего Нового Завета Леонов чаще всего обращался именно к Евангелию от Матфея. Нагорную проповедь знал слово в слово ещё с гимназических лет. И другие стихи мог процитировать по памяти. К примеру: *И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься* (Мф. 11, 23). Это, похоже, о нас сказано, во всяком случае, близко к теме “Пирамиды”.

Хотя герой леоновского романа тезоименит евангелисту Матфею, автор намеренно называет его по-мирски – Матвей. И неспроста. Уже этим Леонов деликатно дистанцируется от всяких попыток приписать ему какое-либо переименование вслед за Л. Н. Толстым Священного Писания. Между тем совпадение имен духовного наставника Н. В. Гоголя – о. Матфея Константиновского и главного героя леоновского романа – вовсе не случайно.

Судьба Гоголя в наших беседах с Леонидом Максимовичем во время частых прогулок мимо дома-музея любимого писателя (что на Суворовском бульваре, куда, кстати, приезжал из Ржева к болящему рабу Божию Николаю о. Матфей Константиновский) – одна из центральных тем, особенно в последние годы жизни Леонова. Могу засвидетельствовать, что и у Леонида Максимовича были такие дни, когда он был готов бросить второй вариант “Пирамиды” в печь. И к этому Леонова косвенно склонял внук о. Павла Флоренского игумен Андроник из Троице-Сергиевой лавры, которого по просьбе Леонида Максимовича я и привёл к нему в дом.

Окончательное суждение о поэме – романе-наваждении Леонова, – думаю, можно будет вынести, когда его наследники опубликуют первый вариант “Пирамиды”, который автор закончил в 1979 году и, перевязав веревкой, положил в кладовку.

Вспомнилось почему-то именно розановское. Могу только догадываться, почему В. В. Розанов так критично, если не зло, отозвался о Гоголе: “Бес Гоголь”.

Василий Васильевич говорил, что не любит властность великих людей. Не считаясь с тем, что маленькие, обычные люди с таким трудом собирали урожай, будь то грибы, ягоды, великие пришли на базар жизни и ногами расшвыряли и затоптали чужой труд. Им вдруг вздумалось гнать всех на исполнение своих великих замыслов (часто заёмных и до конца не вызревших), конечно же, во благо христиан малых. А ведь у великих и малых жизнь, идеалы и думки – разные.

И вот тех же малых мира сего, но уже под конвоем, заставляют вырубать в скале величественную ростовую фигуру Вождя, где человек смотрится маленькой букашкой, ещё меньше, чем строитель-раб на фоне пирамиды Хеопса.

Нет, я вовсе не хочу выстраивать прямую параллель между высеченным в скале в одной из песен “Чистилища” движущимся барельефом “милосердного” римского императора Тита (того самого, который в 70 году захватил и разрушил Иерусалим) и выступающей из скалы фигурой Вождя в “Пирамиде”. Но всё же...

Ушло в прошлое тысячелетие, в котором жил и творил великий Данте. А властителям и по сию пору все неймётся. Будто не Творец, а они имеют право распоряжаться чужой жизнью, как им вздумается.

И Данте, и Леонов чуть ли не наяву видели свой барельеф и свою ростовую скульптуру гигантских размеров. А премудрый Розанов на досуге *уединённо* любил рассматривать в лупу подобные сюжеты на античных камеях и геммах – он ценил их наряду с монетами Древнего мира. Сюжеты эти – вечные.

ЕВГЕНИЙ КОСТИН

ШОЛОХОВ И РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ СЕГОДНЯ

К выходу в свет Шолоховской энциклопедии (М., Издательский дом “Синергия”, 2012)

Подарив только что изданную Шолоховскую энциклопедию многолетнему заведующему кафедрой русской литературы Вильнюсского университета, участнику первых Шолоховских чтений, глубокому знатоку “Тихого Дона” профессору Ивинскому П. И., я услышал от него поразившую меня оценку. “Вот, — сказал он, — сколько каждому из вас, авторов энциклопедии, помогал Шолохов стать известными исследователями, стать настоящими людьми в высоком смысле слова, наконец, вы помогли самому Шолохову”.

Наверно, профессор сформулировал главный импульс, лежавший в основе деятельности большого коллектива авторов энциклопедии, в расширенном, правда, виде: помочь не только великому писателю, но всей русской литературе, русской культуре, находящимся сейчас в положении если не приниженном, то, безусловно, не являющемся приоритетным для современной России.

Парадоксально, но мысль, высказанная Шолоховым в давнем (прошло более 50 лет!) разговоре с сыном, о том, что в стране, тогдашнем СССР, продолжают процессы, начатые событиями 1917 года, — “Когда там по вашим учебникам гражданская закончилась? В 20-м? Нет, милый мой, она и сейчас ещё идёт. Средства только иные. И не думай, что скоро кончится”, — не кажется столь уж экстравагантной и применительно к нашему времени, к сегодняшнему состоянию России. Только понимать это надо в широком историческом контексте — как необходимость борьбы за сохранение исторического пространства России, за спасение её тысячелетней культуры, сохранение самого русского человека. По существу, Шолохов предвидел те коллизии, в которых очутились все мы, дети и наследники великого государства, сейчас, в уже разбежавшемся новом веке, отмерившем России почти четвертьвековую эпоху перехода из статуса одной из главных мировых держав в положение выталкиваемой разнообразными силами на задворки истории и цивилизации страны.

Что-то мы делали не так, к каким-то советам и ответам, данным Шолоховым ещё в “Тихом Доне”, мы не прислушались. Может, настало время заново

во перечесть наших великих классиков – от Пушкина до Шолохова – и по ним выстраивать пути развития общества, а не по кривоватым и убогим лекалам современной постмодернистской культуры? Той культуры, которая угнездилась в сегодняшних геополитических проекциях, в самом образе мысли, в сдвинутой психологии людей, в новых исторических концептах – в том, что составляет квинтэссенцию современного мира, в котором есть всё – от торжества однополой любви, от теснящихся на задворках либерального тренда христианских максим, от беззастенчивого обнажения всех человеческих пороков и тёмной стороны души, от совершения всех возможных преступлений против духа разумного и просвещённого человечества, некогда стремившегося к победе доброго над злым, светлого над тёмным, морали над грехом, – до торжествующей песни, распеваемой на разные лады, что главное всё же совершилось: исчезла “империя зла”, которая и мешала человечеству вмиг очутиться в состоянии всеобщей благодати и счастья.

С каждым годом становится всё отчетливее для каждого честного наблюдателя, что разрушенная страна – СССР – в её титанической духовной попытке реализовать нечто вроде царства справедливости на Земле, была чуть ли не последней надеждой человечества дать ему вектор развития, основанного не на поклонении “золотому тельцу”, не на поощрении его инстинктов и безудержного внеморального своеволия, но помнящего об истинной, высокой природе человека, ставящей рафаэлевскую “Мадонну” всё же впереди “Чёрного квадрата” и генитально-актуального искусства.

Незашоренное критическое сознание русской советской культуры XX века неизбежно выводило исследователей к вопросу об овладении “ветром истории” в самом глубоком философском смысле этого слова. По словам Д. Лукача, “большевизм предпринял грандиозную попытку “подвига скорого” (слова старца Зосимы из романа Достоевского) – попытку непосредственного действия и победы над злом здесь и сейчас”. Эта попытка изначально была обречена, так как она была замешана на насилии и трагической вине. Но этого мало. Внутри такого противоречия обнаруживается некая трагическая правда, к которой необходимо относиться всерьёз, так как она многое, если не всё, объясняет. Д. Лукач рассуждал об этом так: “Трагедия тогда, когда ошибка неизбежна именно для тех и прежде всего для тех, кто прав в самом глубоком, всемирно-историческом смысле слова. Ибо в истории бывают ситуации, когда совершение действия необходимо для продвижения истории, и совершают это действие те, кто правильнее всех понимает эту необходимость истории. Но, вместе с тем, политики, владеющие истиной ситуации, обречены на поражение, ибо полная победа их – впереди, а сегодня они должны погибнуть, ситуация не позволяет им победить, однако, погибая в борьбе, они сдвигают с мёртвой точки мировую историю” (Д. Лукач. Большевик как моральная проблема // Мих. Лифшиц и Д. Лукач. Переписка. 1931–1970. М., 2011. С. 11).

Гибель российского государства в его “имперско-романовской” форме была той самой высокой жертвой, которая сдвинула с “мёртвой точки” мировую историю, обозначила человечеству возможность другого “проекта”, основанного не на торжестве предельно индивидуализированного подхода к социуму, к истории, к самому человеку. Советская культура в своих выдающихся образцах – это не просто преодоление художниками догм так называемого социалистического реализма, но разбор по самому высокому счёту залежей в тупиках социального и духовного развития человечества.

Русские писатели XIX столетия своим провиденциальным чувством почти все постигали эту назревающую правду исторической действительности России. Некоторые воспринимали её как своеобразную миссию. Осознание этого процесса в русской литературе XX века совершилось на удивление быстро, даже слишком быстро по привычным меркам культуры. Но только у небольшого числа писателей, ориентированных на объективное воспроизведение действительности с народной точки зрения и продолжавших фундаментальные традиции предшествующей культуры, это привело к значительным художественным результатам. Шолохов даёт нам дыхание новой истории России, которая началась с трагического (через процессы гражданской войны) осознания себя большинством народа как субъекта и – что существенно – *делателя* истории.

В этом моменте разговор именно о Шолохове. Его “Тихий Дон” — это книга о катастрофическом переломе в русской истории, о необходимости его преодоления, о трагических жертвах в этой борьбе, о силе отдельного и вовсе несистемного сопротивления человека, которое, тем не менее, кристаллизует всю ткань народа; об итоговом торжестве общей правды вместо индивидуальных целей, о спасении всего народа через гибель отдельных его представителей, о восстановлении справедливости и веры в высшие цели нации, о преодолении болезни народа. Это книга об историческом тупике, из которого надо и возможно выйти. В этом смысле нет более актуальной книги для “сегодня”.

Для русской литературы всегда главным было не “писание”, но “спасание”, именно общее “спасание”, а не личное “спасение”, которое само по себе для русской художественной традиции не имеет особого смысла. Превратить “слово” в “дело” для значительно большего круга людей, чем один, а не дай Бог — страшно и подумать! — в дело всего народа — такая сверхцель стала частью генотипа русской литературы. Не так ли и Шолохов в каком-то сверхусилии выдохнул “Тихий Дон”? С одной стороны, перед нами живой и единый национальный эпос, описывающий события трагического XX века, с другой — в нём расположились глубоко запряжанные ответы на главные вопросы бытия нации: как жить, куда идти и что помнить.

Сейчас уже ясно, что так называемый вопрос об авторстве “Тихого Дона” был одной из частей продуманного и, к сожалению, реализованного плана дискредитации как бы советского, а на самом деле — русского в культуре и истории. И это вовсе не конспирологическая версия, учитывая, какие силы и средства тратились и тратятся на доказывание недоказуемого. Продолжающаяся возня вокруг этого вопроса лучше, чем что-либо ещё, свидетельствует о том, что борьба с Россией, с русской культурой не прекратилась.

Борьба за Шолохова — это борьба за национальную культуру и саму возможность её существования. Не будем лукавить, разве не понятны нам — особенно остро сейчас! — попытки р-р-революционных интернационалистов и блюстителей новой культуры сразу после событий 1917 года сбросить “Пушкина с корабля современности”, объявить Достоевского “реакционером и антисемитом”, и разве не аналогичны они современным попыткам ряда деятелей растоптать Шолохова, его творчество?

Удивительным образом Шолохов попадает в одну из ключевых парадигм русской литературы, которая связана с “бегством”, уходом из художества. Начиная с Пушкина, который балансировал в конце своего пути на грани между художественной и исторической прозой, с Гоголя, который отказался от художественности в “Выбранных местах из переписки с друзьями” и во втором томе “Мёртвых душ”, русская литература настойчиво говорила самой себе и читающему обществу, что есть задачи выше и главнее, чем просто художество, просто эстетика. А Л. Толстой с его постоянными “качелями” от сложного литературного дискурса до лапидарных “народных рассказов”, от публицистики и нравственной проповеди до чистой моралистики безусловно христианского толка, а Достоевский, продолжавший исследовать мир героев своих романов в “Дневнике писателя” и журналистике, делавший тексты романов актуально публицистическими?

Но не таков ли и Шолохов, по сути, “замкнувший уста” после “Судьбы человека” и публикации второй книги “Поднятой целины” и ушедший из художественного творчества? Подчёркнутое сжигание им своих рукописей, черновики, всех без исключения, в том числе и глав романа “Они сражались за Родину”, говорит именно об этом. Никто до сих пор не провёл параллели между актами сжигания рукописей Гоголем и Шолоховым, но в их основе ощущение, данное считанному числу писателей: невозможно превозмочь, преодолеть, исправить действительность “художественным словом”. Конечно, немаловажную роль играют конкретные драматические обстоятельства, связанные с рукописями писателя: затерянный в предвоенной Москве, отданный для экспертизы полный текст “Тихого Дона” (к счастью, обретенный нами сейчас), разбомбленный вместе с домом архив писателя с черновыми набросками, вариантами рукописей, письмами читателей и собратьев-писателей во время Отечественной войны (на этом пепелище погибла мать писателя), постоянно

поправляемые партийными редакторами издания шолоховских произведений, наконец, искалеченный замечаниями высших руководителей текст романа “Они сражались за Родину”... Но самим своим присутствием в литературе он давал понять, к какому уровню правды надо стремиться в искусстве. Это ощущение и, по сути, требование очень точно воспроизвел В. Шукшин после встречи с Шолоховым на съёмках фильма “Они сражались за Родину”.

По поводу Л. Толстого было замечено (в связи с “Войной и миром”), что автор неправ по отношению к своим героям, заставляя их мыслить и чувствовать “через” человека не начала, а середины XIX века. Шолоховский большой текст (всех его произведений) изоморфен эпохе, более того, отсутствие всяких противоречий и односторонность взгляда и говорили бы очевиднее всего о компиляции, подделке и пр.

Парадокс Шолохова: у него в парадигму актуальной истории, горячей, никак не укладывавшейся в какую-либо систему политики, встроилась метафизика российской истории. Вот что поразительно: ведь, собственно, две первых книги “Тихого Дона” создавались тогда, когда новая власть ещё не сформулировала окончательно и внятно идеологемы практического свойства, к которым можно было бы прислониться и тем самым дать сверхличностное объяснение судеб героев, поддержанное каким-никаким официальным авторитетом. Но Шолохов ведь не просто описывал “проклятую действительность”, он старался её понять, и как раз тогда, когда решительного, окончательного ответа ещё не было дано.

К слову сказать, реальная политическая жизнь 20-х годов на самом деле бурлила (достаточно перечитать стенографические отчёты съездов и пленумов ВКП(б) – борьба с оппозицией, дело Промпартии, троцкизм и т. д.). И уж точно сидящий в медвежьем углу Шолохов, изредка навещавшийся в Ростов и столицу, не мог отслеживать все эти подвижки политических платформ, течений, политических раскаяний, примирений, обличения вчерашних соратников и пр., и пр.

Можно заметить, что первые книги “Тихого Дона” – это ещё не антисоветское восстание на Дону, не самые острые страницы третьей книги, воссоздающей метания Григория Мелехова, с печатанием которой у Шолохова были наибольшие трудности. Но основной массив материала у Шолохова был готов к началу 30-х годов, и самое главное – он никак не противоречил тому, что воссоздано и показано писателем в первых книгах романа.

В основе “Тихого Дона” лежит метафизический импульс некоей высшей воли, нуждавшейся в эстетическом эквиваленте исторических потрясений России.

В сегодняшней ситуации современной России на весах снова, как без малого 100 лет назад, лежит судьба государства. Опять многое смешалось в устройстве, политической системе, нравственных постулатах, психологии людей, в постмодернистской культуре, которая занимается, как ей кажется, освоением неусвоенного западного “прогрессивного” опыта, а на деле методично разрушает основания, связанные с тысячелетними традициями своей национальной культуры. Время воистину тяжёлое, переходное. Не даёт покоя мысль, высказанная В. Н. Топоровым: “Россия – храм на крови” и “цена крови в истории российской государственности” ещё не оплачена, а “без этой оплаты благой России не быть”. Это же и мысль Шолохова: от “Донских рассказов” до последних страниц “Они сражались за Родину” – всё кровь, всё боль, всё тяжело в жизни народа. Но шолоховская мировоззренческая и художественная позитивность (“открытость к бытию, доверие к нему”) преодолевает и этот трагизм, эту нескончаемую боль за пережитые народом и страной потрясения запредельного рода.

* * *

Представляется, что говорить о появлении “Шолоховской энциклопедии” вне данного историко-культурного контекста будет не совсем объективно. Сама по себе энциклопедия ориентирована на воспроизведение не только основных дат, событий биографии писателя, особенностей его художественного мира, конкретных эстетических вопросов шолоховского творчества, но также его окружения, она воспроизводит канву его отношений с выдающимися де-

ятелями культуры, науки, военачальниками; через данный материал энциклопедии представлена сама эпоха.

Круг авторов энциклопедии, собравшей, по сути, главные силы шолоховедения, ясно очерчен – это учёные ИМЛИ РАН, Литературного института, Южного федерального университета (бывшего Ростовского-на-Дону), сотрудники государственного музея-заповедника М. А. Шолохова, ряда университетов страны (Москва, Ульяновск, Белгород, Сургут и др.), отдельные исследователи из других городов России, зарубежные шолоховеды. Это те авторы, для которых Шолохов – существенная и важнейшая часть культурного наследия России, гениальный художник, один из самых читаемых авторов современного мира.

Энциклопедия даёт возможность читателю получить объективную информацию о жизни писателя, его человеческом и литературном окружении, об издании его произведений, основных особенностях его художественного мира. Более 700 статей 114 авторов, почти 1000 единиц иллюстративного материала, многие из которых носят уникальный характер и впервые стали доступны рядовому читателю. Хочется подчеркнуть проведённую большую архивную работу, усилия главного художника издания Ю. Басова по созданию богатого зрительного ряда издания.

Выделить кого-либо из коллектива создателей отдельно было бы несправедливо, но три имени хотелось бы назвать. Первое из них – это ушедший от нас в октябре прошлого года Михаил Михайлович Шолохов. Его статья “Слово об отце” открывает том энциклопедии, думается, что так будет и во всех последующих переизданиях. Она даёт необходимый человеческий и нравственный камертон всему изданию. М. М. Шолохов на протяжении многих лет, как и его сын А. М. Шолохов, директор музея-заповедника писателя, всячески способствовал осуществлению данного проекта, вся семья Шолоховых была как бы его постоянным куратором, и, скорее всего, без их участия процесс создания энциклопедии не состоялся бы в настоящем виде.

Э. А. Бессмертных... Это ему, известному деятелю русского книгоиздания, генеральному директору издательского дома “Синергия”, в 2001 году пришла мысль о создании энциклопедии, посвящённой Шолохову. Его усилия на этом поприще воистину бесценны. Собрать воедино научные и человеческие ресурсы, найти преданных единомышленников, создать фонд Шолоховской энциклопедии во главе с Зинаидой Кириенко, добыть в итоге финансирование проекта (низкий поклон ОАО “Газпромбанк”)... Невозможно перечислить, какие трудности пришлось ему преодолеть на этом пути. Но он достойно вынес эти испытания, и его имя по справедливости стоит в основании проекта.

Наконец, Ю. А. Дворяшин. Профессор, доктор филологических наук, главный редактор издания. Достаточно посмотреть на том, состоящий из сотен статей, принадлежащих громадному отряду авторов, представляющих различные научные центры, принадлежащих к различным исследовательским школам, чтобы понять, какая титаническая работа была им выполнена. Соединить, спаять, обработать такое обилие материала, конечно, позволили ему не только высочайший профессионализм, но и любовь к родной литературе, любовь к Шолохову.

Шолоховская энциклопедия, несмотря на установку на максимально полный подход к биографии и творчеству писателя, не ответила на все вопросы и не осветила все проблемы его художественного мира. Это и невозможно сделать применительно к творчеству такого писателя, как Шолохов. Из видимых направлений дальнейшей работы для планируемого второго издания – это уточнение библиографии по Шолохову. Последние десятилетия, к сожалению, привели к тому, что научные и образовательные центры, особенно на периферии, стали *вариться в собственном соку*, кроме того, в России отсутствует внятная информационная политика в области гуманитарных наук, учёные записки, монографии и другие научные издания если и выходят, то микроскопическими тиражами и, тем самым, часто не известны широкому кругу исследователей русской литературы и творчества Шолохова. Задача энциклопедии – как раз предельно полно охватить изданную литературу о Шолохове, систематизировать её. Следует также учесть многочисленные работы, выходящие в мировом литературоведении на протяжении последних 20–30 лет.

По всей видимости, нуждается в дополнительных статьях раздел энциклопедии, посвящённый художественному своеобразию творчества Шолохова,

его эстетике. Необходимо появление статей, посвящённых историзму писателя, характеристике его реализма, нуждается в более широком описании психологизм Шолохова. Исследования последних лет подталкивают к изучению мифопоэтики писателя, к углублённому пониманию традиций Шолохова применительно ко всей истории русской литературы.

Объективно появление шолоховской энциклопедии способствует укреплению таких научных усилий в шолоховедении, их фиксации. Во время разрушения и ниспровержения ценностей, лежащих в основе русского культурно-исторического кода, эта книга есть акт борьбы за кристаллизацию всего позитивного, что есть в русской культуре.

Энциклопедия усиливает наше представление о том, что Шолохов является художником первого плана в русской литературе XX века, без которого невозможно представить её развитие, значение для мировой культуры в целом. Как Пушкин и Толстой в своё время, Шолохов достиг в своём творчестве предельной народности, позволившей ему войти практически в каждый дом, стать социокультурным феноменом по степени распространённости среди читателей, по влиянию на эмоциональный строй и чувства многих миллионов людей.

Воссоздавая в своих произведениях главные, коренные для всей нации в переломные и трагические периоды развития страны события – революцию, гражданскую войну, коллективизацию, Великую Отечественную войну, – шолоховское творчество становилось частью личного опыта многих и многих людей. Его книги никогда не были актуализированы на потребу дня в грубом, политическом смысле слова, они не были конъюнктурны; он всегда стремился дать честный и прямой ответ на самые тяжёлые вопросы, встававшие перед страной и её людьми. В энциклопедии всё это можно вычитать, узнать немало об истинной истории создания “Тихого Дона”, “Поднятой целины”, романа “Они сражались за Родину”.

* * *

Когда читаешь энциклопедию “поряд”, не пропуская статей, не отыскивая того, что тебе интереснее всего, возникает удивительное ощущение, что в России важнее всего – культура, литература, всё остальное является только “приложением”. Вот так и Шолохов. Жила-была страна, её люди свершали большие и малые подвиги, рожали детей, учились, если нужно, погибали за своё Отечество, радовались и скорбели, знали, что время и история, выпавшие на их долю и долю страны, велики и страшны, но всё движется дальше, всё развивается, а рядом живёт писатель, которому Бог дал великий талант всё это воссоздать, запечатлеть навечно.

Кому-то всё казалось, что надо объяснить что-то важное, но с Шолоховым не связанное, например, кто же написал “Тихий Дон”? Ведь и представить трудно, как это можно было написать сразу по горячим следам, когда кровь пролита без меры и никем не забыта, и отстреливаются регулярно прототипы великой эпопеи, такие как Харлампий Ермаков – Григорий Мелехов. Кто спас для нас ту эпоху, кто сказал о ней ту правду, с которой, собственно, никто и не спорит: ни противники, ни сторонники “Тихого Дона”? Шолохов! Спасти время, остановить мгновение – есть ли более высокая оценка творчества писателя? А “Поднятая целина”, где дан ответ на вопрос всей русской литературы XIX века – вопрос о мужике и земле, а “Судьба человека”, без которой понимание Великой Отечественной войны будет неполным и неточным?

Смешно и подумать, что Шолохов в письмах к Сталину в 30-е годы, а по существу – и в “Поднятой целине” защищал своих казаков-крестьян из либерально-гуманитарных побуждений: нарушаются, мол, права человека. Для него было очевидно, что убивается сама жизнь, и за неё необходимо бороться.

Да, Шолохов был близок к власти, но был ли он ею любим? Такую силу сопротивления, какую продемонстрировал писатель в грозные 30-е годы, мало кто показывал в то время. Не случайно он был под прицелом целого ряда деятелей, и, можно сказать, лишь стечение обстоятельств позволило ему избежать самой трагической участи. Не случайно ряд исследователей справедливо назвали его переписку с вождём “архипелагом ГУЛагом”, созданным задолго до солженицынского. Такова картина народных страданий, показанная

Шолоховым в этих письмах, такова сила защиты людей, продемонстрированная им без всякой оглядки на власть; это и сегодня поражает объективного читателя.

В энциклопедии приведено немало свидетельств, мягко говоря, неоднозначных отношений писателя с поздней плеядой вождей – Хрущёвым, Подгорным, Брежневым. Ласковые ухмылки власти – любой и во все времена – значат только одно: тебя используют, тобой прикрываются. Многие совсем неплохие писатели советской литературы не смогли отказаться от заигрывания с властью. Но не Шолохов – он смог всем своим творчеством опровергнуть эту драматическую контроверзу и спасти достоинство и честь русской литературы в XX веке. Не он один, конечно, рядом с ним и А. Платонов, и М. Булгаков, и А. Твардовский, и ряд других писателей.

Но такой – лишь он один.

Авторы Шолоховской энциклопедии в меру своих сил старались это показать.

г. Вильнюс

6 мая 1929 года родился Йоле Станишич, черногорский поэт, критик, публицист, автор многих книг, изданных на сербском и русском языках. Партизан, участник антифашистской Народно-освободительной войны, узник титовского лагеря на Голом острове, югославский политический эмигрант в СССР. Многолетний сотрудник Института русской литературы РАН (Пушкинского дома), академик Международной славянской академии. Инициатор и координатор Международного общественного трибунала по преступлениям НАТО в Югославии.

От всей души поздравляем с 85-летием нашего дорогого Йоле, брата и соотечественника, верного друга, мужественного соратника в борьбе против тирании, за достоинство славянского мира.

Редакция “Нашего современника”

Уважаемые писатели России!

Дорогие друзья!

Журналу “Наш современник” в октябре 2014 года исполняется 50 лет. С 1956 года он выходил, как альманах 4 раза в год, а полноценным журналом стал с 1964 года. Полвека он собирал и собирает на своих страницах лучшие литературные таланты Отечества. Несмотря на материальную и культурную разруху эпохи демократии, мы продолжаем с вашей помощью эту подвижническую работу и добились немало: журнал любят и знают читатели — о чём свидетельствует тот факт, что с середины 90-х годов мы неизменно занимаем первое место по подписке среди “толстых” литературных журналов. И всё же горько сознавать, что эта “победная” подписка сегодня находится всего лишь на рубеже 9 тысяч. Все наши попытки увеличить её, особенно библиотечную долю через областные департаменты, через губернаторов — осязаемых результатов не приносят. Порой область отпускает небольшие деньги на 50–100 библиотечных подписок, а через какое-то время об этом забывают, или на местах происходит смена власти, и приходится налаживать все отношения сначала, что очень не просто. . .

Однако у нас с вами есть неиспользованные резервы. Не зря же на обложке “Нашего современника” стоит логотип “Журнал писателей России”. И это не фраза. Откроем любой номер за любой год и убедимся, что, как правило, половина, а то и более авторов номера — это литераторы и читатели из Великой Русской Провинции — от Смоленска до Хабаровска, от Краснодара до Ханты-Мансийска. Мы считаем “Наш современник” духовной собственностью всех российских писателей, потому что нашими общими усилиями сохранили литературное братство, живущее и творящее на просторах России. Недаром каждый второй лауреат ежегодной премии журнала — это писатель из российской глубинки. И тем горше сознавать, что лишь немногие члены Союза писателей России выписывают и постоянно читают журнал. Как правило, это всего лишь два-три человека из нескольких десятков, состоящих на учёте в областных и краевых организациях. А ведь нас по всей России более восьми тысяч!

Да, многие писатели за годы разрушительных реформ обнищали, упали духом, потеряли творческую форму. Разговариваешь порой с ними и убеждаешься, что не читали они ни повести “Дочь Ивана, мать Ивана” Валентина Распутина, ни записных книжек Георгия Свиридова, ни последних поэм Юрия Кузнецова о жизни Христа. . . А ведь все эти выдающиеся произведения печатались не так давно в “Нашем современнике”. Но тем более необходимо, чтобы журнал приходил в их дома, ложился на их письменный стол, вселял веру в наше общее дело, помогал осмыслить и судьбу Родины, и выстраивать свою собственную литературную судьбу.

В каждом городе, где сегодня есть отделение Союза писателей России, можно найти состоятельных русских патриотов, неравнодушных к судьбе родной культуры, которые не пожалеют небольших средств на подписку журнала для своих земляков-писателей. Такой опыт уже оправдал себя в Тобольске, в Новгороде, в Иркутске, в Краснодарском крае. Хорошо бы распространить его хотя бы на все крупнейшие писательские объединения наших регионов. В результате и журналу будет немалая материальная поддержка, и творческая жизнь в местных союзах станет более живой и плодотворной. Ведь почти всегда на местах отыскиваются частные средства и на издание книг, и на юбилеи, и на банкеты и т. д. Мы с вами целая армия, и грешно нам жить в состоянии разобщённости и духовного нестроения. За 25 лет перестройки, как бы трудно ни приходилось журналу, мы многожды и бескорыстно публиковали произведения ваших земляков. Твёрдо обещаем и впредь: писателям тех организаций, где эти планы будут осуществлены, будем давать “зелёную улицу” на страницах журнала, чтобы их знала вся читающая Россия, будем приезжать к вам, встречаться, как в лучшие времена, радоваться творческим удачам друг друга, словом, жить полнокровной жизнью.

Всё это в наших общих силах.

**Редакция журнала “Наш современник”,
главный редактор Станислав Куняев**

Не забудьте подписаться
на "Наш современник" —
на второе полугодие 2014 года!



Почта России		ф. СП-1									
АБОНЕМЕНТ на		газету	<input type="text"/>								
		журнал	(индекс издания)								
НАШ СОВРЕМЕННИК		Количество комплектов									
На 2014 год по месяцам:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Куда		<input type="text"/>	<input type="text"/>								
		(почтовый индекс)	(адрес)								
Кому _____											
Линия отреза											
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ДОСТАВОЧНАЯ								
ПВ	место	литер	КАРТОЧКА <input type="text"/>								
На газету		НАШ СОВРЕМЕННИК									
журнал		(наименование издания)									
Стои- мость	подписки	руб.	Количество								
	переадрес.	руб.	комплектов								
На 2014 год по месяцам:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
дом	корпус	квартира	(фамилия и. о.)								

Подписные индексы журнала
"Наш современник"

По каталогу "Роспечать" на 6 месяцев – 73274

По каталогу "Роспечать" на 12 месяцев – 72336

По каталогу "Почта России" МАП – 12625